



НЕ КОПИРОВАТЬ

НЕ КОПИРОВАТЬ

Fr is in

MOCKOBCKIA

N 526

376

норы и трущовы

А. ЛЕВИТОВА

11263-48

Изданіе второе, дополненное



БИВЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ

И.Ө.ТИХАНОВА

С.П.Б.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ изданіе в. е. генкеля

1869.

IOPEL II TPVIIIOEE





Въ типографін М. А. Ефимьева, Вози, пр. №31.

СОДЕРЖАНІЕ

1) Московскія «Комнаты

	THE THE PARTY OF T	Стр.
. I.	Вступление	1.
I. III.	Съемщицы	6.
I۴.	Необыкновенные случаи, обставляющіе Тать-	
	янины коммерческія мистеріи	29.
γ.	Подробный планъ комнатъ снебилью и лег-	
	кая покуда характеристика лицъ, со-	
	гнивающихъ въ нихъ	58
γI.	Наружный видъ дома съ меблированными	
	комнатами	61.
VII.	Корридоръ комнатъ и его жильцы	64.
YIII.	Жительцы комнатные, или господа	79.
2) A	РКАДСКОЕ СЕМЕЙСТВО, ИЛИ НОВАЯ	
	камелін въ кэпи (Московская	
)))-	идиллія)	105.
3) 1	ванъ Сизой изображаетъ, вмъ-	
	стъ съ московскими нравами,	
4	CAMOTO CEBA	155

	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Стр
4)	Погившее, но милое создание	195.
5)	Кры мъ (Одинъ изъ московскихъ трактировъ)	241.
6)	ГРАЧЕВКА	279.
7)	Передъ Пасхой	311.
STEP NEED NO	Московская тайна	THE PERSON NAMED IN
9)	Запивоха	355.
STREET TO SEE	ГРАФЧИКЪ	
	Праздничный сонъ	
2)	НРАВЫ МОСКОВСКИХЪ ДЪВСТВЕН-	
	ныхъ улицъ. Очеркъ. Писано па-	
	мятуя о погибающемъ другъ	475.
3)	Счастливые люди.	

To the second of the second of

of the first standard affection of the

· Frank Stabing roughly and Th

BUHÖRUNAN TA

московскія «комнаты спебплью».

vepundo exercis apono es ver en ponse enconse enconse per estado en consensa e

TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

вой продляба чово блубие, заподомия в струм и подъеми повете в струмира пойом **I** био водо, денамили в на

ROZUMOMENTALISM BCTYNIEHIE. O. A MESTI AZARAMA

Растрепанно и сумрачно какъ-то высматривають на Божій свътъ дома, въ которыхъ есть эти, такъ называемыя, комнаты снебилью. Лучшіе дни молодыхъ годовъ моихъ безвозвратно прожиты мною въ этихъ тайныхъ вертепахъ, гдъ пріючается, какъ можетъ, пугливая бъдность.

Безконечно длинною вереницей возникаютъ въ головъ моей воспоминананія о разныхъ рѣшительно неестественныхъ столкновеніяхъ съ совершенно невѣроятными характерами, когда я случайно увижу на воротахъ какогонибудь высокаго дома билетъ съ уродливой надписью: сдюст одаюца компаты снебилью.

Какимъ-то страпно-болъзненнымъ чувствомъ прохватывается все существо мое, когда я увижу, какъ бъется и трепещетъ на вътръ лоскутъ сърой, грязной бумати, нелъпо примазанный къ воротному столбу мякишемъ

чернаго хліба, потому что передъ глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомовныхъ людей, которые самою судьбою, кажется, осуждены на вічное скитанье по этимъ компатамъ снебилью, рекомендуемымъ сірымъ лоскутомъ.

И при видѣ бѣдныхъ людей этихъ—сотоварищей печальнаго пути моего по бурному, если не смѣшно такъ выразиться, морю житейскому, живѣе чувствуется мнѣ мое прошлое горе, глубже западаютъ въ душу настоящія невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я въ это время о безконечномъ рядѣ справедливыхъ, жизненныхъ драмъ, обыкновенно разыгрывающихся въ этихъ комнатахъ на страшную тэму о погибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждою желѣзною.

«Братъ мой!» слышится мнѣ мягкій голосъ юноши, съ которымъ, въ пылу молодыхъ мечтаній о великомъ и добромъ трудѣ жизненномъ, побратались мы на жизнь и на смерть: «и въ этой радости, чтобы былъ ты при смерти моей, мнѣ отказалъ Богъ!»

Страшной, томительной мукой наполняють душу мою слова эти, потому что на великое несчастье мое, такъ ясно, такъ осязательно представляется мий въ это время, прекрасная жизнь въ тяжкой борьбъ съ мучительной смертью, —и не могу я тогда дать себъ отчета въ томъ, для чего существовала эта жизнь, зачъмъ она, жаждавшая счастья и дъятельности, такъ долго и такъ тяжко страдала, и наконецъ зачъмъ она, не выдержавши этихъ страданій, такъ видимо-незаконно умираетъ теперь въ глазахъ моихъ, непримиренная съ грубостью жизни ни

однимъ словомъ утъшенія, ни малъйшимъ признакомъ участія людскаго?...

И другой образъ, граціозный и свѣтлый, возстаетъ предо мной. Какъ и въ прежнее счастливое время, безпечальный и наивный, шутливо лепечетъ онъ мнѣ о вѣчной разлукѣ съ дорогимъ человѣкомъ.

«Ахъ, сосъдъ! говорить мнъ милый голосъ. Какъ онъ умиралъ страшно, сказать не могу. Въдь знаете вы, какой онъ всегда смирный быль да веселый; а туть, ахъ! вспомнить ужасно, зеленый, зеленый весь спѣлался, ровно трава вешняя, и какъ же бранился онъ страшно, зубами какъ скрежеталъ!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку къ нему на лобъ и смотрю на него, - онъ, какъ будто и покойнъе станетъ. Вижу я такъ-то, что ужъ немного ему жить остается и говорю: «Ты бы, говорю, роднымъ что-нибудь написаль». -- «Да, точно! говорить, написать нужно. Напиши, говорить, ты повъстку такую общую и роднымъ, и знакомымъ моимъ, что, дескать, родственникъ вашъ, или пріятель такой-то (знаешь. говорить, какъ на баль приглашають!) умирая изъявляеть свое крайнее сожальніе, что не можеть онь вамь на прощаньи всёмъ въ глаза плюнуть!.. Покорнейше проси ихъ извинить меня на этотъ разъ: силъ, скажи, не было»... Долго онъ тутъ смался, отвернувшись и отъ меня къ стънъ; съ тъмъ и умеръ. — А за нимъ и меня отнесли. Не могла я жить безъ него, - тоска страшная очень миж грудь надсадила. Вотъ и платье, въ которомъ меня схоронили. Прелесть, что за-платье

такое! Бълое-бълое, какъ кипень», съ улыбкой лепечетъ дъвушка, употребляя слово своей далекой родины. «Жаль не было васъ: голову мив въ это время убрали цввтами, и подушку, и гробъ, все завалили цвътами (недороги цвъты были тогда, весной я умирала), и несли меня всв наши дввушки. Вы ихъ всвхъ знаете: тъ, съ которыми я на одно мъсто работала, - онъ всъ при васъ бывали у меня. Ахъ! помните вы, какъ намъ весело было? Хозяйка-то насъ распугивала какъ, помните? «Деньги, говоритъ, «подавайте: первое число подошло». Не могу безъ смъха вспомнить этой хозяйки: совству и ней мужчинская борода была, и голосъ толстый такой. Я всегда думала, что она меня събстъ, когда, бывало, не достанешь ей денегь къ первому числу. Ну, прощай, сосъдъ! Я улечу сейчасъ, - я летаю нынь — вотъ посмотрите.»

И дъйствительно, словно бълый голубь, то взвивалась она въ далекое поднебесье, то снова спускалась ко мнъ, порхая предъ глазами моими какою-то невиданною птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, съкоторою она показывала мнъ недавно пріобрътенное умънье летать.

«Што тъ комлу, што-ль надать?» рычитъ педавно прівхавшій изъ самаго степнаго села дворникъ, злой отъ вчерашняго похмълья, суровый и всклокоченный по природъ. «Въ четверто крыльцо на третій этажъ по колидору ступай, тамъ тъ комла и будетъ».

Испугался милый призракъ суроваго голоса и улетълъ на небо, а мрачный домъ, по прежпему, мрачно и неустанно смотрить на улицу своими безчисленными окнами, сторожить, должно быть, чтобы не вылетьли несчастныя птицы, за-живо погребенныя въ его душных кльткахъ; и грязный билеть тоже, по прежнему бъется и трепещеть на вътръ своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себъ вниманіе проходящихъ.

«Ты тамъ Татьяну-съемщицу спроси! продолжаетъ дворникъ, такъ, т. е., Татьяну и спрашивай «гдъ, молъ, тутотка Татьяна живетъ?» А какъ, примъромъ, Татьяна тебъ скажется, ты и скажи ей: «гдъ молъ, у тебя комла тутъ порожняя есть? Дворникъ, молъ, къ тебъ спосылалъ меня.»

Обыкновенно я не пользуюсь въ это время указаніями дворника. Я иду дальше отъ него и отъ дома, потому что оба они тогда кажутся мнѣ въ одинаковой степени деревянными.

«Ишь ты попёръ какъ! рычить дворникъ. Безпремѣнно сдуть что-нибудь норовилъ. Што это за-шельма народъ въ Москвъ, братцы мои. Такъ, т. е., и норовитъ къ тебъ съ сапогами со всъмъ въ ротъ залъзть!..»

and account a required, an information of the control of the control of

sozona sincernia kose ini aucungsinara. Kienaw annang

Therefore so the state of the same seems of the

dive to the king of the second forms of the final contract of the contract of

съемщицы.

Самый рельефный и красивый орнаменть комнать снебилью-это Татьяны, съемщицы комнатъ, главныя жизненныя цёли которыхъ, по преимуществу, заключаются въ томъ, чтобы вынудить себв отъ своихъ жильцовъ и отъ приходящихъ къ нимъ гостей почетный титуль мадамы, -и Лукерьи, лица неизбъжно кухарствующія въ комнатахъ. Эти два божка обладаютъ почти одинаковой силой, дающей имъ всв возможности, или разбивать наказательнымъ громомъ и сожигающей модніей тъ несчастныя существа, которыя отдались ихъ командъ, или обливать ихъ горемычныя головы до безконечной пошлости надобдающимъ дождемъ своихъ безобразныхъ благодъяній, судя потому, на сколько несчастныя существа, командуемыя ими, надёлены благодътельной природой способностями пріобрътать себъ благорасположение, или обратное чувство со стороны Татьянъ и Лукерій.

Оба эти въ высокой степени интересные субъекты

одинаково подарены Москвъ и вообще всъмъ большимъ городамъ тульскими, коломенскими и, большею частію, ярославскими подгородными слободами. Такъ, молодойли солдаткъ придется не втерпежъ отъ нападковъ мужниной семьи, или, когда, такъ называемая, ухорь-баба наскучитъ носить красные платки отъ своихъ деревенскихъ ребятъ, — сейчасъ же они раннимъ утромъ соберутъ свои пожитки въ одинъ большой холстинный мъшокъ, взвалятъ его на кръпкія плечи и, много не разговаривая, отправляются въ столицу искать между новыми людьми новыхъ работъ и счастья.

При началъ своей карьеры, начинающейся обыкновенно съ кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбѣжно дурѣетъ при видѣ этой всегдашней суетни столичной жизни, которая даже и въ самыхъ тихихъ своихъ омутахъ всегда слишкомъ ръзко бросается въ глаза, дотолъ исключительно смотръвшіе на одив зеленыя деревья и травы, такъ густо опушающія тихія, деревенскія улицы. Долгое время съ крайне-безцъльно, но вмъстъ съ тъмъ напряженно выпученными глазами всматривается баба въ непривычныя жизнен. ныя явленія той области, въ которую занесла ее ея лошадиная судьба и не мало, по ея словамъ, издивляется этимъ явленіямъ. Долго она, какъ дубокъ, пересаженый съ одной почвы на другую, гнется во всъ стороны, поставленная въ необходимость больть отъ той такъ жирно намасленой каши, которою купеческіе дома им'ьють необузданность начинять свою прислугу. Напустившись съ азартомъ голоднаго сельскаго человъка на эту національную сласть, поджаристость которой такъ ясно налощена обильными поливаніями хозяйскаго масла, баба тёмъ скуснёе слизываетъ съ ложки горы лакомаго снадобья, что за обёдомъ вмёсто угрюмыхъ, изработавшихся лицъ своихъ семейскихъ мужиковъ, она видитъ разухабистыхъ Захаровъ въ красныхъ рубахахъ, съ блестящими серьгами въ лёвыхъ ушахъ, веселыхъ Захаровъ, непремённо довольныхъ и собою и хозяйскою кашей, съ глазами, лукаво прищуренными на новую стряпуху, съ бойкой, вырывающей изъ компаніи волны хохота, поговоркой:

«Лей кубышка, поливай кубышка! Не жалъй хозяйскаго добришка!»

выкрикиваетъ удалой Захаръ, любезно знакомясь съ новой сосъдкой, посредствомъ ошарашиванія ее въ бокъ локтемъ.

«Что, спрашиваеть онъ ее при этомъ знаменательномъ поталкиваніи, пріуныла? Аль бы насъ, молодцовъ, не взлюбила? Аль хозяйское добро въ ротъ нейдетъ? Свыкпется, слюбится, стерпится, — на веселье печаль наша смѣнится. Будемъ мы съ тобой жить поживать, добра наживать, да въ кабакъ его на сладкомъ винцъ пропивать. А ты молодецкую ръчь слушать то слушай, а сама не зъвай; видишь, каша-то вся ужъ!..»

«Будетъ тебъ, чортъ, шутки-то шутить!» говорятъ Захару сосъди. «Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще къ нашимъ порядкамъ».

Осмотрѣвшись, Татьяна дѣйствительно видитъ, что каша уже вся въ самомъ дѣлѣ, но ее ни сколько не

печалить это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнъйшая солонина, съ слабымъ подобіемъ которой она во все продолженіе своей сельской жизни знакомилась только по Рождествамъ да по Святымъ, что Татьяна едва на столько можетъ работать своей побъдной головою, чтобы хоть немного удивиться складнымъ разговорамъ шутливаго сосъда. Неудержно клонитъ ее къ сладкому сну въ первый разъ попробованная купецкая трапеза, — лупитъ баба свои большіе сърые глаза, стараясь не показаться соней, лупитъ и ничего не видитъ, прислушивается ко всему самымъ внимательнымъ манеромъ и ничего не слышитъ.

«Что ты, словно идолъ какой, изъ стороны въ сторону мечешься, а настоящаго дёла не дёлаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! кричитъ на нее грозный хозяйскій голосъ. Ну куда тебя черти несутъ? Я тебё велёлъ самоваръ ставить, а тебя шуты-то въ погребицу поволокли!»

«О Господи! потихоньку творитъ молитву сельская дура въ своемъ сонномъ бодрствованіи. Ничего-то я, грѣшная, не слышу. Вотъ они враги-то гдѣ сильные! Не то, что по селамъ...»

Наконецъ оставшійся отъ хозяевъ чай прогоняетъ сонъ кухарки вмѣстѣ съ ея тревожными мыслями. Только въ окиѣ неустанно жужжащія мухи чуть-чуть замѣтно нэрушаютъ ту несмущавшую тишину, которая обыкновенно царствуетъ по купеческимъ кухнямъ въ послѣобѣденное время. Захары всѣ до одного человѣка разошлись, какъ они говорятъ, по своимъ обвязанностямъ,

хозяйское семейство непробудно спить въ прохладныхъ хоромахъ.

«Ничего въ городѣ жисть-то!» думаетъ про себя Татьяна, свободно припоминая въ этой тишинѣ, что, если первый день ея службы принесъ ей нѣкоторое огорченіе, за то онъ принесъ ей и наслажденія, которыхъ она никогда не испытала въ своей убогой, сельской жизни.

Вертить баба передъ жадными глазами кусокъ сахару, и любуясь имъ, съ великимъ удовольствіемъ прощаетъ городскому дню искушенія и нападки, которыми на первый разъ онъ такъ смутилъ простую сельскую душу.

«Запужалась я давича не кстати съ непривычки-то!» развиваетъ Татьяна свою безмолвную думу. «Въ этомъ раю не жить, такъ гдъ-же и жить?» И послъ этого вопроса живо вспоминается ей и завтракъ изъ пшенной каши, вареней на молокъ, въ которомъ плавало коровье масло за нервый сорть, и жирный объдъ съ ухорскими приговорками Захара и настоящій чай. «Бывало, поглядишь только на сахаръ-то, какъ онъ, ровно ранній снъгъ, бълълся въ рукахъ у поповенъ да у дворовыхъ, когда они чай пьють; а теперича на-ка-сь! Въ очью у меня сахаръ-то. Захочу сейчасъ весь кусокъ сгрызу, а захочу, по-немножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумалъ народъ! Толкуютъ по деревнямъ: изъ нъмецкой земли его возять; тамъ его, говорять, изъ собачьихъ костей дълаютъ. Ну, да ничего. Пущай себъ изъ собачьихъ, — окромя какъ одной сласти никакихъ въ немъ костей я не вижу. Полагать надо, врутъ все это, потому народъ по деревнямъ знамо какой, — глупый народъ!...»

Блаженствуя и посмѣиваясь тихомолкомъ, дѣлала Татьяна этотъ первый шагъ на поприщѣ забвенія своей прежней, горемычной жизни, который обыкновенно также незадумавшись дѣлаетъ всякій сельскій человѣкъ, когда хоть чуть-чуть смѣкнетъ, что и на его до извѣстнаго случая тощее тѣло напластываются наслоенія жира и когда почувствуетъ, что и въ далекомъ будущемъ ему предстоитъ полная возможность справлять праздники неуклоннымъ зажариваніемъ жирныхъ кулебякъ и задираніемъ вверхъ носа, одуренно занюхивающагося въ такія времена аромата, который бьетъ отъ новаго китайчатаго кафтана на плечахъ счастливца и отъ его скрипучихъ, смазанныхъ чистымъ смоленскимъ дегтемъ, сапогъ...

И дальше идетъ Татьянина дума, въ первый разъ, можетъ быть, не сдерживаемая ни семейскимъ, ни своимъ убожествомъ:

«Коего шута, прости Господи мою душу грѣшную, давно оттелева я не бѣжала? спрашивала баба съ сильнымъ ожесточеніемъ на свою недогадливость. Есть тутъ кому побранить тебя, за то, по крайности, ты знаешь: не мужикъ тебя сѣрый лаетъ, а хозяинъ-купецъ умуразуму учитъ. Душа, по крайности, за хлѣбомъ-солью у добрыхъ людей отдохнетъ.»

Такимъ образомъ кусокъ сахару изгоняетъ изъ памяти неблагодарной Татьягы ея голодную, сельскую родину. Съ неутомимымъ азартомъ въ первый разъ обла-

сканнаго, хотя и безъ намъренія, русскаго человъка, во весь остальной вечеръ отворачиваетъ она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

Послъ ужина хозяинъ спросилъ свою благовърную:

- Што, баба-то какова? Есть за что хлібомъ кормить?
- Баба, сказываю тебѣ, золото! Воротитъ все до страсти; пыль столбомъ валитъ, какъ она тутъ дѣвствовала, отвѣтила благовѣрная.
- Ну этто чудесно! благодушно говоритъ хозяинъ, засыпая.

Татьяна между тъмъ за кухонной перегородкой свое толковала:

«Наработалась я оченно, говорить, опять же и пища такая, словно въ заговънье, такъ и валить! Господу Богу-то завтра ужъ, видно, и за спанье и за вставанье поутру вразъ помолюсь...»

HOTELDER TO THE THE CONTROL OF THE PROPERTY OF

nen est denne minnen en in benedit de les mannes de man de les men

Тотъ недолгій періодъ времени, въ который Татьяна передълывается изъ купеческой кухарки въ съемщицу комнать спебилью, самый блаженный періодъ въ всей ея жизни, ибо въ это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческимъ домомъ; по всегдашней пословицъ, полнымъ, какъ чаша. Не видавъ никогда ничего изящиве сооруженнаго на медвъжій ладъ хозяйскаго дивана подъ красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, росписанной пузастыми амурами, рогами изобилія, лирами и тому подобными штуками, Татьяна почитаетъ живущихъ въ этомъ домъ не иначе, какъ за мощныхъ своихъ повелителей, могущихъ съ одного маха срубить ей голову и съ одного маха же опять приставить ее къ плечамъ. Слишкомъ кислую и вяжущую оскомину набила Татьянъ сельская ръдька съ сърымъ квасомъ, чтобы ей можно было безъ полнаго благоговънія садиться за воскресный пшеничный пирогъ, отъ котораго такъ пріятно-щекотливо ударяло въ носъ затомленной въ жаркой печи говядиной съ яйцами, съ рисомъ, съ масломъ, съ

лукомъ, — этимъ пріобрѣтающимъ, вслѣдствіе печенія, какую-то неимовѣрно-вкусную сладость, лучкомъ, который въ компаніи съ мелко-намелко растолченнымъ перцемъ составляетъ окончательное украшеніе всякой кулебяки, назначаемой для праздничнаго лакомства вѣрнымъ купецкимъ личардамъ.

Дъвичья свъжесть хозяйской дочери, неизобразимонеуклюжая толщина водовознаго мерена, молчаливая угрюмость самого и крикливо-безалаберная доброта самой—все это, такъ сказать, съ самаго дна Татьяниной души выволакиваетъ искреннія дани всякаго сорта признательностей благодътельной судьбъ за свое счастливое положеніе.

Въками и психологіей освященная поговорка, что человъкъ въ сей жизни, даже находясь на самомъ верху славы и величія, не можетъ быть доволенъ своимъ положеніемъ, сдълалась бы крайне несостоятельною въ глазахъ философа, который бы хоть мелькомъ взглянулъ на Татьяну въ этотъ цвътущій періодъ ея жизни.

- Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! удивлялась какая-нибудь ея деревенская знакомая, сидя у ней въ гостяхъ. Эдакъ ты черезъ силу будешь чугуны-то ворочать, животы, пожалуй, сразу надорвешь.
- Не работала рази я дома-то?—съ сердцемъ спрашивала Татьяна.—Работала, кормилица, по цълымъ днямъ акромя завалящей корки во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь двужильная-неустанная. Здъсь мнъ не въ тягость жить, потому кормъ хорошій, компанія

веселая. Всъ къ тебъ съ добрымъ словомъ, не то чтобы за косы да въ поволочку.

Такимъ образомъ, несмущаемо-довольная своей жирной судьбою, Татьяна съ каждымъ днемъ толстветъ все больше и больше на удивленье и похвальбу честному купецкому міру. Красноватое, въчно-сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступленія въ кухарки, сдълалось теперь мужественно-смуглымъ и довольнымъ, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки ихъ заблистали какимъ-то лукавствомъ, смѣткой какою-то, говорящей какъ будто: «Ну братъ, объегорить меня врядъ-ли удастся тебѣ. За этимъ дѣломъ, другъ ты мой сладкій, приходи къ намъ въ четвергъ послѣ дождичка!...»

«Какъ скоро отъвлась эта Татьяна, братцы мои!» толкують про кухарку ея сожители по кухив, Захары. «Выравнялась баба на удивленье, — гладъть на нее, почитай, нельзя!...»

А Татьяна слушаеть эти ръчи и посмъивается себъ втихомолку. Посмъивается всъмъ этимъ сосъднимъ кучерамъ и проходящимъ солдатамъ, Ликсюй Ликсюичамъ, въчно показывающимъ съ господскаго крыльца свои нъмецкіе сюртуки, и простымъ рабочимъ, гармониками и балалайками оживляющимъ праздничное свободное время, хлещетъ въ глаза своимъ ситцевымъ, разводистымъ сарафаномъ. Смотритъ на нее праздничный народъ, какъ она на лавочкъ у калитки сидитъ, въ пестромъ шерстяномъ платкъ, въ бълой кисейной рубахъ, отъ которой на бълыя руки пышные рукава ръчною волной упа-

даютъ, — смотритъ и сквозь зубы съ тяжкимъ вздохомъ цёдитъ:

— Н-ну! Эдакая баба хоть кого изъ нашего брата на чужой сторонъ сбережетъ!...

А Татьяна на всѣ эти штуки бровью даже черною не ведетъ.

- Будетъ тебъ, шарамыжникъ, разговоры-то разговаривать! обыкновенно отвъчала она какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу, когда онъ растолковывалъ ей о прелестяхъ совершающихся въ полнивной его, будто бы, закадычнаго друга и односельца. Знаемъ мы, какой онъ тебъ другъ-то: кабы онъ тебъ другъ былъ, не пустилъ бы тебя безъ сапогъ намедни.
- Дура! презрительно отзывался лихачь о Татьянь, когда она напоминала ему о песчастномь, хотя и дъйствительномь случав, когда односелець-полнивникъ стянуль съ него сапоги за нъкоторыя бутылки, превышавшія праздничный бюджеть лихача.

Татьяна не оставалась въ долгу у лихача.

— Сволочь! — отвъчала она ему съ насмъшливымъ презръніемъ, и тутъ же тонкимъ, заунывнымъ голосомъ затягивала какую - нибудь пъсню своей, съ каждымъ днемъ все больше и больше забываемой родины.

Много мужскихъ и женскихъ ретивыхъ сердецъ, тоже, какъ и Татьяна, отдыхавшихъ на улицъ святымъ праздничнимъ временемъ, слушая ее мастерскую пъсню, вспоминаютъ тогда о томъ, какими теперь разноцвътными лентами развиваются по родимымъ оставленнымъ улицамъ знакомые хороводы; на чужой дальней сторонушкъ въявь слышатся имъ родные голоса, предъ глазами медленно хлещутъ, усмиренные предъ вечерней тишиной, волны ръчныя, за ними зеленъется лъсъ, а тамъ разстилаются кормилицы-поля— и вотъ изъ сосъднихъ домовъ одинъ за однимъ подходитъ народъ къ Татьянъ, какъ первой пъсенницъ квартала.

— Не полегче-ли душѣ будетъ, какъ пѣсню другую сыграешь; а то признаться, такъ сердце для праздника защемило—страсть! Три года вотъ уже домой не соберуся никакъ, —толкуютъ Татьянѣ подходящіе сосѣди.

Слово за слово, пѣсня за пѣсней и невидимо какъ приблизился темный вечеръ, въ который еще грустиѣе дѣлается отъ этихъ скорбныхъ аховъ и оховъ нашей пародной пѣсни. Слушалъ, слушалъ ее съ балкона, вплоть закрытаго плющемъ и маркизами, молодой сосѣдъ, богатый купецъ и не вытерпѣлъ, чтобы не вскрикнуть:

— Будетъ вамъ, ребята, душу тянуть изъ меня. Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь, я вамъ сейчасъ водки и пять цёлковыхъ пришлю.

На долю Татьяны досталось изъ этихъ денегъ три двугривенныхъ. И часто такіе случаи выпадали. Деньга валила къ Татьянъ невидимо: нашила она себъ цвътныхъ сарафановъ, тонкихъ, кисейныхъ рубахъ, накупила поволоченныхъ перстней съ свътлыми каменными глазками — и непрерывно блаженствуетъ, потому что, хотя и по немаломъ приставаніи, однакоже одинъ изъ самыхъ заухабистыхъ, самымъ неотвязнымъ образомъ

ухаживавшихъ за ней, Захаровъ, наконецъ-таки покорилъ ея долго нечувствительное сердце, и съ большимъ парадомъ водилъ ее, что называется, въ дребезги расфуфыренную въ полпивную, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

- Гдѣ ты ворожов такой научился, бабу эту лютую къ себѣ присушилъ? спрашивали у счастливца его пріятели лихачи, истратившіе нѣкогда много пятиалтынныхъ на безплодное угощенье Татьяны пряниками и орѣхами.
- А всей моей ворожбы и было только, что красота да удаль наша молодецкая! хвастливо отвъчалъ За-харъ.
- Теперь съ этой самой бабой въ жисть мою не разстанусь. Сказываютъ, отецъ тамъ женить меня на какой-то сельской дуръ собирается. Только онъ это, надо полагать, затъваетъ напрасно, потому я теперь всякаго горя ему за это надълать могу...
- Быль такой слухъ и у насъ на фабрикъ, коварно передаютъ Захару завистливые пріятели про небывалый слухъ.
- И у васъ ужъ знаютъ? азартно спрашиваетъ Захаръ. Значитъ старый-то тамъ не шутки шутитъ. Только вотъ праздникъ теперь у насъ братцы, не дастъ мнъ тотъ праздникъ соврать; а я вамъ, молодцы, говорю, ничего со мной старикъ въ этотъ разъ не подълаетъ, потому я въ солдаты, и она за мной... Такъ ли говорю, Татъяна?
 - Милый ты мой, золотой ты мой! тихонько го-

воритъ Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезнаго, который неоднократно уже порывался разорвать на себъ красную рубаху, для того, чтобы видъли и върили люди, что онъ теперь противъ отцова желанья неудержно пойдетъ...

И на этомъ пути, какъ видно, Татьянъ везло. Сынъ за свою любушку возсталъ противъ своего сердитаго отца, завътъ родителей, учившихъ его при отпускъ изъ дома — противъ женской красоты воевать неуклонно — забылъ, на ея красоту глядючи, а теперь при одномъ слухъ только, что отецъ подыскиваетъ ему разлучницу, по цълымъ днямъ кипитъ и горюетъ своей молодою душою.

Но недаромъ играется въ пъснъ, что

«Сладки яства прівдаются Красны платья скоро носятся».

Раздобръла Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрълъ на нее, непремънно говорилъ:

«Ну, ужъ съ этимъ тѣломъ бельше ничего не подѣлаешь. Раскормить его, чтобы оно было бѣлѣе и толще, никакой пищею невозможно.»

Лишь только увидала себя Татьяна въ такомъ положеніи, сейчась же тоска на нее напала великая, и принялась она въ этой тоскъ ныть и съ хозяевами, какъ говорится, храпъть, то-есть, зубъ-за-зубъ. Ей кто-нибудь слово скажетъ, а она на это слово десять своихъ въ отвътъ, да такихъ, что каждое изъ этихъ словъ всякаго человъка по лбу, словно обухомъ, ошарашивало.

— Что это какая у насъ Татьяна брехучая сдёла-

лась? — удивляются промежь себя хозяева. — Прежде, бывало, водой не замутить, а теперь слова сказать нельзя. Къ работъ рукъ не прикладываетъ. «Я, говоритъ, въ кръпость вамъ еще не продавалась.» Ужъ не прогнать ли ее?

— Посгоди маленько прогонять-то, — вступался самъ. — Рази не видишь, баба съ жиру сбъсилась.. Это съ многими на моихъ глазахъ было; это у насъ въ Расеъ, словно больсть какая, по народу ходитъ. Ты вотъ посгоди: я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее бездълицу, чтобы не завдалась. Ежели съ этого не пройдетъ, тогда гони, потому самый она тогда пропащій человъкъ выдетъ...

А Татьяна между тъмъ свое разговариваетъ:

— Что это, — говоритъ, — Господи, долю Ты миъ какую послалъ горемычную? Весь въкъ свой все я изъза чужихъ рукъ выглядываю. Ни тебъ куска въ ротъ по своей волъ нельзя положить, ни спокою никогда, какъ у добрыхъ людей не бываетъ!...

А тутъ эти разныя странпицы и салопницы, ожидающія въ кухнъ хозяйскаго подаянія, еще пуще разжигаютъ горюющую бабу.

- А ты, жалостливо толкують онв Татьянв, смирись. Хошь и трудно тебв съ сердцемъ своимъ совладъть, а все же смирись, потому Господь-Богъ все видитъ.
- Милая ты моя! вскрикиваетъ кухарка, ободренная этой поблажкой. Стараюсь въдь я всячески для нихъ, ничего не подълаешь! Все пуще меня злость раз-

бираетъ, глядючи на ихъ безурядье; а вѣдь они тоже носы-то вонъ куда задираютъ, словно господа какіе! Мы, говорятъ, купцы. Грубить будешь, фартальному подарокъ пошлемъ, онъ тебя въ полиціи отдеретъ... Вѣдь вонъ они черти какіе!

— Охъ жалость меня на тебя разбираетъ, Татьянушка! Сдѣлайка-ты вотъ по моему совѣту: на-ка тебѣ вотъ эту самую травку и положи ты ее, мать моя, подъ изголовье къ самой, авось, можетъ, перестанетъ она на тебя лютовать. Самъ-отъ — ничего, все молчитъ; а она, охъ какая подхалима бабенка! опять же и злющая! Третьево дня сижу у ней, а она мнъ и говоритъ: «что мнъ только съ этой змѣищей-Танькой дѣлать? ума не приложу!...»

Но всёхъ больше поджигала Татьяну московская солдатка, давнишняя содержательница комнать спебилью. Прошедшая огонь и воду и кромё того всё тридцать-четыре
мытарства, бабенка эта познакомилась съ Татьяной слёдующимъ курьезнымъ образомъ: разъ какъ-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученныя впередъ отъ жильцовъ, шаталась по рынку съ
кулькомъ и съ хлёбными крошками въ карманѣ, вмёсто денегъ. Притыкалась она то къ одному, то къ другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселой шуткой взять, только время подходило
уже къ объду, а коммерсантка кромѣ какъ, по ея словамъ, одного невъжества, ничего къ объду пріобръсть
отъ торговыхъ людей не могла.

Тяжелая мысль быть пробранной за неприготовление

объда голодными жильцами, а паче того отставнымъ поручикомъ Бжебжицкимъ—сорви-головой, поселившимся съ бою въ лучшей комнатъ, засъла въ мозгъ бабы и мучительно сверлитъ его.

«Рази не убъчь ли мив па нынвшній день куда нибудь?» думаєть пугливая баба. «Завтра, можеть, достану гдв-нибудь деньжонокь, такъ пироговъ имъ нанеку, а барину-то акромв еще полуштофъ поставлю, воть онъ и смилуется.»

А Татьяна между тъмъ пылала въ это время желаніемъ знакомства съ какой-нибудь благородной женщиной, приказницей что ли какою, которая бы ходила въ чепцъ и въ нъмецкомъ платьъ. Коммерсантка въ этомъ случав какъ разъ удовлетворяла своей особой аристократическимъ татьянинымъ стремленіямъ. Плюгавая и сморщенная по физической природъ своей, она тъмъ не менће всегда съ особою бойкостью юлила около людей, которыхъ судьба посылала ей въ кормилицы и поильцы. Шикъ, съ которымъ она донашивала старыя платья и чепцы, какими снабжали ее различныя вътреныя, но великодушныя Лизетты, постоянно во времена какойнибудь невзгоды, наполнявшія ея комнаты снебилью, быль неподражаемь. Этоть шикъ свойственъ только тъмъ немногимъ бъднымъ созданіямъ обоего пола, которыхъ судьба взяла, какъ объ этомъ говорится, отъ сохи на время и поселила въ столицъ. Поселила она ихъ въ столицѣ и щедро разсыпала предъ ихъ деревенскими и, леловательно, простоватыми глазами всю изящную росчошь цивилизованнаго города, - и вотъ смотритъ-смотритъ на эту роскошь какой-нибудь красивый русскій парень, толкнутый барской рукой въ слесаря, — и вдругъ ни съ того, ни съ сего пропиваетъ свою праздничную поддевку, сшитую дома и покупаетъ на толкучкъ какое нибудь жалкое подобіе сюртука и говоритъ про себя, любовно оглядываясь въ тусклое зеркало вонючей харчевии:

«Вотъ когда мы зафрантили-то!... Сейчасъ умереть, на деревит меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому, какъ есть, нтмцемъ сталъ!..

Трудно вообразить себѣ что-нибудь жалче такого молодца, когда онъ въ какой-нибудь праздникъ идетъ въ своемъ новокупленномъ нарядѣ съ таліей, большею частію болтающейся по пяткамъ, въ русскихъ сапогахъ съ длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннѣйшіе штанишки. Суконный, замаслянный жилетъ съ пуговицами въ два ряда, съ бортами, лежащими на груди въ видѣ какихъ-то собачьихъ ушей и красный ситцевый галстукъ, обверченный на шеѣ раза три, окончательно довершаютъ сходство новорожденнаго нѣмца съ коровой въ сѣдлѣ. А если нѣмецъ къ этому прибавитъ еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развѣситъ толстую бронзовую цѣпочку отъ томпаковой луковицы, тогда, по-истинѣ, чудеса всего міра не представятъ вамъ ничего комичнѣе этого зрѣлища.

Почти одинаковыя комедіи разыгрываются и бабами, кухарствующими въ столицахъ. Ихъ коленкоровые чепцы съ густыми фалбарами, ихъ собственноручно устанные кринолины приводятъ въ несказанный ужасъ

тъ сердца, которыя самымъ кавалерскимъ образомъ относятся къ человъческому роду.

«Господи!» восклицаеть даже и такое сердце при взглядь на сельскую бабу въ праздничномъ измецкомъ платьь. «Зришь же ты, Боже, неуклюжесть эту слоновую и не метешь ее съ прекраснаго лица земли!...»

Ощущая въ себъ неодолимое желаніе уважать такіе чепцы и такіе кринолины, Татьяна долгое время искала себъ женщину, которая бы могла ей перестроитъ ея сарафаны на платья, помогла соорудить кринолинъ и сшить чепецъ. Въ этихъ видахъ, она, встръчаясь съ коммерсанткой на рынкъ, всегда привътствовала ее низкимъ поклономъ и пожеланіемъ добраго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должнаго вниманія этимъ поклонамъ и пожеланіямъ, ибо связываться со всякою деревенскою швалью было ръшительно внъ ея цивилизованно-плутоватыхъ нравовъ.

Но въ описываемое утро, когда коммерсантка приставала съ своими просьбами о говядинѣ къ невѣжественнымъ торгашамъ, когда въ ея неоднократно напуганномъ воображеніи проносился грозный образъ отставнаго поручика Бжебжицкаго, съ длиннымъ чубукомъ въ красныхъ рукахъ, требовавшій отъ нея обѣдъ, или жизнь, въ тѣ, говорю, горестные моменты, появленіе на рынкѣ Татьяны, какъ и всегда смиренно и непрошенно раскланивавшейся, сразу усмирило тревожную душу недоступной до сихъ поръ коммерсантки. Маленькая и такъ сказать, чепцоватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицкимъ, подбѣжала къ Татьянѣ дружелюбной иноходью и зава-

зала съ ней разговоръ слъдующаго великосвътскаго свойства:

- Здраствуй, здраствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?
- Да что, сударыня! отвътила Татьяна съ досадой. — Про моихъ идоловъ и разговора нечего заводить. Поъдомъ они меня съъли.

Концомъ этого разговора былъ заемъ въ рубль серебромъ, который коммерсантка мимоходомъ, какъ бы, перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заемъ не такая великая вещь, чтобы о немъ нужно было очень много распространяться; по съ него начинается эпоха стремленій Татьяны къ кофе въ накладку, начинаются ея знакомства съ различными барышнями, жилицами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками безъ мъстъ, сиротами полковника, или даже генерала и, въ крайнемъ только случав, вдовами раззорившихся, но нъкогда первогильдейскихъ купцовъ.

- Какъ мы съ тятенькой въ Орлѣ жили, такъ это даже страсти! говоритъ генеральская сирота, перекраивая Татьянинъ сарафанъ на платье. Былъ тятенька мой, Татьянушка, первымъ лицемъ въ городѣ. Всъ господа въ гости къ намъ ѣздили и мы ко всѣмъ ѣздили.
- Торговали мы, милая Татьяна Лексвевна, въ другое время растолковываетъ ей вдова раззорившагося милліонера: — краснымъ товаромъ. Было, можетъ, его, краснаго-то товару въ нашихъ лавкахъ на нъсколько

милліонтовъ... вотъ какъ! А теперь, сама видишь, какое горе терплю, и все мив Господь помогаетъ за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Однимъ словомъ, всъ эти чужелдныя растенія на перебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаемъ, кофіемъ и занимать у ней часика на два, на три по рублю.

Слушаетъ Татьяна барскіе, по ея мнѣнію, разсказы съ благовѣйно-выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами сочувствуетъ несчастіямъ, нѣкогда столь вельможныхъ барышень, терпѣливо жгется ихъ горячимъ кофе, не задумываясь одѣляетъ ихъ рублями, зажитыми въ долгой и трудной службѣ идоламъ-купцамъ и наконецъ, дошла до того, что однажды сама разсказала захожей богомолкѣ, когда никого не было въ хозяйской кухнѣ, что она офицерская жена, что ей, по настоящему, барыней быть слѣдуетъ — и была барыней, долгое время была, и именно до тѣхъ самыхъ поръ пока не запилъ ея мужъ офицеръ и не пропалъ безъ вѣсти.

— Толкуютъ, — закончила Татьяна удивленной и собользновавшей о ея горъ богомолкъ: — въ большихъ теперь чинахъ мужъ. Самъ, говоритъ, главный начальникъ за его усердную службу (въ недавнемъ времени слухи были объ эвтомъ), тремя рублями изъ своихъ енеральскихъ рукъ наградилъ...

Что именно заставило Татьяну соврать такимъ образомъ, до сихъ поръ неизвъстно. Извъстно только то, что вольная жизнь комнатъ снебилью, которой Татьяна насмотрѣлась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купецкой кухни ей опротивѣла, какъ говорится, вдосталь.

Не стерпъвши, наконецъ, постоянно-нахмуреннаго мурла своей кухарки, самъ однажды сказалъ Татьянъ:

- Ты што же это, Татьяна Лексвевна, рыло то воротишь, словно медвъдь? Али много жира съ хозяйскимъ хлъбомъ завела?
- Съ твоихъ-то хлъбовъ и заведешь жира? басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь въ кухню.
- Стой-ка, стой мать! не совсъмъ еще прогнъвившись останавливалъ ее самъ: — Што ты въ самомъдълъ не свое на себя берешь: ужь не поутюжить ли мнъ тебя, барыня! Не поумнъешь-ли, авось, хошь съ моей-то легкой руки?

Говоритъ это самъ благодушно и тихо посмъиваясь и бороду разглаживая, потому зналъ Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотълъ. Думалъ, что отъ однихъ добрыхъ словъ очувствуется.

— Ученаго учить, что портить! — возговорила Татьяна на ласковыя хозяйскія ръчи. — Своихъ дураковъ полны горницы, ихъ бы перва-на-перва поучилъ.

Тутъ хозяинъ не стерпълъ и далъ Татьянъ тумака, сначала въ затылокъ, а потомъ въ бокъ. Татьяна во все свое звонкое горло закричала караулъ и стремглавъ бросилась въ фарталъ.

Особенно уголовнаго дѣла по случаю татьяниной жалобы не затѣялось. На утро только квартальный пришель къ самому съ визитомъ, потолковалъ съ ним немного, получилъ отъ купца про свои домашніе объ ходишки десять рублишковъ и посовътывалъ прогнат со двора кляузницу-кухарку.

— На всю улицу орала Татьяна, когда самъ прог налъ ее; гвалтъ, съ которымъ Захары толкали ее, по хозяйскому приказу въ три-шеи, собралъ къ купеческому дому много народа; а вскоръ послъ этого, на воротахъ одного разваливающагося и мрачнаго деревяннаго дома на Сивцевомъ Вражкъ, запестрълся билетъ, гласившій слъдующее:

«Сдесь адаюца комнаты састыломь испебилью вхоть, налева фперваю лесницу».

Эти комнаты снебилью оборудовала Татьянъ опытная въ дълахъ подобнаго рода коммерсантка.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Andre denarial else a draugare af analise eryl de angres de angres de angres

Comming of the state of the second of the se

to or oungen tological count order from

- a station of anothers

Спаси васъ отъ нихъ Богъ, бъдные люди!

paritisch kurnennen all aponies und robonnen arten.

обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины ком-

ROTO: INAVIA SAMPROMON TOOD ATSHIRL ON DESCRIPTION

Этотъ домъ, въ которомъ расположилась Татьяна, биткомъ набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными съ ногъ до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, — этотъ домъ, говорю, загудълъ и заоралъ еще громче и безалабернъе, чъмъ гудълъ и оралъ онъ до водворенія въ немъ съемщицы комнатъ снебилью. Маленькіе мастеровые ребятенки, прежде мелькавшіе въ кабакъ и въ мелочную давочку, примърно, по десяти разъ въ день, теперь бъгали въ означенныя мъста непремънно разъ по пятнадцати; ибо прапорщикъ Бжебжицкій, день и ночь лупившійся въ штоссъ съ своими закадыками, въ то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогій одръ Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидываль следующіе фокусы. Отворивши окно своей квартиры, онъ зычно обращался къ ребятенкамъ-ученикамъ, которые, какъ извъстно, осень и лъто спять по

разнымъ дыркамъ въ дровахъ, въ холодныхъ чуланахъ, на съновалахъ съ хозяйскимъ кучеромъ и проч. и проч.

— Эй вы, чертенята! — ораль Бжебжицкій. — Куда вы застряли тамь, бъсовы дътки? Ежели кто изъ вась достанеть мнъ сію минуту штофъ водки, пять селедокъ и луку, тотъ получить отъ меня пятачочь. Жива-а!

Въ тотъ же моментъ бездушная, но громадная масса дровъ, сложенная подъ окнами прапорщика, обнаруживала нѣкоторую жизнь. Въ этой полночной тишипѣ, которая даже подчиняетъ себѣ немолчный шумъ столицъ и большихъ геродовъ вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало, — и вотъ предъ усастымъ лицомъ отставного военнаго предсталъ всѣхъ и всегда слушающійся духъ, въ видѣ нѣкотораго маловозрастнаго халатника, съ бѣлокурыми шаршавыми волосами, съ молодымъ личикомъ, отчетливо изрисованнымъ пріобрѣтенною въ городѣ плутоватостью и неудержимой охотой пріобрѣтать отъ тароватаго столичнаго населенія пятачки и гривеннички, которые такъ обильно вознаграждаютъ скупендряйство и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ суету хозяйскихъ обѣдовъ и ужиновъ.

Предсталъ этотъ духъ и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на мъстъ босыми ногами, доложилъ прапорщику:

— Я эфто дъло-съ, ваше в-діе, вамъ въ точности обородую, потому какъ я служу-съ вашимъ б-мъ върно-съ... Лавочникъ Митрій-съ сказалъ мнъ-съ: въ полночь ко мнъ стучись. Обиженъ не будешь.

Смъстся мальчишка и, говоря эти слова, какъ-то внаменательно топчется.

- Молодецъ парнёкъ! похвалили его изъ-за картъ юнкера и прапорщики и вообще всѣ тѣ московскія полночныя совы, которыя проявляютъ свою дѣятельность по разнымъ закоулкамъ преимущественно въ ночное время, потому что днемъ она слишкомъ ярко и ослѣпительно бросалась бы въ глаза остальному обществу.
- Я вамъ, в-діе, все могу-съ... Теперича у насъ въ мастерской есть большіе ребята, ну они того не могуть сдёлать, что я могу, потому я все равно, какъ взрослый какой! Водку я тоже могу...
- Неужели и водку можешь? освъдомилась у ребенка пьяная компанія.
- Сейчасъ издохнуть могу! Что жъ такое? Мић это все ни почемъ. У насъ, ваше в-діе, весь родъ такой: три брата здѣсь на мастерствѣ пропали, отецъ пропалъ, двое дядей, материнъ племянникъ, такъ всѣ тутъ до единаго лоскомъ и легли. Наши сельскіе говорятъ: это они отъ большого ума запились...

Послъ такой семейной характеристики, прапорщикъ еще усилениъе принялся хвалить доблестнаго парнишку; но тъмъ не менъе когда парнишка раздобылъ штофъ, селедокъ и луку, заслуга его была награждена вовсе не пятачкомъ, а просто-на-просто шутливою трепкой, потому что, какъ самъ Бжебжицкій, такъ и его компанія давно уже метали и понтировали на счетъ его сіятельства графа Шереметева, т. е: «я вотъ, любезный другъ, сотру тебъ два милліона, шесть сотъ семъ

десять четыре тысячи, а ты посылай за свѣчкой—и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный другь отвѣчаеть: «Нѣтъ ужъ посылай за свѣчкою самъ, а запись я тебѣ въ непродолжительномъ времени сполна уплачу.»

На другую ночь прапорщикъ тщетно оглашалъ предутреннюю тишину спавшаго дома, призывая какого нибудь субъекта, годнаго къ пріобратенію водки въ незаконные часы. Ночь отвъчала ему однимъ только даемъ пугливой и крайне впрочемъ задорной болонки, принадлежавшей одной изъ безчисленныхъ полковничыхъ дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоемъ съ нъкоторой несчастной дъвицей, отошедшей, какъ она говорила, отъ отличнаго мъста собственно какъ за свою честь и за халуйское обхождение съ нею хозяйскаго сына, восемнадцятилътняго гимназиста. Такъ одинъ только дай болонки отвъчалъ на возгласы Бжебжицкаго, да изръдка перешоптывались между собою конурки, образовавшіяся въ дровахъ, конурки подлісничныя, закоулки въ извилинахъ галлереи, опоясавшей весь домъ и верхушки конюшенъ.

- Это вчерашній баринъ-то покрикиваеть? слышался шопотъ съ чердака одноэтажной красильни.
- Спи, молчи, покуда онъ тебя не подиялъ. Бъдовый! — говоритъ другой шепчущій голось съ съновала; но говоритъ такъ тихо, что можно было подумать, что это зашуршало съно подъ легкими ногами испуганной полночною силой кошки.
- A, бъсы! гремитъ проигравшійся воинъ съ третьяго этажа. — Да дозовусь ли я какую нибудь шель-

му?—спрашиваетъ онъ наконецъ, грузно сходя съ деревянной, скринящей лъстницы. — Гдъ вы тутъ, ракальи? — и при этомъ онъ быстро запускаетъ руку въ подлъсничную конурку и вытаскиваетъ оттуда нъкотораго заспаннаго и малолътняго артиста по сапожной части.

- Ты чтоже это, канальчонокъ, такъ кръпко дрыхнешь? Не слыхалъ развъ, какъ я тебя звалъ, шельменышь ты эдакой.
- Я думалъ, баринъ, что вы это не меня кличите...
- Цыцъ! Тебя или другого, все равно. Сейчасъ долженъ бъжать, какъ только заслышишь мой голосъ. Маршъ въ кабакъ. Штофъ очищенной и дюжину баварскаго. Да не забудь смотри: фрицовской фабрикаціи спрашивай.
- Это, сударь, Ванюшка па эфти дёла ходокъ, а пе я. У него вся родня такая!... Вся она у него на эфтихъ дёлахъ безъ остатку сгасла, говорилъ испуганный мальчикъ. Вонъ, вонъ онъ убёжать хочетъ отъ васъ изъ дровъ. Заслышалъ, что я про него вамъсказываю, и убёжалъ.
- Веди меня къ пему, куда опъ убъжалъ! Я ему покажу. Ахъ шельмы! Ахъ канальи! Проливай послъ этого за нихъ свою кровь! шутилъ Бжебжицкій, и компанія, смотръвшая изъ оконъ на его экспедицію, вторила его шуткамъ громкимъ смъхомъ, произительно скандализировавшимъ ночную тишину.

И тутъ же въ довершение эффекта раздается звонкий крикъ вчерашняго шаршаваго мальчишки, котораго фемоск. нор. и трущ.

одальный прапорщикъ насильно протискиваетъ въ кабакъ.

- Не пойду, не пойду, кричитъ ребенокъ. Что я вамъ буду ходить-то? Колотить-то меня и безъ васъ разъ сто въ день колотятъ.
- А вотъ тебъ, ракалія, сто первый! Вотъ тебъ сто первый! Пойдешь?
- Не пойду. Бейте: я въдь терпъливъ. Меня этимъ, небойсь, не изнимете.
- Врешь-пойдешь! Врре-е-шь пойдешь! Ну говори: пойдешь теперь?
- Пойду, пойду, баринъ! Сейчасъ летомъ полечу, пустите только...
- ничъмъ не изнимещь. Ну, бъжи же да смотри: у меня не зъвать!

Въ это время, словно изъ какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потомъ голосъ дворника:

- У насъ, ваше б-діе, не такой домъ, чтобы въ немъ буянить! Буянство въ немъ тоже не дозволяютъ...
- Ш-што?—спросиль прапорщикъ. Выилыви, каналья, на свъжую воду, я на тебя погляжу...

Дворникъ моментально скрылся послѣ этого столь законнаго желанія, выраженнаго непобъдимымъ воиномъ; а шаршавый паренекъ, родъ котораго безъ остатка угасъ въ московскомъ мастерствъ, благополучно прошмыгнулъ въ калитку.

— Я тебъ въ первый и въ послъдній разъ говорю, —

протяжно толковаль на дворѣ Бжебжицкій оставившему поле битвы дворнику,—у меня, брать, руки по швамь. Я, брать, не люблю. Я, любезный другь, прямо тебѣ скажу: никакія мордасы мнѣ сопротивляться не въ силахъ. Вотъ что!

И все, что было живого въ домѣ, навсегда запамятовало эти заключительныя слова браваго солдата, какъ самъ себя называлъ прапорщикъ; такъ что послѣ этого изреченія не находилось ему пи спорпика, ни поборника въ цѣломъ кварталѣ и даже въ близь лежащихъ окрестностяхъ. Пошло, слѣдовательно, дѣло такимъ образомъ, что не только приказанія самого прапорщика безпрекословно исполнялись мастеровымъ населеніемъ дома, но даже и приказанія протежируемыхъ имъ полковничьихъ дочерей, безмѣстныхъ гувернантокъ, несчастныхъ дѣвицъ и разорившихся милліонерокъ-купчихъ, которыя не удержимыми волнами влились въ Татьянины компаты спебилью.

Въ окнахъ швейной и цвъточныхъ мастерскихъ, помъщавшихся на томъ же дворъ, показались толстыя коленкоровыя шторы; но когда эти шторы оказались безсильными сдерживать натиски Бжебжицкаго и Ко, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными ръшетками. Но изобрътательность Татьяниныхъ жильцовъ проникла и сквозь эти ръшетки, такъ что въ прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этихъ красильщиковъ и портныхъ, кузнецовъ и цвъточницъ, швей и сапожниковъ, до краевъ зачерпывался тъсный дворъ многотрудящагося дома, — въ эти вечера, сдёлавшіеся послі Татьяниныхъ комнатъ какими-то грустно-тихими, очеш не рёдко разыгрывались тё едва примётныя въ оглушительно-шумящемъ кипяткё столичной жизни драмы, которыя ложно направленныя общества съ плутоватоснисходительными улыбками называютъ обыкновенными, но отъ которыхъ, тёмъ не менёе, такъ мучительно скорбитъ всякое новое сердце.

- Лукерья! говориль кухаркь одинь бородатый юноша. Подай свычи, да ежели Дуняша изъ цвыточной прибыть, скажи ей, что меня дома ныть. Тетинька, моль, къ нему съ машины неожиданно прібхала. Ни подъ какимъ видомъ не пускай. Понимаешь?
- Проказникъ вы, Петръ Лукичъ! улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.
- Что?—въ свою очередь освъдомилется Бжебжицкій, промывая горячимъ часмъ длинный черешневый чубукъ.—Върно: цвъли, цвъли цвътики, да поблекли?
- Коммиссія!—отвъчаетъ борода. Не знаю, какъ отвязаться. Плачетъ, какъ ръка льется. Почемъ? Сего никто понять не въ состоянія.
- А вы ее за слезы-то, взяли бы за бълы руки, да за длинный хвостъ, да на лъстницу. А то не знаетъ, какъ отвязаться! поучительно наставляетъ Бжебжицкій юную бороду. А позвольте узнать чинъ, имя, фамилію и состояніе особы, находящейся у васъ въ настоящее мгновеніе?
- Тише! шепчетъ юный. Это такая исторія, такая странная исторія! Вотъ смотрите: дала сейчась

двадцать пять серебромъ и приказала за ужиномъ посылать.

- Отцы мои! ужаснулся Бжебжицкій. Ну-ка покажите деньги-то? Такъ, такъ: денозитка на яву. Такъ я, другъ мой, въ моментъ распоряжусь ужиномъ. Только вотъ одежонку накину.
- Смотрите только, трепещетъ юноша, не просадите въ билліардной. Осрамите меня.
- Полно, пожалуйста. Что я за дуракъ такой? Этими страниыми, какъ вы ихъ называете, исторіями иужно пользоваться, да пользоваться. Тутъ протекція можетъ быть. Тутъ, чёмъ чортъ не шутитъ! Городничество чудесное можно съ одного выстрёла зацёпить. Такихъ чудесъ-то иные люди во всю жизиъ стараются достичь да не достигаютъ. Вотъ что! Такъ я живо сооружу трапезу. У меня тоже, какъ у онамедининяго мальчишки, весь родъ на этомъ мастерствъ угасъ.
- Лукерьюшка? Дома Петръ Лукичъ? спрашиваетъ цвъточница Дуняша про бородатаго счастливца. На силу-то я къ вамъ урбалась отъ хозяйки. Дай, молъ, пойду вечерокъ скоротаю.
- Охъ, дъвушка, дъвушка! грустно сказала Лукерья. — Чуть-ли не пришель конецъ вечерки-то тебъ у насъ коротать. Не велълъ въдь твой дома сказываться. «Скажи», говоритъ, «ей-что ко миъ тетка пріъхала». А какая она, чортъ тетка? Расфуфырена точно до страсти, аки барыня какая большая! Въ третій разъ ужъ гоститъ у него.

[—] Чго же она и теперича у него сидитъ? — тороп-

ливо выпытываетъ Дуняша, побълъвши всъмъ своим румянымъ шестнадцатилътнимъ личикомъ.

— И теперь сидить. Барина-то того прощалыжная за ужиномъ въ расторацыю услали. Онъ тоже, баринъ-то этотъ, любитъ на чужбинку-то. У него губа-то, я теб скажу, ровно-бы у заправскаго господина на барскія-т кушанья оттопырена.

Но Дуняшу уже не занималъ кухаркинъ разсказъ пр прапорщичью, оттопыренную на маіорскій манеръ, губу. Не сморгнувъ смотритъ опа на кухарку и, какъ би ждетъ отъ ней чего нибудь болье интереснаго; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялас загадывать на засаленныхъ картахъ про ижкоего разбойничка-солдатика, который ушелъ куда-то въ далекі походъ, занявши у ней предварительно на самый короткій срокъ красную бумагу въ десять рублевъ цьнностью.

- Чортъ его, прости мою душу грѣшную, Господи, знаетъ! шептала Лукерья, пристально разсматрива карты. Вотъ вѣдь и дорога ему лежитъ въ бубновой крали вышелъ; а все не несетъ его нечистая сила Черти эти люди-то, грабители! Такъ-то-сь! закончил она и благодушно перекрестила сладко зѣвнувшій ротъ.
- Такъ что же, Лукерьюшка? Какъ онъ тебъ сказалъ-то?—снова начала Дуняша. Такъ и приказалъ что, дескать, не пускай ее: меня, молъ, дома нътъ?
- Такъ и сказалъ, другъ сердечный! Только ты н убивайся. Что убиваться-то по этимъ мужикамъ? Об

манщики они, Ироды! у меня вотъ тоже Максимъ, ундеръ изъ дена, бралъ красную-то бумагу, даже божился, все говорилъ: «Глаза лопии, черезъ недълю сполна принесу!» Теперь вотъ третій годъ ужь пошелъ, какъ онъ носитъ деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнутъ у него за это бъльмы-то его собачьи? Лопнутъ. Утробато ненасытная, и то, можетъ, лопнстъ. О, чтобъ ихъ всъхъ порастрескало проклятыхъ этихъ мужиковъ! Умъютъ они нашу сестру объегоривать.

- А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидитъ? еще разъ переспросила Дуняша.
- Что жъ я тебъ, дура, врать что ли стану?—съ досадой отвътила Лукерья.—Что я его, кобеля борзаго, укрывать-то нанялась, что ли?
- Ахъ я разнесчастная, разнесчастная! вдругъ вскрикнула Дуняша, вцъпившись руками въ свои волосы. Дай же я брошусь на нее, на разлучицу мою лютую! дай же я ей ясные ея глаза своими когтями выковырну! И съ этими словами она бросилась къ запертой двери и ударила въ нее и обоими кулаками, и головой, и кръпкою грудью.
- Что ты, что ты, безпутница, дѣлаешь? закричала Лукерья, бросившись въ слѣдъ за обезумѣвшей дѣвушкой.
- Куды-те, полоумную, шуты несутъ?— кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее изъ своей коморки.
- Что тутъ такое? что тутъ такое?—пугливо освъдомлялась красивая полная барыня изъ-за чуть раство-

ренной комнаты своего любезнаго бородача, сверкая зо лотою часовой цёпочкой, развёшенной на груди въ вид адъютантскихъ эксельбантовъ.

- Это пичего, сударыня! это у насъ больная есть, говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцамъ на добно дёлать всякое удовольствіе и послугу.
- Же лонеръ, мадамъ! Милль пардонъ, мадамъ!— расшаркивался воротившійся изъ трактира Бжебжицкій и достаточно уже хватившій для смълости. Это мож сестра! Малядъ, бъдное дитя! Она въ горячкъ! плакалъ услужливый воинъ и могуче оттаскивалъ дъвушку отъ двери.
- Другъ мой! Бъдный другъ мой!—говориль онъ.— Пода, лягъ въ постель, голубенокъ! Успокойся.
- Подите къ чорту! простилась Дуняша съ компаніей, быстро сбъгая съ лъстницы.
- Комедчики! право комедчики—разръшила всю эту исторію хладнокровная Татьяна. Только и дура же эта Авдотья! Поди-ка, что выдумала: къ господамъ драться полъзла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сиъ еще ей не снились...
- Что, Авдотья Елисъевна, али съ господамъ-то, не съ нашимъ братомъ? встрътилъ Дуняшу на дворъ молодой мастеровой, нъкогда отвергнутый ею. Хорошо, върно, господа привъчаютъ, да хорошо и вопъ провожаютъ, съ насмъшливой тоскою говорилъ опъ дъвушкъ, дрожавшей всъмъ тъломъ отъ злости на человъка, такъ нахально обругавшаго ея первую, молодую любовь.

- Милый ты мой! Митя, голубчикъ! Разшиби ты у нихъ сейчасъ окно у разбойниковъ! Я тебя за это, умереть мнъ на мъстъ, полюблю съ этого самаго часа. Только ты возьми камень и разшиби.
- Бъги за ворота, а оттуда въ пивную къ Прокофью; тамъ меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полицыя придетъ. Скажешь тогда, ежели спросятъ, я, молъ, тутъ съ Митріемъ близко часу сижу совътывалъ Митрій — и скоро послъ этого въ комнатахъ снебилью цълая оконная рама была въ дребезги разбита десятифунтовымъ булыжникомъ.
- Держи, держи! оралъ Бжебжицкій, размахивая своимъ ужаснымъ чубучищемъ.
- Держи, держи! голосилъ- дворникъ на улицъ будочникамъ; но халатникъ сидълъ уже у дяди Прокофья и любовно говорилъ своему новому другу:
- Милая моя! Ты воть осмѣяла меня тогда; мастеровщиной немытой ругала, а все же я тебя въ твоемъ грѣхѣ отъ всего моего сердца прощаю. По молодости по своей дѣвичьей проштрафилась ты, не знала, что господато вашу сестру для утѣхи своей обманываютъ... Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящаго-то горя такъ и то не выплачешь, а твое горе, не горе, а плевое дѣло...
- Я, Митя, и не плачу, шептала Дуня. Я вотъ только съ сердцемъ никакъ не могу совладать; дрожитъ оно у меня очень, сердце-то! Всёхъ бы я ихъ, до одного человъка, теперича зубами изгрызла.
- -- Мы таперича, растягивалъ Митрій пьянъя и, слъдовательно, уже начиная муштровать свою бабу. Госудовстве постоя

мы таперича никогда не должны этого говорить. По тому, передъ Богомъ такія слова грѣхъ, по писанію в такъ... Опять же, ежели ты возверзишь... и воззо вешь... Н-ну оддно сллово!.. У меня слушаться! О м-ммной тебъ, дѣвка, хоррошо буддетъ! Я пе ворръ не пьяница, чтобы большой ужь очень, — грамотем тоже... Слушайся меня, дѣвка, пей пиво, а я твоем грѣха не попомню. Цалуй...

Немало также новой жизни въ прежнюю патріархаль ность воскресно-мастеровыхъ вечеровъ дома внесли праздничные возгласы Захара, бывшаго подручник Татьяны у купца. Затешется онъ, бывало, на дворик комнать спебилью, станетъ предъ ихъ окнами растрепанный, разбитый весь, съ пьянымъ, чахоточнымъ румянцемъ на лицъ, п заоретъ:

- Эй, Татьяна Ликсъвна! Отворяй ворота, принимай за повода, гости прівхали! И ежели Татьяна, распивая кофей съ пріятельницами въ какомъ нибуд дальнемъ углу своей квартиры не услышить молоденкаго вызова, кто нибудь изъ жильцовъ, а чаще всего прапорщикъ Бжебжицкій, неустанно посылающій изъ своего окна поцълуйчики проходящимъ дамамъ, непремѣнно бѣжалъ къ ней и докладывалъ:
- Татьяна! опять Захаръ пришелъ, пьянъе прошлаго. Что же ты не сразишься съ нимъ? Бъжи скоръе; ругаетъ онъ тебя на чемъ свътъ стоитъ.
- Ахъ, губитель! Ахъ, злодъй мой великій! восклицала Татьяна. Осрамитъ онъ меня теперь до конца. Что я съ нимъ, съ варваромъ, буду дълать?

- Сразись поди, пролей свою кровь! совътывалъжилецъ, алкая потъшить свое бездъльное одиночество медвъжьей травлей. Можетъ быть, видъ твоей жертвенной крови, — продолжалъ шутливый баринъ, — и приведетъ его снова въ норму.
- Какая ему теперича норма? возражала Татьяна барскому слову, съ коварною цълью показать, что она нынче понимаетъ тоже по французскому. Онъ тепереча, ежели я дворнику четвертака не дамъ, брехать будетъ до самой дъ зари утренней.
- Такъ ты прибъгай поскоръе хоть къ сему спасительному средству, не то въдь скандалъ выдетъ.
- Будетъ ужъ вамъ! пугалась Татьяна. Мнъ и безъ вашихъ присказокъ тошно.
- Тошно? А за чъмъ измъняла? Помни, что злодъяніе всегда наказывается, а порокъ торжествуетъ.
- Что же, Татьяна Ликсввна? кричалъ со двора неугомонный Захаръ. Али барыней стамши, кампаніей старинной брезгаете! Эдакъ-то, кажись-бы, добрые люди не двлаютъ.
 - Будетъ тебъ, молодецъ! усовъщивалъ Захара дворникъ. На чужомъ дворъ буянить тоже не оченьто нашему брату дозволяютъ.
- Валяй, валяй ее, другъ сладкій, половчъй! совътывали молодые мастеровые. Ежели ты ее т. е. какъ слъдствуетъ, пропечешь, сейчасъ умереть, мы тебъ пару пива на складчину тотчасъ же выставимъ, потому, чтобы про нашего брата знали и въдали.
 - Мы, друзья, свои дёла и безъ пива въ тонкости

внаемъ, — хвалился Захаръ. — И какъ я вамъ зарань ше объявляю, какъ передъ Господомъ Богомъ, врядъ ли этой самой Танькъ голову свою отъ меня уберечь, потому она жисть мою молодую заъла; отъ ласки моей сердечной отвернулась, стерва проклятая, и оплевамее, эту самую ласку. Эхма!

Большая душевная потеря слышалась въ голосъ пьянаго молодца. Стоитъ онъ посереди двора, готовый на все и съ каждой минутой возжигается все больше и больше.

- Други! кричаль онъ. Въдь что она со мном сдълала. У мъста, въ сновальщикахъ былъ, прогнали ради ея, старикомъ своимъ за любовь съ нею проклятъ, родными брошенъ. И на все это я не посмотрълъ, все одну ее въ душъ моей содержалъ... Ахъ! держите меня, братцы, пожалуйста, а то какъ бы гръха какого не случилось, какъ бы она отъ моей кръпкой руки не подохла.
- Будетъ, будетъ, дружокъ! уговаривалъ снисходительно дворникъ, разжалобленный этимъ сокрушительнымъ горемъ. Видишь, народу сколько собралось, ундеръ, пожалуй, придетъ, въ сибирку заберетъ. Что хорошаго въ сибиркъ?
- Ахъ ничего нътъ въ сибиркъ хорошаго. Только блаже бы мнъ въ самой Сибири быть, чъмъ съ этой поскудой водиться. Ахъ надо мнъ съ ней поръшить, братцы! За одно ужь мпъ погибать то. Разступись, народъ! И при этомъ Захаръ вбъгаетъ на лъстницу, комнатъ спебилью, и скоро ожесточенная битва, на-

чатая имъ съ Татьяной въ ея квартиръ, переходитъ на дворъ, поглотивши собой праздничное вниманіе цълаго дома.

- Куаулъ! краулъ! звонкимъ дишкантомъ кричала Татьяна въ сильныхъ Захаровыхъ дапахъ.
- Какъ онъ ее любитъ! Какъ онъ ее любитъ! басовито шутилъ Бжебжицкій, покуривая Жуковъ изъ длиннаго черешневаго чубука.
- Это точно, ваше в-діе, что онъ ее оченно любитъ! — подвернулся какой-то пестрый халатъ. — Онъ безъ нея жизни готовъ ръшиться, ваше в-діе! Каждый праздникъ такъ-то ходитъ сюда этотъ молодецъ и каждый разъ ихъ обоихъ въ полицію забираютъ. Потъха!
- Ну, разговорился! прикрикнулъ Бжебжицкій на халатъ, справедливо вознегодовавъ на такую фамильярность. Всъ вы таковы, канальи!..
- Батюшки, заступитесь! родимые, отбивайте убъетъ! умоляла Татьяна, въвшись, однакоже, всв-ми зубами въ плечо своему безпощадному противнику.
- Вотъ какъ у насъ, Татьяна Ликсъевна, старииныхъ любущекъ привъчаютъ! Вотъ какъ мы имъ русыя косы расчесываемъ, бълыя лица разглаживаемъ, во-отъ ка-а-къ! — злобился Захаръ, волоча Татьяну по грязному двору.

Волны народа, облелъявшія бойцовь, бурлили и переливались около нихь, словно бы крутиль ихь вихорь летучій; но тъмъ не менъе никто не ръшался расхолодить этихъ раззлобившихся звърей, которые съ пъной у ртовъ грызли другъ друга и ворчали, ежели кому изъ нихъ удавалось какъ нибудь покръпче тиснуть такъ недавно дружеское тъло.

- У нихъ теперь надолго пойдетъ, толковали въ толпъ. — Ежели ихъ теперича водой не разлить, до самой до темной ночи продерутся.
- До полночи не продерутся слышались возраженія. Устануть, опять же и кровь... Ужь туть долго не надерешься, коли кровь пошла. Сейчась же тебѣ въ голову вдарить...
- Это точно, что вдаритъ; особенно, ежели носъ тебъ разсадятъ...
- Что, что туть такое? возговориль наконець старикь ундерь, пришедшій на шумь. Ты опять туть? обратился онь къ Захару съ грознымъ вопросомь. Я тебъ въ прошлое воскресенье что сказаль? А? Чтобы нога твоя здъсь не была, а ты опять затесался; опять ты туть, разбойникь, буйство сталь учинять? Я же теперь тебя побаюкаю за такія дъла! И при этомъ карательный старикъ свалилъ Захара съ ногъ, хвативши его, что называется, въ ъдало, или въ самую суть.
- Бей, бей его, сударь, разбойника! со слезами просила Татьяна. А какъ смънишься, приходи ко мнъ чай пить... Я тебъ господскихъ щей налью и водки куплю.
- Много благодарны, Татьяна Ликсвевна! Свое двло знаемъ: мы его сейчасъ, какъ слъдствуетъ по начальству, — объяснялся старикъ мимоходомъ въ кварталъ, куда онъ потащилъ Захара, который, въ свою очередь, на всю улицу оралъ:

- Мит теперича все ни почемъ! Я свою душу утъшилъ! Съ меня будетъ...
- Молодецъ! поощряли его мастеровыс. Ничего они тебъ въ кварталъ не подълаютъ. Въ другой праздникъ придешь, такъ мы ворота-то припремъ, городовагото не пустимъ. Расправляйся, какъ знаешь...
- Молодецъ! вторилъ имъ Бжебжицкій. Свое взялъ, а тамъ хоть трава не рости. Что, Татьяна Алексъевна, побаловаться изволили маленько? Върно это не то, что кофе распивать, да за деньгами приставать каждую минуту? Говорилъ въдь я тебъ, дура ты эдакая, ежели будешь за деньгами часто ходить, такъ либо я тебя отдую, либо Захаръ. Вотъ такъ и вышло по моему!...

И подъ громкій и вмѣстѣ съ тѣмъ непрестанный гулъ такого рода сценъ, съ каждымъ днемъ все больше и больше разросталась по широкой Москвѣ, между ея извѣстнымъ людомъ слава Татьянина заведенія. Посторонняя жизнь, такъ или иначе интересуясь жизнью колиато спебилью, отвсюду налетая на домъ, въ которомъ помѣщались онѣ, въ соединеніи въ случаями, подобными только что описанному пассажу, образовала наконецъ у воротъ дома, на дворѣ его и въ самомъ домѣ, какъ бы какой вѣчно крутящійся, вѣчно шумящій омутъ, непрестанно горланящая пасть котораго ежесекундно пытала самыми страшными и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по сосѣдству съ комнатами.

[—] Любезненькій! гдъ тутъ Татьяна Ликсъевна, —

съемщица живетъ? — пугливо всунувшись въ калитку, спрашиваетъ у дворника румяный прикащикъ съ гро маднымъ кулькомъ въ подъ мышкой.

- Ступай ты лучше отсюда, купецъ, ступай, поведова я тебъ шеи не нагрълъ, отвъчаетъ дворникъ измученный многочисленными распросами разнообразнъй шихъ субъектовъ о мъстожительствъ Татьяны Ликсъевны. Сейчасъ умереть, ежели не уйдешь сію минуту, побъгу къ хозяину, я въдь знаю, у кого ты живешь и скажу ему, вонъ, молъ, гдъ твой соколикъ погульваетъ!
- Напрасно вы, любезный человъкъ, сердиться изволите съ, ласковымъ и крайне пугливымъ голосом шепчетъ прикащикъ. Пожалуйста не шумите съ: мы съ вами сначала по политикъ будемъ разсуждать; де негъ вы отъ меня много можете завсегда имъть, потому какъ мнъ не Татьяна нужна, а Прасковья Петровиз дъвица такая живетъ у ней. Пужно намъ ее въ Оставкино пригласить на прогулку-съ.
- Знаемъ Прасковью Петровну. Ступай вонъ въ эпт крыльцо, только у ней, братецъ, вашего брата-куппа много теперь засидълось. Съ вечера еще въ экой-ли пристапи тихой кантуютъ. Слышишь вонъ, какъ па итарахъ наприваютъ; это у ней.
- Это ничего! Пущай ихъ наяривають; она намъ всякое снисхожденіе завсегда оказываеть, потому доброту нашу цінить, опять же и деньги наши, торопливо закончиль купець и, выхвативши изъ кармана горсть мелочи, бросиль ее дворнику и мышкой юркнуль

на крыльцо оцънивающій должнымъ образомъ его доброту Прасковьи Петровны.

- Экой народъ взбалмошный, эти купцы! Ума у нихъ не такъ чтобы много, а деньжищевъ гибель! со вздохомъ заключилъ дворникъ, пересчитывая повенькое серебро. —Все это надобно мнъ въ кладъ положитъ, потому не скоро такимъ серебромъ разживешься. Гдъ только черти эти берутъ такую деньгу, смотръть хорошо!
- Эй землячокъ, родимый! перебилъ дворника тоже испуганный, но басовитый голосъ прівзжаго мужика, тоже, какъ и недавній купецъ, пугливо просунувшаго въ калитку косматую голову.
- О чтобъ васъ совсѣмъ! гнѣвался дворникъ. Словно омутъ какой. Такъ тебя и претъ! Что тебѣ?
- Да то-то кормилецъ! Кое мѣсто пріѣхалъ, черти въ кулачки не бились: все дѣвку свою ищу. Ушла изъ деревни на заработки, а теперь, говорятъ, вольнаго поведенія стала. Сказывали, въ вашихъ мѣстахъ скрывается, у какой-то офицерши Татьяны.
- Офицерши? презрительно воскликнулъ дворникъ. — Много ихъ такихъ офицершевъ-то! Какъ дѣвкуто зовутъ? Сказывай у меня живѣе; а то уйду сейчасъ, хоть ты околѣй тутъ на семъ мѣстѣ, пичего не узпаешъ.
- Прасковья была, кормилецъ! Мы ее въ деревнито все Праскуткой звали.
- То-то Праскуткой! Пускаете вы ихъ сюда на сво срамъ, а на ихъ погибель. Вотъ что! А тебя-то какъ зовутъ?

[—] Меня-то?

- Да! Тебя-то?
- Дворникъ! Ты дворникъ? перебилъ мужико отвътъ пъкоторый юркій баринъ съ горделиво хад скимъ выраженіемъ въ лицъ. Куда тутъ перевхала давно благородная дъвица одна, Адельфиной Лукьян ной зовутъ?
- Былъ Петръ Ивановъ, продолжалъ мужикъ при ній разговоръ.
- Такъ и есть! Дочь твоя, Петръ Ивановичъ у в въ этомъ самомъ домѣ живетъ; только жаль мнѣ то а помочь не чѣмъ. Такой она теперь барыней сдъ лась, на всѣ руки! жалълъ дворникъ бывшаго в когда Петра Иванова, не обращая вниманія на юрк личность. Придется тебѣ ее, дружокъ, знатно за во сы отхватать.
- Что же ты, скотина, не отвъчаешь? вскрикну баринъ. Съ нимъ благородный человъкъ разговаривает а онъ все къ своему сърому волку морду гнетъ. Уст еще рожи-то другъ-другу въ харчевнъ расколоти
- Виноватъ, ваше в-діе! спохватился дворникъ, моментъ выхваченный этимъ окрикомъ изъ подъ зашнаго, впечатлѣнія, навѣяннаго на него разговоромъ пропащей Петровой дочери. Вонъ по тому крыльцу изътите идти въ 7 №. Тамъ вы эту барыню сразу отщете.
- Въдь кричитъ тоже! бурдилъ привратникъ слъдъ уходящему сердитому господину. Подумаешь, заправской барынъ пришелъ гости и, подумавши, испужаешься. А какъ знаешь

порядки, ничего-то ты не боишься, потому, ежели тебъ самое мудреное нъмецкое имя скажутъ, ты ужь и знаешь, что врутъ. Твоя дочь-то тоже теперь по-нъмецкому назвалась, и не выговорить. Прокуратъ здъсь народъ, Петръ Ивановичъ. Все это онъ нога въ ногу съ господами наровитъ, отчего и гибнетъ, особенно женскій полъ; потому стрекулятниковъ этихъ въ столицыи пропасть. Всякую они деревенскую дъвку, самую стененную, безпремънно съ пути собьютъ. Хитры на эти дъла бездомовники проклятые.

- Били бы подюжве ихъ! исхитрился посоввтывать дядя Петръ. У насъ по деревнямъ такихъ-то, чвмъ не попадя, колотятъ. Застанутъ у какой, оглобля подъ руку попадется, оглоблей быютъ; топоръ, топоромъ... Злы мужики на счетъ эфтого...
- Нну! Здёсь такъ-то нельзя; здёсь порядки не тё. Въ полицыю, говорять, представляй. Тамъ, говорять, на всякое дёло законъ прописанъ. А все же я тебё совётую съ дочерью своимъ судомъ лучше расправиться; по судамъ-то не ходи, потому, вижу я, простоватъ ты—обчешутъ. Возьми, говорю, за косы-то ее да по зубамъ хорошенько, чтобы она отца съ матерью не срамила.
- За этимъ не постоимъ, волотой! Извъстно, родители! Вдаришь, какъ не вдарить... Такъ и батюшка съ матушкой (пошли имъ, Господи, царство небесное!) съ дътками расправляться учили. И перекрестившись, при воспоминани о покойникахъ батюшкъ съ матушкой, дядя Петръ отправился къ дочери.

Но и крестъ, разгоняющій адскія полчища, не ра

зогналъ бъсовъ большого города, которые въ би престанной и крикливой тревогъ возились въ дом занимаемомъ комнатами снебилью, и внъ его. Чем въческія радость и горе отвсюду, или тихимъ устлымъ шагомъ пъшехода ползли въ эти комнаты, и въъзжали подъ ихъ крыльцо на лихачовскихъ рыс кахъ, отъ бойкаго скока которыхъ колебался ва домъ и жалобно дребезжали стекла въ разсохшим рамахъ. И въ то время, когда дядя Петръ расприятился съ своей непутевой дочерью, въ подвалы и нижи этажи къ мастеровымъ забирались многоразличныя линости и торопливыми голосами людей, безотлагателы куда-то поспъшающихъ, громко спрашивали:

 Послушайте, скажите пожалуста, гдъ живетъ ст дентъ Клокачовъ?

Нъмецъ слъсарь, которому былъ предложенъ это вопросъ, и который съ утра выслушалъ уже такихъ просовъ безчисленное количество, на минуту прекраты визжаніе жельза, опиливаемаго англійскимъ терпугом съ досадой бросилъ его на верстакъ и злобно выщивши на гостя слезливые глаза, крикнулъ:

- Я развъ вамъ дворникъ? Чтобы чортъ побра все! — И при этомъ онъ быстро замъдилъ сюртуко фланелевый халатъ и ушелъ въ биргалль.
- Гдѣ здѣсь отдаются комнаты? переспросы песчастливца уже на дворѣ и натурально, что несчастливецъ ускорилъ шаги и отвѣтилъ слѣдующее:
- Здъсь ни одной нътъ комнаты! У чорта въ а много есть комнатъ.

- Эй! мейнъ геръ! кричалъ изъ окна утекающему нъмцу прапорщикъ Бжебжицкій. Подите сюда, пожалуйста. Дъло есть. Нъмецъ съ видимой неохотой возвращается.
- Почтенный бюргеръ! говорилъ ему Бжебжицкій.—Вы непремънно идете пить пиво; захватите и меня съ собой. Больше сего я вамъ ничего сообщить не имъю.

Нъсколько пріятельскихъ лицъ съ хохотомъ показываются въ окнахъ прапорщичьей квартиры и крайне любопытствуютъ прослъдить ту злость, съ которой нъмецъ смотрълъ нъкоторое время на шутливаго товарища.

Благообразный мущина, съ дамой, од втой въ щегольской бурнусъ, останавливается противъ офицерскихъ оконъ и спрашиваетъ:

- Позвольте узнать, милостивый государь, гдъ здъсь отдаются меблированныя комнаты?
- А вотъ извольте идти въ это крыльцо, во второй этажъ. Позвоните и спросите съемщика Ивана Медвъжатникова, граціознымъ жестомъ указалъ Бжебжицкій на крыльцо одного въчно занятаго учителя гимназіи, служившаго всегдашней потъхой для цълаго дома.

Скоро комнанія, собравшаяся у Бжебжицкаго, имѣла наслажденіе видѣть, какъ мученикъ— учитель выбѣжалъ на дворъ въ туфляхъ и шлафорѣ, таща за руку благо-образнаго мущину, дама котораго стремительно утекала за ворота

— Вы развѣ не видали этого? — горячился учитель, показывая своей жертвѣ на билетъ, приклеенный на двери въ его ученую берлогу. На билетѣ значилось:

«Здѣсь не отдаются комнаты съ мебелью, а отдаются у Татьяны. Входъ къ ней изъ воротъ направо в второй лѣстницѣ, въ третій этажъ.» Изреченіе это бы переведено на французскій и нѣмецкій языки.

- Я не понимаю, милостивый государь, гдъ у вас были глаза, — кричалъ учитель, — когда вы шли ко ин
- Извините, ради Бога! Меня послали сюда, сы зали, что у г-на Медвъжатникова...
- Какой тамъ чортъ Медвъжатниковъ? Это вон все тъ шелонаи потъшаются...
- Профессоръ! Профессоръ! кричалъ съ хохотом Бжебжицкій. Не сердитесь. Муки эти на томъ свът за ваши ученые гръхи вамъ зачтутся.
- Шаромыга! отвъчалъ, въ свою очередь, пр фессоръ, грозя кулакомъ своему врагу.
- Ругаются! доложиль учителю, подошедшій в нему въ это время лакей. Ужасти, какъ ругаются Сказали, чтобы я въ другой разъ и приходить не отвивался. И тебъ, говорять, изъ окна вонъ вышвы немъ.
- Какъ же они ругаются?
- Сказать не смѣю съ: только просто ругаются ру
- Ступай въ кварталъ! Тамъ такъ все и объя

А изъ открытаго окна коморки, занимаемой благородной дъвицей Адельфиной, на весь кварталъ разливала разухабистая «барыня» на двухъ скрипкахъ и на п

таръ, сопровождаемая молодецкими выкриками и, какъ есть, демонскимъ трепакомъ.

- Вали гуще! оралъ кто-то пьяный во всю грудь. Что на нихъ, на чертей, глядъть-то? За то деньги платимъ. Мы тебъ покажемъ, какъ къ намъ лакея присылать съ наставленіями! вскрикнула какаято рожа, высунувшись изъ окна.
- Краулъ! Краулъ! кричала мансарда совершенно по женски. И вслъдъ за тъмъ та же мансарда, перемънивши тонъ, приговаривала помужски: Я тебъ, шельма, дамъ, какъ кофеи ходить распивать къ господамъ въ номера.
- Батюшки! что же это такое? обливаясь горькими слезами, спрашиваль дядя Петръ Иванычь, выходя изъ комнатъ снебилью. Родная дочь на отца руку накладываетъ! А?
- Ишь, музланъ, туда же учить лѣзетъ! щебетала въ слѣдъ ему Прасковья Пстровна, прощалыжничествомъ большого города нареченная Амаліей Густавовной. Не училъ тогда, когда поперегъ лавки укладывалась; теперь ужь не выучишь; теперь ужь мы вдоль лавки то въ пору только укладываемся... Такъ-то! Увидишь своихъ, поклонись нашимъ; а то видите, кварталомъ вздумалъ стращать, ежели не остепенюсь!..
- Вотъ она Русь-то разгулялась! хохоталъ Бжебжицкій. Катайте, катайте его, Амалія Густавовна; а то онъ, пожалуй хвастаться будетъ, что онъ тутъ намъ, городскимъ, страху задалъ.
- Я ему задамъ страху! Не на тъхъ напалъ страху-то задавать.

- Вотъ ужъ это, дъвушка, напрасно ты такъпоговариваешь! — вступилась за дядю Петра старушов одна, съ чулкомъ въ рукахъ. — Опъ тебъ родитель.
- Молчи, старая дура! прикрикнула на нее руская нѣмка. Почемъ ты знаешь, можетъ, я ему рудитель-то?...

Усълась старуха послъ этого окрика на дрова, в самую солнечную принеку, и подъ визгъ мастероваго ж льза, подъ гвалтъ комнатъ снебилью, подъ грохотъ эк пажей и вообще подъ этотъ несмолкаемый стонъ столичной суеты, зашептала нескончаемую рацею о проплыхъ временахъ и о прошлыхъ людяхъ.

- Была сама такою-то! говорила старуха, пом чивая головой и побрякивая вязальными спицами. Мы го соблазну здъсь для нашей сестры: устоять никак невозможно; а все же бывало, когда отецъ, али маг наъдетъ, примешься бывало, плакатъ; примешься на м лю свою студную жаловаться и скорбъть. А въдь в пынъшнихъ стыда-то нътъ никакого! Охъ! Нътъ ник кого стыда въ нынъшнихъ людяхъ!.. Срамъ!.. Во равно какъ дикіе звъри стали! Ни въ Бога въры, в любови къ людямъ!...
- Ваше благородіе! Пов'єстка къ вамъ отъ г. ква тальнаго поручика, — пробасилъ Бжебжицкому усасты полицейскій в'єстовой. — Извольте завтрашній день в 10-ти часамъ въ контору пожаловать.
 - Это зачёмъ?
- A вотъ тутъ въ повъсткъ все аккуратно прописано.

- Дай сюда! И Бжебжицкій сталь читать: «Симь приглашаю... по дёлу, якобы о скандаль, произведенномь вами въ квартирь учителя и проч. Также по жалобъ солдатской дочери Авимьи...» Чорть знаеть, что такое? За все, про все нынъ въ кварталь зовуть. Любезный! скажи поручику, что, моль, прапорщикъ лежить на одръ. Слышишь? Такъ и скажи.
 - Слушаю-съ! Счастливо оставаться, ваше благородіе!
- Погоди-ка, Не знаешь ли жида какого-нибудь: денегъ бы миъ у него занять подъ сохранную росписку.
- Не могу внать-съ, ваше благородіе! А ежели, теперича серебро, золото, али бы что изъ платья изъ хорошаго, такъ мы сами иногда върнымъ людямъ даемъ.
- Дуракъ! Я тебъ самъ дамъ подъ золото, да подъ серебро, даромъ что ты невърный человъкъ...
- Что это за проказникъ такой этотъ баринъ! смѣялась Татьяна изъ кухни. На всякое слово у него завсегда отвѣтъ есть. Ежели бы онъ деньги платилъ, какъ слѣдуетъ, да не дрался, цѣны не было бы этому барину!..

an senari aras kalindaregon — inglia somo sõik?

chiese to lake the engly lease is he deed with land points to the land to the property of the land to the court of the land to the land to

summer mercan a company visionally.

Подробный планъ комнатъ снебилью и легкая покуда характеристика лицъ, согнивающихъ въ нихъ.

Я тебя постараюсь какъ можно тише окрикнуть, бѣдный народъ! Я спою про тебя, вѣчно ноющая, вѣчю голодающая птица комнатъ спебилью, настолько незлобивую пѣсню, на сколько незлобивыхъ жизненныхъ темнабралась въ этихъ клѣткахъ моя собственная, озлобленная голова.

О, миръ вамъ, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всесильной нуждою! Миръ вашимъ снамъ озлобленно-тревожнымъ, ногамъ вашимъ, въчно сную щимъ и ничего невыхаживающимъ, всегдашней злобъ вашей желаю я скораго угомона!..

Ибо злоба ваша — смерть ваша. А какъ тяжело умирать одному въ меблированныхъ вертепахъ, — одному, съ одною только злостью своей даже и на этотъ день, который такъ свътло пробивается въ комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этотъ бойкій гуль столичной жизни, неумолчно гудящій за стънами!

Предсмертному крику гаснущей, медленно истомленной жизни, въ кухонномъ углу гдъто безучастно в

отвратительно-крикливо вторить одна только Лукерья безсмысленно-фабричною пъсней про какого-то всадника, который будто-бы

> «Кор-ми-и-тъ ко-о-ня сы-ы-та-а, Самъ ъстъ сухари.»

Пъсня закончилась наконецъ, къ общей потъхъ населенія комнатъ, зазвонистою кучерскою трелью, а съ нею вмъстъ закончилась и жизнь, желавшая сейчасъ одного счастья—взглянуть на человъческое лицо,—закончилась скрежетомъ зубовъ, хрипомъ надсаженной груди и желтою пъной на посинъвшихъ губахъ. Исковерканная тою безобразно ужасающей печатью, которую смерть, въ довершеніе эффекта, кладетъ на изможденныя тъла бъдняковъ, жизнь эта сейчасъ же, вмъсто послъдней молитвы накликаетъ на себя—тъмъ только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя къ Зовущему всъхъ труждающихся и обременен ныхъ успокоиться въ Немъ, цълый потокъ безсмысленныхъ ругательствъ и проклятій.

Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткій, но трудный въкъ старавшуюся быть честною руку и сказала:

— А околълъ въдь! Лукерья, бъги скоръе въ фарталъ. Ахъ, ты, голь перекатная! — добавила съемщица, поматывая головой: — кто теперича тебя, голь, въ сырую землю схоронитъ?

Такія картины не настолько рёдки у насъ, чтобъ я не могъ сказать про нихъ правдиваго слова, и сказалъ бы, если бы не боялся упрековъ въ лиризмѣ, безъ ко-

тораго я ръшительно не могу пи поклоняться свътлом лицу природы — единственному совершенству на все землъ, ни скорбъть о людской погибели, а потом пусть пойдетъ другая глава.

THE ROSHETS, ESSECTIVE TO THE TREE TO THE TENTONS OF THE CO.

плась спрежетом субовь хриповы подскаженной та в жейтою былой на порвиблического было подорую справ том безобразие ужиромной перамено, подорую

чи из Волущему всбха: трукламиника и обремении:

ond an object with another large articum h

и вемлю схоровить? десем и под под под десем и пось и пось и

TO A SECURE AND THE SOUTH SOUTHER THE TERRETARY OF THE SECURE AND THE SECURE AS THE SECURE

Наружный видъ дома съ меблированными комнатами.

Трудно чему-нибудь быть своебразно-грязиве столичпыхъ домовъ, заваленныхъ разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляціей на манеръ всёхъ вообще столичныхъ громадъ, то есть на манеръ большаго квадратнаго сундука, они до жильцовъ нёкоторое, весьма недолгое время пичёмъ не отличаются отъ своихъ сосъдей, составляющихъ вивств съ ичми длинную улицу. Но вотъ внизъ перевхало Экипан ное заведение Трифона Рыкова, рядомъ съ нимъ въ двухкомнатной квартиръ поселился сапожный мастеръ Самсонъ Содовьевь, въ бельэтажъ какая-то толстая баба, съ страшнымъ рубцомъ на лбу, словно бы отъ сабельнаго удара, и съ шестью молоденькими горничными; въ подвальной квартиръ, черезъ дворъ-извощичій содержатель и какіе-то старые отставные солдаты, въчно дерущіеся на дворъ и кричащіе карауль; третій, самый верхній, московскій этажь гостепріимно приняль, въ свои невыразимо-воняющіе пріюты орду компать спебилью. И воть черезъ какіе-нибудь полгода ярко-набъленныя стѣны

новаго дома покрываются копотью; штукатурка, х умышленно ее никто и никогда не ломалъ, обваливае и кажетъ по мъстамъ красныя кирпичныя раны; о же, особенно въ квартирахъ у извощиковъ и отск ныхъ солдатъ, вмъсто стеколъ залъпливаются сп сахарной бумагой, въ комнатахъ снебилью и у толст бабы съ многочисленными горничными заставляются душками въ пестрыхъ ситцевыхъ наволочкахъ, – вообще весь домъ, видимо новый и крѣпкій, сразу кап будто проживаетъ пятьдесятъ лѣтъ, и кажется, ч какая-то враждебная сила безпрестанно раскачивае · его, ломитъ и валитъ. Печальными такими и разсла ленными замарашками смотрять эти дома, какъ-то о бенно скоро вростають въ землю ихъ фундаменты скособочиваются, точно бы какой человъкъ слабый, г лова котораго скривилась набокъ отъ первой жизне ной тукманки. Глядя на безсмысленную грусть и т пую озадаченность, постоянно рисующіяся на лицъ п кого человѣка, непремѣнно думаешь, что вотъ сейча подкосятся его дрожащія ноги, что изъ широко вып ченныхъ, но тусклыхъ глазъ польются обильныя слез а отвислыя губы безотвязно запросять пощады...

Вотъ довольно схожій портретъ дома, въ котором поселилась Татьяна съ своими жильцами. При первом взглядъ на его каменное неподвижное лицо, всякій лего убъждался, что здъсь поселилась бъдность, въ боль шей части случаевъ поневолъ неразборчивая на тередства, при помощи которыхъ она съ жалобами слезами доволакивается до темной могилы, гдъ навсен

да укроются ея грязныя отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.

Но не веселье наружности описанных домовь и внутренность ихъ, съ тъми обыкновенными исторіями про жизнь своихъ жильцовъ, которыя будутъ пожалуй гораздо печальнье унылаго лица дома, пріютившаго въ стънахъ своихъ всякаго рода несчастье. Слушайте же эти исторіи — и тогда для васъ, можетъ быть, очень сбыточною покажется та мысль, что отъ того печаленъ столичный домъ, заселенный бездомнымъ народомъ, что даже бездушному камню нельзя не скорбъть при видъ разнообразныхъ мукъ этихъ людей, которые вслъдствіе беззлаберно сложившейся жизни, отовсюду, проливнымъ дождемъ сыплются на ихъ бездольныя головы.

The contraction of the contracti

mand less in yjoings . He's element in deal to be and many of the commence of

ACT ANTERIOR VIALENCE SOUTHERN BENEAUTHER OFFI

encentable years of the control of t

SAZDOSH RATHOROGAS IN ALBORTO BEHINDET US BATHORATE

Корридоръ компатъ и его жильцы.

И радъ бы сказать, что по этой залитой помоям разшатанной и безъ церемоніи завѣшанной разпым бѣльемъ лѣстницѣ, которая вела въ татьянины ком наты спебалью, можно ходить людямъ, — по для этом нужно быть самымъ наглымъ лжецомъ. Хозяинъ зналь для кого онъ строилъ свой домъ, и потому предоставилъ владимірскимъ плотникамъ полную волю гондобит его, какъ Господь Богъ положитъ имъ на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изрѣдка наѣзжая къ нимъ съ своимъ хозяйским глазомъ, говорила:

— Ничего, не взышуть! Мъсто здъсь такое, дл всякой швали удобное. Лътъ черезъ пятокъ, Госпор ежели благословитъ, окупится домишка, а тогда ем можно будетъ подрумянить маненько, подпереть, пооб мазать—и по боку. Дураковъ тоже много; а не нав дется охотниковъ, застраховать можно... Исторія тожи извъстная...

Про длинный корридоръ комнатъ тоже не могу ска

зать ничего особенно пріятнаго. Теменъ онъ быль, какъ адъ, а кобель Бжебжицкаго и сосъдство кухни, пропитанной своеобразнымъ запахомъ щей и лукерьиной постели, покрытой ея шубой изъ кислой овчины, сдълали его до того вонючимъ, что свъжій человъкъ ни подъ какимъ видомъ не выносилъ его духоты болве пяти минутъ. Однакоже были люди, которые сжились съ этою темнотой и вонью до полнаго равнодушія къ нимъ, и мое собственное мнъніе въ этомъ случав таково, что всякій челов'вкъ, конечно не безъ н'вкоторыхъ усилій, можетъ скоро привыкнуть къ этимъ вещамъ, если хватитъ денегъ на покупку какого нибудь кофеишка съ хлъбомъ и не хватитъ на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаментъ отъ заразительныхъ міазмовъ, такъ вредно действующихъ на человъческие нервы вообще.

Привыкли, говорю, люди къ удобствамъ своего корридора такъ, что и слезы у нихъ есть, когда износятся башмачонки, поистратятся въ безработът припасенныя про черный день деньжишки, и смъхъ тоже довольно легко вылетаетъ изъ ихъ грудей, когда какимънибудь свободнымъ праздничнымъ днемъ, послъ рюмочки и пшеничнаго пирога, придется вспомнить съ какой-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при мъстахъ у хорошихъ хозяевъ, когда были молоды лица и беззаботны души...

Все въ этомъ корридорѣ однѣ только женщины жили. Сосчитать, сколько ихъ тамъ именно, узнать, что онѣ платятъ за квартиру, чѣмъ живутъ—не было никакой возможности. Видъли только болъе или менъе состоя тельные жильцы, жившіе въ комнатахъ, что кишит что-то въ корридоръ безразличное, и живое, - раскати ваются какія-то перем'внныя волны, а какія именноне знали, и конечно не хотъли знать, потому что в нужно было. Волны эти обыкновенно вливались и Татьянинъ корридоръ такимъ образомъ: живетъ-живеть бывало, какая-нибудь горемычная въ почетныхъ эк номкахъ у богатаго холостяка такъ долго, что оба он въ этомъ сожительствъ половину зубовъ потеряють, ра нообразя свою жизнь редкимъ, а можетъ-быть, и ч стымъ погрызываніемъ другь друга, и посфдеть тог оба успѣютъ. Привыкнетъ экономка къ достатку, к хорошей комнать, къ сладкой пищь и вдругъ стар чина нежданно-негаданно протягиваетъ, какъ говоритс ръзвыя ноги. Дальніе родные великодушно подарш экономкъ старый салопъ на бъличьихъ лапкахъ, 1 сама она успъла фунтикъ-другой серебреца столова ухватить и перевхала къ Татьянв въ самую дешеву ROMHATY. Average indimental and hands our ring

«По одежкъ протягивай ножки!» говорила вдова, рамъщаясь въ своемъ новомъ жильъ. Надъяться теперы на кого, а между тъмъ привыкшая къ куску губа нът нътъ, да и спроситъ либо супца съ хорошей, настощей, какъ въ старину бывало, говядинкой, либо чай въ накладочку, либо винца красненькаго, котораго гошноты захотълось бабенкъ, съ утра до вечера молчливо размышляющей о провильной жизни при покойшкъ — и вотъ серебро, ложка за ложкой, безвозврат

улетаетъ въ укладистые сундуки сосъдки-еврейки, а въ концъ концовъ случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавши, что жилица прогоръла, благоразумно выпроваживаетъ ее на жительство въ корридоръ.

Часто также приходили къ Татьянъ молодыя знакомыя дъвицы съ такими разговорами:

- Что теперь дълать мнъ, милая Татьяна Лексъевна? Ума не приложу.
- Что такое, что такое у тебя случилось? спрашиваетъ Татъяна Лексвевна встревоженную дввицу.
- Да что? Обобралъ меня до нитки, варваръ-то мой. Ужъ онъ меня билъ-билъ, обобрамши-то, и говоритъ, теперь извольте идти, мамзель, куда вамъ угодно. Смъется, разбойникъ! Косу-то мнъ, злодъй, всю повыдергалъ. Хочу въ фарталъ идти; знакомые у меня тамъ есть: защитятъ, можетъ...
- Да за что же это онъ тебя? освъдомляется любопытная Татьяна. Въдь вы допрежь дружно живали.
- Да за что? откровенничаетъ дѣвица. Ни сномъ, ни духомъ не знаю за что. Точно-что по лѣту я какъто раза съ три ѣзжала въ лагери къ брату двоюродному. Писаремъ при самомъ генералѣ вотъ ужъ сколько лѣтъ служитъ. Ему и помстилось; а я развѣ таковская? Сама небось знаешь, какъ я на своемъ словѣ завсегда стою. И довольно даже того, что я съ нимъ который годъ живу, а онъ ревновать вздумалъ!...
- Что говорить! что говорить! Экой безобразникъ какой! А я все говорю про него: вотъ, молъ, смирен-

никъ-то полюбовникъ грунинъ, — а онъ поди-ка в кой! Какъ же ты теперь? Гдъ жить-то покелича станеш

- Да то-то не знаю. Ты миѣ, пожалуйста, кам рочку отведи какую-нибудь, покуда съ дѣлами не спрвлюсь.
- Каморки-то у меня, дъвушка, нътъ теперь. В рась послъднюю студентъ занялъ какой-то. Какъ в знала, ни за что бы не отдала. Такъ ужъ и пусты чтобы только не пустовала. Ты вотъ въ коридорчи покелича на моемъ сундукъ помъстись. Чудесно ту намъ будетъ съ тобой. Безъ переводу тутъ у насъ в кофеями пойдутъ.

Вслъдствіе такого дружескаго предложенія молод дъвица поселяется въ коридоръ и долго ея разска про вырванную варваромъ косу и про двоюроднаго брат генеральского писаря, развлекають однообразную жи темнаго жилья. Живетъ девица въ коридоре и в сматриваетъ изъ его непроглядной темноты другого в вара, который бы вырваль ей вновь вырощенную во точно также и сожительницы ея, кухарки и горничны какъ онъ про себя говорятъ - «безъ мъстовъ», в вутъ тамъ и высматриваютъ себъ мъстечки, съ в торыхъ, по недолгомъ житіи, снова ногонятъ ихъ ихъ уныломъ скарбомъ въ татьянины комнаты, гды случаю такихъ событій раздадутся конечно новыя ры про новыхъ хозяевъ, про новыхъ людей, посъщавши ихъ, которые, по разсказамъ этого бълорабочаго лю всь будто-бы безъ исключенія мошенники, жидомов идолы, черти, подхалимы и т. д.

Отчего это принято называть такія кухарочныя опредъленія глупыми сплетнями, настоящими вниманія порядочнаго человъка, а не истиной? Этотъ вопросъ случайно зародился въ моей головъ, и, конечно, когданибудь, также случайно, я разрёшу его; а теперь скажу, что изъ всей этой безразличной коридорной толпы рельефиве даже самой Татьяны выступаль ивкоторый субъектъ, извъстный въ комнатахо снебилью подъ именемъ Александрушки. Еще въ то время, когда Татьяна только-что осматривала квартиру, занимаемую ею въ настоящую минуту, Александрушка сидъла уже въ коридоръ у двери и вязала длинный шерстяной чулокъ, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, въ ситцевомъ линючемъ платьъ, съ мъдными очками на большомъ носу, изображая собой какъ-бы какого заколдованнаго сторожа, приставленнаго сторожить пустую квартиру.

Отъ квартиры, въ то время только-что отдѣланной, несло сырымъ лѣсомъ, клеемъ и масляными красками. Нога человѣка не была еще въ ней послѣ печника, который, закончивши свою работу порядочной выпиванцей съ одною сосѣдней кухаркой, ушелъ и не возвращался даже и тогда, когда хозяинъ искалъ его для поправки печей, дымившихъ какъ жерло ада, и потому дворникъ, рекемендовавшій Татьянѣ прелести фатеры, по его словамъ, «за первый сортъ», былъ справедливо удивленъ этой старухой, безмолвно позвякивавшей спидами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.

- Бабушка! Кто это тебя сюда пустиль? сщ силь дворникь старуху; но старуха уперла въ не своими свътлыми очками, помахала головой, какъ буто удивлялась тому, что дворникъ не знаетъ человы устроившаго ее въ коридоръ—и только.
- Чтоже ты не говоришь? Ай нѣмая? Говори! I зяинъ што-ли пустилъ? расталкивалъ уже дворни молчаливое существо.
- Ты вотъ что, дворникъ, прошептала накона таинственная незнакомка, ты не толкайся. Я губе ская секретарша!
- Полно балы-то точить! сердился дворникъ. Са зывай: по чьему ты приказу здъсь поселилась?
- И ты не смъй мнъ говорить, мужданъ! Я с зала тебъ, кто я такая. И барыня при этихъ слова энергично оттолкнула отъ себя закорузлую дворш кую руку.
- A! такъ ты такая-то? Ты толкаться еще въ к жой фатеръ вздумала! Сказывай: кто тебъ приказ жить здъсь?
- Богъ! удовлетворила наконецъ любопытнаго дв ника губернская секретарша.
- Что ты съ ней будешь дѣлать? спросиль до никъ уже у Татьяны, съ какою-то снисходителы полуулыбкой. Надо, вѣрно, въ фарталъ идти об явить.

Губернская секретарша не обратила ни малъйшаго в манія на роковое слово «фарталъ» и попрежнему д должала звякать спицами, мотать головой и шепт

что-то, — должно быть про свои одному Богу только извъстныя дъла.

Квартальный пришель—и добился столько же, сколько и дворникъ.

- Какъ вы сюда попали? спрашивалъ у старухи надзиратель.
- А такъ и попала... отвъчала она съ видимымъ неудовольствіемъ. Какъ попадаютъ то, развъ не знаешь?
- Говорите, кто вы такія? Давайте ваши документы.
- Молодъ еще документы-то спрашивать! Начальникъ какой выискался! Молоко-то на губахъ обсохло-ли?

Доложили объ этомъ происшествіи хозяину. Тотъ пришель и долго стоялъ передъ старухой, поглаживая бороду въ великой задумчивости и по временамъ осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись въ свой чулокъ. Наконецъ хозяниъ сказалъ дворнику:

Богъ съ ей, Трофимъ не трожь ее. Человъкъ, видно, не простой, потому большимъ сурьезомъ и молчальностью отъ Бога награжонъ...

— А какъ же хозяинъ, —вступилась было Татьяна, — мнъ-то съ ней быть? Въдь ужь платежа отъ ней не добъешься, а я бы на ея мъсто всегда нашла жилицу съ капиталомъ.

Туть хозяинъ почти такъ же серьезно, какъ и Алек-

сандрушка, сморщилъ свои черныя брови и внушителы заговорилъ:

Мить, — говорить, — милая ты женшина, пребыва въ моемъ домъ прозорливаго человъка не въ примътвоей платы дороже. Можетъ, она нечестія твоего ра ди наслана вонъ откуда, — и при этомъ хозяинъ то жественно указалъ на потолкъ. Такъ-то. Потому так милая женшина, разсуждаю я про тебя, что допри тебя ни въ одномъ моемъ домъ такихъ исторіевъ пкогда не было, хотя точно-что благочестивые люди многу и по долгу у меня пребываютъ... Опять же солдатка ты: всякому гръху, значитъ, ты больше в шего брата причастна. Слъдовательно, для одной те это устроено, и ты должна все это понимать и пить...

- Такъ вы, ваща степенство, скинули бы мнъ за в хоть полтинничекъ въ мъсяцъ за фатеру. Вы лю богатые.
- Это такъ, достатокъ имѣемъ, только съ фате единой даже копъйки скостить не могу, потому та уже положено ходить ей по тридцати серебромъ; щем чекъ вонъ, коли хочешь, что отъ построекъ осталю возьми охапочку-другую. Просимъ прощенья, милая же шина! Жить вамъ да поживать, да добра наживать! закончила борода, отправляясь восвояси.
- Жидоморъ, чортъ! шептала вслъдъ ему Татина; послъ чего губернская секретарша безвозбранно в селилась въ комнатахъ спебилью, оплачивая свое в воеванное помъщение и кусокъ хлъба своимъ неутом

мымъ рвеніемъ служитъ даже слугѣ всѣхъ — Лукерьѣ, и готовностью, во всякое время дня и ночи, сердито побранить какого-нибудь подкутившаго жильца, утѣ-шить Татьяну въ какомъ-нибудь несчастьи, истолковать ей мудреный сонъ, видѣнный въ прошлую ночь и проч.

Терпъливо и ни на минуту не мъняя своего сердитаго лица, исполняеть заштатная чиновница свои многочисленныя роли, такъ что въ непродолжительномъ времени ея полуумная манера неизмънно и во всемъ угождать всякому человъку, но угождать какъ-бы изъ подъ палки, что называется «срыву», — сдълала ее тъмъ не менъе любимицей и темнаго коридора, и свътлыхъ комнатъ, такъ что стала барыня совершенно необходимою вещью въ обоихъ мъстахъ, въ одно слово нареченной и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающимъ именемъ «чиновницы-Александрушки».

Безъ тамихъ Александрушекъ въ Москвѣ обходится рѣдкій домь. Это чрезвычайно-своеобразное русское горе. Характеризуется оно своими земляками и такъ-сказать пристанодержателями знаменательнымъ словомъ: тронумшись напенько; а я лично думаю, что оно обозмимшись и обозмимшись пе маненечко, а оченно. По послѣднимъ штрихамъ, которыми я имѣю закончить Александушку, весьма легко разсудить, какимъ именемъ лучше назвать коренную жилицу комнатъ снебилью.

Во весь голосъ, безъ всякой помѣхи задуваетъ, бывало, Лукерья на кухнѣ, примѣрно хоть про то, какъ иѣкто «вечоръ былъ на почтовомъ на дворѣ», и какъ

этотъ нѣкто на томъ дворѣ на почтовомъ «полущотъ дѣвицы письмо». Раздолье полное звонкому бам му голосу, потому что день выгналъ всѣхъ коми ныхъ жильцовъ на добычу; коридорный людъ то разбрелся кое-куда по своимъ мизернымъ дѣлишкамъ, и во всемъ этомъ пустынномъ сараѣ осталась том домосѣдничать лукерьина пѣсня да Александрушка.

Въ видъ какой-то толстой, пъгой змъи ворочается колънихъ у убогой чиновницы ея всегдашній, непо даемый другь — шерстяной чулокъ, тихо звякають шелестять ея вязальныя спицы, а сама она, неразы каемая многоразличными комиссіями, которыми со вст сторонъ засыпали ее жильцы комнатные и корпл ные, когда бывали дома, долгое время, по своему об новенію, молчаливо и неподвижно сидить около са двери, и какъ-будто старается подслушать, о ч именно шепчутся съ этимъ неповоротливымъ чулко ея тонкія, проворныя спицы. Сидить, готорю, п слова; только головою, по-истиннъ обутою въ какой чепецъ съ уродливыми фалбарами, изъ стороны въс рону раскачиваетъ. А между тъмъ по лицу ея про дять въ эти минуты глубокія морщины, надегаюты кія-то мрачныя, выражающія крайнее страдініе ты такъ что Лукерья, случайно прошедши момо Алекса рушки, непремънно произноситъ:

— Ну, начинается комедь. Подступило! И дъйствительно, комедь начинается.

— Что такое? грозно и громко спрашиваеть Ал сандрушка у своихъ спицъ. — Мало ли по бълу св

всякихъ злыхъ дёль дёлается; мало-ли разной неправды по землё ходитъ? Чтоже мнё за дёло? Батюшка съ матушкой учили: не осуждай. Ну, и не буду, да! Молчишь не грёшишь и спишь не грёшишь.

Эти растолковыванія всегда перекрикивали горластую лукерьину пѣсню. Полная тишина воцарялась тогда въкомнатахѣ снебилью, только одинъ котъ тихо мурлыкалъ, ластясь къ ногамъ Александрушки, да сама Лукерья, опершись о косякъ кухонной двери, пристально смотрѣла на человѣка съ загогулиной въ головѣ и по-временамъ, съ видимымъ впрочемъ ужасомъ, спрашивала:

- A ну-ка, Александрушка, про мою судьбу чтонибудь разскажи?
- Чтоже такое, что у ней каменный домъ?—отвъчала больная на вопросъ Лукерьи о ея судьов. Кабы тогда я глупа не была, онъ бы и теперь, домъ-то, мой былъ. Да! Я ей тогда сказала: сестрица! ты замужъ хочешь, за богатаго хочешь? Выходи вотъ тебв мой домъ. Тебя съ нимъ богатый возьметъ, только ты меня не покинь, когда мнв что понадобится. Вотъ она и не покинула... Ха-ха-ха! А сестра! Ахъ, черти! Грѣхъ, грѣхъ ругаться-то, Александра Семеновна! Перекрестись, милая.
- Ишь вёдь какъ чешеть она правду-то матку, ужасалась Лукерья, относя всё эти слова къ своей особе. Какъ она самое-то нутро мое до тонкости разбираеть—страсть! Брехъ-баба я, грёшница, каюсь! И за дёло, и безъ дёла со всякимъ грызться готова. Те-

перь сокращусь, попристальнъй стану Богу молиты Только къ чему же она это про каменный домъ за дила?.

- А быль бы, быль домь и тенерь мой! все большимь и большимь неудовольствіемь толковала Ансандрушка. А можеть бы его пожаромь спалило, скм землю бы провалился, или бы какъ-нибудь меня, думимь чужіе добрые люди надули. Все можеть. Много говорю, по бълу свъту всякаго несчастья расхаживает охъ какъ много! И несчастья, и неправды... Я во теперь испоконъ-въку всъмъ помогала да угождала, меня все вонъ выгнали, лицо-то мнъ все заплева А за что? за что? Ну-ка скажи, за что? усиленно сщивала больная, воззрясь въ свой чулокъ и спицы.
- А ужъ это такъ, Александра Семеновна! в лобно отвътила ей Лукерья, опять таки воображая, ч это угодный Господу человъкъ про ея жисть общ комъ разговариваетъ. Это ужъ, Александра Семенов моя должность такая разнесчастная! Жалованья-то в ло, а наругательствъ всякихъ въ-волю на этихъ в стахъ напринимаешься,...
- Гдѣ бишь у меня сынъ? вдругъ спросила струха и при этомъ вопросѣ даже отняла глаза отъ чка и подняла ихъ кверху. Какой это у меня сыбылъ, никакъ я не вспомню? Что это онъ у мен словно бы офицеръ былъ, или бы дѣвицей онъ был Нѣтъ, это дочь дѣвица у меня была; а онъ офицебылъ, точно! Добрый былъ, красивый, верхомъ на в нѣ, я помню, ѣзжалъ онъ, денегъ давалъ мнѣ...

Тутъ окончательно уже пришла въ себя Александрушка, при воспоминаніи о сынѣ, и хриплымъ голосомъ на всю комнату заплакала.

- Ви-и-кторушка! Го-о-лубчикъ мой! Всв-то меня безъ тебя бьютъ, всв обижають!..
- Ну, ужъ, теперь про себя пошла, проговорила Лукерья, уходя въ кухню. Жаль, раньше ты не пришель; такія тутъ сейчасъ Александрушка исторіи городила забава! Теперь опомнилась, объ сынъ голосить принялась, рекомендовала кухарка александрушкину печаль одному знакомому солдатику, который пришель потолковать съ ней бъздълицу до тъхъ поръ, пока хозяйка съ рынка не приволокется. (Чортъ ее облупи совсьмъ толстую шельму! Всегда какъ увидитъ, оретъ: вачъмъ говоритъ, крупа, къ моей кухаркъ шатаешься? У меня, говоритъ, благородные господа живутъ).
- Черти вы, идолы! орала Татьяна, до красноты упаренная полупудовою порцією говядины, которую она притащила съ рынка. Кричала, кричала, чтобы двери отворили, хоть бы собака какая бъшеная отозвалась. Ну эта сумасшедшая заговорится съ собой, не слышить; а ты-то здъсь какихъ чертей собирала? спрашивала сердитая съемщица у Лукерьи.
- Здравія желаю, Татьяна Ликсъевна! ласково раскланивался солдать, пряча за обшлагь шинели только-что закуренную кореньковую трубчонку.
- Надымиль ужъ тутъ табачищемъ-то своимъ! взъълась на него Татьяна. Въдь съ него собаки чихаютъ, а ты господскія хоромы имъ сквернишь. И за-

чёмъ только ты, крупа, къ мосй кухаркё шатаешься? повторила она свою обыкновенную фразу, на котору солдать никогда не могь отвёчать сколько-нибудь уды летворительно. — Охъ, дёлать-то вамъ нечего!.. Уг тебя баринъ какой-нибудь протолкаетъ отсюда.

Не выдержалъ наконецъ солдатикъ нападковъ същицы и заговорилъ:

— Хоть я теперича, Татьяна Ликсвевна, и солдат только никому обижать себя не позволю, потому не наша линія... Такъ-то! А что теперь касательно, я къ Лукерьв пришелъ, она мнв въ сродствв, и вей сродниковъ своихъ запретить впускать не имы правы, потому не къ вамъ я пришелъ.

Энергичнъе этой опозиціи, выставленной солдатию татьяниной руготнъ, никогда еще не видываль темп коридоръ, хотя, надо правду сказать, точно также и никогда и не слыхаль болъе зычнаго окрика, котор задала въ это время Татьяна солдату за эту оппозищ Остальной коридорный народъ былъ до того безцвъти и сносливъ, что хозяйкъ на него и покричать-то, ко слъдуетъ, не удавалось, потому что всъ ся самыя тарскія желанія, безъ малъйшаго даже помысла о проти ръчіи, въ ту же минуту исполнялись этимъ народом

— Смолчи ужъ лучше, — совътовали другъ ду корридорные, когда кто-нибудь изъ нихъ осмълива возражать лютующей бабъ.— Разозлится, на морозъвкинетъ, тебъ же тогда хуже будетъ.

Немножко не таковы были жильцы комнатные.

negroup in the state of the sta

harada e canada da a danta hara dan acendrantan ee canada ee canada da arada ee canada ee canada

жительцы комнатные, или господа.

Описанный коридоръ раздёлялъ комнаты снебилью на двё половины, въ каждой по четыре каморки, величаемыхъ Татьяною громкимъ именемъ номеровъ. Одна половина своими окнами была обращена на улицу, другая на дворъ. Въ одной изъ лучшихъ комнатъ, смотравшей на улицу, въ качествё человёка, происходившаго отъ старинныхъ польскихъ магнатовъ, жилъ прапорщикъ Бжебжицкій.

- Да! я таки привыкъ къ нъкоторому комфорту, говаривалъ сей обрусъвшій сарматъ, закладывая зимой пальто для того, примърно, чтобы купить ничтожный коврикъ по двугривенному за аршинъ къ изодранному дивану, на которомъ онъ спалъ.
- Въ чемъ же вы теперь ходить будете? спроситъ кто-нибудь у прапорщика въ то время, когда онъ производитъ свою спекуляцію.
- Есть мнъ время разсчитывать, какъ и въ чемъ ходить я буду, обыкновенно отвъчалъ онъ. Подите, спросите у Александрушки: въ чемъ она будетъ ходить?

Въ томъ же самомъ и я ходить буду. Рекомендую вамъ, какъ самый лучшій образецъ для всевозможни подражаній, — прибавлялъ Бжебжицкій, когда у него ходилъ съ къмъ-нибудь изъ сожителей споръ о како нибудь трудномъ вопросъ жизни.

- А все это меня Москва къ такимъ роскоп пріучила, — откровенничаль Бжебжицкій, съ жидо принимавшимъ у него пальто, въ надеждъ располож своимъ добрымъ обхожденіемъ израильтянина къ то чтобы онъ взяль съ него въ мъсяцъ пять проценти а не десять, какъ обыкновенно взимаютъ израильтян То-есть ты не повъришь, Барадка, - убаюкиваль во наишельмъйшаго жида, — такими она меня суммами валивала, теперь даже и подумать о нихъ гръшно сама какая была, ежели бы я тебъ ея портретъ п залъ, такъ ты въ полное неистовство придешь. Но в своими черными, безстрастными глазами въ одно п же время осматривалъ и прапорщичье пальто и са прапорщика до того насмѣшливо и вмѣстѣ съ т почтительно, что даже самая окриленная надежда за вить его что-нибудь вскрикнуть при взглядь на третъ московской купчихи, становилась втупикъ; коже Бжебжицкій, какъ нельзя больше знакомый этимъ взглядомъ, все-таки продолжалъ:
 - Ишаакомъ, Іаковомъ и Ижраидемъ клянусь, ты, Барадка, пепремённо вскрикнешь: «Пане мойликій? пане мой, ухъ какой ясновельмозный! Дайте эту купчиху миррой и виномъ напоить.» Такъ-то, св ная ты тварь, жидъ ты, христопродавецъ, анаф

Воть и изъ-за чего мое пальто закладываю: изъ-за купчихи собственно, потому что нынъщий день предстоитъ ми случай возобновить съ ней прерванное знакомство. Такъ ты обстоятельство это и чувствуй всъмъ своимъ носомъ жидовскимъ.

Затемъ шла уже Барадкина речь.

— Ахъ, пане мой! — говоритъ Барадка. — Какъ зе вы хоросо такъ по насему науцились. Долго долзно быть, въ Полсв вы зыли; много, долгно быть, вы насему брату своихъ барскихъ весцей прозакладывали. — И все-таки вмъсто того, чтобы дать прапорщику подъ его пальто шесть рублей, жидъ давалъ сму почему-то десять, а процентовъ бралъ только восемь.

Такимъ образомъ велъ прапорщикъ свои дълишки.

Всъ они у него состояли изъ закладовъ и перезакладовъ и постоянныхъ стремленій ухватить гдъ-нибудь въ магазинъ, или лавкъ, распродающейся, вслъдствіе нъкоторыхъ коммерческихъ обстоятельствъ, по неимовърно-дешевымъ цѣнамъ, ухватить, говорю, товару какогонибудь подъ заемное письмо, сотняги эдакъ, канальство, на двъ, на три и потомъ бакнуть этотъ товаоецъ, по крайности, за бумажку съ столбиками. Въ поавднее время стремленія эти осуществлялись какъ-то ъ каждымъ днемъ все ръже и ръже.

— Чъмъ ближе къ гробу, — говаривалъ Бжебжицій, — тъмъ какъ-то несмысленные дылаешься. Ныны ктъ уже той прозорливости, которая постоянно отлиала столь эффектно бунтовавшую юность мою. Или жь народъ, то есть, что называется массой-то, измо-

Моск. нор. и трущ.

шенничался, испрогрессировался, т. е. ходишь-ходишь по него съ цёлями добыть отъ него свои благором средства—и ничёмъ-то ты его не объёдешь. Сам масса въ нынёшнія голодныя времена каждую ми дикимъ звёремъ рычитъ, потому что запросъ на и изо всякаго рта здоровый идетъ и тишины этой мятежной, которою добрая старина отличалась, даж въ провинціи не найдешь. Д-да-съ!

Никогда, даже и въ тъ моменты, когда Бжебяп находился на взводъ, и слъдовательно, судя по о человъчески, въ большемъ или меньшемъ располог -къ откровенности, нельзя было добиться отъ него, онъ, откуда появился въ столицъ и чъмъ и занимается въ ней. Рекомендую же я его за пращ -ка на томъ единственно основании, что это был слъднее его показаніе, которому почти никто не рилъ, потому что за нфсколько лътъ назадъ Бжей -каго неръдко видали въ Москвъ и подъ голубымъ лышемъ, и въ эксельбантахъ ученаго офицера, въ стюмъ штатскаго фешіонебля, съ заливающей вся цу своимъ ароматомъ сигарой во рту, и въ кихъ отрепьяхъ столичнаго пролетарія — не съ па ской даже, а просто-напросто съ бумажнымъ крюч набитымъ тютюномъ, гдъ-нибудь на Цвътномъ бр ръ, или у будки, дружелюбно вспоминающимъ съ вымъ про красоту родимой саратовской степи, гд одной деревушкъ у часоваго, какъ слышно было разговоровъ, проживала старая мать, а у Бжебжи въ другой сосъдней деревушкъ находилось, будт имъніе, отнятое во время его сиротства нъкоторымъ старымъ дядей, отъявленнымъ мерзавцемъ и шельмой.

Видали, повторяю, люди, какъ нрапорщикъ заговариваль, какъ говорится, зубы бутырямъ съ целью, воскресивши въ ихъ памяти родныя и весело-зеленыя поля и родныя же, но черныя и печальныя избы, получить нёкоторымъ образомъ приглашение войти въ теплую будку, обогръться и покалякать; а дальше — Бжебжицкій умъль уже, какъ онъ самъ про себя говорилъ, держать фортуну за хвостъ — дальше въ будку приходила какая-нибудь Матрена изъ сосъдняго дома, вынимала эта Матрена изъ своихъ кармановъ полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самоваръ. Подъ его пріятное шиптнье, Бжебжицкій заводилъ нескончаемый разсказъ про свою сиротскую, бъдственную жизнь, за что конечно получалъ хотя и косвенное награждение въ видъ этого угостительнаго горячаго чая и мягкаго полубълаго хлъба, которые такъ пріятно ложатся на начинавшій уже мертвъть желудокъ. А ночь между тъмъ, эта темная, съ холоднымъ, постоянно моросящимъ дождемъ, осенняя ночь, - все идетъ да идетъ вмъстъ съ этимъ печальнымъ разсказомъ про непрестанный голодъ и холодъ, про необходимость не унывать въ такія времена, про разныя веселыя шутки, которыми, въ свою очередь, молодцоватый бъднякъ отражаль нашествіе на него грозной нищеты; а простой народъ съ каждой минутой все внимательнъе и внимательнъе слушаетъ этотъ разсказъ и все любовиће и любовиће подчустъ занимательнаго гостя.

- Вы вотъ что, ваше благородіе, говорить в нецъ будочникъ, окончательно завоеванный барси разсказомъ; вы подождите на минуту говорит вотъ по сосъдству въ кабачокъ сбъгаю, полштофик селедочки захвачу. За одно ужь. Кстати взгляну, журный нейдетъ ли.
- Ахъ, баринъ, баринъ! задумчиво и печально износитъ Матрена, смотря на гостя. То-то, по гля на тебя, горя-то на своемъ въку много ты нахлебы
- Вволю хлебнулъ всего: и горя, и радости, ты моя! Въдь вотъ теперь, признаться сказать, в моей было губъ вашъ чай, не привыкъ я пить та однакоже пью, и сроду, кажется, сласти такой в даль. Вотъ до чего голоденъ!
- 0, 0-хо-хо! простонала Матрена. А гръшные, все-то завидуемъ господамъ, все-то мы маемъ, что у нихъ горя-то и въ поминъ нътъ.
- Какъ же! Больше вашего еще. Ты не гляда они сладко вдять да одваются чисто. Ты воть, примъръ, сошла съ мъста, нътъ у тебя кварт иътъ денегъ, такъ ты въ любомъ мъстъ у своего та ночевать за Христа ради выпросишься, а барт стыдно христарадничать. Вотъ я которую почь на пъ сплю...
- Баринъ хорошій, да ты ныне-то хошь у ное будкъ переночуй; все же теплье. Отдохнешь по ности...

Умълъ Бжебжицкій толковать со всякаго рода б стью, и она его, и онъ ее до слова понимали. — Я теперь ничего не боюсь, — говариваль прапорцикъ, — ко всему привыкъ и у самаго даже бъднаго неловъка, что бы только пи захотълъ, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое мъсто для меня хорошо, скверныхъ случайностей не существуетъ.

Говорить это прапорщикь, а самъ (беззаботный такой!) сидить на своемъ изорванномъ диванъ и болтаетъ ногами. Его анартаментъ смотрълъ тогда тоже, какъ-то особенно беззаботно, словно бы это быль не человъческій апартаменть, а птичье гивздо, оставленное своими первоначальными хозяевами и служащее теперь мъстомъ отдыха и ночлега для разныхъ перелетныхъ птицъ. Его тустота не страшила собой даже непривычныхъ, постооннихъ глазъ. Три легкіе соломенные стула, ломберный столь, за отсутствіемь надлежащаго количества ногь, прислоченный къ стънъ, этажерка съ пылью и гравиованное изображеніе какой-то красноватой и пухлой кенщины съ надписью: «L'innocence», богъ-въсть къмъ и когда повъшенное на стъну, оклеенную разводистыми обоями, — все это вийстй съ прапорщикомъ, какъ будто зейчась же готово было вскочить на никогда неустаюція ноги и бічь за благородными жизненными средстзами въ первую лавку, гдъ, по слухамъ, удобно было рихватить кое-чего по-мелочи á bon crédit. Готово все то было, сказываю, безъ устали бъгать по лавкамъ, 10 жидкамъ и по русскимъ ростовщикамъ, остепенивдимся бабешкамъ, съ цълью отысканія у этого люда редита, — прыгать и весело хохотать, ежели находился таковой кредить, и, не задумываясь, не печал равнодушно разстановиться по прежнимъ мъстамъ, и ли борода, такъ сказать, выметала изъ лавки пра щика, а жидки и остепенившіяся бабешки просили у в какого-нибудь цъннаго залога.

Товоря вообще, изъ всего того, что обставляло п ную жизнь Бжебжицкаго, только одинъ черный кой его былъ невозмутимо солиденъ и серьозенъ, кам впрочемъ кобелиное качество нисколько не дѣлало п порщика заботливѣе, а напротивъ, подавало ему нем чаемые поводы къ разнымъ шуткамъ, которыя обы венно смѣшили большею частью нахмуренныхъ жи цовъ комнатъ снебилью.

— Господа! часто крикиваль Бжебжицкій черезь с ну своимь сосъдямь. — Идите ко мнъ, кто, какъ ворять хохлы, хочеть позакусить трохи. Цампа буд за насъ философствовать, а мы, какъ говорять русмужики, клюнемъ бездълицу.

Штука эта, когда униженные и оскорбленные соб Бжебжицкаго, внявъ его предложенію, клюнуть, доставивши философію исключительно на долю Цампы по крайней мѣрѣ въ моихъ глазахъ, исполнена глучайшаго интереса. О томъ, съ какимъ бѣшенымъ об венѣніемъ предается выпивкѣ изстрадавшаяся бѣдно можно судить по слѣдующему, совершенно справедливанскоту. У меня былъ одинъ пріятель, тоже изъткомнатъ снебилью, теперь старикъ ужъ, башка, б шая нѣкогда при самомъ Денисѣ штабъ-ротмистро угорѣлый пафосъ которой простерся въ былые годы

того, что раззадоренная однажды лихою пѣсней безсмертнаго въ лѣтописяхъ московскихъ кутилъ цыгана Илюшки, она бросила ему семъдесять тысячъ, по тогдашнему счету, на ассигнаціи—и сама осталась въ одномъ раззолоченомъ мундирѣ, при семтлой сабли полосѣ и съ поларшинными усами...

- Старичина! спросилъ я однажды у этой башки, когда мы были съ ней въ гостяхъ у двухъ братьевъ, степныхъ помъщиковъ, прівхавшихъ въ Москву просадить четыре тысячки рублишекъ, по нынъшнимъ уже счетамъ, на серебро. Старичина! сказалъ я, какіе бъсы помогаютъ тебъ выръзывать такія страшныя стаканищи?
- А это, отвътилъ старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность, это, говоритъ, братецъ ты мой, мнъ не бъсы помогаютъ, а сугубое представленіе, что завтрашній день на моемъ столъ не только этой благодати не будетъ, а даже и рюмочки простой кокоревщины...

Вотъ что мит сказаль проерыжничившійся старичина — и, слідовательно, Богъ съ ней, съ этой бідностью, когда она обжирается за чужимъ столомъ, и даже Богъ съ ней и тогда, когда она опивается на чужія деньги, ибо и бітдность, по моимъ теоріямъ, есть ничто иное, какъ живой человікъ, который, по пословиць, хочетъ калачика, какъ и всякая живая душа.

Готовнъе всъхъ и, слъдовательно, прежде всъхъ являлся на закуску къ прапорщику нъкто Сафонъ Оомичъ Милушкинъ, —личность, принадлежавшая въ дни

своего младенчества къ какому-то мудреному старо рядческому согласію. Это былъ маленькій, съ крас ватымъ лицомъ человъкъ, въчно думающій о чемъ робкій и какъ-будто однажды навсегда испуганный кою-то страстью. Въ комнатахъ спебілью онъ просвился своею, такъ-сказать, пламенной любовью кът пивкъ, отличнымъ умъньемъ пъть въ подпитіи раз старинные псалмы и по-истинъ поэтическими разсказ о своей прошлой жизни, о пугающей средъ, въ корой опа началась, и о тъхъ совершенно-невърояты причинахъ, вслъдствіе которыхъ Сафонъ Фомичъ разваль всякую связь съ этой средой.

Когда Милушкинъ находился въ трезвомъ видъ, мый искусный дипломатъ не могъ бы добиться него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь фрав наскучивши свистать и маршировать по своей тра аршинной кельъ, придетъ къ Сафону Фомичу, слу около него и начнетъ:

- Ну что, Сафонъ, какъ дъла? Что ты намъртенерь дълать? Сафонъ молчаливо переходилъ франта на другой стулъ и принимался молчать, в можно такъ выразиться, еще усиленнъе и какъ озлоблениъе.
- Чтоже ты ничего не говоришь? Я пришель тебъ, братецъ, по душъ потолковать; слышаль я ра, что лекцій по винокуренію будутъ читать. В бы тебъ чудесно послушать курсъ и на мъсто устроит
- Н-ну д-да? сквозь зубы процъживаль лушкипъ.

— Право, попробоваль бы,—продолжаль пріятель.— Взяль бы ты, братець ты мой, билеть на эти лекціи...

Сафонъ Оомичъ въ сильномъ пегодованіи обыкновенно трясъ въ это время своими длинными волосами, какъ-бы сбрасывая съ своей годовы ненавистный билетъ на винокуренныя лекціи.

- Да что ты головой-то трясешь, шутъ ты этакой? Тебъ же добра желаю; мъста, говорятъ, отличныя, оклады большіе.
- Да отвяжись ты отъ меня, Христа-ради! какъ-то болъзненно и вмъстъ съ тъмъ азартно вскрикивалъ Милушкинъ, и ежели пріятель пе унимался и послъ этого крика, онъ уходилъ со двора и пропадалъ неръдко на цълыя сутки.

Но выпиваль Сафонь Фомичь — и совершение мфнялся. При одномъ только взглядъ на полуштофъ лицо
его принимало какое-то плачущее выраженіе; какая-то
мука ложилась на него, вслъдствіе которой Милушкинъ
принимался тяжело вздыхать и крутить головою, — и
наконецъ уже выпивалъ, послъ чего неукоснительно
громко стучалъ по столу и скорбно морщился. И достовърно извъстно, что въ Сафонъ Фомичъ эти пріемы
были вовсе не заранъе придуманнымъ манеромъ съ
цълью посмъшить и амфитріона, и компанію, а просто
какою-то необходимой мистеріей, безъ которой выпивка
не имъла бы для него никакой цъны.

— Для чего ты морщишься, Сафонъ? — спрашивали у него собесъдники, зная, что Сафонъ на взводъ и что, слъдовательно, какъ всъ шутили на его счетъ,

находится въ полнъйшей возможности разъяснить щину всъхъ причинъ.

— Сгу-у била она меня, чор-ртъ ее побери! от чалъ Сафонъ, указывая на водку. — Гибель она м вотъ отъ чего я морщусь, потому мука... Хочу сов дать съ ней и не могу; а отъ немощи этой страдам

Предстоявшие разражались громкимъ хохотомъ, а офонъ съ скрежетомъ зубовъ наливалъ еще рюмку, злостью выпивалъ и приговаривалъ: — о, чтобъ в чортъ взялъ, проклятое зелье! Не было бы тебя, та и горя у меня не было бы никакого!...

Послѣ двухъ рюмокъ Сафонъ Фомичъ обыкновен начиналъ, по выраженію Татьяны, комедь про см злосчастную жизнь. Даже и хозяйка комнатъ, п п харка даже лѣзли тогда къ Милушкину съ своими шу ками, упрашивая его разсказать имъ что-нибудь пот тереснѣе, — и Милушкинъ безпрекословно разговариви и съ ними, примѣрно въ такомъ родѣ:

— И вамъ разсказать что-нибудь? спрашиваль и ихъ, по своему обыкновенію вихляясь и какъ-то чаянно покручивая побъдною головою. — Извольте, Та яна Алексъевна, извольте, Лукерья Онисимовна! У влетворю и васъ. Примърно, какая теперь разни спрошу я васъ, между мною и вами? Вы объ дубом отрубки, и я по-настоящему долженъ бы быть ду вымъ же отрубкомъ. Идолъ! — гремълъ старовъръ Татьяну: —ты такъ и осталась дубомъ на всю жиза я, на мое всегдашнее горе, въ животное превративъ животное, которое во всъ мъста каждая рука бъетъ;

и оно это чувствуеть, а ты, ежели тебя даже и въ рожу съвздить, ты этого не почувствуешь, потому корою ты обросла столътней.

- Чортъ знаетъ что! Какъ же это не почувствую, когда меня бить будутъ? отшучивались Татьяна, видимо однако робъя начинавшаго уже восторгаться Сафона Фомича.
- Да ужъ я тебъ врать не стану. Ты слушай меня, дурь безмърная. Понимаешь ли ты, что соврать, какъ ты напримъръ ежесекундно врешь, я не могу, какъ не могу не умереть когда-нибудь. И потому я тебъ говорю: ты дубовый отрубокъ, которому легко жить, а мнъ тяжело.
- Ну? говориль кто-нибудь изъ жильцовъ, наслушается теперь Татьяна старовърческихъ отвлеченностей! — между тъмъ, какъ сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала надъ ними, какъ говорится, въ сторону.
- Такъ-то, Татьяна Алексвевна! Ты вотъ какъ думаешь, что я здвсь двлаю, живучи у тебя? Ты ввдь, знаю я, полагаешь, что я ничего не двлаю, а такъ вотъ себв, баклуши бью?
- Какъ можно, Сафонъ Фомичъ, ничего не дѣлать! говорила Татьяна съ стыдливою и старающейся быть почтительной улыбкой,—все что-нибудь по своимъ дѣламъ орудуете, а только, признаться сказать, не знаю что.
- Вотъ я тебѣ сейчасъ скажу, чѣмъ именно я у тебя орудую здѣсь,—вызывался Милушкинъ. Я, ми-

ная ты моя, наблюдаю есть ли въ Москвъ человът которому бы жить на этомъ свътъ хуже меня был Вотъ что я дълаю! Наблюдаю—и не нахожу—и скор дю душой отъ зависти, что всъ люди, какъ люди, я, ни Богу свъча, ни чорту кочерга. Ты и то лучи меня. Изобью я тебя сейчасъ за это, бабнища дура кая! Всякому злу ты причина, всякому доброму начинаню гибель.

- Э-й, Сафонъ! Опомнись, любезный! уговар вали его сосёди, выб'ёжавшіе на крикъ Татьяны, в торую несчастный начиналь уже поталкивать. По лучше выпей, мы за водкой послали.
- Любезное дёло, соглашался Сафонъ. Дуракът вздумалъ съ бабой раздабарывать. Плевать пужнот бабъ всегда, а не раздабарывать. Пьемъ?

«К-кому повъмъ печ-ча-аль мою? К-ко-о-го призову къ рыдавію?»

обыкновенно запѣвалъ Сафонъ Фомичъ, когда нач налъ, какъ говорится, заговариваться. Всякій, к только не лѣнился, могъ сдѣлать изъ него въ это в мя своего шута.

- Ну, Сафонъ, приставали къ нему тогда со всы сторонъ: разскажи, пожалуйста, какъ ты попалъ сы зачъмъ и почему?
- Можно! кричалъ Сафонъ. Знаю, что вы см тесь надо мной, бестіи, а я разскажу, — въ поучев ваше общее разскажу. Слушайте: родился я тамъ гд то, у чорта на куличкахъ; верстамъ отсюда до ты мъстъ счету нътъ, только всъ эти версты я собств

ными моими ногами измѣрилъ. Дѣдушка у меня былъ...
только лучше я про дѣдушку моего ни слова вамъ не скажу, потому что вы такихъ людей и во снѣ пи разу не видывали. Вѣкъ вашъ не такой—и племя иное. И про отца тоже ничего не скажу, потому что и меня одного станетъ про вашу потѣху дурацкую. Всего лучше будетъ, — продолжалъ Милушкинъ, сердито наморщивая брови и какъ-бы опамятовавшись, —ежели я про весь домъ нашъ не буду говорить съ вами; испугаетсь вы пожалуй до того этого дома, что и смѣяться надо мной перестанете.

— «Не по носу вамъ этотъ домъ, ребята! — словоохотливо добавлялъ Сафонъ Фомичъ, расцвъчая насильственной улыбкой свое лицо всегда помрачаемое воспоминаніемъ о родимомъ домѣ, — букетъ его, братцы, сразу перехватитъ вамъ носовые хрящи, даромъ, что вы ребята обстръленные, — ко всякимъ, слъдственно, ароматамъ привыкли.

«У насъ, бывало, въ дому по цёлымъ ночамъ мать, какъ Рахиль въ Рамѣ, стонала и убивалась, а сѣдой дѣдъ, съ морщинистымъ такимъ лицомъ, неподвижнымъ и сильнымъ, какъ гора каменная, тоже по цѣлымъ ночамъ за толстою книгой въ кожаномъ переплетѣ сидѣлъ, и дочь, отъ слезъ обезумѣвшую, ни однимъ взглядомъ, бывало, не пробовалъ утѣшать. Сидитъ, говорю, бывало, въ переднемъ углу, какъ темная туча, и бубнитъ свою книжку; а въ окна большой избы, освѣщенной тонкимъ сальнымъ огаркомъ, такойто ли крикливый вѣтеръ просился, — тоска!..

Но и матери плакать, и дёду благочестивымъ книж нымъ чтеніемъ заниматься ничуть не мёшали ужас страшной лёсной, сёверной ночи, потому что горе на шего дома было въ тысячу разъ страшнёе этой ночи...

«Только я вамъ и объ этомъ горъ не буду больш разсказывать; лучше я вамъ разскажу про отцовы і про дедовы книжки, по которымъ я читать выучился Это были толстыя, почернъвшія книги, которыя угра мо высматривали изъ темнаго передняго угла, гдв он обыкновенно лежали, словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вотъ-де, мальчуганы, какія мы серді тыя! Много объ васъ хворосту изстегаютъ, много в лосеновъ повыдергаютъ, когда будутъ васъ учить вш кать въ насъ! Только, бывало, картинками, нарио ванными въ нихъ, и можно было подманить ребяте нокъ къ этимъ книгамъ. Подойдешь, начнешь перел стывать, а отъ листовъ пахнетъ воскомъ и ладоном божьимъ деревцомъ и кипарисомъ, и всв они переле жены узорчатымъ кружевомъ, разноцвътными лентам и широкими проръзными древесными листьями. Не на глядишься, бывало, на книги, когда, осиливши первы страхъ, станешь разсматривать ихъ. Особенно, я пов ню, занимали меня двъ картинки. Одна изъ нихъ был въ псалтыръ и изображала пророка и царя Давида, золотымъ вънцомъ на головъ, поднятой къ небу, п видны были зеленые верхи райскихъ деревьевъ, б стволами густо-позолоченными, — въ свътлыхъ шир кихъ одеждахъ и съ гуслями въ рукахъ. До того, бы вало, досмотришься, глядя на эту картинку, что

яву шевелились предъ тобой листья небесныхъ садовъ, порхали въ нихъ и пъли какія-то невиданныя птицы, и царскія гусли тоже пъли вмъстъ съ ними до того сладко, что все сердце въ тебъ изноетъ, слушая эти пъсни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, съ другой, особенно памятной мнъ картинкой: тамъ, съ молніями въ карательно-распростертыхъ рукахъ, былъ изображенъ Господъ Саваофъ въ видъ старца, парящаго надъ землей на многокрылыхъ ангелахъ...

«При взглядѣ на лицо разгнѣваннаго Бога, на эти змѣистыя, слегка подернутыя золотомъ молніи, летающія изъ его могучей руки, непремѣнно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: святъ, святъ, святъ, потому что кажется тебѣ, какъ разсказывалъ дѣдъ про страшный судъ, что вотъ-вотъ сейчасъ колыхнется земля на своихъ основаніяхъ и запылаетъ всеобщимъ пожаромъ и что волны того пожара досягнутъ до самаго неба...»

Тутъ старовъръ приходилъ въ окончательный экстазъ. Его маленькое, опущенное впрочемъ рыжею бородою лицо, гнъвно морщилось и свътлъло, на лбу ложились совершенно-старческія глубокія морщины, придававшія этому лицу выраженіе несокрушимой силы, и злобно стуча кулакомъ по столу, Милушкинъ продолжалъ свой разсказъ съ такимъ горячимъ одушевленіемъ, какъ-бы нашелъ онъ сейчасъ противника, который на-смерть оспариваетъ правду его разсказа.

— Воспитали меня эти книги для славы Бога моего, которую я неустанно хочу пропов'ядывать. Что вы думаете, шуты вы, гробы повапленные? Можетъ-быть проповъдь моя загремъла бы въ уши ваши, какъ гроп Саваофа, который въ старой книгъ на картинкъ дуп моя видъла и слышала, можетъ она образумила б васъ, перекрестились бы вы отъ нея, можетъ быт Али нътъ? не перекрестились бы?.. То-то и я сам думаю, врядъ ли, потому что душъ у васъ нътъ сердецъ у васъ нътъ, а есть только одиъ утробы...

— Ну, будеть, ребята! Пошалили и баста! Нув кто мив нальеть водочки? Ибо руки мои уже не дв гаются, закончиль Милушкинь, грустно поникнувъ в ловою на залитый водкою столь.

А между тъмъ всъ, что называется, храбрые вынив уже стеклись къ Бжебжицкому на его закуску, котора съ каждой минутой свиръпъя все больше и больш превратилась наконецъ въ бурно-шумящую оргію. Сп чала выпивку разжигали воспоминанія старов ра, потомъ ужъ настоящій ходъ и значеніе придали ей д неразлучные друга одинъ отставной учитель гимнази кривой и обезображенный осной, по прозванію Степа Гробъ, главная жизненная сладость котораго заключ лась въ постановкъ, какъ онъ говорилъ, разныхъ п бокихъ вопросовъ, и другой — нъкто уволенный ст дентъ Бенедиктовъ, прозванный за свою касту Нш тою Пустосвятомъ, а за гигантскій ростъ Високосны Годомъ или отставнымъ драбантомъ его шведскаго в ролевскаго величества. Этотъ мужъ считался звъзд первой величины на горизонтъ комнатъ спебилью свое необыкновенно - оригинальное умънье играть гитаръ. Touth Housepan Hoose And

Високосный - Годъ уже разошелся до такой степени, что его варьяціи начинали временами обращать на себя вниманіе самыхъ пьяныхъ; Бжебжицкій подъ эти звуки сладострастно разлегся на своемъ диванъ, задумчиво раскачивая въ рукъ черешневый чубукъ; Амаліи Густавовны и Адельфины Петровны, обманутыя нъкоторыми мотивами, пробовали подпъвать подъ гитару, но драбантъ не любилъ, чтобы кто-нибудь, а тъмъ болъв какая нибудь Адельфина, или Степанида вмъшивались въ его фантазіи, и потому онъ время отъ времени во все свое громовое горло безъ церемопіи кричалъ: цыцъ, —бабы! не то гитарой головы разобью!»

— Гдѣ, гдѣ молодое поколѣніе? кричалъ Степанъ Гробъ, напирая на пѣкотораго молодца, прозваннаго одними мистеромъ Скимполемъ изъ Холоднаго Дома, другими же Пляшущимъ Маколеемъ. Гдѣ оно, это новое поколѣніе? азартно переспрашивалъ Гробъ, яростно вращая единственнымъ глазомъ. Ужъ не это ли? доискивался онъ, тыкая пальцемъ въ одного шестиклассникагимназиста, тоже жильца комнатъ. Это вовсе не молодое поколѣніе, а это просто-напросто молодой пьяница!

Браво! заоралъ такимъ образомъ рекомендованный гимназистъ, конфузливо присъдая отъ неестественнаго хохота. Браво, Степанъ! (Прибавить слово «Гробъ» къ имени своего бывшаго учителя, гимназистикъ все еще по старой памяти опасался). Я съ тобой совершенно одинакихъ убъжденій на счетъ молодаго поколѣнія.

— Поди къ свиньямъ, губошлепъ! оттолкнулъ единомышленника грубый Гробъ. Коего чорта ты смыслишь моск. ног. и трущ. въ этихъ дълахъ? Ступай-ка лучше паси овцы от твоего.

Гимназистикъ вломился было въ амбицію, но ста въръ не допустилъ разгоръться порывамъ мальчика.

— Полно тебъ связываться съ этой заразой, и ша! сказалъ Милушкинъ гимназисту. Ты развъ не в дищь, что это пьяный циникъ? А пьянаго циника, і лый мой, отъ свиньи отличить невозможно. Хуже гаже этого народа ни одной гадости во всей подсоль ной нътъ. Ейбогу? Върь ты моему слову. У тебя оте то кто быль? Пом'вщикъ? Ты, значитъ, за текущій г сяцъ за мою квартиру сполна заплати: мнъ, знает дружечекъ, взять негдъ. Ейбогу! Стой, я тебя по лую. Такъ-то, милый мой, береги свою юность, пей, -- скверно. Вотъ и выучилъ меня отецъ грам и принялся я тъ толстыя книги читать. Читаешь, таешь, бывало, и уснешь, а во сив представится те какъ на ладони, Кіевъ святой съ пещерами, храма монастырями и широкимъ Днъпромъ. Ходилъ я, тецъ ты мой, въ Кіевъ взрослый уже, — недавно дилъ; только, божусь тебъ, точь-вточь я во снъ та же Кіевъ видълъ, какой онъ въ самомъ дълъ ест Не въришь? Такъ я тебъ вотъ что скажу: я впр во снъ Римъ, и его форумъ, и его императоровъ, чившихъ нъкогда христіанъ, Голгофу съ тремя кре ми, и поля, окрестныя Герусалиму, по которымъ диль Христось; видъль, какъ процессія попа-Ним на споръ по Москвъ шла; а теперь, когда я уже отцовы, а другія книги читаю, — другое уже совс

вижу... И вотъ, милый мой мальчикъ, скоро, скоро я брошу скверну мою и пойду, и пойду... Да! ты върь мнъ.

А передъ Степаномъ Гробомъ, вмѣсто сраженнаго имъ Пляшущаго Маколея, стоялъ уже другой юноша, высокій и стройный, блѣдный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорилъ онъ своему мрачному оппоненту:

- Опытъ, кто говоритъ противъ этого, очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа онъ ничего не видитъ...
- Браво, Ваня! хохоталъ Милушкинъ, вслушавшись въ послъднія слова молодаго человъка... Катай ихъ съ этой точки зрънія. Спроси у нихъ, куда они дънутъ жизнь сердца, куда они дънутъ мои сны? Ха-ха-ха! куда они дънутъ ихъ?
- Валяй, бабы! могуче крикнулъ отставной драбантъ его королевскаго шведскаго величества. — Теперь ваша очередь. — И онъ ударилъ на гитаръ что-то такое, въ одно и тоже время и ноющее и веселое, отъ чего никакая русская бабъя душа не можетъ усидъть на мъстъ. Одна изъ Адельфинъ сразу угадала, какую именно сельскую пъсню поетъ гитара артиста, голодающаго нъсколько лътъ въ городъ съ цълью подробнъе изучить характеръ своего пъвучаго друга.

«Ахъ, гдъ ты была, Моя нечукая? Ай въ степи ты брала ленъ, Ай ты съ къмъ гуляла?» вскрикнула Адельфина вмѣстѣ съ звучно-трепетавши струнами, въ одно мгновеніе переставши быть Аделфиной и дѣлаясь, какъ встарину, послушною дочер дяди Петра, чернобровой утѣхой и работницей родим дома. Родимая пѣсня распрямила ея станъ, сгором ный городомъ; отъ зеленыхъ полей, на которыхъ рестетъ пахучій лепъ, засвѣтились потухшіе глаза и краснѣлись прежде времени поблѣднѣвшія щеки.

— Охма! гремёлъ Високосный-Годъ, заливая волими, какъ стаи легкихъ полевыхъ пташекъ, щебет шихъ трелей, комнату Бжебжицкаго.

«Ходи изба, ходи печь Хозяину негдъ лечь!»

Оралъ онъ въ поощрение дъвушки, и живо палы его уничтожали въ гитаръ тотъ разгулъ, съ которы она спрашивала у *нечужой*, *гдъ она была*, пото что нечужая на повторенный вопросъ:

Охъ! гдъ же ты были? Завалилася?»

отвъчала:

«На дырявомъ я мосту Провалилася!»

И такъ-то скоро, такъ-то порывисто послѣ этого и плакали струны, словно бы больная истерикой женш на, а Адельфина такъ-то плясала подъ этотъ плактакъ-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковы каблукомъ своего городскаго башмака, что всѣ жилы темнаго коридора, всѣ эти Татьяны и Лукерьи напрывъ лѣзли къ дверямъ и оттуда смотрѣли на веподставивъ почему-то подъ бороды свои руки, что обы

новенно дѣлаютъ Татьяны и Лукерьи тогда, когда ихъ обурѣваетъ какое-нибудь сильное горе...

— Дъйствуй! закричалъ вдругъ Сафонъ Фомичъ, бросившисъ въ плясъ съ быстротой совершенно-трезваго человъка.

M nomao!.. and your send a dynamic or others

Я лично, тоже жилецъ самой крайней комнаты снебілью, обращенной однимъ окномъ на дворъ, а другимъ упиравшейся въ какую-то высокую кирпичную стѣну, пришелъ въ это время къ Бжебжицкому, лишь только заслышалъ топотъ знакомаго трепака.

— Знатокъ я, братъ, своего дѣла! обратился ко мнѣ Сафонъ, выдѣлывая неимовѣрную присядку. — Что давно не пришелъ? Я, любезный, такую тутъ безъ тебя фигуру отмочилъ, совсѣмъ новую! Жаль, что ты не видалъ. Ну, благо теперь пришелъ. Выпьемъ съ тобой и качнемъ стариниую. Готовься ребята!

Всѣ откашлялись, а я зажмуриль свои глаза, потому что не могъ пѣть старинной не зажмурившись!..

Выпиль Сафонь Фомичь, крякнуль, и нюхнувши маленькій кусочекь хлібца, съйль его, а потомь уже началь:

«О-о-охъ! Ты взойди, ты взойди солнце ясное!
О-о-охъ! надъ горою да надъ высокою,
Надъ дубравой да надъ темною!
Обогръй насъ добрыхъ молодцовъ,
Добрыхъ молодцовъ, сиротъ бъдныихъ,
Спротъ бъдныихъ, безпаспортныихъ!»

Я, пронзающей фистулой, могущей дёлать неописанныя варіаціи, и громовый басъ Високоснаго-Года, вмѣстѣ съ его десятиструной гитарой, дружно прин шіе отъ запѣвалы вторую строчку пѣсни, сдѣлали т что съ перваго же нашего оха, все что въ потѣ ла трудилось въ печальныхъ подвалахъ дома комнатъ са білью, — все это разлилось передъ нашими окнами слушало старинную пѣсню, отъ которой тяжкій сто шелъ по цѣлому дому.

- Важно поютъ! толковала публика.
- Играютъ безподобно! И все это студенты от чаются.
- Студентамъ однимъ такъ не сыграть: безпрем но есть и господа.

«О-о-охъ! Сиро-отъ бъдныихъ, безпаспортныхъ!»

тянули колокольчиками дишканты Адельфинъ, Таты и Лукерьи, по-временамъ заливаемые волнистой окта драбанта и такъ-сказать горюющимъ теноромъ Саф Фомича, который впрочемъ, по правдъ сказать, ники не выстаивалъ въ самыхъ верхнихъ нотахъ проп моей фистулы.

- Вонъ она, сиротская-то наша-матушка расм вается! восхищался народъ, все больше и больше воднявшій нашъ дворъ. Вишь господа-то ее в вздымаютъ: поди чай, подъ самымъ небушкомъ слыш
- Тебъ же говорятъ, что это не господа! по тельно замътилъ восторгавшемуся парню какой-то, всъмъ примътамъ, мастеръ. Не господа, а такъ, бенты простые, народъ больше, не хуже нашего та, бъднякъ.

— Пшоль, негодный шеловъкъ, негодная твоя тварь! загоняль своихъ рабочихъ въ покинутыя ими мастерскія нъмецъ-красильщикъ. — Какой теперь шасъ! гнъвно шумъль онъ. — Гдъ ты долженъ быть? Въ мастерской, а онъ тутъ на всякое глюпство уши раздвинулъ. Никогда этого не пойметъ, шортова голова, что въ мастерской надобно быть въ одинъ шасъ, а въ другой глюпствомъ заниматься... Пшоль! Пшоль!

Веселая насъ, господа, компанія собралась въ комнатахъ снебілью! До того веселая и хорошая, что шестиклассникъ-гимназистъ всю слъдующую за выпивкой недвлю старался, по примвру Степана Гроба, становить разные глубокіе вопросы и, также какъ онъ, кавалерски, или, какъ говорили въ комнатахъ, съ криваго глаза, ръшать ихъ; надувался онъ, бъдный, изо всъхъ силь быть такъ же народнымъ, какъ Сафонъ Фомичъ; у Високоснаго-Года учился на гитаръ, а ко мнъ (о горе мив, развратившему своимъ примвромъ единаго отъ малыхъ сихъ!) ко мнъ, говорю, всю недълю приставаль поисправить немножечко какой-то разсказъ и похлопотать въ какой нибудь знакомой редакціи о скоръйшей выдачь ему за этотъ разсказъ гонорарія, который, я увъренъ, этотъ парень, въ качествъ сына своего въка, употребилъ бы на выпивку, шикарнъйшую выпивки прапорщика Бжебжицкаго...

-arafferen

ingula beat abhysted Atlescourt hangoper exactly to know the hangoper at a country beat and assert the country beat and another at the country beat and a factor of the country beat another a country beat another another another another and another anothe

and the contract of the second the second -raison (ris. dokt.begoto . infantidos ., aconses, parasir . inc. resolutions, to risto beneated stepolical the the of the butter handlers is the same to the same of the Committee the state of the stat n carrieng ar-horba durensumen armogenium (a: -day is minagent lieuwaking pigwas hings in arprono on thinging the story products ton-question on--udibations " inemial on the armospione contra of

АРКАДСКОЕ СЕМЕЙСТВО,

an a ships sentan sa manakercenigish de sa kabu ek ensimba kensan sentan dengan dengan asa a sentang ekengan sentan kensanghan kensan dianggan dikenda ang merepada dianggan dianggan di dianggan ang mengan dikengan panggan dikendan dikengan dikendan dianggan dikendan dikendan dianggan dikendan dianggan di anggan dianggan dianggan dikendan diken

иди

новая камелія въ кэпи.

(московская идиллія).

Что на свътъ прежестоко? Прежестока есть любовь! Изъ народи. пъсни.

Наз нароон. пъсни.
Я предъ тобой на колъняхъ! съ неподдъльнымъ павосомъ сказалъ графъ Андрей, воздымая руки къ небу.

The state of the s

Мои повъсти я всегда начинаю описаніемъ природы, побуждаемый къ этому слъдующимъ обстоятельствомъ.

Будучи, по натурѣ своей, человѣкомъ улицы, я, шатаясь изъ конца въ конецъ по нашей широкой отчизнѣ, видѣлъ по крайней мѣрѣ сто милліоновъ людскихъ глупостей и двѣсти билліоновъ людскихъ же подлостей. Вспоминая объ этой миріадѣ орнаментовъ земнаго шара, безъ которыхъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, онъ и не удержался бы въ пустомъ пространствѣ, я прихожу въ неизъяснимое бѣшенство. Созданный быть

ловцомъ душъ, т. е. исправителемъ человъчества, я смертельной жажды томлюсь въ это время желани такой богатырской силы, которая бы всегда давала и полную возможность всякаго джентльмена, спом ствующаго своею подлостью, или глупостью равновы земнаго шара, схватить за волосы цълою горстью тузить его и тузить, дабы онъ былъ чистъ и не ственъ, дабы онъ наконецъ не препятствовалъ ме собственному ираву быть добродътельнымъ и вид другихъ таковыми же...

Да! Не проходить ни одного дня безъ того, чт я глубоко не скорбълъ объ отсутствии въ моихъл кулахъ надлежащей развитости. Когда мнъ приходи выражать эту скорбь, я бываю страшенъ, какъ ли звърь, и обыкновенно лечу къ Пуаре учиться гип стикъ. Свъжій воздухъ постепенно охлаждаетъ мое рящее лицо, скорый бъгъ утомляетъ на минуту бужденное разлившеюся желчью тъло, и я начинаю п поминать время и мъсто, гдъ совершилась извъст глупость, или подлость, возмутившая меня. Начин говорю, припоминать время и мъсто совершенія изві наго нелъпаго дъла и чъмъ ярче освъщало это 1 хладнокровное, ничъмъ не возмущающееся солнце, веселье смотрыла въ моей памяти сцена людскаго совершенства, тъмъ я дълаюсь и тише и тише, п ръшительнъе бросаю свое намърение давать практ Пуаре и наконецъ окончательно, такъ сказать, о мившись, я заломляю набокъ мою порыжълую, бонвы скую шляпу и иду, иду, иду...

И оно — это безалаберное море безалаберныхъ дълъ людскихъ — шумно катится предъ глазами моими, одинаково безправно топящее и безправно выносящее на на берегъ ловцовъ своихъ. Привыкли глаза мои не слепнуть отъ ослепляющаго блеска волнъ того моря. уши мои не глохнутъ отъ грохота ихъ и, если что нибудь иногда мъщаетъ моему обыкновенному, постоянному занятію смотръть на это море и думать о немъ, такъ это только выраженное уже мною желаніе физической силы, чтобы съ одной стороны помочь какому нибудь храброму и честному пловцу жизненнаго океана, который, спасши менве сильныхъ, самъ тонетъ теперь, теряя последнія силы; съ другой, чтобы стукнуть въ лобъ негодяя, который изъ труповъ, утопленныхъ имъ, сдълаль себъ широкій покойный плоть и съ улыбкой добродътели подъбхалъ на немъ къ мирному берегу.... CROTCTBO!

Но я удержусь моей тукманкой превращать эту улыбку въ гримасу смерти. И безъ меня невинное спокойствіе этой физіономіи самымъ гнуснымъ образомъ исковеркается и ужаснется при видъ черта, который неизоъжно встрътить ее въ жаркой банъ ада. Впрочемъ въра въ эту встръчу еще не такъ успъшно успокоиваетъ мое оъшенство, какъ успокоиваетъ меня, или шумный день, безпощадно освъщающій звърство людское, или тихая ночь, непроглядняя темнота которой снисходительно укрываетъ его. Поэтому природа у меня всегда на первомъ планъ. Она лучше всего, что только я узналъ во всю мою жизнь. Блистая нъкогда неподдъльной красотой въ мои дътскіе глаза, она заставила меня неподъльно полюбить ее, — вслъдствіе чего и настоящочеркъ я начну съ того собственно, въ какомъ сости ніи была природа въ то время, когда завязался ужи подлой глупости, составляющей его тему.

Узелъ московской идилліи завязался въ одной в тѣхъ свойственныхъ только Москвѣ улицъ, которы называю дѣвственными, а другія когда говорятъ в нихъ, называютъ: у черта на куличкахъ, у сатаны рогахъ. Рѣшайте сами, которое изъ двухъ назва справедливѣе.

Было восемь часовъ утра. Кто знаетъ нравы п ственныхъ улицъ, тому нечего говорить, что обитать ихъ въ восемь часовъ утра всѣ давно на ногахъ; кто не знаетъ этихъ нравовъ, тотъ непременно по маль бы, что жители еще спали. Такъ было все п на улиць, что, кромъ табачнаго дыма, который густ ми клубами выпускала изъ окна маленькаго домиш нъкоторая усастая ермолка, ничего не было видно на н Росла тутъ правда, ярко-зеленая трава, увлаженная невысохшею росой, за заборами стояли развъсистыя ревья, на нихъ чирикали садовыя птицы, будочн стояль на крыльцъ своей будки съ стаканомъ чая рукахъ, показывающій видъ, что онъ пьетъ за я ровье солнца, только что взошедшаго надъ громад настоящей Москвы; слъдовательно я, какъ бы, совр немножко, когда сказаль, что ничего не было на ственной улицъ, кромъ табачнаго дыма усастой ери ки. Я, изволите видъть, потому дозволяю себъ мале кую вольность въ частностяхъ моего очерка, что главная основа его цвлаго до безконечности справедлива. Примите это въ соображеніе и слушайте, что будетъ дальше.

Надъ двойнымъ рядомъ покосившихся хижинъ дѣвственной улицы, надъ ея травой и деревьями было такое мирное сіяніе весенняго дия, какое думаю должно освѣщать только свѣтлые сады рая и божественные лики населяющихъ эти сады.

Никакъ нельзя было подумать, чтобы какая нибудь людская голова, освёщенная этимъ солнцемъ, дышавшая этимъ ароматнымъ днемъ, рёшилась бы пойдти
въ дисгармонію съ окружавшею его повсемёстной красотою и обезобразить его своей пошлостью и подлостью. А между тёмъ этимъ именно свётлымъ утромъ,
такъ живительно пробуждавшимъ жизнь послё теплой
ночи, — на этомъ именно тихомъ мёстё, при видё котораго въ васъ непремённо пробуждалось желаніе выстроить на немъ свою кущу, чтобы въ ея безмятежной
тиши терпёливо ждать конца, когда истаетъ въ васъ
вёчно ноющее сердце, — на встрёчу вамъ безобразнымъ
червемъ выпалзывала людская мерзость, разгоняя ваши
добрыя мысли и ожесточенно вооружая васъ противъ
блага жизни.

Въ первый разъ этимъ утромъ людская дичь засвътилась предо мною сквозь зеленые листья геліотроновъ, гвоздикъ и тому подобной дряни, которою Анна Петровна Маслова, по наржчію дъвственныхъ улицъ, Маслиха, думала украсить три окна своего, какъ она выражалась, флигаря.

Будучи титулярной совътницей, слъдовательно, ной изъ тъхъ барынь, которыхъ по справедливости зывають чортовымъ помеломъ, потому что ничто можетъ быть нелъпъе ихъ понятій и засаленнъе костюмовъ, Маслиха въ тотъ самый день когда я вя нулъ на ея гвоздики, стояла передъ зеркаломъ въсемъ вънчальномъ, гродетуровомъ платъъ съ узены рукавчиками, съ таліей подъ мышками и надъвала стый кружевной воротничокъ.

Ну, думаю себѣ: у Маслихи должно быть имянии нынѣ какая нибудь есть — й при этомъ мнѣ очень хотѣлось самому побывать на этихъ имянинахъ того собственно, чтобы посмотрѣть съ какимъ в томъ чиновница нападетъ на даровой имянинный рогъ, какъ будетъ жаловаться богатымъ гостямъ своего покойника, оставившаго ее, будто бы, безъ ска хлѣба съ дѣтьми малъ мала меньше и какъ ще, пропустивъ, аки бы, отъ боли подъ ложечкой, чительную дозу возбуждающаго, она будетъ цѣм руки благодѣтелямъ и проливать предъ ними вдовьи, горькія слезы. Не скажу, чтобы я ужъ роду моего не видывалъ такихъ картинъ, но по вычайной ихъ занимательности, я, чѣмъ болѣе смотр нихъ, тѣмъ болѣе онѣ подвигаютъ меня услаждаться

Ръдко ошибаясь въ своихъ предположеніяхъ, а однакоже я ошибся.

— На имянины куда нибудь собрались, Аны тровна? спросилъ я Маслиху, запуская глаза въ нутро ея комнаты.

- Ахъ испужалъ ты меня до смерти, Иванъ Иванычь! Какія тамъ имянины? Дочь изъ пенціона взяла, такъ вотъ сряжаюсь теперь: поповъ жду, молебенъ будуть служить, гости вечеромъ объщались. Приходи, барышни будутъ, попрыгаете.
- Очень благодаренъ, Анна Петровна, что не забыли. Непремънно вечеромъ буду.
- И не говорите лучше, не стойте понапрасну, отнеслась Анна Петровна къ нъсколькимъ личностямъ, стоявшимъ въ ея передней съ узлами подъ мышками. Разбудите дочь, ей-Богу, велю собаку на васъ спустить.

Анна Петровна! послышались мнѣ ноющіе голоса. Али долго! Али мы плательщиками вамъ завсегда не были? Вы, примѣромъ, однимъ глазкомъ только ежели взглянете, такъ съ экимъ добромъ ни въ жисть не разстанетесь.

— И глядъть не хочу, отойдите лучше. Мало я на штаны-то ваши плисовые насмотрълась, да на рубахито ситцевыя? стыдились-бы.

Фабричные упорно стояли около притолки, выражая каждую секунду готовность сейчасъ же развязать свои узлы и представить ихъ на ревизію Аннъ Петровнъ.

Радость у сосёдки, думаю я про себя, глядя сквозь частую сёть цвётовъ на опечаленныя лица мастеровыхъ, — дочь къ ней изъ пансіона пріёхала; а между тёмъ другихъ людей эта радость можетъ сдёлать голодными... Философскія размышленія, особенно лётнимъ утромъ, я очень люблю.

- Вотъ, Иванъ Иванычъ, для этакого-то дня, обращивае Ання Петровна, хотятъ меня въ грѣхъ ввест Просто отбою нѣтъ отъ закладовъ, а выгоды никам Нанссутъ тебѣ юбокъ старыхъ, поддевокъ изношенных да такъ и бросаютъ, не выкупимши. Весь домъ за лила тряпками, а старьевщики не берутъ. Никуда, ворятъ, не годится.
- Аннъ Петровнъ здравія и благоденствія! про силъ въ это время дьячокъ, нечаянно вошедшій въг реднюю съ церковными книгами и одеждами.
- A батюшка скоро? торопливо спрашивала Aп Петровна.
- Изволять жаловать. Воть они на двор'в уз Калитка щелкнула, на двор'в раздались тяжелые шап дьячекъ стремглавъ бросился отворять дверь перед и Анна Петровна всецъло отдалась принятію благос венія вошедшаго священника.

Изъ маленькихъ оконъ флигаря по всей длипъ и принъ дъвственной улицы разнеслось трехголосное пніе, сизыми струйками полетълъ изъ нихъ пахудымъ кадильный, который сдълался еще аромативе маромата гвоздикъ и геліотроновъ, съ которымъ си шался онъ, когда пролеталъ по ихъ зеленымъ листья

Я пошелъ дальше, — мастеровые, выходя изъ кал ки, на чемъ свътъ стоитъ пушили неудавшійся зас и въ тоже время крестились, потому что, нужно дума что и до ихъ озабоченныхъ ушей донеслось знако пъніе.

Теперь я попрошу у васъ позволенія объясниться

вами на счетъ личности видънной нами сейчасъ закладчицы. Надъюсь, что я не сказаль лишняго слова, того, что обыкновенно называють ни къ селу, ни къ городу, когда просиль этого позволенія, потому что ръчь пойдетъ объ одной изъ тъхъ дикорастущихъ на терпъливой русской почвъ женщинъ, которыя съ нелъпымь оттоныриваніемь нижней губы, съ какою-то, лишь только имъ свойственною, возмутительнъйшею томностью на всемъ лицъ, гнусливо величаютъ себя бл-л-а-а-рродной женщиной. Не знаю, какъ на кого, а на меня эта рекомендація производить самое одуряющее дъйствіе. Я въ это время не столько хохочу коверкающемуся предо мной тупоумію, сколько бъщусь и страдаю, потому собственно, что дозволено же накопець людямъ обезображивать свои лица гримасами безобразнъйшей мартышки.

Поистинъ скажу, что предметъ, къ которому толкаетъ меня теперь дума моя, именно таковъ, къ которому подходить и отъ котораго отходить нужно неиначе, какъ вымывши руки самымъ лучшимъ французскимъ мыломъ. Но подходя къ Аннъ Петровнъ съ вымытыми руками, я вмъстъ съ тъмъ вооружаюсь всей терпимостью, къ какой только я способенъ и за одно уже смываю съ себя чувство ненависти и къ Аннъ Петровнъ и къ лицамъ въ родъ ея, долгое обращение съ которыми отразилось на мнъ такъ несчастливо, что мнъ нужно вооружиться всею твердостью мысли для того, чтобы разумно отръчься отъ злости на нихъ, ибо отъ въка не знали они, что творили и увы! до самаго гроба не будутъ

знать, что будуть творить... Не на наши головы в дуть грустные результаты нашей безмёрной, націоны ной дури!...

Моя жолчь, Анна Петровна, утихла теперь. Болье и не оскорбить вашего бллао-родства своими вснышка Справедливо и тихо разскажу я вашу жизнь отъ нача до настоящаго дня и, если я, правды ради, обнат нацримъръ, ваше далеко не титулярное происхождено върьте мнъ, что объ вашихъ молодыхъ партикул ныхъ дняхъ я буду говорить съ тъмъ именно глукимъ сочувствиемъ къ нимъ, съ которымъ я обыков но скорблю о томъ вызывающемъ всякое участие му гдъ непримътно протекло наше общее дътство...

Анна Петровна родилась тому назадъ лѣтъ пать сятъ на широкомъ дворѣ богатаго, степнаго бары Посторонніе вытягивали ее за волоса и за уши, и поливала обильными слезами и вотъ, подогнанная нажды нетерпѣливой рукою отца, она кубаремъ вы тилась изъ душной людской на дворъ, поросшій гук травой и старыми деревьями. Степная природа, брос шая въ глаза ребенка прекрасной жизнью своей, в вала изъ души его, само собой сложившуюся, пъс Согласнымъ хоромъ заливаются степныя птицы, пор по старымъ деревьямъ и по высокой травѣ — Аню слушая ихъ, оглашаетъ своимъ дѣтскимъ голосм барскій дворъ.

— Чья это дъвочка на дворъ кричитъ? спрос усастый баринъ у лакея, не вынимая изо рта бы вонной трубки.

- Наша-съ, отвъчалъ Петръ.
- Годовъ сколько?
- Шестой пошелъ. Больная она у насъ, сударь, какая-то, и на дворъ-то, почитай, въ первый разъ выбъжала.
- Голосенко у твоей дочери, Петръ, славный, пожаловалъ баринъ своего върнаго слугу. Вишь, словно синица, чирикаетъ. Отведи-ка ты ее къ регенту, скажи ему, чтобы къ хору онъ ее пріучалъ.
- Не маловата ли будеть? Измывы кабы не было надъ ней отъ регента. Бьетъ онъ ихъ очень, осмълюсь доложить.
- Не бить, такъ какой изъ васъ выйдетъ прокъ? почти сердито спросилъ баринъ Петра и Анютка поступила въ муштръ къ регенту.
- Альтъ, ваше превосходительство, у дѣвочки неслыханный, словно бы у птички какой, рекомендовалъ своему принципалу новую ученицу регентъ, весьма конфузливый молодой семинаристъ.
- Ну хорошо, братецъ, хорошо! Старайся, я тебя награжу, поощрилъ его баринъ.

Между тъмъ, высокая не по лътамъ, оълокурая и голубоглазая Анютка выростала не по днямъ, а по часамъ—и дъйствительно: въ церкви ли, или гости, бывало, въ домъ у барина соберутся, она, словно птичка, выощаяся надъ высокимъ и густымъ лъсомъ, вылетала своимъ голоскомъ изъ цълаго хора, сосредоточивая на одной себъ вниманіе степныхъ жантильомовъ.

Двѣ тысячи на ассигнаціи, честью клянусь, безъ

всякаго сожальнія бросиль бы за эту канашку! го рили отставные корнеты и поручики — барскіе го покручивая гибельные усы.

— Пожалуй бы и еще прикинулъ сотню, друг насмъшливо спрашивалъ раззадоренныхъ усачей счи ливый владълецъ канашки.

— Еще бы не прикинуть, чорть меня побери! въчаль какой-нибудь Бова—Королевичь въ лютомъ и тъ. Хочешь три тысячи?

— Прибавь что нибудь, торговался любостяжал ный хозяинъ.

— Разрывайся сердце! Идетъ къ нимъ пътенькій сунокъ отъ Догоняй—Недогонишь.

— Ха, ха, ха! разражался хозяинъ Ты вёдь Догоняя ничего не хотёлъ изъ дому пускать. Воп промахнулся. Только я тебё, милый другъ, вотъ скажу: себё берегу на старость эту синицу. Безы самъ ты видишь, весь хоръ никуда не годится.

Но я сейчасъ только примѣтилъ, что такъ много пространившись о барской хористкъ, отступиль отъ в моего очерка. Если я долженъ много о чемъ нибур сать, то никакъ не объ Анюткъ, потому что тако дробное развитіе ея дѣвичей жизни противорѣчить му заглавію и, самъ я очень хорошо понимаю, не в дѣлу. По этому случаю я прибѣгаю къ нѣкото сокращеніямъ.

Прекращаю я на нѣкоторое время мой полно трудъ для того собственно, чтобы, не смущая п несимметричностью моего разсказа, въ тишинь

бъдной комнаты неслышно погрустить о томъ печальномъ концъ, къ которому непремънно приходили стройныя, бълокурыя и голубоглазыя пъвицы барскихъ хоровъ.

Длинный рядъ воспоминаній о моей собственной пошлой жизни возникъ въ головѣ моей по поводу моихъ представленій о молодыхъ дняхъ Анны Петровны. Съ болѣзненнымъ трепетомъ, который произвели въ моемъ сердцѣ эти воспоминанія, я повторяю про себя обыкновенную нюкогда Анюткину исторію въ нашихъ степныхъ, барскихъ усадьбахъ.

Въ длинномъ флигелъ, скупо освъщенномъ сальными свъчами, идетъ вечерняя спъвка. Дворня до того привыкла къ стройнымъ концертамъ хора, что окончательно уже перестала шататься подъ окнами флигеля съ своими въчными досугами. Конфузливый регентъ, управляя тридцатью человъками, выражаль собою полнъйшее счастье. Скринка подъ его пальцами, какъ живое существо, до осязательности ясно пъла про это счастье. На молодаго человъка были устремлены голубые глаза, блиставшіе и любовью къ нему и какимъ-то благоговъніемъ. Полновластный распорядитель хора, регентъ нарочно становилъ Анютку впереди всёхъ противъ себя. Смотрять они другь на друга, обвороженные другь другомъ-и скрипка поетъ въ рукахъ регента и Анютка поетъ, а хоръ, невольно поддаваясь могуществу любви, могуче вторить имъ — и внъ флигеля тихая, сельская ночь кажется еще тише, потому что казалась она вамъ глубоко заслушавшеюся пъсни любви.

Анютку баринъ зоветъ! выкрикиваетъ вдругъ по лительнымъ голосомъ лакей, на минуту появляясь дверяхъ пъвческаго флигеля.

Какъ внезапно порванная струна умолкъ хор скрипка умолкла, закончивъ свое пъніе вздохомъ, хожимъ на тотъ, которымъ вздыхаютъ въ послід разъ въ этой жизни.

Баста! угрюмо скомандовалъ регентъ.

Што скоро бросиль спѣвку-то? Ай не по сердцу, къ барину Анютку позвали! толковали между об пѣвчіе, расходясь по своимъ коморкамъ.

Въ двугодовой промежутокъ, который послъдов послъ описанной мною спъвки, замъчательнаго ничем случилось, исключая того впрочемъ обстоятельства, барскій хоръ почти что разстроился, потому что гентъ втянулся въ запой, а Анютка съ каждымъ дверяла свой птичій голосъ и видимо сохла...

Въ моей памяти возникаетъ другая сцена. Породова засыпало широкій барскій дворъ своимъ бѣлы ослѣпляющимъ снѣгомъ. Весь дворъ изслѣженъ ра карактерной обувью дворни, которая толпилась обфлигелей, помѣщавшихъ прислугу. Передъ крылы втихъ флигелей стоятъ одноконныя, крестьянскія воды, на которыхъ молодое дворовое поколѣніе отпляется въ Москву, по предварительному барскому одѣленію, въ выучку разнымъ добрымъ и полезвыственно, въ выучку разнымъ добрымъ и полезвыственно, въ выучку разнымъ добрымъ и полезвыственности въ совершени обозомъ въ столицу, чтобы въ совершени изучить тамъ въ частности добрую нравственности

въ главномъ—пріятныя манеры, необходимыя для такой ловкой горничной, которая требовалась для вырастающей барышни. Баринъ, назначая Анютку для этой высокой цёли, руководствовался здёсь главнымъ образомътёмъ, что Анютка и послъ своего курса въ столицъ сохранитъ еще свёжесть своего личика и что, по его наивнымъ соображеніямъ, не отъ чего было осёчься въ богатой Москвъ ея бълокурымъ кудрямъ...

Прощаясь съ дѣтьми, дворовые также горько плакали, какъ горько плачутъ и не дворовые, когда разстаются съ своими дѣтьми. Слѣдовательно особенно-занимательнаго въ этихъ громкихъ, материнскихъ выкрикахъ, въ этихъ молчаливыхъ, отцовскихъ слезахъ, ничего не было.

Наконецъ обозъ, провожаемый цёлой гурьбой, тронулся въ свой далекій путь. На облучкё тёхъ саней, гдё сидёла закутанная въ бараній отцовскій тулупъ Анютка, прилёпился и пьяный регентъ съ тщательно закутанной въ разныя отрепья скрипкой.

— Вы, не бойтесь, не горюйте! утвшаль онъ Анюткиныхъ отца и мать. Со мной она тамъ не пропадетъ. Будьте покойны: какъ только прівдемъ въ Москву, сейчасъ же я по докторамъ пущусь. Такъ и такъ, молъ, голосъ самый ангельскій имѣла. Воскрешайте, скажу. Пѣвица, скажу, выдетъ несравненная. Ну они воскресятъ!

Но до конца отморозиль глупый кутейникъ безсапожныя ноги свои, когда шатался по Москвѣ, розыскивая воскресителя-доктора. До смерти, такъ сказать, исходился онъ по широкимъ, столичнымъ улицамъ вся польза, которую онъ могъ принесть своей талам ливой ученицъ, состояла въ томъ, что послъ на Анютка снесла на толкучку его самодълковую скрипку на деньги, вырученныя за нее, купила новые башмам два золотника чаю и полфунта сахару.

— Сердце у меня оченно ломить! говорила Анюта когда я взгляну на эту скрипку...

Прошла тутъ Анна Петровна всъ тъ фазы стол ной жизни, которыя неминуемо предстоитъ пройдти ществу, изучающему горничное мастерство и добу правственность, до того, что окончательно забыла, которы когда нибудь ея сердце въ то время, которузливый регентъ восторженно посвящалъ ее тайны партитуръ и, говоря высокимъ слогомъ, она того погрузилась въ прозу городской жизни, что усменно погрузилась въ прозу городской жизни погрузилась въ прем

Поступила она тутъ, какъ бы экономкой, къ ны торому приказному, одному ихъ тъхъ добродътельны смертныхъ, которые, по смыслу присяги, даже до слъдняго издыханія, мажутъ казенными чернилами казенной бумагъ. Когда сей съдовласый столоначиникъ, худой и безстрастный, съ серебрянными очы на помутившихся глазахъ, доживъ до пятидесятил няго возраста, увидалъ, что отъ жизни, кромъ мот

ждать ему нечего, сочетался съ Анной Петровной законнымъ бракомъ въ тъхъ видахъ, что для чего де и не осчастливить дъвицы?..

Вслѣдствіе такихъ, далеко впрочемъ не потрясшихъ земнаго шара событій, мы и видимъ Анну Петровну титулярной совѣтницей, дающей теперь маленькій баликъ, по случаю окончательнаго выбытія изъ пансіона ея дочери,—наслѣдницы всѣхъ благъ, пріобрѣтенныхъ и безпорочной службой безстрастнаго приказнаго, и дѣятельностью самой Анны Петровны.

Обильно обкушавшись великолёпных романовъ Дюмаса, молодая пансіонерка всё балы вообще, даже и тё, которые даются русскими титулярными совётницами, представляла въ своемъ воображеніи неиначе, какъ такими, которые давали многоразличные Людовики и ихъ изящно-храбрая аристократія. Поэтому столь, накрытый въ залё, назначавшейся также и для танцевъ, весьма раздражительно подёйствовалъ на нервы героини бала.

- Что это, маменька, какую гадость вы туть наставили? въ справедливомъ негодованіи спрашивала она мать, небрежно тыкая вилкой въ разные грибки и огурчики, поставленные на столъ вмъстъ съ водкой для услажденія имъвшихъ быть на балъ кавалеровъ и дамъ.
- Что такое? торопливо освъдомлялась Анна Петровна. Ай тараканъ во что попалъ? Много ихъ у меня въ кухнъ проклятыхъ. Ничъмъ не могу выжить.
 - Фи! прогримасничала барышня, ръшаясь не уми-

рать до тёхъ поръ, пока лично не убъдится въ тол что ея maman не иное что называетъ баломъ, на подчиванье водкой и свъжепросольными огурчиками.

Всъ эти уродливыя, жизненныя представленія, п черпнутыя нашей барышней изъ графини Монсоро, 📾 стая маленькихъ птичекъ, спугнутая къмъ либо, г ужась взвивается надъ уединеннымъ полемъ, въ стра ной суматох в, заметались въ голов вея, когда пана нерка въ первый разъ вступила подъ убогую кром родительскихъ ларъ. Стройный рядъ соломенныхъ стр евъ, вытянутый въ маленькомъ зальцъ, аляповат диванъ, обитый ситцемъ, круглый столъ передъ ни созданный, какъ будто, медвёдемъ для медвёдя, и ныя картинки временъ покоренья Очакова, висъвшія стънахъ въ уродливыхъ, бумажныхъ рамкахъ, страстный портреть отца, написанный маслянными п ками и даже сами геліотропы и гвоздики на окнахь все это вм'єст'є необыкновенно покоробило молодоел дъвушки, потому что вся эта роскошь съ перваго п ясно и отчетливо доложила ей, что жизненная об новка, въ которой должна вращаться героиня дъвств ной улицы, далеко не таже самая, какою обстанов нъкогда графиню Дю-Барри ея царственный другь.

— Такъ эдакъ-то? протяжно подумала про себя рышня.

— Да-съ! эдакъ-то!.. отвътили ей съ двусмый ной улыбкой соломенныя стулья, дешевые обои, то тропы и гвоздики, тараканы, ползавшие по стънам мыши, шуршавшия за обоями.

- Да! такъ-то! басисто скрипнулъ ей въ свою очередь медвѣжій диванъ.
- Мы здъсь всъ такъ!.. Мы всю свою жизнь такъ!.. монотонно подтвердилъ ей блъдный портретъ отца. Въ ужасъ барышня порхнула въ свою двухъаршинную спальню и принялась плакать...

Наконецъ и плакать надобло барышнв. Посмотрвла она на дворъ, поросшій зеленою травой; тамъ такъ уныло текали еще неоперившіеся цыплята, такими голодными глазами посмотръла на нее всклоченная собаченка, а по густой травъ къ став безпечныхъ воробьевъ прокрадывалась такая алчная, такая хитрая кошка, что наша барышня не могла съ этой домашней картины не перенесть своихъ наблюденій на дівственную улицу. Двое фабричныхъ разодрались на ней, что называется, въ кровь, нъсколько мальчишекъ нестерпимо визжать, перенимая у взрослаго русскую манеру колошматить своего недруга, будочникъ издали освъщаетъ эту отечественную сцену своею покровительственною улыбкой, черный угольщикъ съ высоты своего воза кричитъ: угольевъ, угольевъ, передернувъ для могучести выкриковъ свой ротъ до самаго пугающаго безобразія. Все!...

Гдв же, гдв же они эти храбрые Шевалье д'Артаньяны, благородные Атосы, меланхолическіе Арамисы и т. д. Барышня! не плачьте больше, соввтую я вамъ отъ всей души моей. Трава двественныхъ улицъ недостойна быть измятой сапогами рыцарей изъ глянцовитой, испанской кожи, колючія головки репейниковъ,

украшающихъ виды изъ вашего замка, собьются тресточками неуклюжихъ приказныхъ, которые, каналетво! въ непродолжительномъ времени пріударять вами; но никакъ не попадутся онъ подъ благородня острія рыцарскихъ шпагъ, которыми бы молодые люстали оспаривать другъ у друга высокую честь покличься вашей красотъ. Есть у насъ бъдные жени богатые, развратные волокиты, но рыцарей нъты Помните это, молодой, но извращенный другъ мой, перестаньте плакать!..

Но вы не слушаете меня. Вы все продолжаете в дъяться, что на балъ, который нынъ даетъ ваша ма вагремятъ наконецъ серебряныя шпоры, зашумятъ в ки и бархаты, обшитые Point d'Alençon и какой нибу удивительный гвардеецъ, въ родъ графа де-Бюю одинъ разъ навсегда, покорно станетъ за вашимъ с ломъ, гордо въ тоже время осматривая молодежь, г торая, по вашимъ соображеніямъ, станетъ передъ в живою стъной.

Смотрите же теперь сами, что за балъ у васъ детъ и какіе Соти и Сотеss'ы удостоять его о имъ посъщеніемъ. Первый пришелъ нъкто Андрей тровъ, по ремеслу башмачникъ, а по плоти и есте братъ Анны Петровны, по словамъ его пріятелей, тій учуять всякую выпивку за пятьсотъ версть пралье. Еще не успълъ, какъ слъдуетъ, расклана сей великій по своимъ дъламъ ходокъ, какъ за пвалила толпа молодыхъ приказныхъ, тоже, по схамъ, совсъмъ не дураковъ по питейной части.

- Мои пріятели— славные ребята! рекомендовалъ ихъ заразъ Аннъ Петровнъ молодой приказный, троюродный племянникъ ея покойнаго мужа, ходившій къ ней объдать по праздникамъ.
- Очень пріятно! засвидѣтельствовала Анна Петровна, указывая табуну на соломенные стулья.

Приказные молча кланялись и сердито скрипъли наваксънными, надо полагать, до тошноты сапогами.

— Такъ это племянница-то? провозгласилъ дядя Андрей, схватывая со стола двъ сальныя свъчки и поднося ихъ къ самому лицу героини. Вотъ я тебъ гостинецъ принесъ—и при этомъ онъ вытащилъ изъ задняго кармана пару козловыхъ башмаковъ своего рукодълья. Понашивай на здоровье, да дядю вспоминай. Мы тоже, хоша и не въ синемъ ходимъ, а про свое дъло вътонкости разсудить можемъ...

Приказные саркастически улыбались.

- Будетъ тебѣ съ ней, братъ! говорила Анна Петровна. Она съ господами вѣдь все жила съ большими,—къ намъ, чернымъ людямъ, привыкнуть некогда было.
- Пусть привыкаеть! поучаль дядя, наливая себѣ водки. Только я тебѣ, сестра, одно скажу: смотри въ оба за дѣвкой!.. Востра она, должно, оченно... Опять и года у нея такіе... Кабы, примѣромъ, полюбовника себѣ она какого не изобрѣла. Вотъ что!

Саркастическія улыбки приказныхъ перешли въ довольно громкое, хотя тщательно скрываемое, ржаніе.

Чего ржете-то, стрекулисты? съ сердцемъ обра-

тился къ нимъ дядя Андрей. До письма-то вы очень бойки, а до дъвокъ-то, знаю я васъ, чортовы дътей!..

— Ты однакоже не ругайся, скотина!.. Не къ ты пришли!.. азартно заговорилъ было нъкто изъ ржавш среды, весьма нечахоточный баринъ съ физіономіей ука, поросшаго дремучимъ лъсомъ и закрытаго черны тучами.

Анна Петровна принуждена была въ этотъ момен взять на себя роль тъхъ сабинокъ, которыя нъкот успъли примирить своихъ соотечественниковъ съ пот тителями-римлянами. Надобно сказать къ чести Ан Петровны, что роль эта пришлась ей, какъ нельзя и лъе, по средствамъ. Но барышня наша вмъсто то чтобы по справедливости восхититься этой русской и мой, угрюмо наморщила черныя бровки и, посматри на закусывающаго дядю, гнъвно прошептала: que cochonnerie!

Но я не буду описывать всёхъ подробностей бы потому что опиши я ихъ съ той фотографической вы ностью, какая, говорю это, покручивая усы, всегда пичаетъ меня, моя героиня имѣла бы полное право самаго гроба оплакивать свою жизнь. По этому случна самый разгаръ бала я набрасываю этотъ знаменит мракъ неизвъстности, подъ которымъ скрыты дѣм люди въ милліонъ разъ важнѣе нашего бала и людукрашавшихъ его своимъ присутствіемъ. Довольно детъ, если я для необходимой характеристики его жу, что дядя Андрей, тѣснѣйшимъ образомъ подрум

шись съ утесообразнымъ приказнымъ и еще какимъ-то подслёнымъ и безбровнымъ губернскимъ секретаремъ, спеціально засёлъ съ ними около стола, гдё помёщалась водка и постоянно приставалъ къ Аннё Петровнё съ просьбами, чтобы она имъ еще немножко подлила. Не довольствуясь взаимнымъ созерцаніемъ, которое, видимо было, доставляло имъ неимовёрное наслажденіе, они однакоже нерёдко вмёшивались и въ увеселенія общества.

— Ур-ра-а! восклицали новые друзья, бросаясь въ средину танцующихъ. Музыкантъ! дай-ка мнъ скрыпкуто, говорилъ губернскій секретарь, я имъ сыграю, и шутовски подмаргивая рыженькими ръсницами, онъ заливался тоненькимъ голоскомъ:

«А-а-а-хъ! ба-а-рыня, ба-а-рыня, «Сударыня барыня!

- Замолчите, Трофимъ Ильичъ! умоляла его Анна Петровна. Видите, дъвицы здъсь есть.
- Дъвицы? гдъ дъвицы? спрашивалъ Трофимъ Ильичъ, обводя общество своими оловянными глазенками. А вотъ онъ! радостно взвизгивалъ онъ, бросаясь въ оробъвшую стаю барышень.
- Ай! нервно вскрикивали разноцвътныя уточки, разбъгаясь отъ него по разнымъ угламъ.
- Держи, держи ихъ! орали дядя Андрей и утесообразный приказный, растопыривая пьяныя руки.
- Ур-р-раа! азартно провозглашало все тріо, когда какая нибудь несчастная барышня, попавшись къ нимъ

въ лапы, билась и стонала въ нихъ, какъ внезап подстреленный заяцъ.

— Будетъ вамъ озарничать-то! шутливо укора тріо Анна Петровна. Руки-то смотрите у бъдняжки і вывихните. Я васъ тогда

— Не будемъ, не будемъ, Анна Петровна! урезон валъ подслъпый приказный. Вы намъ только, матушь водочки подлейте еще.

— Сказано, не будеть — и баста! Ты только разговаривай съ нами, сестра, бурлилъ дядя Андимы теперь на серьезъ разговоръ промежъ себя ведем Хоша и чиновница ты, — все же эфтихъ разговоропонять ты не можешь, а водки ты намъ подлей. Геще по махонькой пройдемся.

— Водка-то вся, голубчики, а посылать поздно перь. Кабаки всъ давно заперты.

Утесообразному приказному приснилось въ это вре что онъ въ трактиръ, а потому онъ заоралъ во все города пои 2 потовой при

- Какъ нътъ водки, чертова дочь? Подавай—я всъхъ заплачу.
- Однакожъ, Анна Петровна, довольно это нем ливо съ вашей стороны, что вы вмъстъ съ такой почью и насъ къ себъ пригласили, сказала одна кая барыня. У меня дочери на возрастахъ.

Но не многосложны тѣ глупости, которыя оты ваетъ человъчество на дъвственныхъ улицахъ. Я претензіей бойкой барыни балъ кончился — и тод дядя Андрей долго еще куражился надъ вдовою строй.

- Для брата у тебя водки нътъ! негодовалъ онъ. А братъ твоей дочери въ подарокъ ботинки принесъ, али нътъ? — сказывай!
- Богъ съ тобой и съ твоими ботинками, братецъ! Возьми ты ихъ назадъ и ступай поскоръе домой, унимала его Анна Петровна.
- А ты думаешь, не возьму? Извъстно возьму. Я, по крайности, на сонъ грядущій выпью па нихъ. Дда!..
- О черти! долго еще слышалось, какъ бурлилъ дядя Андрей уже на дъвственной улицъ. Куды это, братцы мои, кабаки попрятались только? Гдв ты тутъ, каба-а-акъ? звонко оглашалъ онъ ночную тишину.
- Ну, ну молчи, ты, у меня, пока цълъ!.. отвътилъ ему будочникъ сонной октавой. А то я тебя въ сибирку сейчасъ заберу.
- Ка-а-бакъ, гдъ-ъ ты тутъ? растягивалъ дядя Андрей, не слушая будочника.

Барышня между тёмъ разливалась рёкой въ своей крошечной спальнъ.

and the law coast mass of a figure ostion constraint, a flourist winner de la company de the state of the s the control of the second of t and the state of t the construction of the contract of the contra ros variation of the territory and the control of t contraction time that I make the source of t Bush of the Assessment of the

Вайъ, можетъ быть, покажется необходимымъ, чтобы я назвалъ по имени мою героиню. Извольте: ее звали Сафи. Васъ, въроятно, увидитъ такое имя и, если вы, не въря мнъ на слово, будете отыскивать его въ святцахъ, то недовъріе это обличить только окончательное незнаніе ваше нравовъ дівственныхъ улиць, а никакъ не мою ложь. Всв дввочки, когда либо игравшія на мягкой травъ этихъ улицъ до поступленія ихъ въ пансіонъ, зовутся Сонями, Сонечками, Сонюшками и т. д.; а потомъ когда онъ выходять изъ пансіона, ихъ обыкновенныя, русскія имена заміняются курьезнымъ словомъ: Сафи. Весьма могло случиться, что вы ни разу не слыхивали такого имени; но мнв. какъ нравописателю, нельзя же не знать того милаго нарвчія, которое такъ характерно названо «смъсью французскаго съ нижегородскимъ.»

Осенніе дожди смыли веселую зелень съ дѣвственной улицы. Тихая и печальная, по естеству своему, она сдѣлалась еще тише и печальнѣе, когда глубокая осень развела по пей черную, непроходимую грязь. На-

ша барышня лишилась всякой возможности выдти куда нибудь къ знакомымъ, съ цёлью попросить у нихъ почитать романчиковъ. Первый пушистый снёгь завалиль наконецъ уличную грязь, лихой морозъ узорчато расписалъ оконныя стекла, следовательно последнее наслажденіе, по цілымъ часамъ упорно осматривать улицу, прекращено; потому что сквозь морозные узоры ни одного клочка ръшительно не видать. Злость и тоска!.. Во все лѣто, въ цѣлую осень ничего сообразнаго съ своими мудреными мечтами не могла высмотръть бъдная Сафи на дъвственной улицъ! Безконечная зима, кром' неисходной тоски, которую принесла она, варьировась вдобавокъ частыми выходками Анны Петровны, обращавшей высокое вниманіе нашей маркизы на прилъжное занятіе домашнимъ хозяйствомъ. Ни одного платья не прибавилось въ гардеробъ Сафи и, увы! всю зиму она должна была накрываться ковровымъ платкомъ, потому что Апна Петровна при всъхъ стараніяхъ пріобр'єсть для дочери по случаю зимнюю шляпу, оказалась на этотъ разъ ръшительно слабой женщиной и горемычной вдовой за выдор заточной акто в 1994 вочет

Но вотъ снова сошла весна на окоченъвшую землю, снова веселая жизнь зацвъла на дъвственной улицъ; но мыслей и лица Сафи нисколько не развеселила эта все обновившая жизнь. На оттеплъвшей почвъ быстро выростала яркая зелень; но въ тоже время на ней не показывалось даже малъйшаго признака тъхъ уродливыхъ идеаловъ, которые такъ кръпко засъли въ сердцъ моей барышни. Но она не утратила еще своихъ на-

деждъ. Цёлые дни бъдная Сафи просиживаетъ у ратвореннаго окна съ книжкой въ рукахъ—и ждетъ чето. Ждетъ, говорю, а тамъ какой нибудь жуиръ при казный, въ твердой увъренности, что барышня въ ури ные три часа сидитъ у окна съ тою цълью, что усладить себя зръніемъ его, Петра Воробьятникова, в бовно дълаетъ ей ручкой, обтянутой въ красноват пеньковую перчатку.

Петръ Воробьятниковъ, Донъ Жуанъ ты эдакой г нижняго земскаго суда, скажи мив, что ты такое сравненіи съ какимъ нибудь Шевалье де-Мезонъ Рукі не срамись болже, потому что рано или поздно в пожалуется маменькъ на твою наглость, и Анна тровна въ тотъ моментъ, когда ты нъжно задумчин потому что страстно влюбленный, будешь проход подъ окнами ея флигеля не преминетъ окатить т франтовской суртучокъ грязными помоями. Твоя зость, конечно, въ этомъ случав получитъ справед вое возмездіе; но зачемъ же пострадаетъ твой сорт и зачёмъ самъ ты будешь страдать по барышив, торая всегда отъ полноты сердца готова презирать каго молодаго франта, полагающаго свое наслаждени томъ, чтобы носить на своемъ жилетъ толстую, вовую цёпочку съ злостнымъ намёреніемъ ввест заблуждение довърчиваго ближняго и заставить его думать, что цёпочка та золотая и что она прид ваетъ таковые же карманные часы.

— Господи! думала про себя Анна Петровна, п на постоянно-нахмуренную, въчно ничего не дълап и даже какъ будто разобидѣнную чѣмъ-то дочь. Въ кого только лѣнивая такая да злая родилась она у меня?
Ума не приложу: отецъ былъ смирный, занятливый,
и, когда представленіе о негодности и непутности дочери черезчуръ тѣсно наполняло ея голову, она, что
называется, съ великимъ азартомъ принималась допекать свою Сафи. Долго, бывало, слушаетъ она брань
матери, безсмысленно упершись въ нее своими воспаленными отъ постоянныхъ слезъ глазами и, какъ будто, ничего не понимаетъ. Такъ противорѣчила ея дѣйствительная жизнь мечтамъ о той жизни, которую ея
воображенію помогли сочинить тѣ безобразные романы,
которые, обыкновенно, читаютъ въ нашихъ пансіонахъ
дѣвицы украдкой отъ своихъ сторожихъ.

— Что ты глаза-то на меня выпучила, словно дура какая? гнъвно спрашивала Анна Петровна дочь, еще пуще разбъшенная ея молчаливымъ равнодушіемъ.

Сафи наконецъ вздрагивала отъ этого крика и пробуждалась. Начиналась общая перепалка: звонкимъ голосамъ хозяекъ уныло вторили своимъ дребезжаньемъ стекла флигеря, словно огорченныя этой ссорой—и вообще дёла приняли такой печальный оборотъ, что ни мать, ни дочь не могли смотрёть другъ на друга безъ крайней злости. Щебетухи-свахи, которыхъ отовсюду тащила къ себё Анна Петровна съ цёлію, при ихъ посредничестве, какъ можно поскоре отдёлаться отъ дочери, наполнили своимъ трескучимъ говоромъ прежде уединенный флигерь. На медвёжьемъ столё происходили нескончаемыя часпитія, сопровождаемыя горькими жалобами Анны Петровны на непослушную дочь, ко рыя передергивали все существо Сафи.

- Чего ты на нее глядишь, на старую? говор ей другая Сафи, подруга нашей барышни по панси поступившая теперь въ гувернантки куда-то. Я, с с какъ увидала, что дома кушать часто нем сейчасъ же къ дътямъ одного вдоваго старика в лась. Житье-то какое, еслибы ты знала!..
 - Да я никуда не хожу и къ намъ никто не дитъ. Гдъ же я найду мъсто?
 - А полицейскій листокъ на что? Пошли кум въ мелочную лавку, тамъ получаютъ. Я сама брам лавочки.

Полицейскій листокъ оказался благод втельніве любивыхъ свахъ. На его столбцахъ, къ великой с радости, Сафи прочитала однажды слъдующее: «приолодая особа для первоначальнаго обученія благ ныхъ дітей. Адресоваться можно каждый день на вую улицу, къ отставному отъ гусаръ полковнику четищеву.» Публикація эта тімъ боліве обрадитищеву. В подпостовное семейство, кроміз приличнаю награжденія, обізщало молодой особіз літомъ жит подмосковной, а по зимамъ постоянное столки съ избраннымъ обществомъ.

— Приличное вознагражденіе, житье въ подм ной, большой свътъ! восторженно твердила про будущая гувернантка, когда въ безграмотномъ ш къ полковнику отъ гусаръ Кочетищеву, предлагал свои услуги по части первоначального обученія его благородныхъ дітей.

И вотъ, какъ и въ началъ повъсти, мы опять видимъ Анну Петровну передъ зеркаломъ, облаченную въ свое парадное, гродетуровое платье, въ воротничкъ и рукавчикахъ, паче сивта бълъйшихъ. Она достойно хочетъ выполнить поручение, которое даетъ ей Сафи къ полковнику. Какъ бла-о-родная женщина, она, конечно, могла бы, не роняя себя лицомъ въ грязь, лично трактовать не только что съ полковникомъ, а даже и съ генераломъ, что не разъ и выполняла съ большимъ успъхомъ, наканунъ большихъ праздниковъ, выхлопатывая себъ какое нибудь вспоможение; однакоже вдова не забываетъ прихватить съ собою и дочернее письмо, которе Сафи съ цълью рекомендовать свою эрудицію изобразила на французскомъ діалектъ и притомъ тъмъ разсыпчатымъ, мелкимъ почеркомъ, называемымъ, обыкновенно, пшенцомъ.

Въ этомъ-то мѣстѣ моей идилліи и начинается именно то, что нѣкогда назвалъ Гоголь нитью завязки романа.

Передъ нами ставится теперь во весь свой бравый рость отставной отъ гусаръ полковникъ Владиміръ Алек сандровичъ Кочетищевъ. Ежелибы я, выводя на сцену новыхъ героевъ, за отсутствіемъ фактовъ, рисующихъ ихъ характеры, описывалъ ихъ наружность. я бы сказалъ про полковника, что, по манерамъ своимъ, онъ былъ неотличимъ отъ маршала Симонъ въ извъстномъ Въчномъ Жидъ. Тъ же волосы, остриженные подъ гре-

бенку, тотъ же громкій, командирскій голосъ, тоже царо венное загибаніе головы къ небу, характеризовавшія хрораго маршала, неминуемо бросались вамъ въ глаза, ко да вамъ въ первый разъ приходилось остановить и на Кочетищевъ. Но имъя столько сходства съ онимъ изъ благороднъйшихъ сподвижниковъ велики императора, мой полковникъ въ психическомъ отноше представлялъ съ этимъ дъятелемъ великой арміи разкальную противоположность. Дозволяю себъ это замине потому только, что, по моему убъжденію, и не всегда можетъ быть зеркаломъ души. На ско я правъ въ моемъ сомнъніи, судите сами по травъ въ моемъ сомнъніи сейчасъ простава в правъ въ моемъ сомнъніи сейчасъ правъ въ моемъ сомнъніи сейчасъ правъ в правъ въ моемъ сомнъніи сейчасъ правъ в правъ в

Я очень хорошо знаю полковника Кочетищева. І держивая ежегодно на публикаціи, что его дѣти весь будто бы, нуждаются въ гувернанткѣ, — по краш мѣрѣ по триста рублей, въ сущности для него въ ломъ мірѣ не было вещи безполезнѣе хорошей, сы ной гувернантки, потому что въ формулярномъ сш его очень явственно было изображено, что онъ лостъ. Не трудно послѣ этого догадаться, что п тей у него совсѣмъ не было. Я думаю, что страны и кажущаяся безполезность такого расхода достам разъяснится слѣдующимъ:

— Comment ça va, mon colonel? спрашиваете вы встръчъ съ Кочетищевымъ, разумъется ежели престъ быть съ нимъ знакомымъ.

— Ничего! нынъшнимъ утромъ тово... четыре

нашки недурненькія таки приходили... отвічаеть онь, раскатываясь своимь басистымь хохотомь.

- Чтожъ? любопытствуете вы дальше.
- Что нынѣ за времена такія? въ свою очередь освѣдомляется у насъ бравый полковникъ. Не даромъ жалуются на повсемъстную дороговизну... Къ однъмъ, мой отецъ, приступу нѣтъ никакого, а другія ругаются на чемъ свѣтъ стоитъ. Придетъ тамъ какая нибудь мѣщанка, milles diables! и начинаетъ тебя костить, позабывъ всякое уваженіе къ заслуженному солдату... А за что? Sacr-r-risti! за то, что ты ей, такъ сказать, карьеру хочешь пробить... Вотъ вѣкъ, сто ему тысячъ чертей!
- Это ужасно! непремённо должны вы воскликнуть въ это время, потому что въ противномъ случав полковникъ согнетъ васъ въ бараній рогъ.

Окончательно должиливая стараго гусара, я не могу не сказать, что вся жизнь его была непрерывнымъ рядомъ побъдъ надъ прекраснымъ поломъ. Все широкое достояние благородныхъ предковъ полковника было употреблено имъ на составление себъ репутации такого звъря, на котораго ни одна женщина не могла взглянуть, или безъ явнаго ужаса, или безъ тайнаго восторга.

Но когда разлетѣлись тѣ игривыя, граціозныя птички, за которыми такъ удачно охотился Кочетищевъ, когда увидалъ онъ, что вмѣстѣ съ ними улетѣли и родительскія души и деситины, тогда онъ несказанно взалкалъ... Изъ веселаго, постоянно выпивавшаго малато, онъ на тридцатъ второмъ году своей доблестной

жизни превратился въ злостнаго бульдога, съ пѣно рта обливающаго тѣ, по его словамъ, подлыя врем которыя заслуженному гусару и столбовому дворян представляютъ самые удобные случаи издохнуть смер голодной собаки, ежели этотъ гусаръ и дворянинъ мотаетъ родовое имѣніе. Всѣ добрые друзья, нѣм обожавшіе Кочетищева, откачнулись отъ него въ эп періодъ его бѣшенства, потому что горе было тѣ кто имѣлъ дерзость не раздѣлять его пессимистем вдглядовъ на подлость нынѣшнихъ временъ. Пол никъ гнулъ и ломалъ своихъ оппонентовъ точно в же, какъ гнулъ и ломалъ опъ желѣзныя кочерги назиданія публики и для собственнаго своего удок ствія.

Но чёмъ больше злился нашъ полковникъ, тём лудокъ его станевился пустве и требовательнее, потому что текло время,—и съ нимъ вмёстё выте изъ гусара старый жиръ, накопленный имъ въ с ливые дии.

— Чѣмъ заболѣлъ, Кочетищевъ, тѣмъ и м нодумалъ про себя гусаръ, когда увидѣлъ, что л ничего не подѣлаешь. Но вамъ очень хорошо извыто въ наши времена трудно, или даже совсѣмъ м можно было ему вылѣчиться тѣмъ же, чѣмъ опъ лѣлъ, потому что какими, такъ сказатъ, медиками могли наполнить утробу полковника тѣ миленьки зіономіи, которыя одной рукой обирали его, а д сорили обобранное по пространному лицу земному довательно изъ этой области Кочетищевъ ничего

жительно не могъ вытянуть для удовлетворенія своихъ жантильныхъ потребностей. Оставались ему въ дессертъ купчихи и разныя искательницы сильныхъ ощущеній; но про искательницъ сильныхъ ощущеній нынъ что-то не слышно, а купчихи, какъ мнъ извъстно изъ достовърныхъ источниковъ, весьма апатично слушаютъ бряцанье стальныхъ ноженъ, такъ вальяжно изчерчивающихъ песокъ бульварныхъ аллей. Живой примъръ этому представляетъ герой мой. Самыя развалистыя позы, которыя принималъ онъ въ извощичьихъ каляскахъ, взятыхъ по старому знакомству а bon credit, самое шикарное прицъпливанье звонкаго палаша и даже наигибельнъйшая манера крутить усы, не принесли того благодатнаго результата, котораго такъ алкалъ полковникъ.

— Ну вр-р-ремена! процъживаль гус в сквозь зубы, отдыхая въ квартиръ отъ своихъ кавалерски-искательныхъ туровъ по стогнамъ широкой Москвы. Это не женщины, а какіе-то камни!.. надобно изыскать другія средства.

А въ квартирѣ между тѣмъ было пусто и холодно, а одинокое, басистое ворчанье полковника дѣлало ее еще пустѣе и холоднѣе... И вотъ въ такомъ-то печальномъ уединеніи изъ нашего полковника начинаетъ выработываться самый отъявленный позитивистъ.

Не пріученный играть, что называется, ни въ дудочку, ни въ сопълочку, сей знаменитый мужъ, по проществіи впрочемъ знатнаго количества времени, разродился такого рода мышленіемъ: я хочу жить въ обширномъ значеніи этого слова: т. е. нанимать эдам приличную квартирку въ умъренномъ бельэтажикъ, п сячки въ двъ съ половинкой, имъть возможность столишко тратить хоть, ну хоть по полтысячкъ мъсяцъ, да на платьишко. да на разные непредви мые расходы, поблагодарю Бога искренно, если и пошлетъ мнъ на эти расходы хоть десять тысячь но я теперь все прожилъ, — служить тамъ за кам нибудь триста рублей въ годъ, кланяюсь и цы ручки, — по этому случаю мы, для нашего обновить выкинемъ нъчто такое, что болъе согласно было-бы средствами могучей природы нашей.

Вслѣдствіе такихъ высокихъ соображеній, въ о прекрасное утро, на той широкой аренѣ на кото московская, богатая молодежь практически изучатизнь, явился нѣкоторый новый дѣятель, произы шій своими загребистыми лапами неимовѣрный роръ. Этотъ новый дѣятель былъ полковникъ Коче щевъ. Онъ обратилъ въ наличный капиталъ ости прежней роскоши, обрыскалъ и занялъ у всѣхъ креторовъ, которые ему еще вѣрили, и торжественно меся на эту арену со средоточеннымъ взглядомъ, крѣпко-сжатыми кулаками.

Лица, дъйствовавшія въ это время на сцень, до одного человъка, поклонились энергической при новаго актера—и новый актеръ не обмануль въ очередь впечатльній, которыя онъ произвелъ на м Съ страстью и талаптомъ истиннаго артиста, въ много лътъ полковникъ прочиталъ зрителямъ свое: от произвельности полковникъ прочиталъ зрителямъ свое: от прочителямъ свое: от проч

или не быть — и молодежь получила полное право во всякое время дня и ночи идти къ доброму старичищу— Володькъ Кочетищеву, который разводилъ на бобахъ всякую бъду, а добрый старичище, въ замънъ проливаемыхъ имъ милостей, добился въ другой разъ возможности рыться по локоть въ деньгахъ.

Учинивши такую мѣну, полковникъ натурально, сдѣлался опять, по выраженію Расплюева, великъ и славенъ.

Очень можетъ быть, что я недостаточно говорилъ о Кочетищевъ и мнѣ никакъ нельзя будетъ не согласится съ тѣмъ кто мнѣ замѣтитъ, что поучающая жизнь такихъ людей требуетъ большихъ разъясненій. Всегда первый осуждая въ себъ мои недостатки и промахи, я повторяю, что непремѣпно глубоко возчувствую справедливость такого упрека, но въ тоже время я долженъ буду сказать въ свое посильное оправданіе слѣдующее: чѣмъ крупнѣе жизненный дока, попавшій подъ мое перо, тѣмъ менѣе я пишу о немъ, потому что не могу выносить той страшной муки, которую испытываетъ мое сердце въ то время, когда я очаровываю этого доку...

Вотъ Анна Петровна совсвиъ другое двло. Если я одинъ разъ нвсколько и увлекся, говоря о ней, какъ о чиновницв и бла-о-родной женщинв, за то благодушію моему не будетъ предвловъ, когда я буду говорить о ней просто, какъ объ Аннв Петровнв. Объ ея походв въ полковнику Кочетищеву нельзя даже иначе говорить, какъ съ нвкоторымъ лиризмомъ.

Идетъ Анна Петровна по московскимъ съ ногъ съ бательнымъ улицамъ, по вонючимъ бульварамъ идет черезъ перекрестки уличные звъремъ лъснымъ поскиваетъ, отъ нахальныхъ Ванекъ легкой пташ упархиваетъ, а самое ее всю думушка ласковая всъмъ въ полонъ забрала.

— Вотъ, думаетъ Маслиха, была я крестьянкой, свою молодость прожила простою мужичкой, а тепр барыней стала, дочь-барышню вспоила, вскормила в мъсту къ большимъ господамъ опредълять иду. Я кабы Господь послалъ ей добрыхъ господъ, чтобы лъниваго норову не замътили, за грубыя слова не казывали. Хоша бы чъмъ нибудь она мнъ на стар помогала...

Жжетъ и палитъ жаркое городское солнце го Анны Петровны. Всю ее залъпило бълою пылью, лицу течетъ потъ ручьями, уши хотятъ треснуть грохота экипажей, а Анна Петровна, гдъ въ припрку, а гдъ тихой отдыхающей поступью сиъщитолковнику Кочетищеву, боится какъ бы други дочери мъсто не перебили. Не бойтесь, Анна Петро Идите тише, поспъете: въдь у одного чорта наход мъсто для всъхъ гръшниковъ.

Наконецъ вотъ и квартира полковника Кочетии — Баринъ дома? робко освъдомляется Анна Пет у усастаго Лепорелло.

— Генераль дома, — важно и, такъ сказать, малъйшаго сумлънія, отвъчаеть ей Лепорелло. Вы кого?

- Я отъ себя, батюшка. Доложи, голубчикъ, вдова-чиновница пришла. На чаекъ дамъ.
- А на счетъ чего вы? Мы, ежели, то есть, не на счетъ нужныхъ дёловъ, не про всякаго докладываемъ, потому намъ такъ приказано.
- Я на счетъ дочери.
- . На счетъ ежели дочери доложу сейчасъ, потому эфто намъ завсегда нужно.

Много на своемъ вѣку видала Анна Петровна всякихъ большихъ господъ, со многими изъ нихъ она говаривала со всякою смѣлостью; но при взглядѣ на полковника, а по словамъ его лакеевъ, генерала Кочетищева, она, какъ будто обробѣла маленько. Сама она въ этомъ признавалась.

- Нельзя мнѣ было никакъ не заробѣть передънимъ, разсказывала она, потому на всякомъ мѣстѣ у него богатства всякія разбросаны. Золого, да серебро, ковры, да картины вездѣ такія, какихъ я отъ роду нигдѣ не видала; а самъ сидитъ бравый такой въ шитой шапочкѣ, въ халатѣ какомъ-то мудреномъ, длинную трубку, да такую то ли духовитую, куритъ, а другою рукой все это усы свои длинные гладитъ.
- Ну-съ, madame, что вы скажете намъ? спросилъ полковникъ Анну Петровну, когда она стала предъ нимъ, какъ листъ передъ травой.
- Да вотъ, ваше высокоблагородіе, сиротъ горькихъ не оставьте, — заставьте за себя въчно Бога молить... заголосила Анна Петровна съ низкими поклонами. Какъ вы таперича въ газетахъ публикацію та-

кую пустили на счетъ гувернантки, такъ ежели п лости вашей угодно, дочь у меня есть и она эту п жность справитъ, какъ слъдуетъ...

— Гмъ! откашлянулся полковникъ. А какъ она

го... лътъ, т. е. примърно какихъ?

 Девятнадцатый пошелъ съ Въры, Надежды, І ви и матери ихъ Софьи.

- Дда! Нну это ничего. А портретика ея вы собой не захватили?
- Нътъ, отецъ мой, партрета-то у меня. Не с мала я съ ней. Отцовъ ежели, можно принесть.
- Нътъ—отцова-то мнъ не нужно. У меня отщо то портретъ свой есть.
 - Какъ не быть у васъ родительскому партреп
- Извъстно есть. Да впрочемъ не въ этомъ д А вы вотъ что, матушка, присядьте-ка покуда. В небось, любите?
 - . Да я мало пью то его, отецъ; а то ничен его въ гостяхъ когда, по многу пивала.

Принесли кофе. Собесъдники видимо хотъли сооб другъ другу нъчто весьма интересное, но какъ б ватруднялись чъмъ-то.

- Ниу-съ такъ какъ же? заговорилъ наконець
- То-то, то-то, благодътель, какъ же нам этимъ самымъ дъломъ быть?
- Какъ быть? Извъстно какъ: посмотръть п надо, да ее спросить, согласна ли будетъ?

— Согласна будетъ! съ увъренностію доложила

Петровна. Кабы она была не согласна, она бы меня не послала. А посмотръть ежели нужно, такъ мы завтра сами придемъ.

Вслёдствіе такого разговора, между вдовой титулярной сов'єтницей и отставнымъ полковникомъ завязалось нічто въ родів ніжной дружбы. Раза по три они уже нав'єстили другъ друга; но рішительныхъ переговоровъ о прієм'є Софи въ гувернантки еще не было.

- Мозжитъ, думала Анна Петровна. Жалованье, должно быть, хочетъ маленькое положить, глядючи на нашу бъдность.
- Прикидывается, старая, будто не понимаеть, о чемь я хлопочу, въ свою очередь размышляль Кочетищевъ. Наровить, должно быть, деньгу хорошую съ меня зашибить...

Такъ всю жизнь свою, замъчу я лично отъ себя, весь родъ людской волнуется и гибнетъ въ мутномъ моръ недоразумъній, которыя онъ сочиняетъ самъ для собственнаго одуренія!..

И долго, говорю, тянулись бы эти разговоры между полковникомъ и наивною вдовицей, что дескать, такъкакъ же-съ? спроситъ, бывало, Кочетищевъ, — да такъто, генералъ, — отвътитъ ему Анна Петровна — и опять продолжительная пауза.

Узнайте же теперь какимъ глубокимъ превосходствомъ обладаетъ нынъшняя отечественная женщина предъ отечественной женщиной добраго стараго времени.

Софи сразу смѣкнула дипломатію полковника и повела дѣло такимъ манеромъ.

- Полковникъ! сказала она однажды Кочетище Нътъ ли у васъ на примътъ хорошаго жениха? Я ла бы вамъ очень благодарна, только чтобы непрем но онъ не бъдный былъ.
 - -- Какъ же, какъ же, mademoiselle! Есть у женихи даже и очень не бъдные.

Великую истину кто-то сказаль, когда сказа что отъ малыхъ дёлъ происходятъ иногда вы результаты. Кажется, чего бы проще въ нашъ я сипированный въкъ, что молодая дъвушка спрашим своего знакомаго старика, нътъ ли у него на при богатаго женишка? Имъю много достовърнъйшихъ ныхъ, которыя, къ сожальнію, не пойдуть къ д чтобы сказать, что въ наше время такой вопросъ и изъ устъ молодой дъвушки совершенно норма Только же далеко не такъ ничтоженъ этотъ воп какъ вамъ покажется съ перваго взглида. Межд ими героями онъ установилъ совершенно новыя, поведшія ихъ, какъ вы сами увидите, отношенія. ковникъ до сего времени, обдълывавшій дъло прів гувернантки съ Анной Петровной, теперь повел преимущественно съ самой Софи. Только за то ли ее такимъ образомъ отдалили на задній планъ, 1 что нибудь другое, — Анна Петровна неимовърв зозлилась на дочь. Вдовій флигарь еще ни разу даль въ своихъ убогихъ стънкахъ такихъ го сценъ гивва, угрозъ и даже проклятій, которыя Анна Петровна своей Софи, когда полковникъ у отъ нихъ.

— Вспомни, срамница, кто у тебя былъ отецъ? говорила Анна Петровна. Заслуженный человъкъ былъ твой отецъ. И теперь его братъ на губерніи предсъдателемъ казенной палаты служитъ, а сестра за старшимъ секретаремъ губернскимъ выдана. Вона мъста какія благородныя занимаютъ; а ты на эдакія дъла пускаешься...

— Вы еще свою родню крѣпостную причли бы сюда; а то мнъ одной съ вами скучно съ голоду умирать, давала ей отвътъ Софи.

Но мы не будемъ микроскопично-описательны въ этихъ случаяхъ. Довольно будетъ, если, для уясненія водарившейся во вдовьемъ флигарѣ суматохи, я скажу, что въ результатѣ всѣхъ этихъ выкриковъ, которыми такъ интересовались обитатели дѣвственной улицы, Анна Петровна снимала со стѣны родительское благословеніе и подъ опасеніемъ его гнѣва усовѣщивала дочь отстать отъ какихъ-то дѣловъ, которыя будто-бы, по ея словамъ, весьма срамили благородное родство ея окойнаго мужа.

Такимъ образомъ, для поверхностнаго наблюдателя предтавлялась возможность, изъ этихъ словъ Маслихи, залючить, что Софи имъетъ какъ бы дъла съ полковнисомъ; но съ другой стороны поведеніе самой Софи въ тношеніи къ полковнику было именно такого свойства, то окончательно разногласило съ такимъ умозаключеіемъ, ибо, когда Кочетищевъ начиналъ ее приглашать ереходить къ нему въ домъ, Софи обыкновенно отвъала ему такимъ образомъ:

- Я очень рада перевхать къ вамъ, полковш Только я не могу этого сдёлать до твхъ поръ, в вы не найдете мив хорошаго жениха.
- Да, да, отецъ! подверждала ръшение дочери и Петровна, уже достаточно освоившаяся съ своимъ ликосвътскимъ гостемъ. Ты ужъ найди сиротуп пріищи женишка; а то въдь у насъ родство какож койниковъ братъ предсъдателемъ, а сестра за старш секретаремъ. Хорошо развъ мнъ будетъ, какъ они начнутъ совъстить за такія дъла.

И вотъ въ одно прекрасное утро вдовій флигель пяль въ свои стѣны полковника, который прівхал какимъ-то отмѣнно-красивымъ юношей, въ сму изящнаго фасона и съ манерами самаго фешіонебы го лорда.

Юноша бросиль свой мягкій, женственный ва на Софи—и Софи запылала къ нему той пожив все человъческое существо страстью, къ которов готовили ее историческіе романы Дюма.

Тутъ ужъ почти и конецъ. Мнѣ остается толы зать къ чести полковника Кочетищева, что опътого только, чтобы соединить двѣ полюбившія друга съ перваго взгляда души, пожертвоваль мы на обзаведеніе пять тысячъ рублей, а главное, вилъ ему у одной вдовой купчихи мѣсто не бы менѣе, какъ въ три тысячи руб., и вы не подручто въ годъ, а въ мѣсяцъ...

Хорошо быть такимъ могущественнымъ, какъ отставной отъ гусаръ полковникъ, ибо мужъ Со

его могучей помощи, хотя и принадлежить къ древней, но къ несчастію проерыжничавшейся фамиліи, пропаль бы окончательно. Равномърно и Софи: истаяла бы она, бъдная, и засохла, не усившии разцвъсть, отыскивая въ дъвственной улицъ героевъ Лувра, а теперь, благодареніе небу, она жена очень обезпеченнаго человъка. Это само по себъ, а главное то, что она тоже, опять таки, благодаря великодушію полковника, имъсть средства заработывать свой хлъбъ своими трудами, находясь гувернанткой при воспитанницъ Кочетищева, взятой имъ для услажденія дряхлой старости.

Не такъ ли, други, всегда наказывается порокъ и вознаграждается добродътель?...

the more more than the common that the common

If phylogenessenes work appresses oracle, morrospenses and restriction from the second of the first oracle.

I through a present the appropriate of the continue with the second of the second oracle or the second oracle oracle

tions our remains and the continue according a sound of

ателью давт выс атт. от **ин**ната в работели от этого заражданий полькований инфермации от верести

ветой положе, хоти в принактичность из предлей и водото програми и водото фанкации, програми и потерые, потоком было опи, потоком деней произволь, потоком на пробести, потоком на пробести опи каке в принам водото принам водотом принам водото в принам в принам водото в принам водото в принам в принам в принам водото в принам в принам водото в

тине жанаторой эпинантинов неи колганалова

Послѣ довольно продолжительнаго отсутствія, я увидаль Москву. Была святая недѣля. Шатаясь м московному, я случайно встрѣтилъ одного пріятел торый въ былые годы имѣлъ возможности тереты большомъ свѣтѣ. Изгнанный изъ рая въ наст время, онъ все еще продолжаетъ думать, что онь ма великосвѣтскій баринъ — и на этомъ основан еще раскланивается съ своими великолѣпными друговання великольна велико

— Слава Богу, подумаль я при встрычь съ теперь, ежели какая нибудь свытлан звызда бы въ мои слыпые глаза, у меня есть подъ рукой выкь, который скажеть мнь ея имя.

И дъйствительно: мой пріятель очень щедрог паль предо мною познанія о beau mond'ь.

— Князь Зарубай-Незарубьевъ! благоговъйм четъ онъ мнъ и въ тоже время улыбаясь самым вымъ образомъ, привътствуетъ князя своим журомъ.

Князь окидываетъ бъдняка недоумъющимъ взгл

величественно надуваетъ губы, морщитъ лицо и наконецъ обращается къ миловиднѣйшему существу, сидѣвшему вмѣстѣ съ нимъ въ блестящей коляскѣ.

- Графиня Пеперментъ, Маркиза Кло-де-Вужо! рекомендуетъ мнъ мой благородный другъ весьма развалившееся существо, тупо смотръвшее изъ каретнаго окна на народныя волны.
- Bon jour, madame la comtesse! кричить онъ старухѣ, рискливо подбѣгая къ ея коляскѣ. Маркиза награждаетъ его истинно-рыцарскую храбрость ласковымъ кивкомъ головы, изъ чего я, какъ послѣ оказалось, весьма справедливо заключилъ, что она совсѣмъ спятила.

Такимъ образомъ много знатныхъ особъ было представлено моему благосклонному вниманію. Въ благородной къ ихъ отечественнымъ заслугамъ душъ моей, я благословилъ доблестныхъ патриціевъ моего племени и хотъль было отправляться домой, потому что, клянусь честью, тоска меня въ это время одольла почему-то самая, что называется, смертная; какъ вдругъ съ нами поровнялся невообразимо патентованный экипажъ, влекомый благороднъйшею, вороною четверней. На козлахъ этой невиданной еще подъ солнцемъ колесницы, достойпо возседало некоторое строго-серьезное существо, широкоплечее и поросшее густою бородой, цвъта остывшей смолы. Къ великому моему удивленію, въ этомъ экипажъ, видимо строенномъ для царей, помъщался полковникъ Кочетищевъ. Подлъ него на задней скамейкъ сидела какая-то бархатная, самой высокой отделки,

дама, въ чертахъ лица которой я нашелъ какъ бы им знакомое.

- Въдь это нолковникъ Кочетищевъ? страшиваю моего пріятеля, пораженный той блистательной обо новкой стараго гусара, въ какой сще ни разу мив приходилось видъть его.
 - Да это онъ! удовлетворилъ меня мой знаком
- Что же онъ женился, что-ли? Бархатиая в жена его, что-ли?
- Нътъ, бархатная дама жена пріятнаго господа который сидитъ напротивъ. Она у полковника въ вернанткахъ, а мужъ ея главнымъ управляющим своей сосъдки. Это извъстная богачка купчиха Погникова.
- Чей же это экипажъ? спросилъ я.
 - Да какъ вамъ сказать? недоумѣвалъ мой пріято Онь у нихъ общій, хотя и купленъ на деньги по пиковой. У нихъ все общее, потому что это обравые друзья. Всѣ, кто только знаетъ ихъ, иначе в называютъ какъ аркадскимъ семействомъ. Впрочильковника и пріятнаго господина пазываютъ еще меліями въ кэпи; ну да вѣдь на чужой ротокъ, в кинешь платокъ. А счастію ихъ, по чести вамъ провозавидуютъ самые равнодушные глаза.

И точно: въ толпъ народа, глазъвшей на тоственное шествіе нашихъ друзей, раздавались за ливыя восклицанія, одобренія лошадямъ, экипажу. же, впившись слезящимися, старческими глазкам парадную дочь, стояла Анна Петровна Маслиха, вы

номъ, новенькомъ салопчикъ, съ бъличьимъ воротникомъ, и когда патентованная коляска поровнялась съ нею, она набожно перекрестилась и по лицу ея пробъжала улыбка полнъйшаго счастія...

Воздадимъ же и мы, въ свою очередь, хвалы небу за то, что наши времена рождаютъ еще людей, способныхъ восхищать и умягчать сердца наши тъми душевными прелестями, которыя я рекомендовалъ вамъ въмоихъ герояхъ.

The second secon

And appending of the most representation of the property of the first of the property of the p

Ment County and the second second second second second second

British Charles William Commence of the Strategic Commence of

иванъ сизой

Sarptilado esta a caratega a da esta el estado de la como estado en la como esta el estado en la como esta el estado en la como estado en la como estado en la como estado en la como en la

изображаетъ, вмъстъ съ московскими нравами,

natusiae na decembro accipie enca parenia in manteria espain pur benene materialisticio, nota s¹1, nor a consulta una con

The terminal conference of the second second second

Пожаръ способствовалъ ей много къ украшенью.
Горе от ума.

Я постоянный житель Москвы — и вотъ только въ первый разъ выступаю на нетербургско - литературную арену съ моими московскими очерками. Призываю на нихъ вниманіе добрыхъ людей, потому что въ этихъ очеркахъ я намѣренъ изобразить безконечный рядъ лицъ, сокрушенныхъ безвыходнымъ торемъ своей жизни. Станетъ передъ вами длинный строй тѣхъ лицъ, безмолвный, не умѣющій даже сказать о своемъ страданіи и попросить помощи. Станетъ, говорю, онъ передъ вами, а у васъ свое горе—и благо вамъ, если по этому случаю можно будетъ имѣть право сказать про васъ, что вы съ напрасно-скрываемой слезой, отвернетесь отъ него и прошепчете:

- Братцы! Что же я для васъ могу сдёлать? Все это я вамъ изображу, какъ слёдуетъ, потому, что уже который годъ я стою хорошимъ рядовымъ въ строю моемъ. Руки у меня длинны и сильны, языкъ вострый, басъ медвёжій—и при всемъ томъ ничего! Ни одной радости я еще пе увидёлъ въ шеренгё моей: все слезы, все только однё слезы?..
- Ну и пусть слезы? Что-жъ такое? Пусть другіе за насъ радуются, если есть о чемъ, съ злостью говорю я сейчасъ, въ самый моментъ моего писація. Но тутъ мнѣ вдругъ почему-то захотѣлось смѣяться.
- Кто это, думаю я, зарадуется. Чему? У кого хватить на столько идіотства, чтобы скалить зубы на изв'єстные жизненные порядки, какъ скалить ихъ голодіный жеребець на овесъ.
- Чему смъетесь? Надъ собою смъетесь, —припоминается мнъ великое слово...

А между тамъ я совершенно увъренъ, что читающая публика такъ ни чуть не знаетъ московскихъ правовъ, что и не подозръваетъ, что я, въ качествъ постояннаго жителя Москвы и рисовщика ел правовъ, пьянъ въ настоящую минуту какъ стелька; ибо «съ товарищемъ выпьешь, для компаніи выпьешь, самъ посебъ выпьешь», — любо!..

Въ Москвъ ръдко кто иначе дъластъ, поэтому и поговорка такая у насъ сочинилась, почти что въ пословицу вошла: чъмъ же ты, акромя какъ выпивкой, горе свое осилишь?

— Вър-р-но! подсказываю я этой поговоркъ. Чортъ

его осилить, — и продолжаю: — Однимъ лѣтнимъ вечеромъ сердце мое заныло до смерти, потому что ему пришлось восчувствовать, что оно не можетъ безъ того, чтобы не лопнуть на мельшайшіе куски, ужиться съ нѣкоторыми, почти на всякіе глаза обыденными городскими дрязгами. Дѣло состояло въ томъ, что этимъ вечеромъ я шолъ на урокъ и заранѣе зналъ, что ратег famil as, сѣдой и разслабленный старикъ, пожелаетъ узнать отъ меня подробности перехода Израильтянъ черезъ Чермное море, а mater familias будетъ подчивать сладкимъ чаемъ съ сахарными булками и наступать на ноги подъ столомъ, накрытымъ длинной салфеткой.

Страшно меня мучило это представление; но я все таки шоль и думаль:

- Авось Богь милостивъ! Авось нынѣ и такъ пройдетъ. Ну да наконецъ и терпѣть надо. Что же безъ дѣла то шляться?
- А я и самовара до васъ подавать не велѣла встрѣтила меня хозяйка, сверкая нарумяненными, но уже очень скомканными щеками. Мы васъ всегда такъ ждемъ, такъ ждемъ, — продолжала она и крѣпко жала мою руку...

Я вскрикнуль какое то сумасшедшее междометіе и стремглавь выбъжаль на улицу, проклиная городь, такъ подурацки распоряжающійся бъдняками, и насколько помню, проклиная даже бъдняковь, не умъющихъ какъ слъдуеть примириться съ любознательными pater familias'ами и съ отдавливающими учительскія ноги mater familias'ами...

- Баста! Къ чорту учительство! говорю я, и направляюсь въ знакомый трактиръ, по прозвищу «Костептінополь». Здёсь я на послёднія деньги садануль большой графинъ и потомъ пошелъ пошляться, что весьма облегчительно и даже образумительно для тъхъ людей, какіе желаютъ думы свои отдать буйному вѣтру, который не въ человѣка крикливъ. Онъ несетъ тъ думы къ синему небу и во весь голосъ кричитъ ему:
- Вотъ, небушко, я тебъ принесъ съ земли печальныя думы человъческія! Погляди поласковъй на того человъка, спрысни ты его росою вечернею, ласковой; а то, пожалуй, думы-то его въ конецъ изведутъ, пожалуй, онъ его огнемъ своимъ такъ сожгутъ и оголятъ, какъ пожары жгутъ и голятъ россійскія степи...

Славный вечеръ былъ даже въ главныхъ улицахъ Москвы: смирно улеглась назойливая дорожная пыль,—затихла оглушающая, барабанная дробь отъ калиберовъ Ванекъ, растворились уставленные цвѣтами балконы. Въ городѣ даже хорошо въ такое время человѣку, не имѣющему возможности запустить на своей собственной дачѣ великолѣпнаго фейерверка рублей въ пятьсотъ. Носъ такого человѣка, свороченный на сторону городскими благовоніями, такъ сладко внюхивается въ свѣжія ароматныя испаренія отъ старипныхъ деревьевъ, весьма часто выглядывающихъ изъ за высокихъ заборовъ на московскія улицы.

Долго такимъ образомъ шелъ я, всѣмъ существомъ вздрагивая иногда отъ унылыхъ, заспанныхъ голосовъ ночныхъ извощиковъ, предлагавшихъ съѣздить съ мо-

имъ сіятельствомъ на рысачкѣ на рубликъ, а<mark>ли бы на</mark> два. Чуде<mark>с</mark>но вышло бы это, по ихъ мнѣнію.

Шелъ я—и становилось все тише и тише,—звѣзды такъ и подмаргивали, такъ вслухъ мнѣ и смѣялись: что, дескать, другъ, зауныль? Брось! мало этого горя у васъ на землѣ, что-ли? Пора бы попривыкнуть, слава Богу!...

— Да, хорошо вамъ тамъ вдали-то! шептало больное сердце мое въчно-веселымъ звъздамъ.

Пошли какіе-то безконечно-длинные заборы, сады, запахло острымъ запахомъ огородныхъ растеній,—вмѣсто извощиковъ, думы мои распугивали теперь злыя собаки, которыя съ остервененіемъ подкатывались мнѣподъ ноги,

Усталь я и тяжело бухнулся въ высокую, сырую траву; осмотрёлся, — и вокругъ меня нёжно-усыпляющимъ шопотомъ говорила что-то молодая березовая роща, на мёсяцё сверкали тонкія струйки никогда невиданнаго мною прорвавшагося пруда, прямо передъ глазами моими, далеко гдё-то къ самымъ звёздамъ, взвивались, безъ малёйшаго шума, разноцвётныя римскія свёчи.

Лежа, я спрашиваль себя: гдѣ же это-я? я не знаю этого мѣста.

Раздумывая и припоминая, по какимъ мѣстамъ шелъ я и куда именно пришелъ, я наконецъ сказалъ себъ:

— Да что мињ за дъло, гдъ я? Здъсь хорошо — и баста!

И ужъ истинно, что хорошо было! Сколько поза-

бытаго припоминала мит березовая роща, нашептывая мит про мою далекую глухую родину; этотъ прорванный прудъ, его оголълое, песчаное русло и, главнымъ образомъ, ручьи, игриво разбъжавшіеся изъ него по травъ, живо и звонко заговорили со мной:

- Помнишь ли, Ваня, радостно крикнулъ мив кто-то, какъ у насъ въ Анюткиныхъ дворикахъ пруды прорывало?
- Помню, отвъчаю я съ улыбкой. Какъ не помнить? Еще мы тогда по цълымъ днямъ безъ воды сп-дъли, зато рыбы было много. Застрянетъ она въ пес-къ-то, на днъ, ротъ розинетъ на жаръ и дышетъ тоже... ровно бы и человъкъ...
- Дурашка! почудилось мнв, что шеннула роща. Безъ воды-то всвиъ плохо, мнв вотъ безъ дождейто, такъ и то очень, очень трудно...
- Ну-да, ну-да! заскакали передъ рощей ръзвымъ ребячьимъ скокомъ ручьи, разбъжавшіеся изъ пруда. Тебъ-то, пуще всего, безъ воды пельзя? На что она тебъ, вода-то, —въдь ты деревянная...

Я совсёмъ, съ головой, легъ въ траву, чтобы лучше всматриваться въ знакомые образы, реявшіе напруде, на деревьяхъ и даже въ мёсячныхъ лучахъ. Трава обдала мою воспаленную голову сырой росой — и вследствіе этого мнъ показалась другая картина.

Въ Анюткиныхъ дворикахъ вечеръ; въ мутныхъ стеклахъ нашей избы мелькаетъ огонекъ. Видънъ въ эти стекла громадный, ярко вычищенный самоваръ, за который давно ужъ, когда еще солнце не садилось, за-

съли мой отецъ, мать и отцовъ братъ-мъщанинъ, прівхавшій къ намъ изъ города въ гости съ маленькой дочкой. Мы съ сестренкой терпѣливо дожидались на потемнѣвшей улицѣ чаю, къ которому старшіе, достаточно вспотѣвшіе сами, имѣли кликнуть насъ, чтобы полакомить ребятенокъ чашечкой, другою этого праздничнаго напитка.

Босые, съ растрепанными волосами съ раскраснѣвшимися лицами, бѣгаемъ мы по ровному полю, звонкимъ смѣхомъ разбиваемъ ничѣмъ не смущаемую пустынную тишь—и долгое время такимъ образомъ идетъ между нами двумя и большой собакой, перегонявшейся съ нами, большая дружба. Только вдругъ городская дѣвчонка нахмурилась, откинула со лба на затылокъ черныя косы, прикусила, капризница, губы и даже, какъ-бы сквозь слезы, сказала:

- Цътъ! Я не хочу больше играть. У васъ здъсь страсть какъ скушно!
- Какъ скушно? спрашиваю я въ недоумъніи. Гдъже весело-то?
- У насъ въ городъ веселъе. У насъ мальчики-то въ ситцевыхъ рубашкахъ и по буднямъ ходятъ, а ты, видишь, въ какой рубахъ—въ холстинной.
- А, а, бъщено кричу я на сестру. Такъ ты такъто? Сказывай же, коли такъ, гдъ веселъй: въ городъ али здъсь?—спросилъ я ее такъто, да какъ вцъплюсь ей въ косы...—Ска-а-зывай!...

Молчитъ дъвочка, крутитъ только упрямою головенкой, стараясь высвободиться изъ родныхъ лапъ.

- Нъ-ъ-тъ, не вырвешься. Сказывай: гдъ лучше?
- Пусти, прошинъла упрямая, тятенькъ скажу. Онъ тебя выдеретъ.
- Что мив твой тятенька-то? У меня свой есть. И безъ твоего тятеньки меня есть кому драть. Говори, гдв лучше?
- У васъ лучше, тихимъ, чуть слышнымъ щопотомъ, восхвалила наконецъ горожанка прелесть сельскаго захолустья. Пусти только.

И, сидя въ рощъ, я припоминалъ все: какъ я не хотъль отпускать горожанку, зная, что она обманываеть меня, весьма недостаточно убъжденная въ превосходствъ села надъ городомъ, — какъ она жаловалась на меня въ избъ и наглядно показывала, какъ именю я таскалъ ее за косы, и какъ, наконецъ, за это звоню отщелкали меня самого.

Вспомнилъ я все это, и съ старинною, давно уже послъ этого случая истраченной силой, сказалъ про утъшившее меня на минуту московское захолустье:

— Нътъ ужь, Богъ съ нимъ! Лучше же ему такъ стоять, по прежнему, подальше отъ города... По крайней мъръ, тихо—воздухъ чистъ...

А сзади на меня, на тихую рощу и на наше обоюдное довольство другъ другомъ неотразимо надвигаль могучій городъ. Какъ корабли по морю, плыли прями на насъ его громадные дома, гнъвные такіе и, кактя полагаю, видя на своей дорогъ такую маленькую незначительную преграду, какую мы съ рощей представляли имъ, они, повременамъ, ядовито посмъива

лись рёдкими огоньками, блиставшими изъ кое-какихъ

Было это ровно въ полночь и, какъ теперь помню, деревья, и травы, и свътлая вода, — все это будто бы ужасно испугалось надвигавшей силы, безпощадно опустилось на колъни и зашептало невыразимо-звучную молитву. Я же храбро стоялъ лицомъ къ готовому поглотить меня чудовищу и, яростно махая кулаками, оралъ на него моимъ, еще и теперь богатырскимъ басомъ....

— Нѣ-тъ, с-стой, другъ! Ты подожди надвигать-то на насъ. Мы еще съ тобой перевъдаемся. Можетъ мы тебя еще и назадъ поотодвинемъ бездълицу...

Commencial Commencial Commencial Commence of the Commencial Commen

Shows which sold construct our supplies of the showing in the

STATE OF THE PRIVING THE PRIVING THE PRIVING THE PRIVING THE PRIVING

LE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

- Да будеть вамь, Ивань Петровичь, воевать то, ласково сказаль мнъ какой-то мужской голось, показавшійся мнъ знакомымь.
- Ишь, ишь лютуетъ какъ! заговорилъ въ тоже время другой голосъ, одинаково-ласковый, по женскій.— Ахъ воинъ, ахъ воинъ! продолжала смѣяться женщина. Вотъ оно гдѣ, храброе воинство-то!

Мить было очень досадно, что даже баба тамъ каканибудь смъется надо мной, но дальше я уже ничего не помню, потому что показалось мить, что городъ совства набхалъ на меня въ эту минуту и раздавиль въ мелкіе, окровавленные дребезги, причемъ онъ злобно шумълъ что-то своимъ страшнымъ, полночнымъ шумомъ...

На другой день однако я проснулся совсёмъ живой, только ныли простуженныя кости, да трещала пьяная голова. Долго и напрасно ломалъ я эту надтреснутую голову, стараясь припомнить, гдё именно я нахожусь. Въ два маленькія окошка, изъ которыхъ виднёлись

тротуарныя тумбы, жирно намазанныя дегтемъ, по случаю какого-то празднества, да ноги пѣшеходовъ— смотрѣло восхитительное раннее утро. Прямо въ горячее лицо налетала ароматная прохлада, гладила его своими нѣжными, пуховыми крыльями и совершенно вслухъ шептала:

— Ну ничего, горемычный! Ничего, что заболёль, не важно суть...

Надобно сказать такъ, что на утро это я былъ расположенъ смотръть, какъ на сестру милосердія, сидящую передъ койкой одинокаго, обреченнаго могилъ человъка. Подъ бълоснъжный съ широкими оборками чепецъ,
спрятала сестра свое молодое, и, какъ бы роза, застигнутая осенью, поблекшее отъ раннихъ слезъ лицо,
отвернувшимся отъ всегдашняго мірскаго несчастія взоромъ своимъ ласкаетъ она больную душу и тихимъ,
молитвеннымъ шопотомъ провожаетъ ее въ дальній
путь, туда, гдъ нъть ни печалей, ни слезъ, пи воздыханій...

Вотъ какое было это утро! Тонкими снопами врывались въ окна первые, и потому такъ трудно отличаемые отъ настоящаго золота, солнечные лучи. Падая сначала на мои подушки, они скользили по одъялу и потомъ со всего размаха хлестали по лънивымъ глазамъ большаго съраго кота, сидъвшаго у моихъ ногъ. Кота, очевидно, тъшила ихъ ласкающая теплота, ибо онъ по временамъ какъ-то нервически вздрагивалъ и громко мурлыкалъ. Но всего страннъе было то, что за котомъ, между спинкой дивана и моими ногами сидъло неболь-

шое, годовое дитя, совсёмъ еще безволосое, съ красненькими деснами, вмёсто зубовъ, завернутое въ лохмотья. Дитя было необыкновенно оживленно: безпрестанно стукаясь, то затылкомъ о деревянную спинку дивана, то лбомъ о мои колёни, оно тёмъ не мене заливалось веселымъ, птичьимъ смёхомъ и колотило кота по усатымъ мордасамъ засусоленной соской. Котъ въ свою очередь отбивалъ эти нанаденія лёниво и граціозно, и при томъ чуть-чуть только касаясь правой лапой полныхъ, смёявшихся щечекъ ребенка.

— Откуда мий все сіе? думаль я, еще пристальние вглядываясь въ комнату, которая, по-истині, была какимъ-то храмомъ нищеты. На ея желтыхъ, выкрашенныхъ охрою стйнахъ, отчего-то вдругъ пропадали солнечные лучи, врывавшіеся въ окна, а вмісто нихъ, по старчески-изломанными зигзагами, метались черныя тіни, — отчаянно метались, словно бы смертно-больной на постели. Столы, стулья, скамейки были все какія то трехногія, искаліченныя, — съ перегородки смотріли пыльныя, всі въ паутині, картины, большею частію старинныя, німецкія гравюры, въ уродливыхъ толстыхъ рамкахъ изъ окрашеннаго въ красный цвіть дерева. Неряшливая печать тіхъ гравюръ превосходила всякое описаніе.

Мит казалось очень знакомой обстановка этой комнаты, ночью именно грудь крушила она своимъ тюремнымъ воздухомъ; я все таки не могъ отгадать и продолжалъ лежать и агукать ребенка.

За перегородкой шипълъ самоваръ. Я долго прислу-

шивалея къ нему, потому что до смерти хотѣлъ пить. Наконецъ онъ громко заклокоталъ и было слышно мнѣ, какъ кипящая вода, не стерпѣвъ адскаго жара, полилась черезъ края и яростно зашептала.

Да куда же это хозяева раздѣвались? Кто же теперь чай будетъ заваривать?

Ну я за хозяина буду, сказаль я самовару, встав , и лишь только успълъ накрыть крышкой самоварную трубу, какъ дверь отворилась и въ кухню вкатился толстенькій мальчикъ лътъ четырехъ, въ красной рубашонкъ, черный, какъ тараканъ. Въ немъ я узналъ сразу моего любимаго крестиика — Ванюшку.

— Кумъ! закричало малолътнее существо, никогда нехотъвшее называть меня крестнымъ или тятинькой, не смотря на обильные подзатыльники, которые щедро раздавали ему отцовскія руки за такую непочтительную кличку. — Ку-у-мъ! на ссю квартиру заоралъ ребенокъ въ несказанной радости. — Давай нини! Этимъ мягкимъ словомъ мальченка характеризировалъ тъ бъдныя денжишки, которыя я давалъ ему иногда на гостинцы. Тутъ онъ протянулъ ко мнъ привычную руку и получикъ гривенникъ, съ которымъ тотчасъ и убъжалъ въ лавочку. Такъ рано такого сорта ребятки узнаютъ цъну тьмы разныхъ разностей, предлагаемыхъ имъ въ услажденіе московской мелочною продажею.

По Ванюшкъ мнъ уже не трудно было опредълить, что я нахожусь у моего стариннаго благопріятеля, нъкоего Матвъя Петрова, который на обыкновенный вопросъ своихъ знакомыхъ, кто опъ и чъмъ занимается, всегда отвъчалъ: а мы изъ кантонистовъ, насъ въ Москву пригнали вотъ эконькимъ, — при этомъ онъ какъ то стыдливо потуплялъ въ землю свои красные глаза и принимался часто моргать длинными бълыми бровями.

За такую рекомендацію, а можеть и за что другое, всё девственныя улицы, (такъ я называю московскія захолустья) постояннымъ жильцомъ которыхъ былъ Матвей Петровъ, звали его Обдилистымо или Чижомо, и кроме такихъ прозвищь я ничемъ другимъ не буду характеризировать этого человека, а скажу только, что совершенно успокоился, узпавши, что нахожусь у него, а нигдё болёе.

Тутъ вошла жена Матвъя Петрова. Я звалъ ее Анной, а всъ другіе, кого я встръчалъ въ этомъ семействъ, Чижихой. Она несла полуштофъ и блюдо соленыхъ огурцовъ.

— Всталъ, кумъ? привътливо заговорила она со мною. А я вотъ насилу три гривенника на похмълютеоъ оборудовала, потому, думаю, ужъ онъ не встанетъ безъ эстаго... Головы не подыметъ. Головы-то ему, думаю, безъ вина не поднять...

Повторяю, въ концъ концовъ, что я былъ очень радъ, что очутился у Чижа, потому что часто также приходится мнъ трудить ошалълую голову надъ разгадкой у кого именно изъ моихъ барственныхъ друзей встръчаю я извъстное утро, тысячью невиданныхъ и песлыханныхъ для посторонняго глаза голосовъ и лиць, то безпощадно-осуждающее меня, бездомовнаго пьяниц,

то жальющее и плачущее надо мною горячими слезами тых родныхь людей, которыхь я хочу выжить изъ моей памяти и никакъ не выживу... Съ ужасомъ думаль я, разговаривая съ Чижихой, что бы было со мной, ежели бы я проснулся теперь не въ ея квартирь. Благовоспитанный другъ мой читаль бы мнё мораль, что необходимо де и проч., отпаиваль бы кофеемъ, говориль бы со мною по-мужицки, либеральничаль, а между тых самь я въ каждомъ звукт, изъ какихъ состояли бы его нескончаемыя рацеи, явственно разбираль бы звонкій нестерпимо-ръжущій хохоть, уродливаго дьяволенка пьянства, который самымъ подлымъ образомъ вихлялся бы передо мною въ синемъ пламени спиртовой лампы, варившей кофе, дразниль бы меня и кричаль другу моему и наставнику:

— Да что ты ему разговоры разговариваешь? ха, ха, ха! Ему погромче тебя въ миліонъ разъ говорили вогда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха!

Но, слава Богу! Ничего подобнаго не случилось этимъ предестнымъ утромъ, и Чижиха, наливши мнъ полный стаканъ водки, радушно сказала:

- Ну-ка, кумъ, передъ чаемъ то выкушай на здоровье. Политика дёвственной улицы требовала съ моей стороны отвётить:
- Кушай сама прежде, Аннушка, и я сказаль это она выпила, и вотъ какія пошли у насъ разтоворы послё того, какъ мы выпили.

reasons of the control of the same and the same

di co pertengenta pagen, napracula guadepara du

10 жальопел и начубло миро вимо горачим таслави таль родиную лисуй, четорых и могу въжить пав вой завити и панаст по выждет и би умасомь думент бы споирования же Чужатой, что бы было во вной, жене бы споироватулся тейгры во въсси подтира. Бълго

Стаканъ водки сдёлалъ свое дёло. Онъ наполнив мою голову чёмъ то до того тяжелымъ, отъ чего голова безпомощно поникла на столъ, сердце забилось ускоренными біеніями и глубоко застрадало отъ различныхъ жизненныхъ представленій, съ которыми русскій человёкъ никогда не знаетъ ладу и которыя, рано ил поздно, сгоняютъ таки его съ бёлаго свёта въ темныя, кабачныя стёны.

— Ты, куманекъ, еще употребилъ бы стаканчикъ, подчивала меня Аннушка, съ какою-то совершенно-докторскою любовью, желая, чтобы я выпилъ еще стаканчикъ. — Оно, можетъ, тогда у тебя все бы поотлегы маленько! добавила такимъ образомъ кума свои словати ожиданіе того, что приподнимется отъ этого стакав больная голова моя и заговоритъ дружески задушевны рѣчи, которыя привыкли слышать отъ меня дѣвственыя улицы, такъ и свѣтило въ ея смирныхъ, сѣрых глазахъ. — Выпей, выпей, а то что это, въ самон

дёлё? Сейчась ужь и уткнулся въ столь — и молчить, ровно бы сердить на кого, ровно бы онъ не къ своимъ людямъ пришелъ.

Я отрицательно мотнуль головой на это предложеніе, потому что внутри меня сидёль кто-то и строго шепталь: не пей больше, а то опять пойдешь пьянствовать. Стыдно! опохмёлился и будеть...

Ясно разбирая этотъ шопотъ, я отвътилъ кумъ:

- Нътъ, Аннушка, больше я не хочу. Спрячь полуштофъ поскоръе, чтобы и духу его не было здъсь... За дъло мнъ бы давно пора, да вотъ кургужу все, потому справиться трудно. Спрячь!
- Ну, ну, засмѣялась кума, спрячу. Знаштъ: не введи насъ во искушеніе.

Сняла Аннушка полуштофъ со стола и вышла кудато. Я остался одинъ и задумался. Ежели бы кто посторонній, не давая миѣ примѣтить себя, посмотрѣлъ на меня въ это время, онъ счелъ бы меня за сумасшедшаго, потому что посторонній увидалъ бы въ это время человѣка, который, то судорожно царапалъ свою грудь, то отчаянно схватывался за лобъ, то наконецъ безсмысленно и широко выпучивалъ глаза на желтыя стѣны убогой комнаты и порывисто шепталъ:

— Нътъ! Не буду! Не хочу! Сгибнешь эдакъ, — оболъешь... Я не хочу умирать, не хочу...

Пристально всматривался я въ бъдныя стъны, думая про себя:

- Какъ можно дольше буду смотръть на одинъ федметъ, авось, можетъ, и забудусь... Авось, можетъ и пройдеть... Говорять, отъ этого проходить. Дай-ка я попробую сосредоточиться...

Я уперъ глаза мои въ стъну, увъщанную картинками и противоположную той стънъ, къ которой былъ прислоненъ стеклянный шкафчикъ съ спрятанной Аннушкой водкой и, по прошествіи четверти часа, когда каждая гравюра была мнъ знакома, какъ свои пять пальцевь, я громко захохоталъ. Разноцвътный Барклай-де-Толм указывалъ мнъ громадной, красивой саблей на завътный шкафчикъ, — какой-то нъмецкій воинъ, въ шлем и мантіи, поддерживая одной рукой упавшую къ пем дъвушку, другой торжественно рекомендовалъ мнъ тоть же шкафчикъ...

Комната наполнилась явственно-разбираемыми голошми вставленныхъ въ рамки людей, которыя говориммиъ:

— Пей, ступай! Въдь хочешь, въдь тянетъ тебяну и пей. Что сдерживаешься-то? Есть изъ чего?!.. Ма вотъ тоже сдерживались, да въдь умерли же...

Я не поддаюсь, ни указательнымъ жестамъ картив ни ихъ аргументамъ и продолжаю смъяться; а межд тъмъ что-то, до тошноты сосущее, подкатилось вы подъ ложечку и мучительно рветъ мои внутренноста что зубы невольно скрипятъ, а губы злобно при клипаютъ кого-то...

Вспомнивши, что эти боли часто унимались во метогда, когда прямо въ глаза мои била шумная живичеловъческая, я бросился къ окну, распахнулъ его тутъ, въ полномъ смыслъ тихое утро, отрекомендова

мнѣ тихую, безлюдную улицу. Словно насмѣшливыя улыбки, искрясь и играя, летали по улицѣ косые, разволоченные столбы утренняго солнца. Отраженные расвахомъ окна, отворявшагося на улицу, они быстро улетѣли отъ дома на середину дороги и оттуда, рѣзвясь и улыбаясь, какъ дѣтл, заговорили мнѣ:

- Что же ты? Въ такое то время не выпить? Лътнимъ, прекраснымъ утромъ не выпить, себъ на здоровье, Господу-Богу на славу?... Ну, не чудакъ ли ты, послъ этого?... Да много ли у тебя въ году счастливыхъ дней-то бываетъ?
- Много ли, мало ли, а стерплю пить не буду! молчаливо думаю я въ душѣ моей.
- Да п-пей ид-долъ! съ громкимъ пріятельскимъ сивхомъ обсыпали меня солнечные лучи, снова налетая на окно, у котораго я сидълъ.

П-пей, штоли! И тутъ почудилось мив, что утро шутливо улыбнулось, и даже, какъ будто, ударило по плечу дружеской, угрожающей рукой — и я робкими, нервшительными шагами и съ замираніемъ сердца отпавился, какъ бы на какое воровство, къ стеклянному шкафчику...

— А-аххъ, стыдъ какой! въ шутку, но визгливо вырикнула Аннушка, вошедшая въ то самое время, кога я украдкой, стараясь кашлемъ заглушить неизобъныя бульканія, влилъ водку въ стаканъ. А—ахъ, стыдь! Я такъ и знала, что сначала откажется, а по-

- Въдь вотъ и соображенія есть! бросилась мит въ

голову подлая дума. — Вотъ оно: откуда что берется—
и умъ, и шутливое слово явилось, когда гадость какую
нибудь въ другомъ замътить приходится. А поговори съ
ней на счетъ чего нибудь другого, что во сто разъ примътнъе, такъ она вылупитъ сърые глаза, усмирится
какъ-то по особенному, такъ что и образъ человъческій
совсъмъ потеряетъ и, махаючи головой и руками, тихимъ такимъ и испуганнымъ голосомъ затянетъ:

— Не соображу, не соображу! Оченно что-то непораходящее разговариваешь...

Подумалъ я такъ-то и съ злостью принялся смотры на куму; а она стоитъ предо мной, шутливая, добрам веселая, и повторяетъ:

- Знала, знала, что безъ меня пить будеть. Мируму привыкши... Онъ тоже всегда эдакъ-то. Забожится, забожится: не буду, моль, сейчасъ издохнуть... По началу-то върила...
- Привыкши... Върила по началу... Ни къ чел ты, какъ слъдуетъ, не привыкла, ни во что ты срод не върила, потому не умъешь ты ни привыкать, по върить, —по собачьему злилось на куму мое возбужденое вторымъ стаканомъ сердце.
 - Што ты на меня глаза то пучишь? продолжа Аннушка, разшучивать свои шутки Выпей-ка смать придетъ, еще принесетъ. Въ кои-то въки дожа лись мы тебя. Вонъ сына-то крестнаго безъ тебя одинъ разъ женить собирались.

Такова странность человъческой природы вообще въ особенности тогда, когда человъкъ разбавить свѣжесть полуштфомъ очищеннаго. Слова эти, сказанныя веселымъ, добрымъ тономъ, показались мнѣ самыми отвратительными гадинами, которыя, уродливо кривляясь и смѣясь надо мной, толпой впалзывали ко мнѣ въ уши, холодныя такія, скользкія, мокрыя...

Забравшись ко мнѣ въ голову, гады эти свились въ ней въ одинъ плотный, безобразный клубокъ, который быстро завертѣлся, зашуршалъ, на подобіе того, какъ шуршатъ крылья тысячной птичьей стаи, спугнутой съ сидѣнья.— и въ слѣдъ затѣмъ изъ клуба начали вы дѣляться какія-то немыслимыя морды, съ громкимъ, весь мозгъ мой потрясавшимъ смѣхомъ, передразнивавшія куму:

— Выпей-ка еще. Въ кои-то въки мы тебя дождались. Самъ придетъ, еще принесетъ. Вонъ сына-то крестнаго безъ тебя ужъ женить собирались...

Каждое изъ этихъ словъ уродцы сопровождали тъмъ, что съ необыкновенною быстротою вытаскивали какъ бы изъ моего сердца какія-то яркія картины, съ нешовърною ясностью представлявшія мнѣ, какъ въ нѣ-которыхъ, удушающихъ своей безвоздушностью, пространствахъ московской жизни, растолковываютъ отъ шенего дълать объ отсутствующемъ кумъ.

Московскую осеннюю ночь, угрюмо-заглядывающую въ убогую комнату, чуть-чуть только развеселяетъ трехмовечная сальная свъча, стоящая на инвалидъ-столъ.
Въ цълой комнатъ только и видно кончикъ самой свъчпа, да чашку съ бълыми ломтями ръдьки, наръзанным къ ужину. Остальной фонъ до того бездонно-черенъ,

что затушевалъ собою все, такъ что ръшительно ничего не видать.

И вотъ изъ этой бездонной черноты раздаются го-Acca: on pradatorono hourser morn order your to sea

- А-ах-ххъ! зъваетъ кто-то въ ожиданіи сладкаго сна и спрашиваетъ: скоро, штоль, ужинать то?
- Погоди, дай вздохнуть-то! Авось не умрешь. Весь день возилась. То къ тому, то къ другому. Фарталь ный говорить: ты мит евойную собаку подари, тогда мы его, какъ Сидорову козу, обдеремъ.
 - Што же ты, отдала? съ прежнимъ благодушнымъ зъвкомъ освъдомился кто-то. привидутон что в выселения
 - Извъстно, отдала. Гдъ мнъ съ ней возиться?
 - То-то, я давича пришолъ темь такая, зги невидно, я и свистнулъ: Джальма, молъ! Думаю такъ то: гдъ, молъ, она? А ты, какъ въ случав чего, ежл на счотъ суда, такъ божись пострашнъе: знать, моль, не знаю. Ни денегъ, ни собаки на прокормъ, мы моль, отъ кума не получали. у-чун еще! принцинатираци окстания бридани

 - То-то! Я вонъ, какъ книжки его, да платышы продаваль, такъ онъ это-старьевщикъ-то - говорить обвяжись, моль, подпиской, что не украль. А я ем на что, моль, намъ съ тобой, милый человъкъ, 10 писки-то: рази мы грамотные? Намъ, молъ, съ тоб по душт это дъло лучше удълать. Старьевщикъ смъялся этому и повелъ меня въ трактиръ чай инты... andres summer of the and to there

Въ этомъ мъстъ разговора чьи-то громадные, червы

пальцы спустились съ потолка въ чашку съ рѣдькой и за тѣмъ въ комнатѣ осталась только одна, плачевно помаргивавшая свѣчка, потому что рѣдька въ непродолжительномъ времени со стола, вмѣстѣ съ чашкой, исчезла...

— Теперь смотри! воть тебѣ другая картинка:—
шутять бѣсы, посаженные въ мою голову Аннушкиными словами. Мы эту картину назовемъ — «Возвращенный на родину скиталецъ». Сцена таже, только она
нѣсколько свѣтлѣе, потому что на столѣ-инвалидѣ
горить не одна свѣчка, а двѣ. Видны хозяинъ и
хозяйка, украдкой отъ гостя подмаргивающіе другъ
другу съ такимъ видомъ, что, дескать: смотри, держись
крѣпше...

Идутъ, очевидно, пріятные разговоры, столь необходимые при всякомъ дружескомъ свиданіи, наконецъ возвратившійся кумъ вынимаетъ изъ облѣзлагъ, кожаннаго кошелька желтую бумажку и проситъ кума-хозяина сходить—пріобрюсти посредствомъ купли водчеца для ради радости, на что сей послѣдній цѣломудренно улыбается и говоритъ:

— Ахъ, кумъ! Ужь и шутники же вы только. Право бы не нужно *этого*. Ей Богу, кажется, напра-а-сна!

Пріятные разговоры продолжаются. Рюмки, даже на картинь, звенять такъ радостно, и полштофъ, насквозь прохваченный перекрестными огнями двухъ свъчекъ, ласково улыбается тремъ собесъдникамъ всъми своими гранеными сторонами; кумъ-гость примътно сломоск. ног, и трущ.

жилъ губы для свиста, а физіономіи хозяевъ приняли болъе подмаргивающее выраженіе.

- Гдъ же моя собака? спращиваетъ гость.
- Какая такая собака? съ испугомъ и недоумъніемъ отвъчають другимъ вопросомъ мужъ съ женой.
- А на сбереженье какую я вамъ далъ. Книги, вещи...
- Н-нъ-ътъ, кумъ! съ ласковыми улыбками говоритъ чета: это вы, надо полагать, гдъ нибудь въ другомъ мъстъ изволили оставить, потому вы тогдане взыщите ахъ, какъ зашибали?.. Такъ-то-ли зашибали, ей-Богу-съ!..

Тутъ чертенята, засъвшіе въ моей головъ, принялись даже въ какой-то экстатической радости взвывать и плясать, потому что, все это время они показывали мнъ такія картины, отъ которыхъ я совсъмъ ополоумъть, ибо картины эти, головою ручаюсь, не толью въ Москвъ никогда не были никъмъ примъчены, но, пожалуй, и въ иныхъ мъстахъ отъ нихъ людскіе носм чудесно отвертываются.

- Разъ, д-два! фокусничали чертенята, нестерши стуча въ головъ костяными копытами. Изво-о-лыба га-ас-сппа-адда, пасматръть, какъ эфета, значитъ, Тутъ они, словно какъ винты въ панорамъ, такъ в стерпимо-мучительно щолкали въ моей головъ чъмът металлическимъ и тяжелымъ, что сознание ръшительно покидало меня и я только могъ бормотать:
- Нну, нну-у! Показывайте. М-мнъ-ъ нич-чево. В виддалъ...

- И покажемъ! и покажемъ! визжалъ клубокъ разнообразнъйшихъ мордъ и вслъдъ затъмъ я почувствовалъ, что всего меня завалили какіе-то суздальскіе эстампы, которыхъ я такъ много видалъ на ярмаркахъ
 въ уъздномъ городъ, родившемъ меня. Тяжело и душно мнъ подъ грудой эстамповъ, я чувствую, что задыхаюсь, чувствую, что кончена жизнь моя, и принимаюсь истерически рыдать объ этой напрасно и безплодно погибшей жизни, а чертенята все подваливаютъ ко
 мнъ новые виды, разрисованные еще болъе пестрыми
 красками.
- Вотъ тебѣ, рекомендуютъ они мнѣ тономъ уѣздныхъ панорамщиковъ, Расланѣй-богатырь... Подемъ ѣдетъ, усы гладитъ, селомъ ѣдетъ, дѣвокъ бабитъ...
- Тьфу! азартно отплевываюсь я отъ Раслания-богатыря.
- А вотъ тебъ баталья, кума Оомы съ теткой Натальей.
 - Тьфу!
- Русской французу задаль по пузу. А-аххъ! Наши безь головъ стоятъ, да табаччо-оккъ понюхиваютъ.
 - Не врри!
- А вотъ тебъ, другъ любезный, послъдняя: Васьна Кузьку въ зубы губы хопъ, хопъ, хопъ!
- Еррунда! заключаю я, послъ чего пересталь уже рышительно что либо видъть. Въ ушахъ только раздавался какой-то странный шумъ, перемежавшійся щелканьемъ, подобнымъ тому, какъ иной разъ звенитъ на

лошадиной ногъ плохо прикръпленная подкова. Издали откуда-то неразборчиво доносились до меня какіе-то, совершенно незнакомые голоса. Одинъ изъ нихъ съ плачемъ начиналъ: депути едини в вире и дукировут

— Да скажите, ради Бога въдь продали? Ну, нужда вамъ случилась, вы и продали. Скажите? Два голоса отрицали эти слова:

- Станемъ мы такъ-то пыступать, куманекъ! У насъ и то на душахъ-то, можетъ, вона сколько гръховъ-то! Да, право, ей-Богу! Насъ здъсь, слава Богу, всв знають...
- Нътъ, вы вотъ что: вы, пожалуста, не думайте, чтобы я на васъ сталъ жаловаться, или бы сердиться... Не буду; вы только не лгите.
 - Знать не знаю, въдать не въдаю.
 - Напраслина-съ!
 - Ежели вы откровенно скажете, что, моль, продали — гръхъ да бъда на комъ не живетъ — я вамъ все отдамъ. Вамъ больше нужно чёмъ мнв, — у вась семейство. Скажите?

Въ мои уши полился какой-то тревожный, суетли вый шопотъ. Одинъ голосъ говоритъ:

- Скажу. Што его мучить.
- Тсъ! Я тебъ скажу! У меня своихъ не узнаешь
- Право, скажу. Когда онъ насъ обманываль?..
- Гляди, гляди имъ въ зубы-то. Не обманываль такъ теперь обманетъ. Какъ ты ему обо всемъ энтом дълъ объяснишь, сичасъ онъ въ книжку свою зап

шетъ и засвидътельствуетъ, вотъ ты тогда въ волю насвищещься.

- Передъ къмъ онъ здъсь засвидътельствуетъ? Въдь мы одни.
- Разговаривай. Они грамотные-то какъ дьяволы хитры. Ко всему придерутся...

Между тъмъ, голосъ, умолявшій о правдъ, перешелъ въ отчаянно-буйные тоны и гремълъ...

- Убью я васъ, гады! Всъхъ перекалечу. Самаго простаго слова не дождещься отъ васъ. Экъ ихъ, скотовъ, перекоробило какъ!.. Какого вы дьявола хитрите? Развъ я вамъ триста тысячъ разъ не показалъ, что я васъ насквозь вижу. Ужь добьюсь же я, что вы мнъ скажете правду. Ужь осилю же я васъ. Убью, а осилю, въ Сибирь пойду, а осилю...
- Напрасно такъ-то изволите говорить, слышалось мнв. Ей-Богу напрасно, потому объ насъ такъ никто не понимаетъ...
- Дуб-бина! продолжаль буйствовать басъ, что ты зубы-то мнѣ чешешь. Отъ тебя только одного слова п добиваются, чтобы ты правду сказаль. Ну, молъ, украль. И причину тебѣ въ зубы прямо кладутъ, совсѣмъ пережованную. А укралъ, молъ, оттого, что работать ничего, какъ слѣдуетъ, не умѣю; а ежели бы п умѣлъ, такъ въ хорошей-то работѣ, въ настоящей, насъ никто не нуждается.
- Ахъ, кумъ! Вы этого не извольте говорить, потому работа тоже на сорты... Теперича: первый сорть, второй сорть, третій... Какъ-же-съ? -

- Да будеть! Перестань бобы разводить. Признавайся: украль? продаль?.. Одно скажи, прошу тебя.
- Точно что, кумъ, времена нынъ какъ оченно чижелы... конфузливо заговорила было хозяйка, но мужъ усиленно закивалъ и заморгалъ на нее и такъ страшно прошипълъ: тс-с-съ! что она понурила голову и смолкла.
- Однако, что же это такое? говорю я, стараясь образумиться и поднять, словно свинцомъ налитую голову. Надобно же мит однако узнать: пьянъ я, им боленъ, сплю-ли, или въявь вижу еще невиданную гадость? Съ этими словами я встаю на ноги и протираю глаза, вслъдствіе чего оказывается, что во все столъ и бурлилъ мертвецки-пьяный; а предо мной, испуганные до мертвенной блъдности, сидъли Матвъй Петровъ съ женой. Кромъ того, на колъняхъ у Аннушки возлежалъ мой крестникъ Ванюшка.
 - Ку-умъ! заоралъ мальчишка. Я теперь тебъ побъгу извощика нанимать. Ты меня прокати. Я ужь давно не катался на извощикахъ.

Вяло, и самъ не зная зачёмъ, словно бы въ глубо комъ просоньи, я отвётилъ ему на его воззвание:

- Ужь повзжай одинъ, Ваня! А мив върно те перь ни на какомъ извощикъ далеко не разскакаться...
- Это они къ чему? тихимъ шопотомъ освъдомлась у Аннушки нъкоторая личность женскаго полотрепанная и съ волосистой бородавкой на нижней губъ.

- Оченно они учены! также тихо отвътила Аннушка. Они всегда такъ-то, ежели выпимши. Ръдкое понимаемъ, а ужь который годъ въ знакомствъ находимся...
- Тс-съ! прошипълъ на бабъ Матвъй, и вооружившись стаканомъ, медленными шагами и, по своему обыкновенію, стыдливо улыбаясь, подходилъ ко мнъ изъ дальняго угла и говорилъ:
- Ну-ка, куманекъ, отрезвитесь. Прикушайте; а мы, признаться, оченно въ большомъ безпокойствѣ, потому бредить изволили. Третьягоднишнее вспоминали. И такъ-то насъ пудрили, такъ-то пудрили... Хи, хи, хи! Тутъ опъ. тихонечко засмѣялся, прикрывши ротъ ладонью и затѣмъ съ какимъ-то особенно-глубо-кимъ серьезомъ добавилъ:
- Только я и говорю женѣ: ты, молъ не очень на благодѣтеля-то нашего скорби. А жена мнѣ сказала: что же мнѣ на него скорбѣть? Рази, говоритъ, мало мы отъ нихъ милостевъ видѣли? Кушайте-съ.

Запахъ водки ударилъ меня въ носъ и голова моя въ милліонную долю секунды была поражена двумя нервическими ударами, вслёдствіе которыхъ она сдёлала два механическія движенія: одно изъ этихъ движеній побуждало меня къ неудержимому смѣху надъ собой, добивавшимся въ безчувственномъ образѣ правды отъ Матвѣя Петрова съ женой,—надъ собой, который забываетъ о всякомъ дѣлѣ, лишь только завидитъ доброе, обѣщающее лицо на стулѣ и полштофъ на столѣ; а другое движеніе, словно мощная кисть художника,

сразу начертило предо мной неясный, но могучій образь, который клаль мнѣ на губы свою сильную, но мягкую и теплую руку, и говориль:

— Удержись. Не смъй смъяться ни надъ собой, ни надъ ними. Что тутъ смъшнаго, — разсуди?..

И въ то время, когда я, двадцатипятилътній парень, колыхнулся два раза, почти апоплексически, я успъль разсудить, что туть дъйствительно нъть ничего смъшнаго, что все это такъ и быть должно, и поэтому по всему существу моему разлилась всепрощающая, всякому помогающая любовь, тихая, какъ полночное небо лътомъ, умиряющая, какъ геніальная музыка...

Я всегда любуюсь въ себъ этимъ наплывомъ на меня невыразимаго счастія и не имъю ни мальйшей нужды скрывать, что въ качествъ человъка извъстной сферы и привыкъ встръчать каждое горе стаканомъ водки, а потому и этотъ наплывъ я привътствовалъ тъмъ, что взялъ изъ рукъ Матвъя Петрова стаканъ, выпилъ его и снова поникъ...

Поникъ и опять предо мною замелькали картины, только уже не такія, какія сейчасъ показывали инв бъсы.

Лежа, я думаль про себя:

- Д-да! Стыдно, Иванъ, даже въ пьяномъ видь, издъваться надъ этою жизнью. Иванъ! Поднимись, взгляни, какъ славно свътитъ солнце надъ этими конурками. Пожалуй, еще лучше свътитъ, чъмъ богатымъ городскимъ палатамъ.
 - Какъ они одначе хлибки бываютъ... Сичасъ уж

и скосило его! шепчетъ Аннушкъ женщина съ волосистою бородавкой.

- Бла-о-родны очень! отвъчаетъ Аннушка. Ихъ страсть какъ скоро сваливаетъ. Допрежь однако крупче не въ примъръ быль, ну таперича устарълъ чтоли, Богъ его знаетъ...
- Устарълъ и есть, матка! Вишь бородина-то...

Вслушиваясь въ этотъ шонотъ, я въ то же время страшно желаль, чтобы солнце всегда такъ славно свътило только одному этому бъдному люду, а никакъ не городу. Тутъ же и причина такого желанія явилась: бъдный людъ и такъ во тьмъ ходитъ, думаю я,причина бъдная, извъстная всякому, но она такъ скорбно шевельнула душу, такіе, вследствіе ея появленія, мелькнули въ глазахъ моихъ мученические образы, ходлще во тымь, что я туть же сказаль:

Аннушка! Налей-ка мнъ еще стаканчикъ.

Аннушка, разумъется, налила съ полнымъ счастьемъ и, видя, что лютость моя перешла въ благодушіе, сейчасъ же подсела ко мив съ разговорами.

- А мы, кумъ-давича не успъла сказать-въ несчастьицъ.
 - Въ какомъ?
- Корову купили... de Carronia (Accourt management en communal)
- Ну?
- Не ко двору пришлась. Оно у ей весь хвость вырвалъ...

Опять нервически затряслась моя голова, судорожно задвигались личные мускулы и я съ глубокимъ азартомъ принялся доказывать Аннушкъ, что все это вздоръ, что ихъ совсёмъ нётъ. Она внимательно слушала мон рацеи, пристально всматриваясь въ меня своими широкими, сърыми глазами, а потомъ вдругъ совершенно неожиданно сказала, что называется, бухнула:

- Нътъ ужь, кумъ! Ты нынче очень ужь что-то тово... Право... право... THE A TOP AS A REPORT STORE AS CONSUME.
- —— Да чудной какой-то,—ей-Богу! Все это онъ разговоры какіе-то разговариваетъ... Ежели ты, примъромъ, заложить что удумалъ для выпивки, тамъ это я для тебя и безъ твоихъ подвоховъ живо бы скомандовала... А то толкуешь, что ихо нътъ. Куда же онг раздъвались?
- Да и не было никогда, кричу я, стараясь хоть голосиной осилить въковую въру въ него.
- Какъ не было? какъ и я повысила голосъ синренная до сихъ поръ бабочка. — Да я сама его своим глазами видъла. Хвостатый такой, зубами щелкаеть. Попробовала за шерсть сцарапать — склизкій, вывернулся. Опять же вонь отъ него...
- Ну, будетъ! Припоминаю, что крикливо и злобно прервалъ я Аннушкину рисовку его портрета... Наливай-ка лучше...

Присмиръла Аннушка послъ моего окрика, потому что я дарилъ ей кое-когда по полтиннику, и опять же сюртукъ на мив былъ, хоть и на пьяницв, а все же нъмецкій, дворянскій, изъ тонкаго сукна. Было ем непремънно лътъ полтораста. Говорю объ его льтах потому единственно, что чортъ его знаетъ, чѣмъ это лохмотье, перебывавшее на столькихъ плечахъ, могло еще внушать людямъ страхъ и почетъ къ себъ?...

Долго мы сидѣли съ кумой такимъ образомъ, печальные, недовольные. Разговоръ не клеился. Передо мной почему-то, неотгоняемо шли сцены изъ Донъ-Кихота. Санхо-Панча дѣлалъ такія гадости, такія скверныя гадости и самъ же до того глупо смѣялся имъ тѣмъ тусклымъ смѣхомъ, которымъ смѣются наши деревенскіе блаженные, что и мнѣ стало невыразимо смѣшно, вслѣдствіе чего я принялся отмахивать отъ моего лица, какъ отмахиваются отъ мухъ, приключенія знаменитаго рыцаря и его оруженосца...

- Отойди, отойди! шепталъ я, махая рукою около своего носа. Мнъ ужь это такъ приглядълось, глаза выъло... У насъ нынъ всъ такъ... Отойди!...
- Не извольте сумлѣваться! уговаривалъ меня сильно подвыпившій Матвѣй Петровъ. Куда же теперича мнѣ уходить? Точно, что вы говорите, что быдто я Джельму... т. е. эту самую собаку, говорите вы, что быдто. т. е. мы продали... Только я отъ васъ не отойду, потому вы мой воспріемникъ ребятишекъ у меня примали. Они вѣдь, ребятишки-то, мнѣ свои. Они, кумъ, малолѣтнія дѣтищя-то, наше нутро ей-Богу!

Говоря это, Матвъй Петровъ о чемъ-то горько илакалъ и цъловалъ жену, увъряя меня и ее, что они самыя что ни-на-есть горемычныя сироты и что имъ нужно жить какъ можно дружнъе и согласнъе.

Въ припадкъ нъжности, онъ склонился на мое плечо

и принялся плаксивымъ и протяжнымъ тономъ умолять меня помочь ему въ чемъ-то, защитить отъ кого-то, на томъ основаніи, что я будто бы баринъ, а онъ круглый сирота и мъщанинъ.

— Ежели вы отъ насъ откачнетесь, — взывалъ Матвъй Петровъ, — я съ малыми дѣтьми, какъ пылинга, погибнуть долженъ. Вотъ какъ: ффу! — и нѣтъ ничето, — ей-Богу-съ! При этомъ онъ энергично дунулъ на свои пальцы и безпомощно опустилъ руки на колѣни, показывая тѣмъ, что уже ничего болѣе не осталось ему дѣлать, какъ только пить и погибать.

Настала тяжелая пауза, прерываемая порывистыми покачиваніями головы Матвъя Петрова, чъмъ онъ хотълъ изобразить свое сокрушительное горе, да его же плачемъ, похожимъ на фырканье молодаго жеребенка.

- А-ахъ, кумъ, кумъ! Что мнъ дълать? Теперича хошъ на счотъ Ванюшки скажу: мальчишка эдакой! Кормильцемъ для меня, при старости ежели при моей, онъ безпремънно будетъ, потому, видишь, какія его лъта! А ужь его куда хочешь пошли, хоть въ кабакъ, хоть въ лавку. Изъ лавки придетъ, говоритъ: я, говоритъ, тятенька, вотъ рыбину эту съ прилавка домогринесъ, они не видали... Золото мальчонка! За годъвки у меня, хоть бы ихъ на пустомъ полъ не было!
 - Рожа! перебила въ это время Аннушка мужно ръчь. Что ты ихъ клянешь-то всегда? Ахъ! Нътъ в тебя управы. Слъдовало бы тебя за такія твои слов разутъшить, да вотъ жаль, силы-то нътъ у меня.

— Вы на нее не смотрите, кумъ! Я вотъ, аднав

дыхнуть, рукъ только не хочу объ нее марать..., А дъвчонки у меня, чтожъ? шила въ мъшкъ не утаишь, рябыя, какъ ръшето. Я бью ее за это — мать-то — б-бью, и ихъ бью, потому куда я ихъ съ такой крастой устрою?...

- Умъ, думаешь, въ тебъ есть, что ребятъ неповинныхъ колотишь? вставила Аннушка свое слово.
- Мол-чии! все болѣе и болѣе лютовалъ Матвѣй Петровъ. Знаешь ты меня, али нѣтъ?
 - Какъ не знать! Не первый годъ.
- Такъ, такъ-то, куманекъ! Куды мнѣ ихъ дѣвать уродовъ-то? Вотъ сестра у меня, та счастлива! Нынѣшнимъ мы ее, суддырь ты мой, лѣ-ѣтомъ...

Туть я быстро подняль со стола голову и широко раскрыль глаза, потому что въ это время въ глаза мои блеснуль подвальный цвѣтокъ, стройный, высокій, стыдливый, съ свѣжимъ ангельскимъ личикомъ, съ длинными, бѣлыми волосами. Я вспомнилъ про сестру Матвѣя Петрова, Настасью-картонщицу, про которую было забылъ и спросилъ:

— Ахъ, Матвъй Петровичъ! Гдъ же Настя-то у васъ!

Матвъй Петровъ отвъчалъ мнъ на этотъ вопросъ радостными, плутовскими подмаргиваньями и подкивываньями то мнъ, то Апнушкъ.

— Фю, фю! знаменательно просвисталь онъ. Нътъ ужь теперь Насти. Теперь есть у насъ Настасья Петровна— госпожа! Ха, ха, ха! Салопище у ней, куманекъ, вотъ какой! Ежели продать, такъ домъ нашему брату, бъдному человъку, можно купить. Хо, хо, хо - о!

- Какъ же это?
- А такъ! баринъ тутъ одинъ... Почти что енералъ... Н-ну-съ! баринъ пожилой... Говоритъ: такъ и такъ! Я, говоритъ, тебя обезпечу. Тутъ же четыреста на серебро въ ланбардъ... Намъ опять съ матерью по сту, потому, говоритъ, эфто съ обчаго согласія... Такъто!... Въдь онъ это, кумъ, справедливо сказалъ, что говоритъ, съ обчаго согласія?...
 - Справедливо! согласился я—и въ какомъ-то бользненномъ отупъніи и громыхнулъ стаканище.
 - Селедочки! предложила мит Аннушка закуску съ какою-то особенною граціей, которую, очевидно, вызваль изъ нея разсказъ мужа о госпожт сестръ.

Въ моемъ отупъніи я безсознательно плюнуль въ тарелку, которую держала предо мной кума, и затъпъ больше уже ничего не помню.

Смутно только представляется миж, что меня какъ будто выталкивали откуда-то, какой-то пожилой баринъ выбранилъ меня, я съ хохотомъ ударилъ его по гладко-выбритой мордж, на что миж въ свою очередь отвътила плюхой какая-то прелестная, бълокурая дъвушка, стройная, разфранчонная въ пухъ и прахъ, насквозь продушенная дорогими французскими благовоніями, откоторыхъ такъ и трещала, такъ и разламывалась молголова. Насколько помню, уже по голосу я опредълиль, что дъвушка эта была Настя, потому что, плюнувши

на меня въ отмѣстку за плюху, которую я сотворилъ ея любовнику, она азартно проговорила:

- Какую ты такую имѣешь праву? Езуитъ ты роду христіанскаго! Что я съ тобой, въ грѣхѣ что-ли была? Гладко-выбритый человѣкъ сказалъ:
- Тс-съ! Развъ можно со всякой пьяницей говорить? Вытолкай его Матвъй Петровъ... Да кто онъ такой? разспрашивалъ выбритый баринъ, когда я, качаясь, проходилъ мимо подвальныхъ окошекъ.
- Езуитъ онъ завсегда былъ. Онъ изстари, голь эдакая, со мной езуитничалъ. И ничего у него не поймешь никогда, горячо принялась было разъяснять меня Настя, но Аннушка живо перебила золовку и, какъ старая моя знакомая, охарактеризовала меня такими словами:
- Э Они бла-а-родные! В завленые поли станительного полительного п
- Какой чортъ, благородный! возразилъ недовольный басъ. Что же онъ служитъ, что ли?
- Нѣтъ! Принимать никуда не велѣно, потому они съ Моховой, какъ тамъ его называютъ, энту... училишшу-то?...
- Университетъ.
- Такъ, такъ! Они изъ ней поключенные...
 - За что же это?
 - А за... какъ энто? Собрались они энта...
- Т-ссъ! Страху нътъ на тебя, дурища! закончилъ Матвъй Петровъ. И я видълъ въ окно, какъ онъ съ стаканомъ водки на подносъ подошелъ къ гладко-выбритому барину и съ глубокимъ поклономъ сказалъ ему:

— Не угодно ли, ваше в-діе, огорчиться насчоть водочки?...

Быль чась дня, когда я шель по самымь бойкимь московскимь улицамь. Солнце страшно раскалило мостовую и каменныя стёны домовь, такъ что мнё все это казалось какимъ-то пылающимъ адомъ, изъ котораго мнё ни за что не вырваться и который сейчасъ пожреть меня своей огненной пастью.

Я шель, убитый до крайняго безсилія и тупости, и думаль:

- думаль.
 Господи! куда же я пойду?... Гдъ и съ какими людями я жить смогу?
- Па-а-дди пр-роччь! ревнулъ на меня съ высоты козелъ блестящей кареты чудовище-кучеръ, толстый, откормленный и съ бородой, превосходящею всякое описаніе. Па-а-дди, ддьяв-ва-алъ!

Мое отчаяніе живо замѣнилось во мнѣ въ это время новымъ наплывомъ неудержимаго смѣха; но я не засмѣялся, а тяжело вздохнувши и закрывши глаза, бросился на самую дорогу, по которой скакала карета.

Раздалось проклятіе и храпъ поднятыхъ на дыби рысаковъ, а потомъ будочникъ, поднявшій меня, съ рукой у козырька, спрашивалъ у каретнаго окна:

- Въ часть прикажете?

— Въ часть! былъ лаконическій отвътъ. — Экіе скоты! Какъ рано наръзался — и въ какую жару! послышалось затъмъ, и карета помчалась.

- Экъ ты налупился, любезный! нето укоризненно, нето въ шутку сказалъ мнъ будочникъ.
 - -- Не знаю, -- отвъчалъ я ему.
 - Чего не знаешь?
 - А жить гдв?... Какъ и съ къмъ?
- Тамъ пристроютъ... Пыдемъ... Тамъ вашего брата вдоволь...

Такъ вотъ вамъ покамъстъ, на первый разъ пьяное описаніе того, какого ерупдистаго горемыку изображаю самъ я, живописатель московскихъ правовъ, Иванъ Петровъ, сынъ Сизой,—и затъмъ пойдемъ, съ Господомъ, дальше по нашей горькой дорогъ.

The state of the s

The state of the s

A Company of the Comp

Hard Car Conservation of the Assessment

Market State of the state of th

погившее, но милое созданье.

I.

Америка имъетъ дъвственные лъса, дъвственную почву, а Москва имъетъ дънственныя улицы. Говорю о такихъ лъсахъ и такихъ улицахъ, гдъ ни разу не бывала нога человъка. Я, по настоящему, долженъ былъ бы показать, каковы именно эти лъса, для того собтевенно, чтобы читатель зналъ, какъ именно думать ему о дъвственности московскихъ улицъ; но во первыхъ прекомендую ему романы Купера, а во вторыхъ мой собственный разсказъ, и результать этой рекомендаціи будетъ таковъ, что изъ романовъ Купера онъ почерпнетъ настоящее понятіе о дъвственности американскихъ въсовъ, а изъ моего разсказа—о дъвственности нъкоторыхъ московскихъ улицъ.

Во время моего перваго знакомства съ Москвой меня всего болъе поразило слъдующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улицъ и видишь, что на каждомъ пунктъ ея кипитъ та дъятельная, столичная жизнь, которая, какъ извъстно, всякому мало-мальски

порядочному фланеру-паблюдателю, заставляеть любопытныхъ провинціаловь останавливаться чуть-ли не па
каждомъ шагу и смотрѣть на ея суету съ неприличнымъ
даже раскрытіемъ рта. Такъ вотъ говорю: идешь по такой улицѣ и постоянно тебѣ мечутся въ больные глаза
эти чудаки, до глупости заинтересованные разъигрывающеюся на ней ярмаркой столичнаго тщеславія, до болѣзни глушитъ тебѣ уши грохотъ экипажей, и такъ
это всего тебя распалитъ и разозлитъ эта людская молвь
и конскій топъ, что, натурально, озлобляешься противъ
этого ничѣмъ не смущаемаго зѣваки.

«Эдакой балбесъ! Чего онъ тутъ зѣваетъ?» съ какой-то злобой думаешь про любопытнаго. «Такъ спокойно загородилъ тротуаръ, какъ будто онъ устроилъ его исключительно для своего удовольствія.»

Но не въ этомъ дѣло. Главная сила вотъ въ чемъ: оглушенные страшнымъ шумомъ одной изъ главныхъ улицъ столицы, вы вдругъ совершенно неожиданно, какъ бы по волѣ могучаго чародѣя, переноситесь изъ этого мѣста будто за тридевять земель. Такъ велика бываетъ разница въ жизни московскихъ мѣстностей, находящихся въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ, что перешагнувши иной разъ изъ одной улицы въ другую, вы только возможностью волшебства объясняете себѣ эту странную перемѣну домовъ, людей и даже самаго климата.

Разозленные грохотомъ экипажей, навязчивостью разнощиковъ, неотразимыми претензіями на вашу щедрую милостыню тьмы темныхъ личностей, извощиками, которые какъ будто съ намвреніемъ злять ваше плебейство титуломъ сіятельства, наконецъ полнымъ счастьемъ восторгающагося всвми этими прелестями провинціяла, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налѣво, и декорація въ мгновеніе ока окончательно измѣняется.

Передъ вами уже не тъ изумительно-грандіозные четырехъэтажные дома въ половину квартала, невольно заставляющие васъ при взглядь на нихъ раздуматься, обыкновенными-ли человъческими силами строили ихъ владельцы, или они прибегали въ этомъ случае къ какимъ нибудь волхвованіямъ? Такихъ палатъ, говорю, нать и въ помина. Передъ вами робко вытянулся рядъ скромныхъ домиковъ, съ этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавъсками, дающими вамъ неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бідное, но благородное семейство, -съ заборами утыканными гвоздями и увънчанными наслъдственными деревьями, съ туго-припертыми воротами, съ голодной и сльной собакой, равнодушной ко всему окружающему и глубокомысленно молчаливой. Рядъ этихъ патріархальныхъ пріютовъ обыкновенно начинается мелочной лавкой, а оканчивается будкою. У лавки стоить краснощекій хозяинъ въ засаленномъ, какъ чумацкая рубаха, фартукъ, всегда безъ картуза, съ руками, знаменательно заложенными за спину. На губахъ его сіяетъ улыбка. Изъ окна противоположнаго лавкъ, его высокоблагородіе Романъ Ефимычъ, отставной майоръ и кавалеръ изъ палочной академіи, въжливенько, какъ бы и своего брата майора или титуляра, приглашаеть лавочника на чашку

чая. На крыльцѣ будки сидитъ неразгаданный будочникъ; — я потому употребляю этотъ эпитетъ, что обыкновенно рѣшительно невозможно отгадать, дремлетъли будочникъ, утомленный долгимъ бодретвованіемъ, или онь также безцвѣтно, какъ безцѣльно бодретвуетъ, смотритъ на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такой будкой!

Въ подобныхъ улицахъ только и есть эти два пункта, откуда еще проглядываетъ жизнь. Остальныя точки ихъ ръшительно необитаемы и безжизненны, слъдовательно, дъвственны. Дальше слышно и видно только какъ наслъдственныя деревья, осъняющія гвоздистые забо, ы, дремотно качаютъ верхушками и тихо шуршать листьями. Мертвая, ничъмъ не прерываемая тишина и молчаніе, самое усыпляющее, завершаютъ картипу...

Почва этихъ рѣдкому извѣстныхъ странъ должна быть очень плодородна, потому что вся она весьма тщательно удобрена всѣми принадлежностями негодными въ хозяйствѣ: старыми, до тла изношенными подошвами, золой и разнаго рода весьма легко поддающимися гніенію остатками отъ нѣкогда по всѣмъ вѣроятіямъ пышныхъ одеждъ. Распаханная и разрыхленная неизвѣстно когда и неизвѣстно зачѣмъ проѣхавшими тутъ колесами, почва представляетъ всѣ возможности прозябать на ней разной т, авкѣ, достаточно высокой для того даже, чтобы въ ней развились и прятались разношерстные котята.

Прівхавши въ столицу изъ глубины степей, болье или менье откормленнымъ парнемъ, я нъкоторое время быль объять глубокой тоской по родинв. Эта тоска усиливалась до тяжкой болёзни, когда, бывало, городской шумъ прерываль золотую цёпь моихъ представленій о тишинё степей нашихъ, о ихъ могущественной красоте, о ихъ, наконецъ, своеобразной, непримётной для посторонняго глаза жизни, которая въ неисчислимое количество разъ казалось мнъ тогда и дёятельнёе и разумнёе жизни, такъ возмущавшей своимъ громомъ мою степную натуру противъ столичной дёятельности.

И вотъ, когда я въ первый разъ, случайно, попалъ въ одну изъ дъвственныхъ улицъ, когда я увидълъ за заборомъ одного домика развъсистую яблоню, а на улицъ невыполотую траву, въ которой играли котята и чирикали молодые воробым, когда я почуяль въ воздух в нъчто напоминавшее ароматъ степи, я почувствовалъ къ этимъ улицамъ необыкновенную слабость. Въ ихъ успокоивающей тиши очень скоро проходила хандра отъ отношеній и обязанностей, которыя неумолимо принуждаютъ меня выполнять городская жизнь; поэтому воть уже насколько лать брожу я по этимь улицамь, ищу ихъ близь заставъ, въ Замоскворъчьи, ищу въ сердцъ Москвы, - и я даже открылъ такую мъстность, которую сами обыватели не могли назвать мив. Недавно только, когда я изучалъ прилегающія къ ней улицы, со мной встрьтился необыкновенно дряхлый старець, который сказаль мић, что мъсто это называется Камеръ-коллежскимъ валомъ, что это очень хорошее мъсто, потому что живутъ они себъ здъсь тихо да смирно, ровно у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился съ этимъ старикомъ. Мой новый знакомый, когда я проникнулъ къ нему въ гости, представилъ меня другу своему зашивальщику, тоже старику, живущему съ нимъ на одной кровати, и потомъ уже на именинахъ у старика зашивальщика я самымъ тъснымъ образомъ сблизился съ симъ удивительно искалеченнымъ ветераномъ и съ сосъдомъ будочникомъ. Будочникъ въ свою очередь, обязательно пригласилъ меня къ себъ на имянины.

— Смотрите же, не забудьте, сударь, третьяго числа, говориль онь, прощаясь со мною. — Пророчица Анна и Симеонь Благопріимець: это и есть мой ангель.

Такимъ образомъ третьимъ февраля и начинается мой разсказъ, характеризующій дѣвственность московскихъ улицъ.

-CHICATO ATA SOLUEZ BLIEFOZOGO GGOVO SELOPO TOBAT GOOD

omy arthur eventual from the same search search arthur vac

-nand appres as your introductions of is caused build and an arms of interest and an arms of interest and arms of interests of interest

-Agron home in course has the affiners example and the co

Ochmingagai en tubbounded it en parrental et benen.

A Depoplate standard dags communication communications

der Chryseiner Lands figgeneric errhares. Thus

Cefadeuns (sin ura appen, norrerandeus entroces duode Morrymonif naixra duocybridino himperira de dio

The state of the s

Только моя необыкновенная страсть смотрёть, какъ поживають на бёломъ свётё разные добрые люди, заставила меня ёхать къ Камеръ-коллежскому валу на имянины къ будочнику. Морозъ былъ необыкновенный; трескъ промерзнувшихъ крышъ и заборовъ нарушалъ въ этотъ разъ мертвое молчаніе, обыкновенное въ дёвственныхъ улицахъ.

По примътамъ, сообщеннымъ мит новымъ знакомымъ, я узналъ домъ, въ которомъ квартировало его семейство. Маленькая отощавшая собачка звонко отвътила на скрипъ калитки, произведенный мною; ей откуда-то изъ угла отозвались куры соннымъ, продолжительнымъ воркотаньемъ. Какой-то человъкъ въ мерлушечьемъ халатъ, съ кокардой на фуражкъ, въроятно хозяинъ дома, пользуясь ночной темнотой, мелъ дворъ.

[—] Кого тебъ? сердито допросиль опъ меня.

[—] Знакомаго одного: будочникомъ въ здѣшнемъ кварталъ служитъ.

— Служитъ?!. Развъ будочники служатъ?.. Вонь ступай наверхъ.

Собаченка, лая отъ злости, подкатывалась мив подъ ноги. Мерлушечій халать ожесточенно прикрыль ее своей страшной метлой.

Я отворилъ тяжелую дверь, сколоченную самымъ медвъжьимъ оброзомъ изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ. За дверью царила непроглядная тьма; гдъ-то вверху раздавались громкіе голоса; плачь охрипшаго ребенка смъшивался съ гармоникой и съ разухабистой пъсней.

Наконецъ я отыскалъ ступень лѣстницы и съ твердой въ благость Провидѣпія полѣзъ куда-то. По мѣрѣ моего приближенія къ небесамъ, гармоника становилась слышнѣе, и я уже явственно слышалъ слова пѣсни. Это былъ лихой хорей, сложенный вѣроятно поэтомъзакройщикомъ, и производившій въ гостяхъ гомерическій хохотъ. Мнѣ даже слышно было, какъ пѣвецъ, окончивъ куплетъ, извинялся передъ кѣмъ-то:

- Извините-съ, доносилось до меня. Изъ пѣсни слова не выкинешь. Ха-ха-ха!
- Ха-ха-ха! раздавалось во тьмѣ, охватывавшей меня. Не выкинешь: это точно. Того складу будетъ, ежели выкинуть. Валяй всю!
- Ничего, ничего. Пойте, отв'ячалъ на извинені п'явца женскій голосъ.

Гармоника снова сдёлала нёсколько ак кордовъ, какт будто умиралъ какой-то самый безшабашный удалець и при послёднемъ концё своемъ захотёлъ потёшить отлетающую душу самой любимой, самой удалой пёсней Вотъ изъ ослабъвшей груди вылетъли двъ-три ухорскія ноты, шутившія надъ смертью, и замерли вмъстъ съ веселою жизнью... Въ тотъ самый мигъ, когда слъдовало окончиться послъднему аккорду, пъвецъ вдругъ подхватилъ его своей оригинальной, хореической поэмой, и снова темноту, въ которой блуждалъ я, проръзалъ музыкальный потокъ словъ, возбудившій новый хохотъ со стороны публики и вызвавшій новое извиненіе со стороны пъвца.

Зпая очень много всякихъ народныхъ хореевъ и ямбовъ, я тёмъ не менёе съ большимъ наслажденіемъ слушалъ эту пёсенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны, какъ по своимъ мотивамъ, такъ и по содержанію. Первые, будучи необыкновенно однообразны (они состояли изъ одного вздоха, безустанно продолжавшагося во всё четыре строфы каждаго куплета, такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, слёдовательно, ослабёвая въ концё, каждую же секунду съ новой силой вылеталъ изъ здоровой груди), удивичельно варыпровались гармоникой. Послёднее же, повёствуя о похожденьяхъ нёкоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупной русской солью, которою такъ забористо просолены наши доморощенныя поэмы.

Облокотившись на какую-то стѣну, я выслушиваль пеимовърно-забавныя приключенія вдовой барыни, и передомною уже понемногу начинали рисоваться и одино-кая глухая деревня и ся безотвѣтная улица, наивно названиая мужиками красною, — весь этотъ мирный

быть далекаго захолустья съ каждой минутой яснъе и яснъе вставалъ въ моей головъ, и издали чуялъ уже я, какъ въ концъ улицы показалась эта барыня-домосъдка. Бойко несетъ опа свою благородную голову, храбро задравши ее къ свътлому небу, и крикъ ея, разпосясь по всей красной улицъ, до самого основанія возмущаетъ всегдашнюю тишину послъдней. Я начиналъ уже видъть барыню дъйствующею въ тъхъ комическихъ событіяхъ, которыя разсказывались и пъсней и гармоникой, какъ вдругъ стъна, о которую я опирался, не выдержавъ моего напора, со скрипомъ валится на бокъ: я лечу вмъстъ съ ней и отчаяваюсь въ моей драгоцънной жизни, но благодаря богамъ-хранителямъ оказалось, что это была не стъна, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.

Я ввалился въ комнату или, лучше сказать, въ какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавкѣ, противуположной кровати, подлѣ крошечнаго стола сидѣли двѣ женщины. Человѣкъ шесть мущинъ необъяснимымъ обраомъ лѣпились около кровати, на которой це-то сидѣлъ не-то лежалъ пѣвецъ съ гармоникой — молодой солдатикъ. При всемъ стараніи публики потѣспиться и дать миѣ пройти, я съ трудомъ освободился отъ кулька, въ которомъ, зная обычаи, привезъ имяниннику штофѣ Руже и приличную закуску, чѣмъ (объясняю это символическое обыкновеніе) и какъ бы желалъ и даже давалъ ему нѣкоторое право на пользованіе благами еще смачнѣйшими.

— Напрасно безпокоились, говорилъ имянинникъ,

принимая отъ меня кулекъ, который въ моментъ снискалъ мнъ расположение всъхъ гостей.

Съ меня насильно стащили шубу, которую было хотьть и снять самъ, и посадили къ дамамъ. Ко мнъ подвели маленькую дъвочку и строго, съ подзатыльниками, приказывали ей поцъловать у дядиньки ручки. Охрипшею, простуженною грудью, ровно трескъ маленькихъ стъпныхъ часовъ, дъвочка прохрипъла: Дядинька! пожалуйте ручку.

Я поцёловаль бёдное дитя, осужденное родиться въ пещерё съ промерзшими стёнами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь къ раннему гробу и въколыбели уже обреченное страданіямъ. Въ глубинё души моей я благословиль это дитя всевозможныхъ нуждъ на добрый трудъ въ бёдной жизни, на силу бороться съ соблазномъ, который щедро разсыпается въ подоблыхъ пріютахъ праздностью и безсердечіемъ молодыхъ и старыхъ богачей.

Я осмотръдся. Совершенно обледенълое окно пещеры, разогрътое самоваромъ, какъ-то особенно грустпо слезилось. Отъ него и промерзнувшихъ стънъ, тоже согрътыхъ и имениннымъ истопомъ печи и дыханіемъ гостей, шли волнистые съдые пары, наполнявшіе всю комнату. Единственную сальную свъчу, горъвшую на столикъ, особенно-густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещеръ слъпой ценастный

свътъ, сообщавшій всьмъ предметамъ какой-то съдовато-убогій цвътъ.

Прежніе пріятели мои: зашивальщикъ и искальченный ветеранъ грустно уединились въ самую темноту къ печкъ, широкое отверстие которой, сіян во мракъ, дълало изъ нихъ какъ бы волшебныхъ стражей заколдованнаго входа въ подземное царство. Нисколько не вмъшиваясь въ общій разговоръ, они серіозно и терпъливо ожидали, когда наконецъ дойдетъ до нихъ очередь принять изъ рукъ хозяина рюмку и, пользуясь этимъ случаемъ, пожелать ему отъ Бога всякихъ благъ душевныхъ и тълесныхъ. Они очевидно были въ загонъ, т. е. вниманія на шихъ почти не было обращаемо, потому что очередная рюмка доходила до нихъ послъ всъхъ. Высокій старикъ, отставной фельдфебель съ бобровыми усами и подковообразными бакенбардами, убъдительнъйше приставаль къ каждому гостю, чтобъ онъ одолжилъ ему заимообразно до завтра гривенникъ, который онъхотълъ подарить хозяйскому ребенку. Молодецки повертываясь на каблукахъ отъ одного гостя къ другому, онъ увъряль всякаго съ какоюто, такъ-сказать, воинской энергіей, что такой милой и умной дъвочки опъ сроду еще не видалъ.

— Христосъ свидътель, басисто и размащисто говориль онъ, — не доводилось никогда видъть, а въ какихъ-какихъ губерніяхъ не побывалъ. Дайте до завтра гривенникъ, сейчасъ подарю, потому люблю ребятъ и опять же я простъ.

Отсутствіе въ его карманъ собственнаго гривенника, который бы на дълъ могъ доказать его любовь и про-

стоту въ отношеніи ребятъ, вызывало у гостей недовърчивыя улыбки. Хозяинъ просилъ фельдфебеля не безпокоиться, однакоже очередную рюмку подносилъ ему только третьему отъ конца, не смотря на его относительно-высокій рангъ. Бравый фельдфебель нисколько впрочемъ не претендовалъ на такое пренебреженіе къ военнымъ доблестямъ. Опъ пилъ, когда ему подносили, и любо было смотръть на него, какъ онъ, принявъ отъ именинника рюмку, говорилъ ему покровительственнымъ басомъ начальника:

— A это можно, можно выпить: вино въ пользу солдату, а паче фельдфебелю.

При этомъ онъ быстро опрокидывалъ рюмку въ ротъ, настойчиво отвергая всякую закуску.

- Кавардакъ выйдетъ, ежели всякую румку закусывать будешь, наставительно поучалъ онъ. По моему выпилъ одну, хватилъ другую, такъ много ужь! Ну послѣ этого и насядь на закуску. Поѣшь вплоть, и пей сколько хочешь, и какъ таперича неблагополучно почувствуешь, курни трубочки и шабашъ.
- А по моему, какъ я завсегда разсуждаю, безъ закуски пить чревобъсіе выдеть одно, а чтобъ оно тоись въ пользу человъку пошло—пустяки, возразилъ молодой солдатикъ.

Бравый фельдфебель завель съ нимъ продолжительный дебатъ весьма горячаго свойства.

Я началь присматриваться къ другимъ личностямъ. Самымъ почетнымъ гостемъ былъ, очевидно, молодой полицейскій унтеръ-офицеръ, уръзавшій, какъ говорится, до ризъ-положенія. На всякую внимательность, на всякое подчиванье хозянна онъ отвёчаль однимь безсмысленнымъ, икающимъ смёхомъ.

- Не рразберу, кричаль онь, мотая головой.—06стоятельный говори: я твой начальникь.
- Кушайте, кушайте рюмку-то. Очередь за вами, отвъчалъ козяинъ, видимо робъя.
- ну выпиль. Што ты еще можешь мив гово-
- Кромѣ какъ угощенія, могу ли съ начальникоцъ
 о чемъ говорить?.
- Въррно! На чистку снъга не ходи завтра. Сиди дома: я тебъ позволляю.
- Благодарствую, сударь. Позвольте ручку поцьловать.
- Цълуй! Я тебя за твое почтенье оченно люблю. На вотъ твоей дъвченкъ двугривенный.

И ундеръ, не знаю почему, залился своимъ икающимъ смъхомъ.

Выпивка съ каждой минутой принимала болъе и болье широкіе размъры. Бравый фельдфебель пустился выплась съ самыми неистовыми выкрутасами. У него сыпались необыкновенно смълыя поговорки, поминутновынуждавшія его извиняться передъ дамами.

— Простите, Христа ради, старику, умоляль онь скороговоркой, постепенно дълаясь бравъе и бравъе. Ради имянинника простите. Мнъ по настоящему ужи пора бы и перестать чорта-то потъщать, да куда на

шло! Можеть, за мою службу Богу и великому государю, мои грёхи на томъ свёть и простятся.

Фельдфебельскій плясь увлекь всёхъ. Разговоры сдёлались живёе, движенія порывистёг. Молодой солдатикь, заливаясь самымь лихимь манеромъ на гармонике, дружелюбно подмаргиваль мнё и сидёвшей подлёменя женщинё въ шелковомъ платьё, на пляшущаго старика. До этого времени вся публика слишкомъ замётно сторонилась насъ обоихъ, называя мою сосёдку не иначе какъ барышней, а ко мнё ежели кто относился, такъ съ почетнымъ титуломъ вашего благородія.

— Да это что, говорилъ фельдфебель, останавливансь наконецъ предо мною: —То ли въ старину было! Укатали бурку крутыя горки. Имѣемъ, судырь, окромѣ Егорія и всякихъ медалей, шестьдесятъ годовъ, а по божьему-то сказать, на баранью морду всѣхъ этихъ штукъ не накупишь. Выходитъ я ихъ заслужилъ. Засслужилъ? Истинно заслужилъ, потомъ да кровью въвладѣніе свое пріобрѣлъ. Оттого теперь и кости болитъ. За то, чтобы обидѣть меня кто могъ, —подожди!. На офицерской линіи состою, — въ сусалы-то ко мнѣ не больно доберешься... Вотъ что!.. Хозяинъ! поднеси намъ по рюмочкѣ съ бариномъ, храбрости ради.

Хозяннъ поднесъ намъ. Фельдфебель чокнулся со мной и хватилъ, я тоже.

— Офицеромъ быть бы вамъ, сказалъ опъ, — знатно вы пьете, потому и умъ, надо полагать, не малый имъете. Не люблю я, какъ баричъ какой рюмку под-

Моск. нор. и трущ.

несетъ и рожу скорчитъ да отплевывается, ровно его въ лобъ ошарашили. У меня съ разу: маршъ, ораль онъ, въ мгновение ока уничтожая другую рюмку, которую, не дожидансь подчиванья хозяина, налиль уже самъ. -- По дружбъ говорю: пивалъ прежде, продолжать онъ, -тоись столько этого добра употреблять могъ, что офицеры бывало, въ полку нарочно складываются: четверть купить — какъ это я пьяный буду? Часика съ два посидишь за ней, - аминь: только голосъ покрыче сдълается. А ныньче вотъ, кромъ какъ сила не та уж стала, жена завелась. По дружбъ сказываю: быль коли что на счетъ водки пронюхаетъ... А на счет жены вотъ что скажу я тебъ, другъ ты мой сладкій чортъ да баба хоть кого околпачатъ. Вотъ со инф какой случай быль: Года три тому будеть, приходит ко миж пріятель одинъ, тоже унтеръ-офицеръ. Д'вло н масляницъ было. «Пойдемъ, говоритъ, выпьемъ да праздника. Есть, говорить, у меня знакомая женщи такая, такъ мы къ ней въ гости пойдемъ. Не подума говоритъ, какая-нибудь: въ корпусъ прачкой числите вдова, говоритъ, солдатская, съ матерью и съ дъты въ казенной квартирѣ живетъ.» — «Что жь, говоря пойдемъ.» Захватили мы, знаешь, кой-чего по мем чамъ: водченки да закусченки, сколько смогли, и пр ходимъ. Приходимъ и видимъ: такъ это чисто коморы той вдовы прибрана, сама въ бъломъ чепцъ сидип на пяльцахъ шьетъ, лицомъ, признаться не такъ п бы, даже прямо сказать: страсть страстью! На двичен на ея платьице новенькое надъто, ситцевое, на двр ребятишкахъ рубашенки такія новенькія; канарейка у окна въ клъткъ виситъ и цвъты стоятъ. Фу ты; молъ, Господи! Вотъ у насъ солдатки-то какъ поживають!

- Очень говорить, рада вамь, господа! Милости просимь садиться.
- Сѣли. Посидѣмши выпили, выпимши разговоръ вавели, а тамъ опять выпили. Ничего. Дѣтишки это такія ласковыя: не боятся какъ въ другихъ мѣстахъ, а такъ прямо на колѣни и лѣзутъ. Мы имъ съ ундеромъ на гостинцы сейчасъ, а мать это къ намъ: напрасно безискоитесь, говоритъ. Тутъ мы еще выпили, матери поднесли, древняя эдакая старуха та благодарна осталась. Хорошо-съ!.. Намъ, сударь, не наказать ли еще хозяина-то по рюмочкъ? вдругъ предложилъ мнъ фельдфебель, задумчиво покручивая усы.
 - Не часто ли будеть? пожелаль я узпать.
 - Не часто, отвътилъ онъ.
 - Ну такъ накажемъ, согласился я.

Хозяинъ весьма обязательно подвергъ себя этому на-

— Вотъ я, пріятель ты мой дорогой, и разогръдся у этой самой вдовы. Такъ это мив послв выпивки хорошо у ней показалось, стыдно сказать, а всплакнуль я горько у ней за полштофомъ. Думаю себв: Господи, Господи! дожинь я до съдыхъ волосъ, чинъ, по своему солдатскому званію, не малый заслужилъ, опять же жалованье, по тогдашней службъ по моей въ швейцарахъ, двънадцать съ полтиной ежемъсячно получалъ, — и нътъ

у меня ни роду, ни племени, ни друзьевъ, ни пріятелей. Думаю я такъ-то себъ, а самъ плачу, словно ръщ разливаюсь, и показалась она мит тогда эта вдова, Боть знаетъ какою красавицею.

- А что, говорю, вдова Божья?... Давай ка, братецъ ты мой, мы съ тобой перевънчаемся...
- Бухнулъ я это ей; а она ничего, что пьяный человъкъ присватался за нее, съ данками ко мив. — Давай, говоритъ
- Мать за попомъ сейчасъ побъжала, честь-честы образомъ благословили насъ, и стали мы женихъ и н въста. Не мало я радовался въ пьяномъ-то видъ... Проснулся поутру, трещитъ голова. Куда это, думаю в палъ я. Ужь и забыль про все. Ребятишки ко мивсе часъ: тятей почали звать, — она ихъ ужь навострила. 1 въсту тоже увидалъ, пришла откуда-то. Увидалъ ее, ужа нулся, да все и вспомниль. Куда, думаю, дъну я я ораву? Чъмъ я ее прокормию? Трое дътей, мать стар ка еще, самъ на прибавокъ, всего шесть человъкъв ходитъ: по два рубля на душу приходится. Сумны меня тутъ проняло: не маловато ли жалованья будет Опять за виномъ я послалъ и говорю невъстъ:
 - А что, молъ, невъстушка моя милая, не прости ли ты мнъ шали моей пьяной вчерашней? Я бы, гов рю, отходу тебъ, что касается тоись на счетъ денег не пожальль дать.
 - Ты, говорить, пустаго не болтай. Я давно таки случая выжидала; а ежели ты, можетъ, спятиться г чешь, такъ въ судъ пойдемъ. Я, говоритъ, тебя оср

лю, а жениться на мнъ все-таки присудять тебя безпремънно.

- Смолкъ я тутъ, потому увидалъ, что не миновать мив женитьбы. О томъ только безпокоиться сталь, какъ это съ такой чучелой на свътъ показаться. Же нился. Баба ничего, хорошая вышла, только что муш труетъ она меня очень. Выпить мнв, чтобы когда по старому, и не на свои, а въ гостяхъ, ни-ни, ни подъ какимъ видомъ нельзя. Слаба баба и могъ бы я ее, разумъется, пальцемъ однимъ придавить, ну никакъ я супротивъ ея лютости выстоять не могу, когда она меня пьянаго по всёмъ суставамъ, по всёмъ-то суставамъ словно собаку колотить почнеть... Въ другихъ разахъ ничего хозяйка, какъ надо быть, и дътишками тоже очень утъшенъ, хошь признаться, по добротъ по своей, частенько-таки приходится мив хлебь одинь черный съ водой всть, чтобы они безъ говядины не сидели, - любять тоже ребятишки говядину-то! Потому мое дъло солдатское, привычное: они меня за это и любятъ.... Значитъ: ничего! Жить можно, потому другіе мужья и не съ такими звірями живуть. Главное, не думаль жениться, не люблю я этихъ бабъ, а тутъ шутъ прорваль: въ первый разъ увидалъ и обабился. Не подбей меня пріятель на выпивку, и о сю пору холостой бы ходилъ, самъ бы себъ бариномъ былъ; а теперь—на-ка!.... — Не знаю какъ сейчасъ и домой показаться, потому, самъ ты видишь, проштрафился я здорово, жаловался мнъ фельдфебель, грустно качая головой и отплевываясь. — Не велико, правду сказать,

несчастье, когда пьянаго мужа жена бьеть, продолжаль онь: — только до гроба до самаго, должно быть, горевать мив, потому за расторопность свою отъ всего полковаго начальства всегда однъ милости получаль, а туть, напослъдокъ сглупилъ, на старости лътъ къ бабъ подъ палку добровольно пошелъ... Миъ это горью отъ бабы териъть, а втрое миъ горести, что самъ я въ эту петлю, какъ сказать не подумавши, въ пын мъ образъ влъзъ.

Последнія слова своей рацеи фельдфебель произносиль уже сквозь слезы. И, конечно, это были слезы пьянаго человёка, но тёмъ не мене мне было очен жаль его, потому что я видёль явно, какъ человём умный по своему, только что освободившись изъ служебнаго, тридцатилётняго ярма, закончиль свою жизненную дорогу, такъ трудно и такъ хорошо пройденную, какою-то роковой, непроизвольною глупостью, идёвшей на него другое ярмо, которое онъ должень исти уже до самой могилы....

the angel of the time the military defined as the account of

the sum of the court of the cou

лукаван указан одиса од не повату вказать

Hermita convolutioning are

— О чемъ ты задумался, Сизой? неожиданно отнеслась ко мнъ въ дребезги разодътая женская особа, доселъ ничего не говорившая.

Я выпучилъ на нее глаза. «Поче<mark>му это она знаетъ</mark> меня?» думаю себъ.

— Напрасно ты притащился сюда, продолжала она:— Нечёмъ тебё тутъ поживиться. Въ этомъ царствё мра-ка, какъ тамъ это у васъ называется, едва ли что увидать твоимъ слёпымъ глазамъ. Ты вёдь слёпъ: я давно знаю.

Я остолбенёль.

— Однако, Сизой, ты чортъ знаетъ какъ постарълъ, и лицо у тебя, не взыщи за правду, какъ-то скверно вытянулось, поглупъло, позеленъло, измялось. Не очень давно еще ты былъ такой здоровый мальчипка. Помнишь?

Тутъ я вспомнилъ ее. Вспомнилъ, какъ нъсколько лътъ назадъ пріъхалъ я въ столицу съ разными дътскими восторгами и, увидъвши, что грозное слово и тяжелая рука тятеньки за пятьсотъ верстъ отъ меня, весь отдался вліянію нъкоторыхъ угорълыхъ ребятъ, и какъ эти угорълые ребята, воспользовавшись своимъ вліяніемъ надо мною, осквернили мою шестнадцатилътнюю молодость.

Въ числъ принадлежностей этого времени была и эта разодътая особа, извъстная тогда подъ именемъ разбойницы-Саши.

Это была высокая, стройная брюнетка съ размашистыми пріемами, громкой и всегда даже надъ самым любимыми предметами злобно насм'яхающейся р'ячью.

— Ребята! говаривала она тогда, пародируя наши же фразы: — пьяницы вы, негодяи и глупцы здоровые, — это правда, по вы всегда найдете во мит добрум мамзель, готовую вамъ дать самые полезные совъты, потому что я всёхъ васъ умите, и доброты у меня у одной тоже больше нежели у всёхъ у васъ вмёсть. Цёлуйте у меня ручки за это — и выпьемъ.

Мы цъловали у ней ручки и выпивали. Въ настолицую же минуту и почти ничего не помналь объ этомъ, при видъ разбойницы, старинные, давно прощение дни молодыхъ увлеченій живо воскресли въ мой намяти, обширная программа разнообразныхъ глупостей, наполнявшихъ эти дни, повторилась въ головъ противъюли и окрасила румянцемъ стыда лицо, давно уже от румянца отвыкшее.

— Это ты, Саша? промолвилъ я.

[—] A то кто же? отвътила она, улыбаясь. — Глу

такъ долго меня не узнавать. Я не то что ты: я ничуть не измѣнилась. Я, кажется, никогда такъ не подуриѣю, какъ ты. Скажу тебѣ по секрету, одного боюсь: какъ бы еще больше не поумнѣть, тогда я еще злѣй буду...

- Скажи пожалуста, только, ради Бога, безъ остроть, какъ ты попала сюда? Знакома что ли?
- Напрасная просьба, Сизой; ты знаешь, я безъ остроты слова не могу сказать. А попала я сюда потому, что сей макарка (ты знаешь, что макарками будочниковъ зовутъ) мой единоутробный братецъ.
- Ты, помнится, говорила, что ты дочь полковника какого-то, потерявшаяся отъ гибельныхъ обстоятельствъ.
- Все ты перевираешь, забывчивый! Дочь майора, я тебъ говорила, получившая прекрасное воспитаніе и погибшая вслъдствіе пьянства родителя и собственной невинности. Но ты не долженъ былъ върить этому, литераторъ близорукій, потому что всѣ мы когда будешь писать обо мнѣ повъсть, скажи, чтобы «всѣ мы» кривыми буквами печатали всѣ мы такъ говоримъ. Поглупъй какія, скажутъ, пожалуй, что тятенька былъ капитанъ, а маменька майорша; оно, можетъ, это и правда, только отчасти—всегда же это вздоръ. Я просто крестьянка подмосковная, Дунька Мизгпрева. Могла бы я и княгиней быть, ежели бы была прежде такъ умна, какъ теперь, и немного злъе того, какъ теперь... Върь ты этому, заступникъ простыхъ русскихъ людей,

говорю тебъ, и радуйся: я достойно бы украсилась княжескимъ названіемъ.

Въ былыя времена я дъйствительно угоралъ отъ такого рода фразъ. Въ устахъ разбойницы онъ способны
были тогда томить мое сердце великой тоской о томъ,
что такая натура погибаетъ безвозвратно: онъ волновали ребячью кровь мою до страстнаго желанія посвятить молодыя силы на то, чтобы поднять съ бользненнаго одра прекрасную жизнь, изуродованную нравственными бользнями, и исцълить ее; но въ настоящую минуту мнъ противно было слушать эти циническія выходки и вмъстъ съ тъмъ хотълось услышать ихъ до
конца.

- Что ты нынче подълываешь? распрашивала она меня. По прежнему ли съ своими просвъщенными пріятелями несешь чепуху?
- Какіе пріятели, Саша, отвѣчаль я? Тѣхъ ужь нътъ: я давно съ ними разошелся.
- Какой ты благонравный! Въ этомъ ты ничего не перемънился. И тогда ты былъ такой же благонравный. Другіе хоть пили и скандальничали, какъ долгъ повелъваль, а ты ни въ дудочку, ни въ сопълочку: руки только всъмъ связываль, двъ рюмки тебя сваливали. Теперь-то хоть, по крайней мъръ, исправился ли?
 - Кажется исправился.
 - 0, добрый мальчикъ! Ишплявилься? Не видала я, ты думаешь, какъ съ фельдфебелемъ вы сейчасъ наказывали моего брата рюмочками? Впрочемъ, можетъ ты

поступалъ такъ, вслъдствіе высшихъ литературныхъ соображеній, — какъ это по вашему говорится? Показала бы я тебъ соображенія, ну да ужь Богъ съ тобой: не хочу я больше быть Сашкой-разбойницей. Хочу опять быть Дунькой Мизгиревой и жить по завъту отцовъ.

- Значитъ ты тоже исправилась?
- Какъ тебъ сказать? Право не знаю. Вы тогда толковали: исправиться, значить впередъ двинуться. А мнъ бы назадъ отодвипуться, къ дътству Много то время лучше было.
- Конечно, то время гораздо лучше, только легко ли теб'в будетъ возвратиться къ нему?
- Я не говорю, что легко. Да опротивѣли ужь очень мнѣ шатанья-то мои собственныя, а главное старости страшно!.. Видишь ты этого солдатика? Вотъ все икаетъ-то который? Это, милый ты мой, важная птица, завидный для дѣвицы нашего сорта женихъ. Единоутробный мой и хлопочетъ теперь объ этомъ изъ всѣхъ силъ. И не почувствуетъ, сердечный, какъ я стану унтеръ-офицершей и честной женой. Вѣнецъ, братъ, вѣдь все, не въ одномъ нашемъ омутѣ покрываетъ. Можетъ, лѣтъ эдакъ черезъ тридцатъ, пранорщицей буду, въ большой свѣтъ нопаду...
 - Да, это хорошо! сказалъ я въ разсвянности.
- Да ты, я вижу, забавникъ! отвътила она съ громкимъ хохотомъ. Поддакиваешь. Исполненіе желаній и безъ твоихъ словъ полное. . Давай исправляться, Сизой!

[—] Давай, согласился я.

И мы выпили.

— Скверная у меня привычка есть, Jean: выпью одну рюмку, хочется другую. Выпьемъ по другой!

Мы выпили по другой.

- И другая у меня привычка есть еще глупте; когда выпью другую, ужь не могу никакъ: надо третью.
 - Это ты шутишь?
- Ни, ни, говорили она, наливая третью рюмку: привычка; оттого я могу ишплявитьшя, какъ ты, а исправиться совершенно нътъ силы; потому за третьей рюмкой у меня непремънно кутежъ, на квитъ: черезъ ръки прыгаю, моря перехожу... Я, Сизой, больше всего люблю пріятныя занятія и уважаю на свътъ одного тебя да выпивку, а выпивку больше тебя, имъй это въ соображеніи.

Между тъмъ оргія, разгараясь, становилась чась отъ часу безобразнъе. Фельдфебель доказываль солдатикумузыканту, что онъ молокососъ, и что ежели онъ не будеть оказывать старшему почтенія, старшій ему можеть въ морду накласть, какъ и законъ будто бы повельваеть.

- Ну это увидимъ! отвъчалъ солдатикъ задумчиво,
 и уже не такъ смъло какъ прежде перебирая на гармоникъ.
- И не увидишь, какъ я тебъ поднесу, горячился фельдфебель.
 - Увидимъ, отстаивалъ солдатикъ.
- Ну что, Сизой, пьянъ ты? спросила меня Саша, раскидываясь на лавкъ и закуривая папироску.

- Пьянъ? п. экономом выменья вост видения
- Скажи же мнѣ, ученый ты человѣкъ, когда люди лучше бываютъ: пьяные или трезвые?
- Пьяные, в данговы для при сергода выдона дляго
- Bon! Я съ тобой согласна. Значитъ мы теперь съ тобой ребята славные?
- Славные, коротко отвъчалъ я, потому что думы одна другой печальнъе зароились въ головъ моей и отцимали всякое желаніе говорить.
- Такъ будь же ты совсёмъ славный, говорила она, очевидно пьянёя. Мнё что-то ужасно весело. Веселись и ты! Я покажу тебё нёсколько картинъ. Вотъ онё тебё, право, годятся для повёсти. Смотри и слушай: вышла я замужъ за икотника ундера. Вотъ продала я и заложила благопріобрётенные шелки да бархаты, купила что нужно дётямъ, мужу, матери его, и пою:

Подвязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродлиго грудь,
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ
И съекровь въ три погибели гнуть.»

Хорошо? Намъ не выпить ли, Jean?

- Пожалуй, я налью тебъ.
- Я тебъ, пожалуй, сама налью. Только ты не будь бабой, пей со мной. Въдь я можетъ въ послъдній разъ кучу съ бариномъ. Ты баринъ, что ли?
- Столько же, сколько ты барышия.
- Я нарочно тебя спросила: думала, что врать начиешь. Тогда объ тебъ врали какую-то чепуху. Одно-

дворцемъ тебя называли, поповичемъ и чортъ знаетъ чъмъ. Я всегда тебя за это любила, Сизой! Потому ты не плоше меня утиралъ носы разнымъ ослятамъ. Я очень любила въ свое время колотить и издъваться, въ шутку будто-бы, надъ разными тузами — и чъмъ тузъ былъ толще и вельможнъе, тъмъ миъ было слаще. Вспомнишь только, въ восторгъ придешь... Сизой, братъ мой, слъпленный изъ одной глины со мной, предлагаю тебъ тостъ за процвътаніе доброты въ той грязи, откуда мы съ тобой выползли...

- Молодецъ ты, Cama, ей-Богу! Ура!
- Ура! отвътила громко она.

Я ръшительно опьянълъ.

— Весельй держись! говорила она: — ты старайся не пьяньть; мы съ тобой побольше выпьемъ и больше поболтаемъ. Братъ, дай сюда воды холодной и лимоновъ: мы будемъ пить и освъжаться.

Намъ подали воды.

- Хорошо въ мъру выпить, Сизой, а лучше того не въ мъру, когда ничто не заставляетъ тебя не говорить того вздора, котрый лъзетъ въ пьяную голову. Я очень это люблю. Запрусь и пью... Ну такъ вотъ, Јеап, смотри же мои картины; они тебъ будутъ полезны. Чортъ ихъ возъми совсъмъ, они, по вашему сказать, рисуютъ общество.
 - Говори, сдълай милость, я слушаю.
 - Помню я, начала она, какъ ты разсказываль про жизнь тъхъ людей, которые родили тебя, воспитали, но, ты говорилъ, тебя такъ и тянуло отъ нихъ.

Мив очень нравился тогдашній твой разсказь: пьянали я была, ты-ли пьяный хорошо говориль, или просто, что твое д'ятство напомнило мнв мое д'ятство. Помню я себя вотъ съ какого случая. Ребятишки и првионки катаются на салазкахъ съ горы черезъ всю ръку. И я тутъ. Дорога намъ на аршинъ отъ проруби. На этомъ катаньи былъ ли кто моложе меня? Только я свла въ салазки, и мигнуть не успъла, какъ очутилась вмісті съ ними подо льдомъ, въ то время столкнула туда жь сосъдку одну: бълье она мыла. Меня сосъдка вытащила - мъсто было не глубокое, - а садазки такъ тамъ и остались. Мнв никогда не было такъ больно, какъ когда я, мокрая вся, бъжала съ катанья по улицъ. Ръзвая я очень была, бъжала скоро, а шубенка овчинная съ рубашкой замерзнуть успъли. И выдрали же меня, что я чуть не утонула! Сначала высъкла мать, потомъ жена старшаго брата потихоньку отъ матери рвала меня за волосы, а тутъ отецъ еще высъкъ. Не диво, что мать высъкла, но въ толкъ я не взяла за что меня высъкъ отецъ. Мы его только и видали о праздникахъ, когда онъ бывало придетъ изъ Москвы и пропьетъ все: пьетъ въ кабакъ, пьетъ дома, и встхъ колотитъ. Никогда я не видала, чтобы онъ съ къмъ-нибудь не дрался, или бы не бранился, самымъ подлымъ образомъ. Никогда не видала я отъ него ни одной ласки, а говорили всь, что онъ быль умный старикъ и заработывалъ много; одна бъда: пилъ!...

Долго я сидъла на печи обсушивалась, а сама,

помню, все думала: за что этотъ мужикъ меня высвкъ? Я всегда называла отца: чужой мужикъ. А онъ, знаешь, московская штука, сидитъ себъ на лавкъ, и кричитъ мнъ на печь: «Иди Дунька, сюда, у тятиньки прощенья проси, ручку цалуй...» А у меня грудь надрывается отъ злости; задыхалась я тогда отъ желанья быть большимъ мужикомъ и прибить его досмерти... Сижу на печи, плачу и шепчу: за что дерется чужой мужикъ? Что онъ силенъ-то?... Эка! Сладилъ!.. Теперь самъ посуди, какимъ я звъремъ родилась. Увидала я наконецъ, что можетъ чужой мужикъ бить меня сколько его душъ угодно, а я сдълать ему ничего не могу, и надумалась. Слъзла съ печи, подошла къ нему, говорю:

- Прости, тятенька! Дай ручку поцаловать.
- Давно бы такъ, говоритъ. На цалуй! и подалъ руку. Взяла я руку у него, смотрю на нее, а не цалую, потому что, помню, передернуло меня всю отъ радости въ это время.
- Что же ты, спрашиваеть: не цалуешь?

Какъ впилась и ему зубами въ большой палецъ, какъ стисну его, такъ онъ застоналъ даже. Чувствую и полонъ ротъ крови у меня, и жалко ужъ мнѣ стало отца, а выпустить все не могу: замерла... Насилу онъ вырвалъ отъ меня палецъ, все тѣло было съ него сорвано... Какъ увидала и кровь, плакать было принялась и въ самомъ дѣлѣ хотѣла прощенья просить. Только суждено мнѣ, должно быть, никогда никому не показывать хорошаго чувства, потому что сызнова принялись они меня всѣ сообща сѣчь и опять пуще разозлилась и на

нихъ, не за то, что они меня мучили, а за то, что они сильнъе меня, и что нътъ у меня у самой силы истиранить ихъ...

Такъ жила я до десяти лѣтъ. Передъ Рождествомъ прівхаль изъ Москвы отецъ, какъ водится, пьяный. Пилъ онъ послѣ своего прівзда и колотилъ насъ дня три, до того, что мать одна оставалась съ нимъ, а мы всѣ разбѣжались по сосѣдямъ. Только разъ пошелъ онъ въ гости въ ближнюю деревню, а оттуда принесли его ужъ мертвымъ: замерзъ на дорогѣ. Остался нашъ домъ безъ головы. Дѣтей родные его къ себѣ разобрали, мать въ Москву въ кухарки ушла и меня съ собой взяла. Тутъ и начинается моя настоящая исторія.

Года два я шаталась съ матерью по чужимъ домамъ и, у кого она живала, всё на меня любовались, бездётные купцы вмёсто дочери просили меня, — не дала. Богъ знаетъ отчего? Не было ни одной хозяйки у матери, чтобы съ кухни не взяла меня къ себё въ комнаты и платьевъ не нашила. Умерла мать, — осталась я по двёнадцатому году одна на свётё. Ужъ не знаю кто добрый человёкъ, пристроилъ меня въ ученье къмодистке. Тутъ я должно быть и пріобрёла свою силу мужскую, когда ведра тяжелыя таскала, и въ морозы, кое-какъ прикрытая, по цёлымъ днямъ бёлье мыла на рёкё

Впрочемъ я эту модистку не проклинаю за ея обращение и на мастерицъ не сержусь; бывало они по почамъ при насъ, при маленькихъ, впускаютъ любовниковъ въ окна, — такое ужъ у нихъ заведение было. Терпънью моск, нор. и трущ.

я туть выучилась, что лошадь; пожалуй, теперь могу два дня не ъсть и не пить, и одеревеньло, я тебь скажу, тьло мое воть какъ: кажется выдержу, не крикну, какую хочешь пытку. За то не обидьль же меня посль даромъ никто: оскорбиль меня ежели мущипа, такъ я его тоже непремънно своими руками поколотила...

. Дотянула я эдакимъ манеромъ до пятнадцати лътъ и молодежи бывало не отгонишь отъ нашего магазина. Тутъ найдись у меня родня — вдова старшаго брата. Стала она меня брать къ себъ по праздникамъ въ гости. Мастерства никакого, - а живетъ, погляжу я, въ достаткъ. Квартира хоть куда, комнатъ мнего... Сижу я у ней разъ, вижу: подкатила къ крыльцу коляска, - офицеръ въ ней изъ улановъ. Это князь одинъ быль, — дуракъ и мерзавецъ такой, что я другаго и н видывала... За тысячу цълковыхъ она ему меня и спустила. Квартиру мий наняль князь, одбль какь куклу, вещей надариль, и пріятели его тоже. Съ годъ я такъ жила, и хоть бы разъ пришло въ голову, что въдь надо же этому, рано ли поздно ли, кончиться. Платья, золота, серебра накопилось у меня въ то время, такъ я думаю, тысячь на пять. Только прівзжаеть вдругь князь ночью ко миж, съ какимъ-то съ другимъ. Поговорили они что-то, пересмотръли вещи, мебель, и увхали. На утро опять прітзжаеть и говорить: «У меня, душа моя, обстоятельства очень плохи. Ты мив позволь на время заложить твои вещи вотъ этому самому. Я, говоритъ, скоро выкуплю.» Вывезли все изъ моей квартиры. Осталась я въ одномъ салопѣ и жду когда это онъ вернется. А онъ день за днемъ рѣже да рѣже ко мнѣ сталъ ѣздить, и денегъ ночти-что давать нересталъ: сидѣла я тутъ и безъ чаю и безъ обѣда частенько таки. Хозяинъ приходитъ, — дены и за квартиру сталъ требовать. Я пошла къ князю въ домъ.

- Ты что же, молъ, денегъ за квартиру не платишь? Отчего у меня не бываешь?
- Я, говорить, ныньче на службъ состою и бывать у тебя не могу больше; прощай, говорить. На, вотъ тебъ денегъ. Только ты изъ нихъ не плати хозяину; пусть онъ мебелью остальной пользуется.

А мебели оставалось на три гроша всего...

- Изръдка, говоритъ, пиши ко мнъ: я къ тебъ прівзжать буду.
 - А что же, говорю, когда ты на мив женишься?
 - Съ ума ты сошла видно?

Такая и тогда дура была: вёрила вёдь, что можетъ онъ жениться на миё. Стою я передъ нимъ, красная вся, а въ головё у меня точно колесо вертится: «Какой же ты подлый! Какой же ты мерзкій обманщикъ!»

Смотръла, смотръла я такъ-то въ лицо ему и все думала, что это онъ шутитъ, потому часто бывало на-рочно принимался дразнить меня,— да пачкой этой съ деньгами, что далъ онъ миъ, прямо въ рожу ему угодила...

Ну вървшь ты, что это за человъкъ подлый былъ? Саблища у него эта въ углу стокла, такъ онъ съ ней на меня и ножнами меня по спинъ. Можетъ онъ и боль-

ше бы прибиль меня, только вырвала я у него саблю и всю ее объ него обломала... И била же я его негодяя до тъхъ поръ, пока не бросила. Всю руку онъ мнъ, которой я его руки держала, искусалъ, собака скверная, когда вырвался, а людей не позвалъ. Стыдился показать-то, какъ его дъвка быетъ.

- Я тебъ вотъ что скажу, Сизой. Все бы я на свътъ сейчасъ отдала только бы его въ другой разъ такъ поколотить... Выпьемъ же мы съ тобой за конецъ моей первой любви. Съ княземъ у насъ тутъ дъла и кончи-ANCE . TO THE TENENT OF THE STATE OF THE STA — Выпьемъ. пред в при в пред в

 - Прибъжала я въ ту же ночь къ старушкъ одной знакомой. Квартиры она со столомъ держала. Разсказам я ей все, — она меня къ себъ приняла. «Живи, говоритъ, пока я тебъ работу найду.» И не могу я даже понять за какимъ чортомъ, когда я жила у этой старухи, каждый я вечеръ шаталась къ квартиръ князевой и въ окна къ нему смотръла?.. Ругаю себя, бывало, а иду, и все хочу его встрътить, взглянуть на него... Потому удивляюсь, что ежели бы онъ прітхаль тогда ко мив и сказаль бы, что прямо подъ ввнець меня повезеть, я бы его все таки избила: такъ опъ мик противенъ былъ! Морозъ по всему тълу пробъгаеть, какъ только вспомню, бывало, какъ онъ меня общ малъ...

Живу я у этой старушки. Работу она мик изрыда доставляла. Нанималъ у ней же комнату одинъ гимиа зистъ, хорошенькій такой, только курсъ кончиль и в мъсто куда-то въ дальнюю губернію сбирался. Прозналь онъ мою исторію, познакомился, читать и писать училь, помогаль чъмъ могъ. Такой быль скромный и добрый, пикогда ни однаго слова, знаешь эдакаго, не сказаль мнъ.

— «Переходите ко мив въ комнату, говоритъ разъ: у меня весельй. Вы, говоритъ, не подумайте чего-нибудь.... Я такъ.... Мив одному скучно. А самъ краснветъ.

Я и перешла. Мъсяца два жила я съ нимъ, хорошо жила. Время это я никогда не забуду. Училъ онъ меня, книги читаль, стихи. Много я ихъ туть наизусть заучила, особенно Некрасова онъ любилъ, и объяснялъ мив. Много я отъ него научилась, только на все времени мало было, а въ головъ свъжъй стало; князя совсимь позабыла. Только вижу я: полюбиль меня мальчишка, дъломъ пересталъ заниматься, тоскуетъ. Какіе же глупые дъти мы были тогда! Желается сказать о своей любви и видимъ мы это другъ въ другъ; а не говоримъ. Долго такъ тянулось. Читаетъ онъ, бывало, мнъ что-нибудь, долго читаетъ, забудется и примется смотръть на меня, - я тоже смотрю на него, - и сидимъ такъ пока не опомнимся, — а опомнимся, стыдно, стыдно! Въ жизни у меня только это счастіе было. Больше бы хотьлось, Сизой, да взять негдь. Давай утьшимся! Идетъ?

— Идетъ! отвъчалъ я, догадавшись въ чемъ дъло, —, и мы еще выпили —Какъ же ты покончила съ гимназистомъ? - Какъ покончила? Просто: новыми слезами покончила, страданіями. Вечеромъ сидимъ мы съ нимъ и такъто горячо, съ такой то лаской читаетъ онъ мив:

«И въ домъ мой смъло и свободно «Хозяйкой полною войди...»

Прочиталь онь мий это и сталь говорить о синсхождении и о прощении тёмъ, кто палъ, и что какая заслуга поставить блуднаго на путь истинный, а самъ все ближе и ближе ко мий. Я тоже не сторонюсь, потому что, какъ въ раю, была я оть этихъ стиховъ:

«И въ домъ мой смъло и свободно «Хозяйкой полною войди...»

И думаю я себъ, что вотъ онъ-то и позоветъ меня въ свой домъ, и млъю, а сама смотрю на него...

Ну, и позвалъ онъ меня. Обняла я его прижалась къ нему и говорю:

- Въдь вы знаете какая я?
- Чтожъ такое? говоритъ. За это я еще больше люблю тебя!
- Выньемъ еще, Сизой, потому что порѣшили мы тутъ съ гимназистомъ жениться... За то, какъ узнам объ этомъ рѣшеніи его отецъ, нарочно притащился изъ глуши изъ своей въ Москву и отнялъ его отъ мень. Было мнѣ муки тутъ, другъ мой!.. Одинъ разъ вы жизни на человѣка, надобно думать, эта скорбъ посы дается... Я и теперь еще его не забыла: какъ о чем вадумаюсь, сама не чувствую, шенчу:

«И въ домъ мой смъло и свободно «Хозяйкой полною войди...»

Познакомилась я послё того съ различными добрыми душами, — и запила... Встрётилась я съ однимъ человёкомъ. Онъ далъ мнё квартиру. Вилёла, что онъ ужасно ко мнё привязался. У него-то я и лизнула этого вашего развитія да образованія, — будь оно проклято!...

Очень онъ пристально со мной занимался, читаль, по-французски училъ. Только чъмъ-же все кончилось? Привизалась и якъ нему, и поняла въ чемъ дело. Это быль герой нашего времени: все бы ему дълать добро, да силы нътъ. Раскусила я это, и стало жалко мнъ его, слабаго, и оттого я больше привязалась въ нему. Живу я съ нимъ годъ, другой живу, вдругъ онъ, здорово живешь, пить начинаеть, какъ сапожникъ какой. Убъжала я отъ него. Пойми ты: возвысилъ онъ меня на столько, что поняла я отчего онъ сталъ пить. Сталъ скучать со мной, навела я на него хандру, да и обстоятельства его такія были, что я ему карьеру портила. Я и убъжала отъ него... Хуже, думаю, какъ не трезвый, такъ пьяный къ чорту пошлетъ меня самъ. Чего жъ дожидаться-то? Лучше его избавить отъ пошлости отъ такой. Въ благодарность за нравственное добро, которое онъ сдълалъ мнъ, я избавила его отъ тяжелой необходимости... Кажется, мы съ нимъ квиты. Но странно, знаешь, что ни одного изъ этихъникогда я не встръчала. Выньемъ, Јеап, за упокой, коли они всь умерли, - за здоровье, коли живы!

— Выпьемъ, Саша! Я главнымъ образомъ люблю тебя за то, что ты умъешь находить резоны въ вы-

пивкъ приличные. Безъ того бы совъстно было такъ

— Очень рада, что угодила. Теперь мы будемъ съ тобой больше нить: устала я говорить, да и говорить не объ чемъ... Кого я потомъ встръчала и съ къмъ ни сходилась. съ тъмъ, ты такъ и знай, я ужь непремънно подралась. Оттого и хочу исправиться, закончила она, наливая рюмку.

Вдругъ неизвъстная женщина, молодая еще, съ крикомъ вламывается въ компату и бросается на икающаго ундъра. Вмъстъ со стуломъ повергаетъ она его на полъ и безъ церемоніи начинаетъ таскать за волосы.

Хозяинъ и гости пытаются отбить у ней ундера.

- За что ты его? спрашиваетъ хозяинъ. Что ты это? Что ты дълаешь?
- А ты что дёлаешь? азартно освёдомляется женщина. Затянулъ въ свою берлогу молокососа, да на своей подлой сестрё женить его хочешь?! Пока жива буду, вотъ вамъ что.

И къ самому носу будочника подпоситъ она кулакъ свой.

Саша равнодушно смотръда на эту сцену и улыба-

- Чему смѣешься-то, паскудница? заорала на нее незваная гостья. Ахъ ты, подлянка! Чужихъ любовниковъ отбивать вздумала. Не по носу табакъ: хрящъ перевстъ.
- Чтожь ты не пьешь, Сизой? сказала мив Саша:— Пей, ножалуста. Чортъ знаетъ, какъ скучно!

— Ты не ругайся, матушка! посовътываль бабъ бравый фельдфебель. — Видишь: здъсь баринъ сидитъ.

И онъ указалъ на меня.

- Чортъ съ вами, съ подлыми, и съ бариномъ совсёмъ! еще громче кричала бабенка. Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница! тащила она ундера. Я тебъ задамъ жару. Будешь ты у меня свататься шляться.
- Товоррри пошшительнъй, бурчалъ ундеръ. Я твой наччальникъ.
- Ухъ ты, рожа дурацкая! безчестила его попечительница.—Вишь начальникъ какой нашелся!

И она завхала его по физіономіи.

- Вишь какая проворная! толковала публика про неизвъстную бабу, послъ ея ухода.
- Напрасно я тюти ей вотъ этой не поднесъ, печалился фельдфебель, показывая кулакъ.—Ей бы ничего: на здоровье пошло бы...
- Истинно, что напрасно, согласился хозяинъ.
- Ну что, Саша? спрашиваль я. Улетьло твое счастье, что ты сейчасъ мнъ рисовала. Нужно тебъ другаго ундера искать, а то ты, пожалуй, такъ никогда и не исправишься.
- Чортъ съ нимъ съ этимъ счастьемъ, съ досадой и отрывисто отвътила она. Неужели ты не понялъ, что братнины хлопоты меня пристроить меня забавляють? Мое счастье во мнъ, Jean! Мнъ бы только крошечку поумнъть, да злиться перестать понапрасну, да на мъсяцъ лаять перестать: вотъ я тогда и счастлива

буду... Пока придетъ это время, мы съ тобой выпьемъ: веселъй ждать...

- И я съ вами, ловко подскочилъ къ намъ на коблукахъ фельдфебель.
 - Милости просимъ! отвътила ему Саша.
- Милости прошу ко мий въ гости, заискивающимъ тономъ приглашаль насъ фельдфебель. А ежели можетъ на счетъ жены сомийваетесь: вздоръ!.. Когда она грубость какую скажетъ, я ей, Христосъ свидйтель, ротъ передерну... Шумйть я съ ней не буду тогда, добавиль онъ съ громкимъ смйхомъ. У меня, ежели ты супруга, такъ ты меня спокой, потому на меня не налетай... Мы и безъ супругъ на своемъ въку довольно мпого всякой коки съ сокомъ накушались! Ха! ха! ха!.. А то супр-руг-га!..

Очень ужъ поздно я вышель отъ именинника.

Дъвственная улица была совершенно пуста и молчаніе самое невозмутимое угрюмо въ ней царствовало. Вся заваленная страшными снъжными сугробами, она представляла до-того бездушную картину, что яркій свъть молодаго мъсяца нисколько не оживляль ел. Не было ни извощиковъ, какъ въ другихъ улицахъ, ни просто людей. Ворота вездъ заперты тяжелыми замками, оконныя ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми жельзными болтами.

Я очень хорошо зналь, что тишина эта только кажущаяся, что не въ одномъ только домѣ, откуда я вышелъ сейчасъ, кипитъ въ настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселыя или печальныя сцены. Оттого мнѣ и казалось весьма страниымъ, что ни разу не удалось мнѣ подмѣтить ни одного проявленія этой жизни ни на улицѣ, ни въ нескромныхъ окошкахъ. Думаю я: вѣдь непремѣнно же въ одномъ изъ этихъ домовъ, сейчасъ же можетъ быть, попечительница икающаго ундера, бьетъ и ругаетъ его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улицѣ, ни одной живой души въ ней не вижу? Мнѣ даже стало досадно отъ того, что я не могъ разрѣшить себѣ этихъ вопросовъ.

«Кто не имъстъ тъни, тотъ не долженъ выходить на солнце», случайно попалось мнъ на языкъ.

. Иду я и безсознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастическія приключенія Петра Шлемиля, о которомъ сказалъ ее Шамиссо, какъ вдругъ примътилъ я, что отъ низенькихъ домовъ дъвственной улицы падаютъ на снъжную дорогу громадныя тъпи. Я остановился и осмотрёлся. Моя тёнь показалась мий въ пять разъ больше обыкновенной тъни отъ меня отражающейся. — Вотъ странность! подумаль я про себя. Отчего это у меня такая длинная тынь? Показалось мнь въ это время, что уличный фонарь, прикръпленный къ столбу, какъ то иронически посматриваетъ на меня. Подошель я къ нему близко, осмотръль я его со всъхъ сторонъ. и дъйствительно, невинный висъльникъ смотрълъ на меня необыкновенно насмъщливо. Подперся онъ въ бокъ желфзнымъ локоткомъ и, каждую секунду подмаргивая мив своимъ огненнымъ глазомъ, такъ и покатывается со смѣха:

- Чему ты смѣешься? строго спросиль я его. Можешь ли ты смѣяться въ такое позднее время?
 - Могу, могу, отвъчаетъ онъ.
- Нътъ не можешь! Ты свътить долженъ, а не смъяться.
- Я смъюсь и свъчу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тънь.
- Вижу. Ну что же?
- А моя, посмотри, длинна въдь?

Я взглянулъ и на его тънь. Боже! она невидимымъ зиъемъ какимъ-то растянулась вкось улицы, пробъжала черезъ сосъднюю широкую площадь и скрылась изъглазъ моихъ во мракъ ужь другой части города.

Изумленіе моє возрасло въ высшей степени тёмъ болѣе, что тѣнь фонаря не лежала какъ бы слѣдовало, позади столба, а съ непостижимымъ нахальствомъ выпячивалась впередъ. Фонарь больше и больше издѣвался надо мной.

- Отчего это? допытывался я у фонаря.
- Такъ! отвъчалъ онъ, продолжая хохотать.
- Не можеть быть чтобы такъ. Ты навърно знаешь, только не хочешь сказать. Ежели-бы ты не зналь, усовъщеваль я его, ты бы не смъялся.
- Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. Въ Газетномъ переулкъ, гдъ я прежде стоялъ, тъп у всъхъ были обыкновенныя, а здъсь видишь какія? Кто только проходитъ по этимъ мъстамъ, особенно ночью, всъ меня спрашиваютъ отчего это? Я этому и смъюсь.
 - Будто ужь всъ? спросилъ я.

Обиженный отошель я отъ него, справедливо воображая, что онъ знаетъ гораздо больше того, нежели сказалъ мнъ.

- Не можеть быть, думаю я про себя, чтобы обитатели двиственной улицы иск имкли такія длинныя ткни, какь у меня и у фонаря.
- · У всёхъ до одного такія! крикнуль мнё издали фонарь тонкою фистулой.
 - Врешь! ору я ему басомъ.
- У всъхъ, у всъхъ! снова донеслась ко мнъ фистула.
- Врррешь! изо всёхъ легкихъ трублю я въ отвётъ, и самъ остаюсь необыкновенно доволенъ, что басъ мой звонко раскатился по сонной улицъ

Согласнымъ хоромъ отвътили мнъ обывательскія собаки, пробужденныя моимъ крикомъ.

- Сейчасъ издохнуть, ежели вру! до недьзя убъдительно прозвенълъ фонарь тонкимъ голоскомъ.
- А ежели ты не врешь, такъ я знаю теперь отчего всѣ вы сидите за дверьми дубовыми, за замками
 желѣзными. Именно оттого, что у всѣхъ васъ здѣсь
 тѣни очень длинны, бормочу я.—А кто имѣетъ длинную тѣнь, тому нужно дома сидѣть, пародирую я Шамиссо!
- Обстоятельный докладывай, прохрипыль чей-то знакомый голось.

Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь дога-

— Говорри деликатнъй: я твой начальникъ!

Туть я догадался, что это икающій ундерь. Сильный, морозный вътерь подуль мнт въ лицо и къ первой догадкт моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьянъ. Только что пришелъ я къ этому выводу, какъ къ крайнему моему удивленію, тънь моя значительно уменьшилась...

Снова донесся до меня тонкій насмѣшливый хохоть фонаря; но голова моя была ужь на столько свѣжа, что я теперь не обидѣлся на этотъ хохотъ.

— Вздоръ! разсуждалъ я. Это только такъ чудится мнъ.

Я перешелъ широкую площадь и повернулъ въ другую, людную улицу. Повстръчался со мной какой-то баринъ въ истерзанномъ пальто. Онъ спотыкался на каждомъ шагу, очевидно направляясь въ дъвственную улицу.

— Ежели они опять спрашивать стануть, бурлиль онь, — отчего я пью, не буду разговаривать съ ними: прямо въ зубы заёду...

Длинная тънь бъжала за истерзаннымъ пальто...

«Вотъ это дъйствитальность!» подумаль я.

Надъ самымъ моимъ ухомъ дворникъ затрещалъ въ трещотку; по серединъ улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями; гдъ-то гудъли часы.

«И это дъйствительность», продолжалъ и пробовать свъжесть моей головы.

— Ваше сіятельство! Что же на рысачкъ-то объщались прокатиться? говорилъ совершенно незнакомый извощикъ. — Полтинничекъ бы прокатали, ваше сіятель-

ство! Ахъ! хорошо бы мнѣ на полтинничекъ съъздить! Пра-а-ва!

Я совсёмъ отрезвёлъ, потому что миё предстояла длинная дорога до квартиры пёшкомъ, ибо полтинника, который бы я могъ, по мнимому обёщанію, прокатать на рысачкё, ни въ карманё, ни дома у меня не оказывалось.

 И это дъйствительность! сказалъ я вслухъ, и бодро принялся гранить замерэшую мостовую.

Извощикъ, обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, загнулъ мнѣ въ слѣдъ неласковое слово. Мнѣ почему-то стало веселѣе отъ этого слова. BERNALDE A TARRESTAN ARBITRATA ARBIT

n of the state of the second states as a second state of the second seco

A course of containing the treats of the containing of the course of the

КРЫМЪ *).

THE PARTY OF THE P

the structure of the state of the structure of the struct

Угрюмый осенній вечерь мрачно смотрѣль въ одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигаль мою рублевую, экономическую лампу, потому что вътемнотѣ гораздо удобнѣе проклинать свою темную жизнь. И безъ тусклаго свѣта этой лампы я слишкомъ ясно видѣль, что что умерло, то не воскреснетъ. Всѣ эти пошлыя и, когда находишься въ рѣдкомъ припадкѣ вдравомыслія, комическія жизненныя комбинаціи, омертвившія меня, какъ бы при самомъ свѣтломъ сіяній солнца, въ-очью проходили передо мной въ тотъ вечеръ и несказанно бѣсили меня.

Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, можетъбыть, предположите, что я сейчасъ пущусь въ подробныя росказни о грустныхъ думахъ, или же вамъ пока-

^{*)} Одинъ изъ московскихъ трактировъ. Моск. нор. и трущ.

жется, что я хочу несчастья мои, такъ-сказать, перелить въ ваши чувствительныя души и тъмъ, хоть нъсколько, облегчить ихъ сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всемъ томъ, что я только Jean de Sizoy, уменя всегда найдется настолько такта, чтобы не становить васъ въ положеніе человъка, которому насильно навявываютъ многотомную повъсть о сокрушившемъ разскащика горъ. Такое положеніе, при всей его видимой приложимости къ нашему заъденному обществу, ю крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вамъ его, насколько перо мое окажется способнымъ къ этой рисовкъ.

Передъ вами вашъ бъдный, несчастный другъ. Сначала вы даже обрадовались ему; только бесъдуя съвами, вашъ другъ все больше и больше начинаетъ впадать въ меланхолическій тонъ, такъ что въ вашем мозгъ пробъгаетъ, наконецъ, желаніе, чтобы онъ посмерье окончилъ свою исповъдь.

— Все, все въ жизни моей располагало меня сдраться такимъ, какимъ ты меня видишь теперь! дрежащимъ отъ волненія голосомъ говоритъ вамъ страдалецъ.

Можетъ-быть онъ и въ самомъ дѣлѣ имѣетъ осывание говорить такимъ образомъ, но вы, не желая давему замѣтить, что такая исторія вамъ давно уже вѣстна и давно уже наскучила, дураковато таращи на него глаза, тщетно стараясь выказать въ нихъ ожи даемое сочувствіе, и думаете: «Боже мой! что это за сантиментальный шутъ на меня навязался!»

Жалобы и глухота къ этимъ жалобамъ, по моему мивнію, повсемвстная болвзнь нашего времени и цашего общества. Отъ ввка, вврую, никто изъ людей не находилъ такихъ фразъ, которыми бы онъ такъ удачно могъ передать своему другу про свое несчастье, чтобы тотъ понялъ его какъ слвдуетъ; точно также вврую и въ то, что и я не найду ихъ, да пожалуй еслибы и нашелъ, еслибы вы даже поняли ихъ и заплакали надъ моей горемычною долею, о которой я думалъ, не зажигая моей лампы, мив собственно невозможно было бы повврить искренности людскихъ слезъ, потому что въ моей жизни я очень много видвлъ слезъ по чужимъ заботамъ и весьма мало двла, которое бы хоть нёсколько облегчило эти заботы.

Вамъ, не спорю, можетъ-быть не стоитъ ни малѣйщаго труда расказнить во мнѣ такой нечеловѣческій скептицизмъ по отношенію къ обоюдному сочувствію существъ, созданныхъ быть братьями; но повѣрьте же и вы мнѣ, когда я скажу вамъ, что прозвище мое Иванъ Сизой я имѣю намѣреніе въ самомъ скоромъ времени замѣнить псевдонимомъ «Иванъ Сивый», потому что то постоянное, самое каменное равнодушіе, то самое звѣриное непониманіе, съ которыми люди, отъ какихъ я имѣлъ право ожидать совершенно обратнаго, встрѣчали и мои для нихъ жертвы, и мои на нихъ надежды, сдѣлали изъ меня, по настоящему еще бы здороваго, свѣжаго малаго, какого-то ни къ чему негоднаго сиваго мерина, разбитаго на всѣ четыре ноги.

Для всъхъ васъ вообще, конечно, нътъ большой

обды, если какой-нибудь Иванъ Сизой, вслёдствіе различных соображеній перемёняеть свою фамилію; но могу вась увёрить, что въ частности, лично для Ивана Сизого нёть больше бёды, какъ тогда, когда онь думаеть о томъ, куда именно поразлетёлись его силы, весьма необходимыя ему въ настоящемъ случай для того собственно, чтобы не дать себя обуть въ лапти, тогда когда на его ногахъ еще не совсёмъ развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на томъ основаніи, что для этого мнъ неизбёжно пришлось бы удариться въ лирическій тонь, съ которымъ я далъ себё слово распроститься в вёкъ, ибо лиризмъ врагъ мой. Выходитъ всега какъ-то такъ, что онъ уменьшаетъ цёну печатнаю листа...

По этому случаю идиллія моя да начнется таким образомъ: отъ ненастнаго осенняго вечера и отъ безобразныхъ мыслей, которыя тискались въ головъ мой этимъ вечеромъ, я ощутилъ какую-то кислоту во рти до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь въ такомъ состояніи, мнт обыкновенно начинаеть хотъться чего-нибудь до того остраго, что бы обожно какъ говорится, отшибло бы память. Аппетитъ на это вещи, говоря въ скобкахъ, свойственъ болье плебенъ нежели аристократамъ. Выражаясь опредъленнъе, я от кровенно сознаюсь въ томъ, что когда представлени моей горемычной доль уже слишкомъ загомозятся в моей головъ, я обыкновенно отправляюсь купать мо

горе въ волнахъ того моря, которое погубило у насъ столько же печалей, сколько и радостей!

Миръ вамъ, погибшія жизни! Да не въ судъ и не въ осужденіе вамъ, а въ знакъ моей искренней печали о вашихъ судьбахъ безталанныхъ, скажется слово мое о той широкой дорогъ, которою по слъдамъ вашихъ зашагалъ я ко цареву кабаку.

Hose so which curely has been encouraged and edic formo-

Всепоглошающей пропастью зіяли длинныя улицы, гдт шелъ я. Тускло освъщенныя ночными фонарями, онь казались какими-то невъдомыми областями, гдъ безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Такъ были мрачны и угрюмы лица этихъ каменныхъ столичныхъ громадъ, съ такой нугающею силою выглядывали онв изъ ночнаго мрака, что все существо ваше проникалось какимъ-то безотчетнымъ томленіемъ при видь этой силы, темъ болье что еслибы вы глаза ваши, утомленные этою мучительною картиной, захотёли развеселить блескомъ звёздъ ночнаго неба, на васъ бы глянули сърыя неопредъленныя массы, которыя напугали бы вась болье, нежели напугали бездушныя зданія. Волнуясь какъ что-то живое, въ необозримомъ воздушномъ пространствъ массы эти, казалось, быстрою мыслью летять на вась съ дальняго неба-и давятъ...

Мив очень трудно теперь, больному, передать мои

дальнъйшія дорожныя ощущенія. Я совершенно забыль тоть моменть, когда сознаніе покинуло меня. Воть, напримъръ, эту фразу говориль уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулакомъ по столу, уставленному графинами и рюмками:

— Въ прощеніи? Я, вы говорите, нуждаюсь въ прощеніи моего общества, потому что безобразно трачу свои заработанныя деньги?...

Передо мной сидълъ въ это время юный еще господинъ, весь впрочемъ заросшій бородой и бакенбардами. Мнъ и въ голову не входило постараться опредълить себъ, гдъ и какъ я съ нимъ встрътился. Въ комнать носился удушливый чадъ; въ чаду роились какія-то лица; гдъ-то, весьма издалека для моихъ ушей по крайней мъръ, гремъла музыка. Десятки тусклыхъ свъчь слъпили глаза, общій шумъ разламывалъ голову.

- Чашу сію обойдти весьма можно! орала моя дикая машина въ поученіе господина, очутившагося со мной за однимъ столомъ. Мнт не нужно прощенья отъ общества, которое вынашиваетъ въ своей средъ людей, способныхъ такъ пошло, какъ вы и я напримъръ, пьянствовать на заработанныя деньги.
- Но ежели вы не будете искать въ обществъ снисхожденія къ вашимъ недостаткамъ, ежели вы намъренно не будете воздерживать себя отъ оскорбленія общества вашимъ поведеніемъ, оно непремънно выгонить васъ, въ свою очередь поучалъ меня мой юный пріятель.
- А вы думаете, гремълъ я, человъкъ, понимющій, что онъ сосредоточилъ на себъ справедливое пре-

зрвніе своего сбщества, сдвлается отъ этого изгнанія несчастиве того, чемъ онъ есть? Не сделается! Темъ болье онъ не сдълается несчастнье, когда будеть имъть хоть какія-нибудь данныя заподозрить справедливость этого презрѣнія. А коль скоро вы имѣете хоть маленькое понятіе о томъ, какъ на нашихъ базарахъ дешевы эти данныя, вы сейчась же неминуемо согласитесь съ тъмъ, что вашу фразу объ изгнаніи изъ общества можно перевернуть такимъ образомъ: я самъ изгоню отъ себя общество, которое намфревается изгнать меня, потому что никто другой, какъ только однъ впечатлънія, навъянныя на меня картинами этого общества, доставили мив честь пьянствовать съ вами въ этомъ бездонномъ омуть. Я очень хорошо понимаю, что лично отъ себя говорить такія вещи — пошлость; но развів это дасть вамъ возможность не согласиться со мной, что ни одна изъ разлучающихся сторонъ не прольетъ другъ по другъ слезь сожальнія.

- Ваше высокоблагородіе! соблаговолите до шкаличка доложить отставному служивому, вмёшалась въ нашу бесёду пьяная оборванная личность. Потому какъ, продолжала личность, собственно для ради ненастной погоды, старыя кости желательно разогрёть.
- Скажи мнъ, спросилъ я старика, ты изгналъ отъ себя общество, или оно изгнало тебя?
- Точно что, ваше высокоблагородіе, обчество выгнало меня изъ села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому— глаза лопни!— причинны никогда не бывали.

- Почему же ты самъ не выгоняещь его отъ себя? Служба отвътиль на этотъ вопросъ тупымъ и безсмысленнымъ взглядомъ.
- Да! съ громкимъ хохотомъ переспросилъ его юный господинъ. Въ самомъ дълъ, отчего ты самъ не выгонишь его отъ себя?
- Позвольте папиросочки затянуться, съ поощряющей къ дальнъйшимъ шуткамъ улыбкой разръшилъ старичина нашу спорную тему. Стаканчики прикажете вамъ налить, ваше высокоблагородіе? мгновенно впадая въ роль върнаго слуги и добраго собесъдника, освъдомился затъмъ старикъ.
- Однакоже отдълаться бы отъ него какъ нибудь? заговорилъ по-французски мой юный другъ, коверкаясь и, даже какъ будто изнемогая при видъ этой фамиліярности.
- А? вы, должно быть, одни хотите изобразить собой презирающее и изгоняющее общество? Вамъ жаль водки этому солдату? Въ такомъ случав я одинъ заплачу за него, чвмъ вы и я фактически докажемъ другъ другу справедливость нашихъ убъжденій.
- Помилуйте! сконфуженно произнесъ волосатый юноша.

Я посмотрёль на него съ улыбкой побёдителя.

And the contract of the party o

scholing beginner start er stangel by a rosult parecel.

us contight the thing continues on the printing of the

Теперь мий надо доложить вамъ, какимъ образомъ я дошелъ до пошлости спорить съ первымъ встрйчнымъ, Богъ знаетъ о чемъ, въ грязнййшемъ трактирй. Бытьможеть вамъ подумается, что такая матерія не займетъ васъ. Увйряю, что займетъ, и даже очень.

Сказано уже: куда, по какому случаю и зачёмъ именно пошелъ я. Такъ вотъ иду я, а на дворѣ осенняя ночь, знаете такая ночь, которая дѣлается въ несказанное количество разъ пріятнѣе и усладительнѣе, когда ел частый и мелкій, какъ изъ сита сѣющійся дождь, падаетъ не на циммермановскую шляпу и не на боберъ рубликовъ эдакъ въ полтораста съ чѣмъ-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся такъ-сказать отъ лѣтняго сезона, — когда этотъ дождь хлещетъ васъ прямо по разгорѣвшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротникъ вигоневаго мѣшка, пріобрѣтеннаго за четыре рубля у парикмахера Борисова, который, какъ свидѣтельствуютъ Полицейскія Вюдо-

мости, живетъ на Лубянкъ въ домъ духовной консисторіи.

Не могу не сказать здёсь въ скобкахъ, какъ пріятно имъть дъло съ симъ чародъемъ, могущимъ снабжать смертныхъ пальтомъ за четыре рубля, потому что купленная у него покрышка главнымъ образомъ и располагаетъ къ надлежащей оценкъ прелестей осеннихъ ночей. Покрышка эта имъетъ почему-то способность дълаться еще болье жалкою въ такую пору. Она, говорю изъ собственнаго опыта, будитъ уснувшую можетъ-быть на это время злость, располагаетъ къ подлымъ помысламъ о томъ, какъ бы купить сапоги не на толкучкъ, а у мосье Пироне, пріобръсть пальто не изъ мастерской Борисова въ домъ духовной консисторіи, а отъ Боргеза, или Айэ, зазываетъ въ голову мысль о томъ, почему еще не сдълано тобою ничего такого, что бы стоило дороже того оборваннаго трепья, которое въ настоящее мгновеніе почти уже готово сползти съ невыносливыхъ

И въ колеблющихся волнахъ ночного мрака, какъ бы какія живыя картины, освъщенныя бенгальскимъ огнемъ, возстаютъ по этому поводу въ задумавшейся головъ мучительныя думы о невыносливыхъ плечахъ, о погибшихъ жизняхъ, объ обманутыхъ надеждахъ. Къ самой груди пригнетъ голову эта тяжесть, и идешь, не примъчая, какъ ръзкій вътеръ, забравшись къ тебъ въ самую душу, дотерзываетъ тамъ источенное различными червями существованіе, — идешь, не чувствуя на лицъ хлестанья крупныхъ дождевыхъ капель, и не

видя того тусклаго, унылаго свъта, которымъ уличные фонари освъщаютъ унылый путь.

Такимъ-то образомъ шелъ я и думалъ по поводу борисовскаго издълья, висъвшаго на мнъ, до тъхъ поръ, пока обильно лившіеся изъ оконъ *Крыма* огни не освътили мнъ широкой площади Цвътнаго бульвара.

Мои собственныя думы всегда и в м в ють, лишь только я ступлю на эту площадь. И въ настоящій разъ он в м в по он в при вид в несчастья, которое обыкновенно снуеть по Цв в тному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата и пугающимъ хохотомъ челов в ка, ставшаго въ уровень съ безсловесными животными....

Опьянъвши отъ одного уже взгляда на *Крымъ*, я ерундисто начинаю разсуждать о тъхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, которыя бы могли положить конецъ несчастью Цвътной площади, но обстоятельствъ этихъ ничуть не видълось мнъ во мракъ осенней ночи.

Кто имѣетъ право любить выпивку, тотъ вполнѣ пойметъ съ какимъ неописаннымъ наслажденіемъ юркнуль я, послѣ помянутаго похода, въ глубокое крымское подземелье, гдѣ непремѣнно должна закружиться всякая голова, если она имѣетъ хоть немного желанія и причинъ закружиться.

Пятнадцать или можетъ-быть десять ступеней, которыя ведутъ въ рекомендуемую мною могилу, не великая бѣда. Мы пройдемъ ихъ, если не безъ толчковъ, за которыми, по пословицѣ, не угоняешься, по крайней мѣрѣ безъ особенныхъ приключеній.

- Господъ ужь сталь сюда чортъ носить! съ зло-

стью бурлить какая-то толстая колонна съ большой черной бородой, выкатываясь снизу на встръчу къ намъ.

Избави васъ Богъ спрашивать у колонны, что ей за дѣло до вашего визита въ *Крымъ*: на дворѣ такая темная ночь...

- Извощикъ! кричитъ молодой парень, видимо мастеровой. Что возъмешь на Дъвичье поле? Тамъ ты меня подождешь, примъромъ пять минутъ, съ Дъвичьяго поля на Покровку, тамъ тоже пять минутъ, съ Покровки къ Сухаревой и духомъ назадъ.
- Што взять-то? спрашиваетъ одинъ дядя изъ цълой толны извощиковъ, облъпившихъ *Крым*ъ своими калиберами. — Давай цълковый.
- Облопаешься неравно! съ укоризной предполагаетъ молодой парень.
 - Сколько же дашь-то?
 - Сколько дамъ-то?
 - Да! Сколько отъ тебя будеть?
- Трынку! съ хохотомъ отвъчаетъ парень, быстро сбътая въ подземелье.
- 0-ой, батюшки! Шлею съ лошади въ одну минуту сняли! кричитъ кто-то за трактирнымъ угломъ.
- Вотъ намъ и чай! продолжаетъ хохотать промелькнувшій сейчасъ парень, затворяя за собою визглявую трактирную дверь.
- А-а, чортовъ сынъ, попался! Мы тебъ дадимъ таперича, какъ у своихъ извощиковъ шлеи воровать!

Вслъдъ за этими словами слышатся глухіе удары обо

что-то, будто кто въ пустую бочку для своего удовольствія колотиль собственнымъ кулакомъ. Подумать впрочемъ, чтобы это били человъка - нельзя было, потому что человъкъ тотъ по всъмъ сображеніямъ, непремънно долженъ былъ закричать отъ этихъ ударовъ.

- Што туть такое? вопрошаеть басистый начальственный голосъ, очевидно припадлежащій городовому.
 - А вотъ шлею укралъ.
- Кто жь это? -- Хто? Извъстно хто! Все Евланька Фувлыга бъдокурить подвижно са вознашенномутьский диново
- А! строго вскрикиваетъ басистый голосъ. Такъ ты опять у своихъ воруешь?...

И замолишіе-было удары раздались съ новой силой.

- Брось его, судырь! просятъ ундера уже сами извощики. — Отойди ужъ ты лучше: мы его безъ тебято своимъ судомъ прокладнъй отдълаемъ...
- Глядите вы у меня, чертоломы! Душу што-быне тово.
- Што- она-амъ ду-у-ша? За-а-чъмъ намъ ее? отввчаль кто-то, судя по тону голоса, къ чему-то напряженно прикладывающій руки.
- Батюшки, отпустите! Голубчики, духъ у меня совству займется!...
- Завопилъ, небось! Мы те, ворище, не такъ раздробимъ!

Ночью гораздо больное, нежели днемъ дойствуютъ на душу такіе крики: такъ зло моргають уличные фонари, слушая ихъ, и ктому же ночью небо такое сърое, такое безучастное повисло надъ ними!

Вы какъ-будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назадъ. Напрасно! Она въ моихъ глазахъ заключаетъ въ себѣ тотъ ароматъ національности, который всегда притягиваетъ меня къ Крыму, какъ пахучая гречиха притягиваетъ къ себѣ работницу—пчелу.

Повинуясь этому тяготънію, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжанье роковаго блока, достойно приготовляетъ нервы къ безболъзненному воспріятію сценъ, разъигрывающихся въ оригинальномъ подземельи.

Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густаго и однообразно-пахучаго воздуха не вдругь по-казываютъ посътителю частности русской оргіи. Онъ повисли надъ новымъ человѣкомъ плотною тучей, какь бы пристально осматриваютъ его, желая прежде узнать, рожденъ ли онъ съ способностью участвовать въ укрываемой ими кашъ, или нътъ.

Кто благополучно проминетъ этотъ осмотръ, тотъ пусть смѣло идетъ дальше: оргія уже не испугаетъ и не оглушитъ его своимъ дружнымъ и никогда не прерывающимся ревомъ. Надо впрочемъ сказать, что и такой счастливой головищѣ покажется на первый разъ, что этотъ тысячезѣвный шумъ происходитъ не отъ множества людей, крутящихся въ подвалѣ, а что самый подвалъ этотъ, его толстыя сѣрыя стѣны, его маленькія грязныя оконца, его закопченные потолки и

мебель, газовые рожки, торчащіе на стѣнахъ, и длинноногіе, столовые подсвѣчники: все это, какъ что-то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось къ нему на встрѣчу и заорало этимъ могучимъ гуломъ.

Но, говоря объ этомъ вакхическомъ вихрѣ, я или долженъ лить воду для того, чтобы не услышать упреки въ излишнемъ лиризмѣ, или, разсказывая о томъ, какъ подъ мрачными сводами харчевни экстатически бъсновалась пъсня солдатскаго хора, какъ сіяли лица, пъвшія и слушавшія ее, какими сердечными воплями радости и наслажденія отзывалась русская природа свочить роднымъ мотивамъ, я сгорю въ пламенномъ ливнъ жгучихъ фразъ, который неизбъжно польется съ губъ моихъ, когда я отдамся изображенію этихъ, исполненныхъ неудержимой страсти и невыразимаго своеобразія, сценъ.

Но что мий за дёло до людских попрековъ, отъ которыхъ ушелъ я сюда. Развъ они не помогутъ мир забыть все на свътъ—эти скорбномогучие мотивы родной пъсни?

Вотъ они всего заливаютъ меня! Ого! Какъ здорово выноситъ ихъ кръпкая солдатская грудь! Бубенъ, такъ и тотъ ничуть не заглушаетъ, ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо-терпъливо тянетъ:

«Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся, Во гроз-на му-жа вцъп-лю-ся!»

ни горячихъ переливовъ заносистаго тенора, съ злостью подхватывающаго:

«Во грозна му-жа вцвп лю-ся, На смерть раздеруся!»

и фистула тутъ же — этотъ кудрявый, бълокурый, маленькій кантонисть. — Господи! какими грустными, какими раздирающими тонами покрываетъ весь хоръ его серебряный голосъ:

«О-о-о-охъ! На смерть раздеруся!»

А опять: этотъ черный кузнецъ-плясунъ, въ пестромъ халатъ въ сапожныхъ обръзкахъ на босую ногу, въ истасканной фуражкъ на бъдовой головъ, — какъ это онъ бойко и выразительно плеснуль въ толпу своими черными глазами, какъ незаученно-ловко стукнуль о поль толстой подошвой, когда хоръ дружно грянуль изо всъхъ грудей заключительную строфу: -ответительный «На смерть раздеруся!»

Оглушительный вскрикъ тенора, слившись съ трелями колокольчиковъ бубна, закончилъ пъсню. Весь Крым бъсновался до неистовства. Одинъ молодчина упалъ на четвереньки и ревъль отъ наслажденія, какъ дикій зв врь:

— А-а-атлична! подать солдатамъ водки на пять цълковыхъ!...

eran dispersionante un Atlantitud de Referi don la Larburg many marchines deporting grant and the children and

the representative descriptions and the contract of the

design harberry are dimension when different all

Только-что спётая пёсня еще пуще разожгла оргію. Новыя толпы ввалились въ подземелье. Вскорё между прибывшими гостями и гостями старыми завязались драки изъ-за столовъ. Четвертаки за одну только очистку сидёнья давались безспорно даже такими людьми, которые, судя по ихъ жалкимъ отрепьямъ, четвертака во спё никогда не видали. Какъ собаки по стаду, метались половые въ публикѣ, усмиряя ея порывы; городовые, строго покручивая рыжіе усы, тоже маршировали по заламъ, какъ бы высматривая что-то; но ничто не усмиряло публику. Она отдалась вліянію полночнаго кутежа и, нисколько не стёсняясь рыжими усами, могуче бурлила.

— Што, дяденька, ходишь? Ай тятеньку съ маменьной высматриваешь? спрашиваетъ у ундера молодой мастеровой, съ красной, какъ огонь, физіономіей, съ игриво-горящими глазами. — Не бывали еще тятинька съ
маменькой. Вотъ мы таперича безъ нихъ и погуливаемъ.
хорошо погуливаемъ? а?

Ундеръ бросаетъ на парня взглядъ исполненный са-Моск. нор. и трущ. 17 маго магнетическаго сурьеза и приказываетъ ему посократить бездълицу горло-то, на томъ основаніи, что онъ еще сосунокъ, котораго изъ трактира слъдуетъ по затылку турить.

- Ты-то старъ ли? спрашиваетъ мастеровой ундера.
- Я-то старъ, съ сознаніемъ собственнаго достоинства отвъчаетъ полицейскій.
- Постаръе тебя у насъ на селъ кобели важивались, одначе же мы имъ хвосты знатно гладили.
- Это точно! подхватывають съ хохотомъ на другихъ столахъ: Гляди какъ бы и тебъ не погладили хвоста-то, а то онъ у тебя съръ что-то, хвостъ-отъ.

Ундеръ въ немаломъ конфузъ ретируется въ другую залу, стараясь однакоже такъ устроить свое отступленіе, чтобы оно вслухъ говорило, что мы, дескать, грубостевъ такихъ не разслышали, а то бы бъда была...

- Напрасно вы къ этому ундеру, господа, своихъ рукъ не приложите, говорятъ нъкоторые кринолины: Мущина самый что-ни-есть необразованный и гордый.
- Что ушло, то не уплыло! отвъчають господа кринолинамъ. Попадется въ руки, натерпится муки.

Между тёмъ великосвётскія манеры моего случайнаю знакомаго неимовёрно бёсили меня, потому что чёмь дольше сидёли мы съ нимъ въ зловонномъ трактирь, тёмъ больше онъ пропитывалъ харчевенную атмосферговоими тончайшими духами, такъ что самые нахальные крымскіе глаза безъ какого-то смущенія и дажь какъ будто-бы страха не могли выносить блеска опам въ его золотой булавкё, и въ то время когда, каза

лось, самыя стёны подземелья хотёли лопнуть отъ шумнаго скопища, тискавшагося въ немъ, около нашего стола непонятнымъ образомъ былъ нёкоторый просторъ.

«Чортъ его побери совсѣмъ!» злобно думалъ я про моего элегантнаго друга: — угораздитъ же человѣка, одѣтаго въ такую изящную жакету, въ галстукѣ котораго блеститъ, наконецъ, такое сверкающее произведеніе Фульды, затесаться въ Крымъ. Кажется, мнѣ придется хорошенько раскровянить его.»

И, клянусь вамъ, раскровянить этого молодца непремѣнно бы слѣдовало, потому что его барство до крайности напугало присъвшаго къ нашему столу стараго солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видълъ, что солдатъ, также какъ и я, съ большимъ удовольствіемъ събздиль бы въ физіономію къ баричу. Не смотря на мои поздравленія съ поднесеньевымъ днемъ, которыми я хотълъ расположить воина въ усердной выпивкъ, онъ весьма неръшительно и съ большимъ сумнъніемъ опоражнивалъ рюмки, видимо стараясь улизнуть отъ насъ, и если что-нибудь удерживало его отъ исполненія этого желанія, такъ опять-таки опасеніе, чтобы франтоватый баричь не учиниль съ него за это бъгство какого-нибудь строгаго взыска. Видя такое фальшивое положение, въ которое компаньонъ мой, хотя можетъ-быть и неумышленно, становиль солдата, я съ каждой минутой все больше и больше уподоблялся бульдогу: въ моей груди довольно громко послышалось обыкновенное у меня въ подобныхъ случаяхъ хриплое ворчанье, потому что на людей, имъющихъ возможность устраивать другимъ положеніе въ родъ такого, въ какомъ былъ отставной солдатъ, я не могу смотръть безъ самой бъщеной злобы. Это мой недостатокъ, и говорить мнъ про него ръщительно не слъдовало бы, но надобно же наконецъ карать общественные пороки. Я и караю ихъ въ моемъ собственномъ лицъ.

Обвиняйте сколько угодно мой эгоизмъ, ежели вамъ это понравится, но въдь я зачъмъ прищелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ тою цълью, чтобы смотръть цълую ночь многоразличные виды на шего русскаго горя, чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь въ болъзненномъ нытъъ сердца, не могущаго не сочувствовать сценамъ людскаго паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бъснуясь больною душой, которая видитъ, что и она также гибнетъ, какъ гибнетъ здъсь столько народа.

 вдобавокъ какъ бы на зло старающаяся показаться еще приличние.

— Развъ онъ не мъшаетъ тебъ? нашентывало мнъ что-то, до-нельзя ощутительно засъвшее въ моей груди подъ самой ложечкой.

«Я отойду отъ него: онъ мнѣ дѣйствительно мѣшаетъ», отвѣчаю и шопоту.

— Отойдешь? презрительно вскрикнуло что-то въ груди у меня. «Вотъ такъ воитель! Ха-ха-ха!» раскатывается оно звонкимъ хохотомъ, покрывшимъ собою всё крымскіе голоса.

Мнъ казалось, что всъ слышать этотъ хохотъ и будуть смотръть на меня. Съ какою-то стыдливою боязнью я поникнулъ на столъ головою, чтобы не видъть ожидаемаго взгляда.

— Вотъ такъ воитель! повторяло выскочившее изъ моей груди какое-то маленькое существо въ родъ козлика, быстро прыгая по стаканамъ и рюмкамъ, наставленнымъ на столъ. «Тутъ не отходить нужно, а сцъпиться нужно—съ нимъ на смерть. Либо тебъ либо ему! Вотъ какъ сцъпиться, чтобы другіе къ вашей дракъ и подступиться боялись?»

«Да за что же я драться съ нимъ буду?» спрашивалъ я козлика, какъ бы умаливая его, чтобы онъ не наказывалъ меня, въ случаъ, еслибы я не сталъ драться.

— Какъ за что? азартно кричалъ на меня бъсенокъ: — Не видишь развъ какъ этотъ франтъ издъвается надъ крымскою грязью? А ты самъ развъ не та же крымская грязь? Ну-ка размахнись во всю руку, да царанни его хорошенько. Видишь, какъ онъ булавкой своею заслъпилъ всъхъ, какъ всъ сторонятся отъ нашего стола? Ты, впрочемъ, можетъ, думаешь, что онъ лучше Крыма?»

«А ежели крымскую грязь отстраняеть отъ этого господина не одинъ блескъ его булавки, возражаю я моему искусителю: все еще лежа на столъ, но и...»

Бъсеновъ не далъ докончить миж мою ръчь.

— Ахъ ты, шутъ гороховый! заораль онъ на меня: своимъ произительнымъ голоскомъ: — Ну договаривай но и нъчто магнетическое, пожаромъ горящее въ черныхъ бездонныхъ глазахъ величественнаго незнакомца, потрясло до самаго основанія дикую толпу невъжественной черни...—Пьяный паясъ! въ крайнемъ гнъвт ругало меня маленькое существо: — Когда перестанешь ты такъ пошло лиризировать?

Разозлившись въсвою очередь на чертенка, я бросился ловить его, но онъ, какъ молнія, леталь по залитой виномъ салфеткъ и съ насмъшливыми гримасами ораль мнъ:

- Какой же ты Иванъ Сизой, когда неможешь дать трепки этому барину? Ты послъ этого просто-на просто негодная дрянь, а не Сизой.
- Ну, господа, звучалъ въ мои уши чей-то толстый басъ: — баринъ-то, надо полагать, до чертиковъ тюкнулъ. Вишь пальцами-то какъ перебираетъ. Представляются теперь ему черти-то: вотъ онъ ихъ и ловить.

Въ моей головъ, чувствовалъ я, будто бы птица въ

клъткъ, билось и трепетало что-то. Я старался увърить себя, что это пройдетъ и продолжалъ гоняться за ругаъщимъ меня чертенкомъ.

- Было насъ трое братьевъ у батюшки, слышался мнъ чей-то голосъ: — а батюшка у насъ по старой въръ былъ, и всъ мы тоже по старой въръ. Годовъ тридцать тому ужъ прошло. Выучиль насъ братьевъ читать одинъ старецъ. Ну и пошли братья по своей торговив, а я къ книжкамъ очень припалъ. Такая тоесть охота учиться у меня была, - ночи бывало не сплю, думаю: какъ бы это мнв книжку получше достать. Только познакомься я въ это время съ студентомъ однимъ, - все онъ у насъ въ лавкъ чай и свъчи покупалъ, — видитъ онъ такую мою охоту къ ученью и говоритъ: «Безпремънно вамъ надо въ университетъ поступить, потому способности имъете чудесныя.» — «Тятенька, говорю я отцу, послъ такихъ ръчей: — наймите мнъ учителя, потому я въ университетъ поступить имъю желаніе.» Какъ же со мной поступиль тятенька? Взялъ меня, обратилъ лицомъ къ двери и швыркомъ на крыльцо бросилъ. «Вотъ, говоритъ, чтобы нога твоя на мой порогъ не ступала.» Только все же я отъ отъ швырка того горбы теперь и на спинъ и на груди имъю... Не сробълъ я однако. На своей воль, думаю, еще свободнье мнь будеть свое удовольствіе сділать. Торговать сталь, и на пятый годъ въ двадцати тысячахъ былъ. Узналъ про это отецъ, напустиль на меня людей, которые со мной тяжбу затъяли и въ какой нибудь годъ, таскаючи по

судамъ, совсъмъ меня разорили. Пришло дъло въ концу, я опять принялся и опять разбогатълъ. Только и тутъ отецъ мнъ не далъ спокою, опять разорилъ, потому капиталы у него и знакомство вездъ. Не всякій съ нимъ сладитъ. Да такъ-то онъ меня, судари мои, три раза съ корнемъ вонъ вырывалъ! Въ четвертый я ужъ и пробовать не сталъ. За одно, молъ, погибать-то!..

«Совсѣмъ позабылъ, кто написалъ эту пѣсню!» думаю я про себя, потому что во время этого разсказа разстроенная шарманка наяривала какіе-то мотивы, какихъ я отъ роду не слыхалъ.

«Я донской казакъ, Въ тяжкій плънъ попаль.»

уныло напъвалъ кто-то, должно быть подлъ самаго нашего стола.

«Да! такъ это донской казакъ написалъ эти стихи», припоминаю я, и чувствую, что мнъ очень хочется спать.

— Слышалъ? спрашиваетъ меня чертенокъ, балансируя на посикъ чайника.

«Слышалъ», отвъчаю я.

— Что же не быешь?

«He mory».

- Да выпейте стаканчикъ водицы, пожалуста! упрашивалъ меня отставной солдатъ.
- Ей-Богу. Сразу бы васъ отпустило!
- И воды не могу.
- Да вы поневольтесь.

«Не можешь? Такъ-таки и не ударишь?» настойчиво пристаетъ ко мнъ миніятюрный козликъ.

«He mory.» If you add the area and some a many or the

— Пьяный шуть! кричить онъ мнё и, уклоняясь отъ моего порывистаго за нимъ движенія, быстро перелетаєть съ носа чайника на газовую трубку надъ моей головой. Я бросаюсь за нимъ къ гасовой трубкъ, но онъ уже, видимо для меня, обратился въ синій летучій дымъ, который насмёшливо колебался въ своемъ полеть къ мрачному трактирному потолку на высотъ недоступной для моего роста.

Бурный трепакъ бушевалъ между тъмъ въ залъ. Въ одно и тоже время мнъ страшно хотълось и смотръть на этотъ трепакъ и поймать чертенка, но почувствовавъ наконецъ, что ни одно изъ этихъ желаній исполнено быть не можетъ, я горько заплакалъ...

- Не мог-гу! въ разъ отвъчаю я и солдату, усиленно подчивающему меня холодной водой, и самому себъ, когда лихая дробь низалась мнъ въ уши и сманивала вскочить со стула, крикнуть изо всъхъ легкихъ: браво! и выръзать съ плясуномъ по злъйшему стаканищу.
- Какъ же мы, какъ мы жить съ тобой будемъ? спрашивалъ тоскливый женскій голосъ. Вѣдь онъ меня, баринъ-то, самъ сюда подвезъ. Вотъ, говоритъ, теперь твое мѣсто, а мнѣ ты не нужна больше.
- Это намъ единственно все равно, смѣло отвѣчалъ кто-то на этотъ голосъ. Потому какъ съ самаго того дня, какъ тебя къ барину на сѣни взяли, а меня по оброку угнали, ни разу ты у меня изъ ума не выходила.

- Въдь дъла-то дълать, продолжала женщина: я ни одного не умъю, кромъ какъ чай по цълымъ днямъ пить, да платья дорогія носить. Я тебъ, голубчикъ ты мой, большой тягостью буду, пока по работъ не привыкну ко всякой.
- Объ эфтомъ ты некрушись! Помаленьку привыкнешь.

Маленькій чертенокъ вытянуль въ это время ногу свою такъ длинно, что съ потолка досталъ ею до моей головы. Поталкивая меня ногой и въ голову и въ спину, онъ съ какою-то презрительною злостью спрашивалъ меня:

— Пьяное животное! И тутъ не ударишь?

«Не видишь развъ, что не могу? Отстань!» мысленно только могъ отвъчать я ему, потому что языкъ мой не ворочался, отъ чего я зарыдалъ сильнъе прежняго.

Впрочемъ, не отъ одного только отсутствія надлежащей силы въ языкъ моемъ рыдалъ я. Все, что только могъ я разслушать изо всего этого гула, издаваемаго крымской ватагой, непремънно были только однъ рвавшія душу жалобы на горькую участь.

Вотъ передъ нами маленькая безобразная старуха, давнымъ-давно обрусъвшая Полька. Въ ней ръшительно иътъ слъдовъ человъческаго образа: такъ передернули и изморщинили лицо ея звърскія нужды.

— Будетъ, бабушка, показывать тебѣ виды Берлина и Лондона, Баденъ-Бадена и Ниццы, ты лучше разскажи намъ, какъ ты сама очутилась у насъ.

Дрожить и трясется старуха, принимая угоститель-

ную рюмку. Обрадовалась она доброму случаю, дающему ей возможность хоть насколько времени покипать старымъ, охладалымъ таломъ.

 Вотъ здъсь родилась я, начинаетъ она свой разсказъ, и подводитъ къ своей панорамъ, гдъ, освъщенная тусклой сальной свічей, показывается гордая Варшава - Пустите-ка, пустите-ка, я сама посмотрю: давно не видала, — и старуха внивается глазами въ родную картину. — Мати-божія! вскрикиваеть она. — Какъ хорошо здъсь было! Я забыла сколько времени прошло тому, прибавляетъ бъдная въ тяжеломъ недоумънім, какъ-будто до настоящаго мгновенія она върно помнила длинный срокъ того времени, а теперь вдругъ забыла. — Навхали въ эти мъста жолниржи ваши, а я тогда красавицей была: всъхъ огнемъ палила. Маленькая такая, черная, — старуха становится въ бойкую позицію и показываеть, какая она была маленькая, черная, какъ она всъхъ огнемъ палила. — Увезъ жолниржъ и бросиль! грустно повторяеть она такимъ тихимъ, молодымъ голосомъ, который всякому воображению непремънно представилъ бы, какъ ее, граціозную и полную страсти, увозили тогда паны-жолниржи на свою потеху и ея страданье.

Обыкновенная исторія; но не понимающіе эффектных драмъ люди отовсюду говорять старух в:

- На-ка-сь тебъ, бабушка, семитку.
- Поди я тебъ покажу нашу Варшаву, благодаритъ старуха.

⁻ Рюмочку, старушка, поди пропусти.

- И теб'в покажу. Погоди только немного. Что, лучше, небось, Москвы-то?
- Москва, бабушка, прямо тебъ сказать, не въ примъръ лучше Аршавы.
- Папиросочки не хочешь ли? спрашиваетъ у Польки кринолинъ, внимательно слъдившій за ея разсказомъ.
- Не курю я ихъ, милая. Тогда дъвушки не курили, а у васъ не привыкла.

Кринолинъ конфузится.

- На вотъ, бабушка-голубчикъ, продай кому-нибудь, и при этомъ кринолинъ въ сильномъ замъщательствъ суетъ старухъ потертый бумажникъ. Я вотъ только папироски выну.
- Самоё, надо полагать, кто-нибудь также обмануль, воть и разжалобилась, говорить закутившая чуйка.— Сейчась умереть, я теперича эту самую дёвку всёмь сердцемь моимъ возлюбиль!.. Эй, милая, сядь-ка къ намъ, воротись!

Кринолинъ послушно возвращается къ столу кутилы и садится.

- Можешь ли ты понимать честь? спрашиваетъ чуйка дъвушку.
 - Могу, отвъчаетъ она безъ запинки.
- Такъ ты ее и понимай! А съ нонъшняго дня даю тебъ содержанья десять рублевъ кажинный мѣсяцъ. Донскова!
- Чудесно! лютуютъ припъвалы. Андрей Ильичь, уважь, милый человъкъ, попляши.

 Умѣешь плясать? спрашиваетъ у дѣвушки раззадоренный Андрей Ильичъ.

Еще бы не умъла плясать крымская старостиха, эта Волга-дъвка, увънчанная стразовой діадемой!

- Ярославка што ли? спрашиваетъ Андрей Ильичъ, ухорски драпируясь для предстоящей пляски своею синею чуйкой.
- Оттуда были, отвъчаетъ старостиха, воодушевляясь лихими манерами Андрей Ильича.
 - Ну, мы съ Дона!

Густая толна окружаетъ ихъ.

- Валяй Спирю почаще! кричитъ Андрей Ильичъ музыкантамъ, и при первыхъ колѣнахъ его, въ воздухѣ повисли и дружный хохотъ и загвоздистая похвала.
- Даша! Не выдай московскихъ-то! умоляетъ старостиху оборванный кузнецъ, первый крымскій плясунъ, въ сапожныхъ обръзкахъ. — На свою сторону прівдетъ, хвастать будетъ: никто-то де его не переплясалъ у насъ, поощрялъ онъ Дашу, дрожа и зимирая въ лихорадочномъ волненіи.

Гикаетъ и гогочетъ, какъ казакъ въ бою, Андрей Ильичъ, и за нимъ всъ гикаютъ и гогочутъ, потому что, ровно огненный змъй, жжетъ и палитъ онъ всъхъ своею жаркою пляской степною. Въ присядку сълъ онъ такъ-то и кружитъ, кружитъ и соловьемъ голосистымъ свиститъ. Полштофъ цълый по самымъ маленькимъ рюмкамъ одному можно было бы разобрать въ то вреия, какъ онъ козловыми каблуками крымскій полъ бороздилъ. А она, старостиха-то, все голубкой, го-

лубицей такой ласковой выется около него, словно съ крыльями.

- Гдъ такая дъвка родилась? кричатъ.
- Э-эхъ, кабы не бъдность!

А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась ви лась такъ-то она, да платьемъ своимъ голову казачью кдругъ всю и закрыла, и посмъивается.

Тутъ и вспомнилъ Kpыль, что это за мужикъ такой Спиря, смъшливый Спиря мужикъ: всякому онъ норовитъ ногою носъ утереть.

Близкимъ громомъ загремълъ *Крым*ъ, когда вспомнилъ про Спирю.

- Воть онъкакой, Спиря-то! ореть двадцать голосовь.
 - Тутъ, братъ, огнемъ не возъмешь!
- А возьмешъ тутъ смѣшками.
 - Въррно! Молодецъ Даша!
 - Дашка лучше сплясала.
- Истинно лучше! шумно соглашается съ толпою козакъ. Только же не можетъ женщина ничего лучше нашего брата сдълать... Валяй степную, братцы! кричитъ онъ музыкантамъ: На барыню переворачивай!

Замерли всв. Тишь какъ въ могилъ стояла, когда первая скрипка на квинтъ потянула свое протяжное вводное: и-и-а-ахъ!..

Молніей сверкнуль на струнь первый слогь огненной пъсни. Дружно подхватили его другія скрипки, контробась и звонкія флейты; но всъхъ ихъ заглушиль своимъ ахомъ запылавшій Андрей Ильичъ, — и пошелъ... Сыплется частая дробь, будто осенній дождикъ въ стекло, воетъ Андрей Ильичъ неудержимымъ вътромъ степнымъ и претъ въ толпу черными глазами, такъ что пыханіе у всъхъ захватило, страхъ обуялъ.

- Ступнуть не дамъ, дъвка! злобно и страстно кричитъ онъ уничтоженной Дашъ: Съ бълаго свъта, какъ былинку сдую.
- Братцы! умоляетъ кузнецъ плясунъ, кричите скоръе: ура!
 - Ур-р-ра-а! берутъ въ разъ сто грудей.
 - У-р-ра-а! подхватываютъ сидящіе за столами.

И летить это ура, какъ какая грозная буря, въ другую залу, увлекая за собою все дышащее въ трактирѣ, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздухъ и, здѣсь схваченное извощиками, пронизываетъ собою густой мракъ осенней ночи, и наконецъ тихо улегается на липовыхъ вершинахъ сосѣднихъ бульваровъ, распугивая усѣвшихся на нихъ грачей и воронъ...

- Тише, господа, пожалуста, потише, уговариваетъ публику съдой прикащикъ: Полиція пожалуй придетъ, что толку?
 - Поди ты, старый чорть! азартно отвъчають ему.
- Ласточка ты моя! нёжно говориль старостих в Андрей Ильичь. Ужъ гдё тебё тягаться со мной? потому врядъ ли кто на семъ свётё и можетъ со мной потягаться...

Старостиха, слушая его, была такая смирная, такая ласковая.

ACCORPORATE TO THE PARTIES OF THE PROPERTY OF THE PARTIES OF THE P

The day of the control of the contro

AN ANADAM THUMS

Все дѣло, слѣдовательно, въ моихъ глазахъ, по крайней мѣрѣ, остановилось на слѣдующемъ: Крымъ бѣсновался и неистовствовалъ, мой пріятель свысока смотрѣлъ на этотъ спектакль, а я, облокотясь на столъ, рыдаль болѣзненно о всемъ Крымъ и злился на пріятеля.

Но это громовое ура, сейчасъ только огласившее своды харчевни, разбудило меня, и я съ стыдомъ примѣтилъ, что ни къ рыданью, ни къ злости, повода у меня самого даже коротенькаго не имѣлось, ибо все шло своимъ чередомъ и, ежели изъ всей этой сумасшедшей толпы, включая въ нее и моего пріятеля, былъ ктонибудь не нормаленъ, такъ одинъ только я, ловившій своего чортика.

Мой случайный знакомый, на мой вопросъ: кто онъ, когда, и гдъ я съ нимъ встрътился, благодушно увърилъ меня, что онъ будто бы одинъ изъ шести московскихъ корреспондентовъ Санктпетербургскихъ въдомостей,

а также имѣетъ основаніе думать, что будетъ вызванъ сотрудничать въ Голось, что наконецъ онъ пріѣхалъ въ Крымъ съ цѣлію запастись въ немъ мотивами для передовыхъ статей въ эти газеты.

- Вы, можетъ-быть, Ботиковъ? спращиваю я его, желая короче познакомиться съ человъкомъ такой блистательной дъятельности.
- Нътъ! отвъчалъ онъ, мотая головой и видимо пьянъя.
- Дивово можетъ-быть?
- И не Дивово! отвергаетъ онъ, радостно всхлипывая. Я Восходящее Солнце! Вотъ мой псевдонимъ.
 Настоящее же мое имя не должно быть извѣстно никому, потому что я намѣренъ затрогивать такіе вопросы... о такихъ общественныхъ ранахъ я буду заявлять на столбцахъ нашихъ уважаемыхъ газетъ, о
 которыхъ до сихъ поръ не плакалъ ни Николай Филипповичъ Павловъ, ни нашъ тамбовскій гегеліянецъ, фонъЧичеринъ, съ азартомъ уже совершенно пьянаго человѣка оралъ онъ такъ громко, что я не могъ не сказать
 себъ:
- Однакоже этотъ шутъ любопытенъ! Посмотримъка на него попристальнъе, и если онъ составляетъ рану
 на нашемъ общественномъ тълъ, постараемся заявить
 объ немъ на столбцахъ нашихъ, хоть не уважаемыхъ
 газетъ.

Увы! Къ крайнему моему огорченію, франтъ оказался даже не раной, а просто прыщомъ. Навязавшись на знакомство съ ухорскимъ Андреемъ Ильичемъ, Восходя-

Моск. нор. и труш.

щее Солнце ломалось самымъ пошлымъ манеромъ, ста-

- Какая здоровая натура! въ пьяномъ экстазъ говорило мнъ Солнце про Андрея Ильича. И старостиха тоже здоровая натура. Ее надо поднять, непремъню нужно возвысить, такъ-сказать... Это наша прямая обязанность, и, воодушевившись, онъ подарилъ старостихъ свою изящную золотую булавку.
 - А ты мий, какъ хочешь, Андрей Ильичь, а на платье на хорошее подари, говорила старостиха Андрею Ильичу, потому какъ только имий я шолковое платье, коси малина! Минуты бы одной въ Крыми не пробыла...
 - Пре-е-красно! мямлило Восходящее Солнце. Возвратись, старостиха, непремънно возвратись къ прежнимъ мирнымъ занятіямъ, на путь добра и чести...
 - Ахъ ты, кобылятникъ! ласково выругала совътника старостиха, предполагая что онъ своими шутками хочетъ ее привести въ конфузъ.
 - Какая, Федичка, вчера исторія случилась, такь по издивиться должень! разсказывала совершенно из немогшему мастеровому толстая женщина въ фантастической повязкъ. Часа въ два ночи спимъ мы такь то, вдругъ въ окно забубенили. «Есть?» спрашивають. «Есть!» говоримъ. Поъдемъ, да живъе у меня собираться, а то, говоритъ, раму вонъ выколочу. «Прівъзжаемъ въ одну гостинницу, пьяные всъ, лыко не вяжутъ. Только какъ я теперича всю политику произошла, знаю ужь, что попросту безъ затъй обходиться

съ ними лучше будетъ, и говорю имъ: «Што же, молъ, вы, подлецы эдакіе, привезть привезли, а водкой не подчуете?» Какъ тутъ бросится одинъ на меня съ столовымъ ножищемъ. «Я тебъ, говоритъ, тварь ты эдакая, дамъ ругаться!» А другой, съ такой ли бородищей большою, на него заоралъ: «Не смъй, шумитъ, трогать ее, она женщина!» Кричали, кричали они такъто, кулаки-то другъ на друга насучивали, насучивали, только заступникъ-то нашъ схватилъ пистолетъ со стънки, да и бацнулъ въ пріятеля. Слава Богу что не попалъ! «Моли Бога, говоритъ, что не попалъ я въ тебя, а мои убъжденія честны.» Долго я надъ ними смъялась. Вотъ, думаю, дураки-то необузданные! Только вслухъ я этого не сказала имъ, потому очень ужь азартны.

- A хочешь, я тебя изобью? спрашиваль разскащицу мастеровой, приходя почему-то въ бъщенство.
- Ну ужь это не хочешь ли вотъ чего? въ свою очередь спросила разскащица, показывая кукишъ.
- Уйди, баринъ! шумълъ на Восходящее Солнце Андрей Ильичъ. — Не твое здъсь мъсто.
 - Какъ ты смъсшь такъ говорить со мной?
 - Такъ! Не мъщай вотъ и все тутъ.
- А какъ я тепеіица съ гусаемъ по нацаю зія, раздавался картавый, охрипшій голосъ изъ другаго Угла, хаясо тогда бія! Ми съ гусаемъ въ обцество вззиваи, а въ обцествъ, бивая, цяй-то съ сейебьяними езецкаи подавайся.
 - Што же ты, братецъ ты мой, смотрълъ на него?

толкуютъ между собою два подозрительныхъ персонажа. — Ты бы часы-то у него чирикнулъ.

- Чего, чего не дълалъ. Ужь и пилъ-то я съ нимъ вмъстъ и обнимался-то. Ничего не подълалъ, потому изъ нашихъ никого не было, кому передашь?
- Эхъ ты! Кому передать спрашиваетъ? Въ любой уголокъ положи, не скоро найдутъ.
 - Не сдогадался.
- А я, однава дихнуть! выкрикиваль картавый голось, сказю, бивая, гусаеву деньсику: съюзи мнѣ, Семень! Не посьюсяться онъ меня не смѣй тогда, потому отъ баина пъиказанье такое быя ему, стобы онъ меня все явно, какъ баиню, съюсяйся.
 - Ахъ ты, шкура! кричитъ слушатель. Што-жь Семенъ всегда тебя слушался?
 - Всегда, Ей-Богу, всегда! Тойко тогда усь какъ гусай увхай, и какъ у него за фатею впеіодъ за два мѣсяца запъяцено быя, я на той фатев и остаясь зить. Думаю: зачѣмъ даромъ деньгамъ пъяпадать? Тутъ Семенъ безъ баина-то и вздумай меня пьягонять. Ахъ ты, гаваю, хаюй язнесцястній! Какъ ты смѣесь меня пъягонять? А онъ мени взяй да по себ. Я и усья.

И картавый голосъ въ этомъ мъстъ своего разсказа перешелъ въ слезные тоны.

— Што же ты плачешь-то, глупая? Ты воть выпей лучше.

— Нътъ! Не хоцю я пить. Я тебъ пъямо сказю: я безъ гусая жить не могу...

- Ахъ ты, чудище морское! нализалась и жить не могу, кричитъ...
- Не бей ее! Слышишь ты, Андрей Ильичъ, не тронь ее, умоляло Восходящее Солнце заъзжаго Донца, который колотилъ старостиху.
- Не твоего ума это дѣло! кричалъ разсвирѣпѣвшій Андрей Ильичъ. — Я къ ней всей душой, а она съ моимъ товарищемъ, на моихъ глазахъ заигрывать принялась.
- Это ничего! твердилъ оригинальный псевдонимъ. Она исправится; ее только возвысить нужно.
 - А вотъ я ее возвышу.

Восходящее Солнце попробовало-было помѣшать Андрею Ильичу, но получило такой толчокъ, отъ котораго завертълось кубаремъ.

- Я тебъ говорю: пей! приставаль къ картавому голосу какой-то мущина.
- Я не буду пить! Я безъ гусая зить не могу, слезно объяснялъ картавый голосъ грозному прикащику.
- Я съ тебя дурь-то эфту собью! съ злостью рычить мущина, и вслъдъ за этими словами раздается звонкая пощечина.
- Бей! а не могу я зить безъ гусая... Тамъ, въ обществъто, сейебъянія езецки подавались.
- За што ее быешь? Што же коли она въ самомъ дёлё безъ своего полюбовника житъ не согласна? вмёшивается какой то угрюмый сапожникъ въ засаленомъ фартукъ.

А тебъ что за дъло?

- А то, не дерись понапрасну.
- Ты што за учитель?
- Я учитель.
- Учитель? опитель заправодной опителя во вкад
- Учитель!

И заварилась каша. Только обы как меня и

- Черти! За что вы полощетесь? кричить съдовласый прикащикъ.
- А вотъ мы тебѣ покажемъ какъ ругать насъ?
 отвѣчаютъ молодцы, сообща накидываясь на прикащика.

За прикащика налетаютъ половые, и вообще въ этотъ трагическій моментъ Крымо сдълался какимъ-то еще незаписаннымъ въ исторіи царствомъ, густо населеннымъ, вмъсто обыкновенныхъ живыхъ существъ, неслыханною руготнею, многообразными потасовками и зуботычинами.

- Бъжите за полиціей! командуетъ прикащикъ половымъ, очевидно проигрывающимъ битву.
- Убъгемъ, братцы! полица сейчасъ налетитъ! кричитъ толна, быстро направляясь къ двери.

Восходящее Солнце и я отправляемся по ея слѣдамъ. Освѣжившій меня уличный воздухъ окончательно погасилъ Восходящее Солнце.

- Кто йдетъ? спрашивалъ насъ сосъдній будочникъ.
- Табакъ! почему-то отвъчалъ будочнику сей много уважаемый литераторъ, съ замътнымъ наслаждениемъ расквашивая себъ носъ о тротуарную тумбу...

грачевка.

mere enteres enteres de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del c

here a resultar are sa a formatical trouble by sea angular and banks and ban

Начало весны для человька, не одътаго въ драновое пальто на легкой ватной подкладкъ, не обутаго въ кръпкія калоши, вещь, по общему мнънію, далеко не ублажающая. Такимъ образомъ было однажды начало весны, а у меня не было драноваго пальто на легкой ватной подкладкъ и колошъ не было, потому собственно, можетъ быть, что были сапоги, которые что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапожонки, до-того широко разинули свои рты, что какъ будто хотъли вычернать собою всю грязную воду, залившую грязныя улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ описываемое время отъ холода первой весенней ночи, и какъ не отвалиись у меня ноги, обваренныя ръжущимъ кипаткомъ, натаявшей изъ снъга воды.

И такъ было начало весны. На дворъ стояла пепроглядная ночь, именно та самая ночь, которой можно дать имя ночи любопытствующей, ночи, всячески старающейся опредълить, что кръпче на семъ свътъ есть:

дерево ли фонарных столбовь, или лбы и шеходовь несчастные, бёдные лбы, осужденные во время любо пытствующих ночей стукаться не только объ означенные столбы, но пожалуй даже, говоря возвышенной рёчью, и объ холодный гранить тротуаровъ.

Можете себъ представить, какъ я благословляль эту ночь, шлепая по ея лужамъ, утопая въ ея канавахъ и ежеминутно удовлетворяя ея любознательность насчетъ того, такъ-сказать, на сколько я мъднолобенъ. Весеннимъ странницамъ Фета положительно докладываю, весьма было бы лестно украситься благословеніями, которыя я призывалъ на первую весеннюю ночь.

— Господинъ Сизой, сказалъ мив часа за три до наступленія описываемой ночи хозяинъ жалчайшей лачужки, въ которой жилъ я, — вы очень бёдны: у васъ нётъ работы. Безъ свойственнаго мив уваженія къ несчастію ближняго, я бы конечно могъ протурить васъ съ квартиры, какъ объ этомъ мило говорится, въ три жилы, нотому что вы мив не платите ни копъйки. Я не сдёлаю этого, потому что подъ тремя жилами, въ этомъ случав, разумёютъ шею, а у васъ она, сколько мив извъстно, одна. Но если вы сейчасъ же не изволите оставить эту комнату, предупредите меня, ибо въ такомъ случав я намёренъ съ вами поступить по законамъ, т. е. стащить васъ въ кварталъ.

Выказавъ такъ забавно свое остроуміе, мой хозяинъ, необыкновенно носастый и совершенно обруствшій нъмецъ (кстати сказать: онъ былъ такъ носастъ, что сквозь носъ его можно было высмотръть все, о чемъ

онъ именно думалъ) заложилъ руки за спину, заломилъ назадъ голову и вопросительно выпучилъ на меня свои насмъшливыя бъльма. Положение его головы, какъ вы поймете, было именно такое, что я сразу увидълъ черезъ его вздернутый носъ, что онъ говоритъ дъло безъ мальйшихъ притязаній на любезныя шутки, а увидъвши, что онъ говоритъ дъло, я засвидътельствовалъ ему мое всенижайшее, взяль съ окна мой дневникъ, положиль въ карманъ березовый мундштучекъ, нъкоторый миніятюрный портреть, когда-то украшенный золотомъ, давно уже пропавшимъ въ залогъ у жида, и вотъ вы видите меня на улицъ, преслъдующаго проклятую цёль - ночевать у кого-нибудь изъ моихъ многочисленныхъ грачовскихъ пріятелей. Насколько я правъ, назвавши мою цъль проклятою, судите сами. Я родился и воспитывался въ той благовонной средв, гдв и теперь еще объими руками держатся за знаменитое изреченіе блаженнаго во отціху Игнатія Лойолы: «ціль оправдываетъ средства». Теперь же, перенесенный благопріятствующей судьбой въ иной кругъ, я по чести говорю, что я еще не успълъ забыть ни то палочье, которымъ вбивали въ меня это правило, ни самое правило. Откровенности такой, ей-Богу, въ наше время днемъ со свъчей не найдешь, но, клянусь вамъ, она составляеть, можеть-быть, только милліонную долю моихъ достоинствъ. У меня много всего было! Говорю вамъ словами Оедора въ свадьбъ Кречинскаго: «Было, батюшки мои, много всего было, да быльемъ поросло!» Отчего именно все быльемъ поросло, — это другой вопросъ. Разрѣши я этотъ вопросъ, какъ могъ бы я разрѣшить его, моя бутада не была бы напечатана. При моемъ же міросозерцаніи бутада моя представляется мнѣ рукою-кормительницей.

 Иванъ, говоритъ мнф она, — помолчи благоразумно, а то въдь тебъ выпить не на что будетъ.

Я не хлопочу о хлѣбѣ, потому что не о хлѣбѣ еди/ помъ живъ будетъ человъкъ. Я оправдываю цѣлью
средства и молчу. Молчу, закусивши блѣдныя губы, и
тогда, когда хочется мпѣ разрѣшить вопросъ, отчего
все мое быльемъ поросло, и теперь молчу, когда человъкъ, съ которымъ я дѣлилъ все, что доставалъ своей
мозолистою работой, котораго я толкнулъ на дорогу, на
мою просьбу о ночлегъ, сказалъ мнъ:

- He mory.
 - Отчего жъ? спрашиваю я.
- Да вотъ, видишь ли, говоритъ онъ, въ одной комнатъ я самъ сплю, а другая, хочется мнъ, чтобъ всегда чистая была. Самъ согласись, говоритъ, придетъ ежели завтра кто ко мнъ поутру, а ты спать тутъ будешь, неловко.
- Правда, отв'вчаю я ему. Д'в'йствительно, это неловко.

Въ моей головъ промелькнуло въ это время представление о томъ звъриномъ голодъ, который обыкновенно мучилъ насъ обоихъ, когда я давалъ у себя приотъ этому человъку. Живя въ столичномъ городъ, мы были съ нимъ безпомощны, какъ матросы въ моръ, претерпъвшие кораблекрушение. Поистинъ я не согръщилъ бы

тогда, ежели бы убилъ его для того, чтобы не дать ему достающейся на его долю порціи чернаго хліба съ гнилымъ масломъ, спеціально впрочемъ добытой мною. Но я не убивалъ его, хотя мускулы у меня, какъ вобще у плебеевъ, могу сказать, таки тово..... Я ничего не сказалъ ему объ этомъ представленіи изъ нашей прошлой жизни, и вышелъ.

Когда у меня послѣ такихъ случаевъ бываютъ деньти, я обыкновенно запиваю, потому что, помню я, отецъ мой, когда бывало придетъ домой съ половиной бороды, съ израненнымъ лицомъ, на которомъ засохла кровь, тоже запивалъ. Пустъ кто меня осудитъ за это! «Родителямъ подражай!», измаралъ я сто тысячъ разъ аспидную доску, когда учился писатъ. А я что же дѣлаю, когда запиваю? Развѣ кто увѣрлтъ меня, что я въ этомъ случаѣ не подражаю родителю?

Я прихожу къ одному весьма юному студенту, занимающему двухъ аршинную келью.

- Ночевать пустишь что-ль? спрашиваю его. Меня носастый Нёмець съ квартиры прогналь.
- Располагайся, говоритъ, какъ тебъ свободнъе на этомъ полу, потому что на кровати со мной нынъшнюю ночь спать тебъ невозможно. Праздникъ завтра.
- A! догадался я, и ушелъ.

Къ нему наканунъ каждаго праздника ходитъ одна швея, до безконечности милое и наивное созданіе, на которой мой бъдный пріятель неизмѣнно рѣшилъ жениться, и которую онъ вслѣдствіе того, что-называется, возвышаеть до себя. Я не буду мъщать вамъ, счастливыя дъти.

— Такъ тебя, говоришь, носастый Нъмецъ съ квартиры прогналь? сказади мнв въ другомъ мвств. - Этотъ нассажь имжеть въ себъ ту хорошую сторону, что ты принужденъ будешь найти себъ другую нору: тогда я къ тебъ привалю на новоселье съ компаніей, а теперь ночевать у меня невозможно. Завтра праздникъ и сейчасъ

«Придетъ сюда она, операвания в в Это милое созданье, Чернобровая моя!

BROWN BELLEVIOL

Самъ знаешь, у ихнихъ мадамовъ работы ни въ праздникъ, ни подъ праздникъ не бываетъ, а ночевать просишься! Эхъ ты, голова! Гряди и ожидай меня на новоселье съ компаніей.

- Поди ты къ чорту и съ компаніей!
- Впрочемъ стой, подожди на минуту ругаться. Чаю не хочешь ли? Я для своей дульцинеи припасъ-было крендельковъ, сухариковъ разныхъ ерундистыхъ, такъ ты пожри ихъ. Съ нея довольно будетъ любви огневей.
- Пожалуй, давай въ карманъ: я съ собой заберу, а чаю мив твоего дожидаться некогда.
- Укладывай съ Богомъ, и маршъ подъ дождь! На дождъ, говорятъ, больше ростется, съострилъ онъ окончательно, подавая мнъ бумажный пакетъ съ ерупдистыми крендельками и сухариками.

Въ другія комнаты снебилью, къ другимъ пріятелямь прихожу я, упорно пресладуя мою цаль ночевать не подъ открытымъ небомъ. Въ передней, освъщенная тусклымъ свътомъ вонючаго ночника, обыкновенно сидитъ мегера, родившаяся на сокрушеніе бездомовнаго народа въ какомъ-нибудь селъ Ярославской губерніи. Какъ возовая лошадь, громко сопитъ она надъ двадцатой чашкой кронштадскаго чая. Обыкновенно, не умъя смотръть на этихъ, какъ онъ называютъ хозяекъ иначе, какъ съ скрежетомъ зубовъ, я въ это время отступаю отъ своихъ принциповъ и самымъ заигрывающимъ манеромъ желаю мадамъ пріятнаго апетиту-съ.

- Вотъ вѣшать-то некому, злобно ворчитъ мадамъ, въ какую погоду шатаются. Полъ-то весь загрязнили вы мнѣ! возвышаетъ она свой крикливый голосъ, вѣчно просящій денегъ. Снимайте поскорѣе пальто. Словно утопленикъ какой ввалился. Гдѣ только носило васъ.
- Въ•гостяхъ былъ у вашего благовърнаго. Поклонъ съ нами вамъ прислалъ. Поцъловать васъ, какъ можно, наказывалъ.

И при этомъ я какъ будто изловчаюсь влёпить ей коммиссіонный, такъ-сказать, поцёлуй, но звёровидное существо находитъ въ себё, противъ моихъ ожиданій, на столько женственности, чтобы самымъ неуклюжимъ манеромъ гримасничать и увертываться отъ момхъ, жаждущихъ теплой постели, объятій.

— Какого ты чорта возишься тамъ? слышится изъза перегородки голосъ моего пріятеля, къ которому пришелъ я съ намъреніемъ ночевать. — Говорилъ бы прямо, что на ночевку пришелъ, такъ я бы тебъ тоже прямо сказалъ, что нельзя нынче у меня ночевать, потому что праздникъ завтра!..

«И тутъ праздникъ!» съ ужасомъ восклицаю я про себя.

Какимъ же образомъ у тебя-то праздникъ? кричу я ему въ стъну, — въдь ты жидъ.

— Ну это ужь не твое дѣло! отвѣчаетъ онъ мнѣ.— А за то, что ты жидомъ ругаешься, не пущу же тебя ночевать, хотя одна добрая душа очень меня упрашиваетъ укрыть тебя отъ темной ночи.

Я видёль, что мои дёла поправляются, т. е. что ночевище мое почти уже готово, но я ушель и отсюда, потому что за стёной заслышаль нёкоторый умоляющій шопоть:

— Пусти его, Евзель, ночевать, пожалуста пусти. Ты не сердись на него, что онъ тебя жидомъ изругалъ. Онъ въдь, этотъ Сизой, почти всегда пьянъ. Можетъ это онъ спьяна тебя изругалъ.

У этой дъвочки, которая навъщала Езеля Гараха, такіе большіе, такіе ничего не выражающіе глаза! Я всегда какъ-то не симпатизироваль ей, а тутъ еще шепчеть она, чтобы Езель Гарахъ, студентъ медицины, снабженный трехаршинными бакенбардами и талейрановской головой, не мстилъ пріятелю своему Ивану Сизому за то, что тотъ его жидомъ назвалъ.

— Ну, хорошо! Я прощаю тебѣ, Иванъ, что ты меня жидомъ обругалъ, — кричалъ мнѣ съ хохотомъ Езель. — Иди и ночуй. Обѣщаю тебѣ не пить твоей крови за обиду мнѣ нанесенную.

— Какъ это трогательно, злобно замътилъ я, сознавая необходимость уходить отсюда, чтобы не видъть большихъ круглыхъ глазъ феи, вышептывающей мнъ великодушное прощеніе.

Но прежде нежели уйдти мнь отъ Езеля, я сцыпился съ хозяйкой преимущественно въ видахъ, чтобы, разовливши ее, лишить тымъ самымъ надлежащаго апетиту, съ которымъ она заливала нутро свое чаемъ. Я началъ съ того, что она коломенская жирная дура, а не хозяйка, что ей бы только судомойкой въ солдатскихъ казармахъ быть, а не хозяйничать. Звърообразная баба къ великому моему наслажденію была поражена въ самое сердце.

- Вотъ оно, вотъ оно, какъ накинулся! могла она только выговорить, глядя на меня съ замѣтнымъ недоумѣніемъ.
- Ну, какая ты хозяйка? продожаль я наддавать ей жару. Мнъ вонъ Гарахъ сказывалъ, какъ ты въ самоварную трубу воды налила, а углей наклала туда, куда добрые люди воду льютъ. Вотъ ты какая хозяйка! Небось, на правой рукъ пальцевъ сколько не знаешь.

Гарахъ хохоталъ во все горло за своей перегородкой. Онъ, очевидно, понималъ мою дипломатію, которая главнымь образомъ состояла въ томъ, чтобы, сразившись съ хозяйкой часа на два, сколько можно сократить мучительную ночь на тротуарахъ.

— Есть ли у тебя какое-нибудь миросозерцаніе, дура ты эдакая? спрашиваль я у бабы. — Ты воть теперь

воображаешь, что сняла три лачужки и пустила въ нихъ жильцовъ, такъ ты хозяйка, не только надъ этими лачужками, но и надъ самыми жильцами. Почтенія отъ нихъ требуешь. Хочешь, чтобы они тебя мадамой звали. Какая же ты мадамъ, когда чаю по двадцати чашекъ за разъ выпиваешь?

- Что жь такое? Купчихи-то не пьють развъ?
- И купчихи тоже дуры, какъ и ты. Чай грудь сушитъ.
- желтъется. « « какой пью? Чуть только желтъется.
- Молчи лучше! А то сейчасъ офицера вызову изъ крайней комнаты. Онъ съ тобой не будетъ разговаривать, а по вчерашнему возьметъ да отдуетъ.
- Какъ же! Каждый день будеть дуть! Что жъ что онъ баринъ: я его хозяйка за то. Я и въ кварталъ дорогу найду.
- Про кварталь ты тоже перестань разговаривать. Тамъ вашу сестру хорошо учатъ. Тамъ тебъ сразу объяснятъ, что ты не имъешь никакихъ филологическихъ соображеній. Тамъ тебъ какой-нибудь ундеръ Хлобовъ или въстовой Шпыренко сразу растолкуетъ, что ты хозяйка только своего чрева, а вовсе не жильцовъ.

Забираясь иногда въ самый мозгъ къ такимъ франтихамъ, я къ величайшему моему ужасу находилъ, что слово «хозяйка» употребляется ими въ значеніи, такъсказать, деспотическомъ. Ежели, напримъръ, жилецъ, разбъшенный той опрятностью, которую обыкновенно соблюдаютъ эти созданія въ своихъ клѣткахъ, возвыситъ голосъ для приказанія вымыть поль, вытереть мебель, хозяйка сначала струсить этого голоса, а потомъ на дорогъ въ кухню непремънно скажетъ: «Экій народъ какой безобразный! Вишь какъ на хозяйку кричитъ!» Вслъдствіе столь наивнаго пониманія, происходили, напримъръ, такія столкновенія.

Прошлою зимой на Грачовкъ жило очень много французовъ, рабочихъ съ нижегородской желъзной дороги.

— Баба! говорить одинь молодець своей хозяйкь, уходя фланировать по московскимь улицамь, — убери компать. Никогда ничего не сдълай, скверно туть, туть и тамь.

При этомъ онъ указываетъ на заплъсневълые, промороженные углы, на залитые водой подоконники, на запыленный графинъ, въ который наползли пауки. Послъднее обстоятельство всего болъе возмущаетъ француза.

— Утри, mille diables! Деньга не дамъ. Bar-rbar-r-re!

А вы, мусье, не ругайтесь. Я не варварка. Я ваша хозяйка.

- Ventrebleu! Козяйка! Что такой козяй! Ты мена нанималь? Ты мена деньги платиль? Я теба деньги платиль, monstre!
- Что жь что деньги платиль? ореть въ свою очередь хозяйка. Я не позволю кричать на себя, заимствуется она фразой у своей племянницы, весьма образованной мамзели, никогда впрочемъ не ночующей дома. Я хозяйка въ своей фатеръ.

— Bah! восклицаетъ французъ. — Свой фатеръ? Мой фатеръ! Я платилъ деньга. Матушка, чортъ!

Баба направляется въ двери деликатною рукой ипо-

странца.

— Матушка, чортъ! повторяетъ онъ, выпроваживая ее за дверь.

Но такое обхождение окончательно противоръчить ся пониманію слова «хозяйка». Она начинаетъ орать и бранить француза всякими непристойностями. Французъ не выдерживаеть и даеть ей туза, на который баба отвъчаетъ громкимъ: караулъ! Ея фаворитъ, обыкновенно еще довольно молодой портной или сапожникь, стремительно бросается къ ней на помощь изъ глубины кухни.

— За что ты дерешься? азартно спрашиваеть онь

француза, потряхивая волосами.

— Fichtre! шипитъ французъ.

— Нътъ, ты скажи прежде: за что ты прибиль ее?

настаиваль фаворить.

— Bah! вскрикиваетъ французъ на своемъ уже родномъ наръчіи, не зная какъ это выразить по-русски. Отчета отъменя требуетъ эта свинья. Что ему за д'вло? Этотъ непонятный лепетъ мастеровой объясняеть трусостью, которую онъ, по его соображеніямъ, навель на француза своимъ грознымъ видомъ. Поэтому онъ схватываетъ его за бортъ сюртука и говоритъ: — Иди-ка-сь, другъ сладкій, къ фартальному!

Французъ неистово взвизгиваетъ, когда прикоснулась къ нему посторонняя рука. Сильнымъ движеніемъ на вадъ онъ освобождаетъ свой бортъ, сбрасываетъ съ себя коротенькую вигоневую жакетку и въ одну минуту поражаетъ мастероваго градомъ ударовъ.

— О-го-го! въ азартъ визжитъ французъ, какъ угорълый, фехтуя около своего врага. — Отчетъ тебъ нужно? Вогъ тебъ отчетъ!

Мастеровой минуть пять не можеть оправиться отъ этого быстраго нападенія и, словно въ столбнякѣ, все это время стойко выдерживаеть удары; наконецъ опъ успѣваетъ, что называется, подмять француза подъ себя. Тѣсная комната очень много помогаетъ ему изловить эту маленькую птицу съ острыми когтями.

— Такъ ты такой-то? задыхается въ свою очередь мастеровой. — Ты, я вижу, бойкій. Погоди же я таперича помну тебя. Теперь не скоро вырвешься!

Хозяйка достаетъ откуда-то длинную палку и ею принимается возить француза съ гораздо большимъ ожесточеніемъ, сравнительно съ ожесточеніемъ своего друга.

 — А! разбойники! дрожащимъ отъ злости голосомъ кричитъ французъ, и старается выбиться изъ подъ мастероваго.

Наконецъ побъдитель и побъжденный выкатываются на просторный дворъ, гдъ побъжденнаго снова разытрываетъ мастеревой. Французская ловкость беретъ верхъ надъ русскою силой. Хозяйкипа палка торжественно переломлена французомъ о спину хозяйки. Мастеровой, не видя возможности изловить врага и снова подмять его подъ себя, какъ ошалълый, пуглиео прислоняется къ

забору и нечувствительной стъной выдерживаеть быстрые налеты раззозлившейся французской птицы.

- Messieurs, messieurs! кричитъ французъ, расчитывая, что его услышать товарищи, живущіе въ сосъднихъ домахъ, или случайно проходящіе мимо. — Спасите: меня убиваютъ!

И не два раза случалось такъ. что на его сторону набъгалъ десятокъ французовъ, на сторону хозяйки десятокъ мастеровыхъ, и Грачовка оглашалась военными криками двухъ націй, какъ бы на настоящей войнь, азартно сражавшихся до тъхъ поръ, пока не приходила другая, страя армія, которая и разгоняла воителей палочьемъ.

— Чудесно это, право, съ ненашинскими драться! говорили мастеровые, возвращаясь послъ драки къ своимъ станкамъ и верстакамъ. — Задали имъ жару на порядкахъ.

— Небось такъ-то и въ Севастополъ дъвствовали,

предполагаетъ другой.

 Извѣстно такъ же, увѣренно заканчиваетъ третій съ страшными желваками на окровавленномъ лицъ. -Въ Севастополъ только пострашнъй, чай, было, потому тамъ штыками дрались, изъ ружей палили.

Мнъ удалось выкинуть часа три изъ моей безночлежной ночи, которыя я благополучно препровель съсъем щицей, объясняя ей настоящее значение слова «хозяйка». Потомъ, когда уже различные доказывающіе факты мон привели ее въ состояние близкое къ бъщенству, т. е. когда она начала задыхаться отъ злости и одуренно за металась по кухнъ съ цёлью, въроятно, оты скать обломки той палки, которою она, или не она нъкогда колотила француза, я распрощался съ ней, ибо у меня при всемъ томъ, что я не болъе не менъе какъ только Jean de Sizoy, какъ у всякаго другаго человъка совъсть таки сохранилась еще.

Довольно! думаю я, уходя. Должно быть теперь къ заутренъ скоро заблаговъстять. Пойду въ церковь замаливать невольный гръхъ моей нищеты.

— Ежели и завтра не найдешь квартиры, кричитъ Гарахъ вслёдъ за мной, — приходи ко мнё: я ждать буду.

Темный бульваръ, на который я вышелъ въ это время, показался мив уже не такимъ темнымъ, какимъ онъ быль въ дъйствительности, потому что его освъщало мое представление лица моего пріятеля, отпустившаго меня ночевать подъ открытымъ небомъ не одного, а по прайней мъръ съ надеждой провести у него завтрашнюю ночь.

Я сълъ на скамейку и задумался.

Богъ знаетъ почему миъ спутанно вспомнились картины моего незатъйливаго, но мирнаго прошлаго, какъ вдругъ, словно отпадшій духъ, загрязненный, усталый в безпріютный какъ я, появился передо мною, точно изъ земли выросъ или бы съ неба упалъ, мой другъ эксъ-студентъ Дебоширинъ.

— Здорово! сказалъ онъ, пожимая мою руку. — Безъ ночлега?

Какъ видишь, отвъчалъ я,—а ты?

- Idem! У Пржембицкаго быль?
- Былъ. Къ нему пришла Стеша.
- A у Скворцова? епідпритому іх прушвань ванта
- И у него тоже: Паша или Саша.
- V. Fapaxa?
- Не говори. У него теперь эта дѣвочка съ овечьими глазками... Она теперь умаливаетъ его, чтобы онъ простилъ меня, что я его жидомъ назвалъ.
- Я думаю, по ея просьбъ онъ тебя и простить, серьезно замътиль Дебоширинъ. А она, по моимъ соображеніямъ, ни за что бы тебя не простила, когда бы слышала, что ты ея глаза называешь овечьими. Впрочемъ завтра я не премину доложить ей объ этомъ для поддержанія между вами добраго согласія.
- Ты лучше поди доложи чорту, что ты дьяволь! озлился я на него за его шутку въ то время, когда грудь хотъла лопнуть отъ кипъвшихъ въ ней слезъ и проклятій.
- Кричи сильнъй, совътовалъ онъ. Это тебъ полезно. Выкрикивайся и будь готовъ наслаждаться дивными красами ночной природы подъ открытымъ небомъ.
- Ужь лучше бы ты къ будочнику какъ нибудь подобрался. У тебя, я знаю, связи тутъ есть, просиль я Дебоширина, обезоруженный сто хладнокровіемъ.
- Что намъ будочникъ? Будочникъ табакъ! А л тебя въ клубъ сведу, милое дитя! Ты только не бранись. У меня кстати имъются два пятачка.
- Что же мы сдёлаемь въ этомъ клубе на два пятачка, и какой это именно клубъ!

— А клубъ въ Нехорошемъ переулкъ? Впрочемъ ты его едва ли знаешь, потому что я самъ очень недавно открылъ его въ одну изъ подобныхъ безсонныхъ ночей. Мы тамъ на гривенникъ хватимъ самой оглушающей водки, и вдобавокъ просидимъ цълую ночь безданно, безпошлинно. Я былъ тамъ не болъе пяти разъ, хотя, зная свою бездомовность, успълъ познакомиться съ хозиномъ настолько, что онъ уже открылъ мнъ нъкоторый кредитъ. Объщаю тебъ знакомство со многими изъ посътителей. Публика, я тебъ скажу, первостатейная.

Я просто не буду всть никакого меда, когда меня обвщають сводить въ какое-либо мёсто въ родё нехорошенскаго клуба, гдё обыкновенно гнёздятся по ночамь тё ночныя птицы человёческаго рода, рёдкое по явлене которыхъ на улицё среди бёлаго дня колеть какъ будто свётлые глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моимъ руководителемъ въ нехорошевскій клубъ, куда меня тянетъ магнетическая падсжда на возможное тепло, а въ темной дали яркой путеводной звёздой блещетъ стаканъ водки, заглушающей человёческое горе, обёщанный Дебоширинымъ.

Не смотря на позднюю пору, Нехорошій переулокъ кипѣлъ самою широкою шумною жизнью. Изъ раскрытыхъ оконъ, неизбѣжно украшенныхъ красными драпри, громко неслись безобразные звуки разбитыхъ клавикордовъ; визгливыя скрипки заглушали пѣсни, которыя изъ каждаго дома вырывались на улицу. Какіе-то особенно хриплые голоса мущинъ, какіс-то, только въ Нехорошемъ переулкѣ возможные, надсаженные, такъ

сказать, голоса женщинъ дикими ругательствами терзають свёжій воздухъ ночной. Говорю терзають потому собственно, что болёе громко, чёмъ въ другое время, раздавались въ немъ эти ругательства, слёд вательно могу думать, что свёжія воздушныя струи очень страдали, когда ихъ разрёзывали хулящіе природу человёка выкрики ночного разврата.

Громкій стукъ пролетокъ извощиковъ-лихачей, которые, сломя голову, летаютъ вдоль переулка, окончательно завершаетъ эту шумную, оглушающую картипу.

Въэтомъ-то переулкъ, въ лавчонкъ подъ вывъской: Продажа кітайских засфъ и разныхы опочных в товаровь и находился, такъ называемый, нехорошевскій клубъ.

Когда мы вошли въ въчно бодрствующее капище, тамъ было только двое посътителей. Одинъ во фракъ и клътчатыхъ шароварахъ довольно молодой человъкъ съ толстыми скулами и посоловъвшими глазами, сидълъ на скамъъ у самыхъ дверей, ближе какъ онъ говорилъ, къ холодку, и безсмысленно смотрълъ въ грязный полъ клуба. Другой, въ очкахъ, съ бакенбардами, могущими возмутить самую ледяную душу, принадлежащій повидимому къ расъ ученыхъ, развалился на стуль у прилавка, сосредоточивъ все свое вниманіе на огромномь стакацъ съ водкой, стоявшемъ передъ нимъ.

У задней ствны лавки, съ заложенными за спину руками, стоялъ хозяинъ, блёдный апатическій толотякъ съ взъерошенной прической. Подлё него безотлучно пребывалъ молодой мурластый парень, — необыкновенно слонообразная мебель. Его назначеніе въ лавкѣ оче-

видно заключалось въ томъ, чтобы однимъ вздохомъ низвергать на средину мостовой буйныхъ клубистовъ.

Дебоширинъ весьма коротко пожалъ руку хозяину и господину съ возмутительными бакенбардами, слегка ткнулъ въ вдало слонообразную мебель, отчего она радостно улыбнулась, и спросилъ водки. Спектакль начался слезливыми просьбами скуластаго юноши, съ которыми онъ обратился къ хозяину.

- Степанъ Андреичъ, умолялъ его несчастный клубистъ! Ради Бога, одну только рюмочку, голубчикъ. Больше и и просить не буду. Только что выпью одну рюмочку, сейчасъ и уйду.
- Вы и такъ ужь очень много напили, безстрастно отвътилъ хозяинъ.
- Плевать! Ну, право, плевать. Завтра всв отдамъ. Ну, пожалуста. Ради Христа, прикажите налить!
- Налей рюмку, Семенъ, обратился хозяинъ къ малому.—Только одну: больше, смотри, не давай.

Юноша жадно проглотиль рюмку и судорожно скривиль лицо. Бакенбардисть во все горло захохоталь сджанной пьяницею гримась.

- Чему вы смъстесь, милостивый государь? запальчиво спросиль его юноша.
- Вы, въроятно, хотите сказать: надъ чъмъ? Въ такомъ случаъ я говорю, что надъ вами, отвъчалъ протяжно бакенбардистъ
- Такъ вы подлецъ послъ этого!...
- Что такое? равнодушно освъдомились бакенбарды.
- Ты подлецъ!

- --- Ну, любезный, будь осторожные, а то какъ разъ скушаешь оплеуху
- Что? Ты смѣешь мнѣ дать оплеуху? Мнѣ? Чиновнику?
- Для меня все равно кому ни дать. Лучше замолчи.
- Да ты-то кто? Мъщанинъ какой-нибудь! Сапожникъ?
- Мъщанинъ и сапожникъ. Ты угадалъ.
 - Такъ я тебя, скотина, въ часть отправлю.
- Эй, не горячись. Дамъ оплеуху, пожалуй заплачешь...
- Ударь! ударь! закипълъ юноша. Попробуй, ударь.
 - Ты просишь?
- прошу-ударь!
- Господа, обратился бакенбардистъ къ публикъ,— прошу васъ быть свидътелями, что вотъ этотъ франтъ безотвязно проситъ ударить его.
- Ударь! ударь! оралъ чиновникъ, подставляя свою физіономію, и сгибая ее нъсколько на бокъ.
- Получай! сказалъ бакенбардистъ, и вслъдъ за этимъ раздалась сильная оплеуха.

Юноша повадился на полъ.

— Ничего, не дурно; того стоитъ, внушительно замътилъ хозяинъ.

Тяжело вздыхая, юноша поднялся съ пола. На его губахъ показалась яркая кровь. Убъдившись, что получить оплеуху вовсе не такъ трудно, какъ кажется съ

перваго взгляда, онъ присмирѣлъ какъ ягненокъ. Не имѣя ни копѣйки въ карманѣ, ни кредита у хозяина, онъ все-таки продолжалъ сидѣть въ клубѣ, упорно вглядываясь въ оставшіеся на прилавкѣ графины съ водкой. Замѣтно было, что у него сохранились весьма сильныя надежды выпросить еще рюмочку Христа ради; но съдругой стороны пріятельскій кулакъ очень серьезно пошатнулъ эти надежды, такъ что во все остальное время юноша пи однимъ словомъ не выказалъ не только эти надежды, но даже и свое присутствіе.

- Вы нынче на водку что-то и не смотрите, обратился хозяинъ къ Дебоширину.
- Такъ что же? Вы знаете, что я вамъ на сторублей върю. Сдълайте одолжение не церемоньтесь.
- Пожалуй. Только смотрите: двухъ графиновъ въ мгновеніе ока, можно сказать, вы не досчитаетесь.
- На доброе здоровье, любезно пожелалъ намъ хозинъ, наливая стаканы.
- Пожалуйста закусить чего-нибудь спроси, шепнулъя Дебоширину.
- Дождь-то какъ разыгрался, просто страсти! говориль, вошедшій въ эту минуту, весьма подозрительный верзила. Мы ужь къ вамъ, Степанъ Андреичъ, какъ въ храмъ спасенія забираемся на всю ночь.
 - Откуда шли? спросилъ хозяинъ.
- Да такъ. Въ *Крымил* поболтались немного, по окрестностямъ тоже. Нътъ на улицахъ хода.
 - Значитъ новаго ничего нътъ?

- Почитай ничего! Развѣ вотъ на это посмотришь? И верзила подалъ часы. — Простенькіе, добавилъ онъ. — И купить, пожалуй, охотника не найдется.
- Я, ежели сходно будеть, возьму пожалуй за себя, хитриль хозяинь.
- И толковать нечего, согласился верзила. Получи. Мы вотъ тутъ выпьемъ у васъ чего-нибудь да закусимъ, и квитъ.
- Семенъ, подавай что прикажутъ, завелъ хозяннъ слонообразную машину.
- Капусты мий кислой на пятачекъ, да двй селедки отпустите, говорила лавочнику ийкоторая бойкая дивица съ изумительно быстрыми манерами.
- Кисленькаго захотѣлось? шутили бакенбарды: Я и самъ, когда устаю, всегда селедку или капусту ѣмъ, продолжалъ онъ, задумчиво лелѣя свой сѣнокосъ. На горячія сердца это хорошо дѣйствуетъ.
- Не очень-то съ вами разговаривать станутъ, обидчиво отвъчала дъвица. Умылись бы прежде.
- Умытъ ужъ. А вотъ на васъ полюбоваться позвольте, заигрывалъ онъ съ дѣвицей. Небось, такъ празитъ кокосовымъ.

Бойкая дъвица въ справедливомъ негодовании весьма энергически оттолкнула любезника и, какъ мимолетное видънье, скрылась изъ лавки съ пріобрътенными селедками и капустой.

- Много, должно быть, разбирають у васъ селедокъто и капусты? спросиль у хозяина бакенбардистъ.
 - Берутъ-съ довольно, удовлетворилъ его хозяинъ.

- Очень ихъ по вечерамъ на соленое да на кислое тянетъ, съ знаменательной улыбкою прибавила отъ себя слонообразная мебель.
- Волосатый! самымъ заигрывающимъ тономъ вдругъ вскрикнула только-что вышедшая дѣвица, на мгновенье показавшись въ дверь лавки.
- Обидълась съ перваго раза, такъ провадивай. Я не очень люблю недотрогъ, отвътилъ волосатый.
- Тебя-то кто полюбить, презрительно спрашивала дѣвица за кулисами. Ровно свинья изъ камышей высматриваешь.
- Ахъ ты дрянь! заревёли сёнокосныя луга. Воть я тебя!
- Сволочь! вийстй съ звонкимъ хохотомъ прилетйло къ намъ съ улицы въ клубъ звонкое слово, и затимъ раздался шорохъ быстро улепетывающихъ башмаковъ.
- Не метнуть ли? спросиль подозрительный верзила у пришедшаго вмёстё съ нимъ рыжаго франта, блиставшаго необыкновенно оригинальными брелоками на часовой цёпочкъ
- Сколько закладываешь? спросиль франтъ.
- Да мы для провожденія времени сыграемъ на зелененькую.
- Не хочу я, братецъ, зелененькой твоею руки марать.
- Валяй на десятку когда такъ, съ увлеченіемъ предложилъ верзила, и вынутыми изъ кармана картами началъ метать штоссъ.

- Поцёлуй ручки у десятки и разлучись съ ней на вёки, пошутилъ рыжій франтъ, срывая банкъ милочкой дамой, которую онъ весьма страстно цёловалъ прежде, нежели пустилъ ее въ экспедицію за пріятельской десяткой.
- Ничего, покорился подозрительный верзила тяжкой судьбъ своей. —Вотъ тебъ другая десятка.
 - И другой мы найдемъ мъсто въ карманъ. Готово?
 - Готово.
- А когда готово, поди, мой дружокъ, возьми у него и эту десятку. Я тебъ платье солью, благословлять рыжій свою даму на новый подвигъ.—Ва-банкъ!

Верзида съ проклятіемъ положилъ даму на-лѣво по второму абцугу и заложилъ двадцатипятирублевый банкъ.

- И эта намъ пригодится на шляпку, флегматически предполагалъ рыжій франтъ, выбирая понтерку.
- Двъ карты сіи по пяти рублей каждая; неожиданно произнесла досель молчаливая личность, по всей въроятности принадлежавшая отставному монастырскому служкъ. Его длинное полукафтанье и плисовая шапочка до очевиднести доказывали справедливость этого предположенія.
- Можно-съ. Отчего же-съ, благодарственно пробормоталъ подозрительный верзила.
- Какъ же это? въ недоуменни спрашивалъ служва, когда карты, поставленныя имъ, были объ убиты банкометомъ. Ну была не была! какъ то одчаянно говориль онъ. Еще на десять рублей прокиньте.

 И на десять можно, великодушно согласился верзила.

Вниманіе всѣхъ клубистовъ сосредоточилось по преимуществу на играющихъ. Шелестъ картъ одинъ только нарушалъ общее молчаніе.

- Степанъ Андреичъ, отпустите, пожалуста, до завтра селедочекъ парочку да капустки фунтикъ, упрашивала хозяина хриплымъ болъзненнымъ голосомъ молодая еще женщина.
- И такъ много и тебъ навърилъ, барыня, не могу больше. Мнъ самому нужно за товаръ платить, отказывалъ лавочникъ.
 - Ей-Богу, завтра отдамъ.
 - Завтра и за капустой приходи.
- Двадцать пять цёлковыхъ тузъ, шумёль въ азартё служка.
- Битъ тузъ, мимоходомъ сказалъ верзила. И твоя дама бита, замътилъ онъ рыжему франту.
- Экое счастье дураку повезло! отозвался рыжій франть.
- Степанъ Андреичъ! Очень сердце жжетъ. Отпусти капустки. Мнъ она все равно лекарство. Я тебъ платокъ въ закладъ дамъ.
- Куды мнъ тутъ съ вашими закладами!
- Пятьдесять цёлковых послёдніе! крикнуль служка. — Налейте сосудь, обратился онь къ хозяину: хочу горе залить.
- На пальто играть будете? спросиль Дебоширинъ

подозрительнаго верзилу. — Въ десять рублей принимаете?

- Можно-съ, учтиво отвътилъ верзила, осмотръвъ нальто.
- Пять рублей, поставилъ Дебоширинъ. Пораздъльнъе мечите, а то руки обобью. Ръжу.

И, сръзавъ талію, онъ пристально началъ всматриваться въ бъглые пальцы банкомета.

Счастье измѣнилось отъ этого пристальнаго взглядыванья. Служка выигралъ пятьдесятъ рублей, карта Дебоширина тоже была дана.

- Отыгрались? спросиль Дебоширинъ у служки.
- Слава Богу! отвътилъ онъ. Воротилъ.
- Что же? Развъ вы не будете больше играть?
- Не буду. Дамынан данка мара
- А я такъ еще закачу! радовался служка.
- Не играйте и вы, серьозно сказаль ему Дебоширинъ.
 - Отчего же?
 - Оттого, что проиграете. Рамъ не повезетъ.

Верзила смекнулъ въ чемъ тутъ штука.

- Какое право имъете вы, важно спрашивалъ онъ, отсовътывать имъ играть? Не въ свое дъло прошу не мъшаться.
- Молчи, мошенникъ! крикнулъ на него Дебоширинъ.—Развъ я не видалъ, какъ ты передергиваешь?

Рыжій франть и подозрительный верзила ожесточенно бросились на Дебоширина; мы дружно приняли ихъ на наши толстыя палки. Благодарный служка помогъ

Пользуясь происшедшею свалкою, охриплая женщина стащила было нъсколько селедокъ, но слонообразная мебель схватила ее на мъстъ преступленія.

- Въдь жгетъ мив сердце-то! оправдывалась она. Везъ соленаго али кислаго умерла бы пожалуй, а онъ въ долгъ не даетъ.
 - Тащи въ кварталъ! приказывалъ хозяинъ.
- Заступитесь, голубчики, охъ, не выдавайте меня! упрашивала она предстоящихъ.—Высъкутъ меня тамъ.
- Отпустите ее, Степанъ Андреевичъ, вступился Дебоширинъ. — Я заплачу за нее.
- Учить ихъ следуетъ, противился хозяинъ. Ну да ужь Богъ съ ней! Ради васъ только прощаю.
- Благодътель! кричаль служка Дебоширину. Выпьенте по сосуду. Все бы я имъ ерникамъ проиграль, когда бы не вы. У тестя раздобыль деньжонокъ, домишко покупаю, такъ въ задатокъ несъ, да и закутиль.
- А вы домой скоръе поъзжайте. Будетъ ужь сосуды-то осущать. А то на другихъ жуликовъ налетите, — некому будетъ спасти.
- Я, благодътель, сейчасъ же домой и отправлюсь. Только выпьемъ еще по сосуду, уважь ты меня, ради Бога!

Къ крыльцу лавки съ грохотомъ подкатила пролетка и въ дверяхъ показался герой. Все въ немъ, отъ волосъ торчавшихъ изъ подъ шляпы а la чортъ меня помоск. нор. и труш. 20 бери и молодецкихъ концовъ галстуха, глядъвшихъ въ разныя стороны, до малъйшихъ чертъ лица и необыкновенно ръзкихъ тълодвиженій, изобличали героя a la russe, натуру въ высокой степени широкую и размашистую.

— Водки! живъе! командовалъ онъ. — Поворачи-

ваться у меня по военному.

Почтенный хозяинъ клуба, оставивъ свою обычную флегму, съ трактирной ловкостью налилъ ему стаканъ.

— Стар-р-ранись, душа, оболью! стращаль герой свою душу, и на лету, такъ сказать, проглотилъ водку.

— Закусить чего прикажете? предупредительно спрашивалъ хозяинъ.

— Квасу! Я закусываю квасомъ. Жив-ва! Кто хочетъ пить? спрашивалъ герой, торжественно осматривал нашу компанію. — Пейте въ мой счетъ сколько влёзеть: за встхъ плачу.

Нъкоторые клубисты съ благодарностью принимають это предложение. Слонообразная мебель и толстый хозяинъ не успъвали наливать стакановъ.

— Квасу! Водки! поперемънно кричалъ герой, при нимая отъ пьющихъ на его счетъ должную дань бла-

годарности и уваженія.

— Накачивайте теперь его, указаль онъ на стоявшаго у порога, пьянаго извощика съ дураковатымъ ли цомъ. — А ты, Ванька, пей сколько душа затребуеть. Безъ церемоніи валяй. Да дайте ему папиросъ крып кихъ. Бафра! Жив-ва!.. Люблю я тебя, каналья! Мо лодецъ ты господъ возить. Счастье дураковатаго Ваньки было полное. Подпершись фертомъ, онъ до истомы затягивался папироской и улыбался самымъ глупъйшимъ образомъ.

- Сколько следуеть? спросиль герой.
- За восемьдесять стакановь восемь рублей, за пять бутылокь квасу двадцать пять копьекь, за пять пачекь папирось рубль двадцать пять, отвычаль хозяинь.

Герой вынуль туго-набитый бумажникь, и клубный прилавокь заблисталь радугами сотенной кредитки.

- Нътъ ли помельче?
- Ну ужь мельче у меня не бываетъ. Пошлите размёнять. Да, впрочемъ, эй ты, Ванька! Поёзжай туда, гдё мы были сейчасъ. Тамъ тебё размёняютъ. Да ужь сиди лучше здёсь, нарёзывайся: я самъ съёзжу.
- Ладно, ваше благородіе, отвъчаль извощикь, только насчеть поднесенія не оставьте.
- Пусть пьетъ, лаконически приказалъ герой хозяину, взялъ съ прилавка ассигнацію, сълъ въ пролетку и поскакалъ по переулку.
 - Кто это? спросилъ у извощика хозяинъ.
- Баринъ какой-то. Страсть какой богатый. Мы съ нимъ другія сутки путаемся.
- Ты почаще такихъ-то вози, просилъ хозяинъ.
- Ужь это съ нашимъ почтеніемъ, а вы мив вотъ повсть чего-нибудь дайте. Эдакъ бълорыбицы, или икорки, сладострастно претендовалъ неумытый Ванька.

Вошло двое пожилыхъ господъ съ весьма бюрократическими признаками и геморроидальнымъ цвътомъ лицъ.

- А, знакомая лавка! Тутъ съ меня прошлой зимой шубу сняли, проговорилъ одинъ.
 - Ошибаетесь, счелъ долгомъ разувъритъ хозяинъ. У меня подобныхъ происшествій не бываетъ-съ.
 - Толкуйте! и очень хорошо помню, что и вы туть были.
 - Спрррраведливо, подтвердилъ другой и пошатнулся.
- Никакъ-съ нътъ. Это, въроятно, случилось въ другой лавкъ. Тутъ ихъ пять.
- Можетъ-быть, можетъ-быть. На васъ претендовать тоже, что воду лить въ решето. Давайте-ка водил Бюрократы выпили и удалились. Ихъ смънили дво молодыхъ офицеровъ.
- Нътъ, какъ хочешь, а мы далеки еще отъ истиной дороги прогресса, говорилъ одинъ.
 - Съ какой точки будешь имъть взглядъ.
 - Конечно съ абсолютной.
 - Абсолютнаго ничего нътъ. Дайте намъ водки.
- Абсолютнаго нътъ въ смыслъ абсолютномъ, н возможно-абсолютное всегда существуеть.
 - Но какъ же ты опредълишь это возможное?
- Собственнымъ убъжденіемъ опредълю.
 - Это будеть ерунда. Выстатул выгул выти

Значительно заложивши, офицеры вышли изъ клуба

- Что-то нътъ твеего барина, сказалъ хозянть обращаясь къ извощику.
- У барышень, надо думать, засидълся. Извъстно: разговоровъ-то у нихъ побольше нашего будетъ. PHENKREPSENTO PRINT
 - Не улизнулъ ли?

 — Эвона! Не изъ такихъ, проговорилъ извощикъ, безпечно пуская клубы дыма.

Прошло еще съ полчаса. Хозяинъ послалъ слонообразную мебель въ тотъ домъ, куда отправился герой.

- А барина-то твоего въ другой разъ у барышень вовсе и небыло. Во всемъ переулкъ ни одной пролетки нътъ, доложила слонообразная мебель.
- Батюшки! вскричалъ извощикъ, мгновенно вытрезвившись. Сейчасъ заръжусь пойду!
- Отпусти<mark>те-ка шеледочекъ пару, Штепанъ Ан-</mark> дреичъ, да капуштки, суетливо говорила сильно запыхавшаяся мамзель.
- Поди ты къ черту и съ селедками! не менње суетливо отвътилъ ей хозяинъ. Запирай лавку, Семенъ, продолжалъ, онъ выталкивая на улицу извощика, который съ отчаяніемъ запустилъ руки въ волосы и кричалъ:
 - Ой родимые мои! Удушусь сейчасъ.

Публика поспъшно улепетывала изъ клуба. Между тъмъ уже совершенно разсвъло.

- Слушай-ка, стой! сказалъ Дебоширинъ, подавая мнѣ выигранные имъ пять рублей, — ты постарайся нынче нанять себъ квартиру.
- Да ты на эти деньги самъ можешь устроиться, отвътиль я.
- Будетъ глупости городить! нетерпъливо закончилъ Дебоширинъ. — Развъ не знаешь, что я привыкъ ужъ!

Jacobal H. was thence, spotography appending the two of the configurations of the configuration of the source and the configurations of the configurations of the configurations of the configuration of the configuration

Carroning praparty nanonings accounts in the concomment. Conservation and control
conference of measurement many, liberature has
a conference of conference and control and

ная, пособыно Уперетираля из кахов. Можку по совершение разсивае.

transfer and creat character levelingues november of particular and marraparent annuary course course the course course course the course cour

hormories summer ages union are an ar-

annengene gennangeren largekont nigerett artisch tang appangun orr jamenin en break anner

ПЕРЕДЪ ПАСХОЙ.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF T

proportion design, authors result on printing from the contraction of the contraction of

or reach between and the recent course in the contract of

Я живу въ такъ-называемыхъ комнатахъ снебилью. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты снебилью. Филантропія моя такого высокаго качества, что я отъ всей души желаю вамъ полнаго невъденія этого милаго предмета. Скажу вамъ только, что тъ комнаты, въ которыхъ я занимаю одну, особенно отвратительны. дело не въ томъ. Содержательница нашихъ комнатъ имъетъ въ своихъ палестинахъ довольно хорошую репутацію, в роятно потому, говоря въ скобкахъ, что изо вскую подобныхъ содержательницъ, какихъ только я знавалъ когда либо, она самая вздорная и грязная баба, а ея клътки снебилью - самыя дрянныя, самыя темныя, самыя разрушающія. Можете, слёдовательно, очень легко представить себъ, сколько люда втискалось въ эти клътки, потому что, какъ вамъ самимъ извъстно, стремленіе къ грязи у русскаго человъка природное...

И воть съ самой Страстной недъли всъ помышленія этого люда были главнымъ образомъ направлены къ тому собственно, что какъ бы это раздобыть финансовъ, необходимыхъ для пріобрътенія болье или менье громадной бутылки съ тъмъ веществомъ, безъ котораго намъ и праздникъ не въ праздникъ.

Сотни мастеровыхъ, населяющихъ подземелья дома, гдъ живу я, только, кажется, тъмъ и заняты были во всю недълю, что таскали изъ откупной конторы эти ужасающія саженныя бутыли, при видъ которыхъ невольно припоминалась старинная пъсня:

«Кому чару пить, Кому распивать?»

Военное офицерство, помѣщающееся въ верхнихъ этажахъ нашего дома, въ три жилы, что называется, турило изъ своихъ аппартаментовъ неотвязныхъ кредиторовъ, отзываясь тѣмъ, что ему самому будто бы жалованья къ празднику не выдали; между тѣмъ какъ деньщики онаго офицерства возились съ бутылями, подкрашивая ихъ жженнымъ сахаромъ, стручковымъ перцемъ и, почти ежеминутно тайно пробуя сами, явно давали пробовать своимъ господамъ эту замысловатую влагу, никакъ, повидимому, не желая разстаться съ мыслью, чтобъ ихъ военная, деньщичья, такъ сказать, досужливость не могла улучшить адскаго зелья.

Въ то же время и статскіе майоры и прапорщики, которыхъ тоже очень много въ нашихъ клѣткахъ спебилью, надѣли ватные халаты и вмѣсто хожденія по комнатѣ и посвистыванія, чему эта публика любитъ всецѣло отдаваться въ свободное время, теперь глубомысленно черезъ самыя чистыя тряпочки процѣживали

въ графины праздничный нектаръ, пробовали его, миролюбиво и усладительно покрехтывая, и давали пробовать своимъ кредиторамъ.

Я такъ долго бъдствую въ меблированныхъ комнатахъ, что ихъ жизненныя картины не могли не опротивъть мнѣ до безконечиости; но прежде эти картины все-таки чъмъ-нибудь да разнообразились, и я не столько изъ любви, сколько изъ тяжкой необходимости каждый день созерцать ихъ, все кое-какъ мирился съ ними. Но на нынъшней Страстной недълъ это постоянное, неизбъжное подкрашиванье и улучшеніе откупнаго матеріала нашими жильцами, вынуждали меня чаще обыкновеннаго запирать на ключь мои пенаты и уходить отъ нихъ на грязную мостовую, на дождь и холодъ, пренебрегая возможностью насморка или утонутія въ импровизованныхъ болотахъ, обыкновенно украшающихъ московскій улицы въ началъ всякаго весенняго сезопа.

Но, справедливый Боже! мои пенаты тосковали безъ меня на замкъ, я тосковалъ на улицахъ безъ моихъ пенатовъ, а между тъмъ картины, выгнавшія меня изъ дома, были тъже и на улицахъ. По нимъ ходили и тадили не люди, какъ въ обыкновенное время, а громадныя бутыли. Съ безстыдствомъ холопа, случайно попавшаго въ господа, задирали они кверху свои зеленыя головы, заткнутыя толстыми пробками, толстымъ и длиннымъ туловищемъ своимъ совершенно загораживая отъ вашей наблюдательности людей, сгибавшихся подъ ихъ тяжестью, такъ что ръшительно невозможно было видъть по лицамъ этихъ людей, послъднихъ ли

деньжонокъ стоило имъ пріобрѣтеніе толстыхъ бутылей, или суммъ у нихъ осталось еще на столько, чтобы на праздникахъ пріобрѣсть еще толстѣйшія.

Такъ какъ я не видълъ лицъ людей, то кромѣ, что терялся общій интересъ уличнаго шатанія, я не быль въ состояніи и отвѣтить себѣ на только что высказанный мною вопросъ, а разрѣшеніемъ этого вопроса я не могу не интересоваться, потому что впечатлѣнія среды, меня родившей, на столько сильны во мнѣ, что я не могъ никогда окончательно забыть ихъ. Въ этой средѣ, помню я, глубоко бывали огорчены, если купленную къ празднику бутыль грѣшнымъ дѣломъ успѣвали распробовать на Страстной еще, а на самый праздникъ не смогали купить другую, и огорченіе это, по моему крайнему разумѣнію, было весьма и весьма натурально, потому что въ такое свободное время, какъ праздничное, чѣмъ же и займетесь, если не будете пить! Подтверждаю это авторитетомъ знакомаго человѣка.

Въ далекой глуши, на моей родинъ, живетъ нъкій маститый старецъ, весьма грамотный однодворецъ. Съ высоты своей жизненной мудрости онъ отзывается такъ о занятіяхъ приличныхъ празднику:

— Ежели таперича писаніе читать станешь, спасенія для души малость изъ эстова выйдеть, потому на такое время и безъ того черти-то всѣ въ адъ посажены; дѣло какое—грѣхъ дѣлать; разговаривать мнѣ съ вами съ дураками—не объ чемъ. Что же я таперича дѣлать должонъ? Должонъ, слѣдственно, я выпивать для тово, чтобы сердце у меня празднику радовалось и въ веселім

славословило. Върно ли я говорю? Обращался онъ въ

— Это точно, Митрій Захарычь, съ глубокимъ вздохомъ, до самой ясной очевидности доказывавшимъ общее умиленіе сердецъ, отвъчали поучаемые.

Конечно, у Митрія Захарыча, знаю я, была всегда возможность раздавить одну бутыль и тотчасъ же послать за другою. Веселье сердца у него, слёдовательно, постоянно поддерживалось и славословіе не прекращалось; но скажите же вы мнё на милость, что осталось дёлать тому человёку, который купиль бутыль на Страстной, долго и тщательно подкрашиваль ее, настаиваль разными наборами, замазываль ее глухо-на-глухо тёстомь, грёль въ вольномь духу и вдругь, по искушенію, всю бутыль употребляль еще до праздника? Спрашиваю я весь крещеный мірь, что оставалось дёлать такому человёку, когда онъ при всёхъ стараніяхъ, при всёхъ подходахъ къ друзьямъ и знакомымъ, рёшительно не могь добыть другой бутылки.

Такой пассажъ, не знаю какъ на кого, а на меня бы подъйствовалъ гибельнымъ образомъ: сначала я принялся бы тосковать, ругаться, пробовалъ бы заложить пъчто изъ зимней одежды, и такъ какъ ростовщики, цълукъ въ это время съ своими бутылями, дъла не дълаютъ, то я, право, поднялъ бы на себя руки, потому что тутъ у меня были бы два разсчета и оба одинаково върные: одинъ тотъ, что двухъ смертей не будетъ, одной не миновать, а другой: если ужъ умирать, такъ

о Святой, потому что, по легендъ, всъ умершіе въ это время въ рай попадаютъ...

Я не простиль бы себѣ такую шутку, еслибы не имѣль основанія шутить такимъ образомъ. Она была бы зла и неумѣстна, еслибы въ самомъ дѣлѣ н. видаль я, что въ праздники особенно бурливо ревутъ и волнуются волны водочнаго моря, если бы въ самомъ дѣлѣ не зналъ я, какъ море это безнаказанно пожираетъ столько народа, котораго никто не научилъ еще, что праздничныя удовольствія вытекаютъ совсѣмъ не изъ этого гибельнаго моря, текущаго развратомъ и смертью.

Но, говоря безъ лиризма, общій результатъ впечаттъній, навъянныхъ на меня Страстною недълею, быль тотъ, что въ субботу вечеромъ уже я отправился въ откупную контору и нріобрълъ тамъ полведерную бутыль. Такимъ образомъ, какъ видите, начавши за здравіе, я свель за упокой, ибо, рекомендуя себя внимацію публики, я, Jean de Sizoy, по чести долженъ сказать, что я вовсе не такой человъкъ, который бы долгое время могъ противостоять господствующимъ нравамъ. Подтрунивая надъ господами, которые подкрашивали и подцвъчивали свои бутыли, я оказался больше ихъ достойнымъ всякаго сожальнія, потому что у меня не осталось времени ни подкрасить водку, ни процедить ее, а тъмъ паче настоять и нагръть. Слъдовательно я долженъ былъ употреблять ее именно такою, какою она вышла изъ рукъ матери-природы, т. е. отца-откупщика. Изъ такого оборота дъла, пожалуй, кто-нибудь выведетъ то правоучение, что надо быть снисхолительнымъ къ

слабостямъ ближнихъ. У меня же на этотъ счетъ довольно давно выведено такое правило: трудно человъку удержаться отъ выпивки тогда, когда выпиваетъ все, что около него существуетъ и движется...

Sapienti sat! Онъ, т. е. sapiens, непремънно изъ всего мною сказаннаго выведетъ то заключеніе, которое выведетъ; я же иду дальше, если только и не лишился способности идти дальше, потому что, понимается, полведерная бутыль свое дѣло сдѣлала.

...Почти полночь. Въ комнатахъ спебилью тишь. Всё разошлись по заутренямъ. Всегда темный корридорь нашъ слабо освещенъ чуть-чуть мерцающей изъза угла лампадкой. Кто на столько ведетъ одинокую жизнь, что и въ эту ночь сидитъ одинъ дома, тому мало сказать скучно, потому что отъ того смертнаго томленія, того съ каждой минутой болёе и болёе гнетущаго изныванія души, которое неминуемо объемлетъ одинокаго человёка, нельзя обозначить этимъ словомъ.

Мнѣ въ эту минуту скучно именно такъ, какъ сказаль я, потому что я сижу одинъ. Мнѣ вспоминается мое прошлое, когда я не былъ одинъ. Сельская церковь, думаю я, иллюминована теперь общими стараніями прихода; на улицахъ веселая, дѣтски-радующаяся жизнь. Предъ образами ярко горятъ свѣчи прихожанъ, еще ярче блестятъ имъ въ глаза парчевыя ризы священниковъ. Мой десятилѣтній дискантъ валдайскимъ колокольчикомъ звенитъ съ клироса, заглушая доморощенный хоръ.

Ба! что это такое необыкновенно теплое вдругъ охва-

тило всю грудь мою, залило сердце и волной хлынуло въ глаза? Я давно не испытывалъ такого ощушенія. Во время оно за нимъ слёдовали слезы. Что же дёлать, если нётъ теперь слезъ, какъ нётъ людей, съ которыми я былъ не одинъ.

Одинъ! Что такое одинъ? А вотъ что: въ комнатахъ снебилью я задолжалъ теперь сто сорокъ рублей восемнадцать копъекъ. Отопру я сейчасъ же вотъ этотъ столъ, возьму изъ него свои документы и сейчасъ же уйду изъ квартиры, отряхнувши прахъ съ сапоговъ моихъ. Пойду на право, никого не встръчу, кто бы сказалъ мнъ: приходи поскоръе; пойду налъво—тоже... И такъ до гроба!..

Тяжесть ночной думы объ одиночеств можеть быть впрочемъ значительно облегчена скрежетаніемъ зубовъ, не театральнымъ, а настоящимъ, царапаньемъ своими ногтями своей груди, а главное, — стараніемъ увтрить себя, что нътъ худа безъ добра...

— Безпомощное положение бъднаго, одинокаго человъка вызываетъ у него энергию, которая, еслибы онъ былъ обезпеченъ, могла бы, пожалуй, совсъмъ не проявиться, слышалъ я недавно.

Это очень хорошо-съ... «Съ» прибавляю я здёсь съ тою именно цёлью, чтобы какъ можно учтивѣе похвалить это правило.

— Когда говоришь съ какимъ нибудь бариномъ, вразумляла меня покойница-мать (а правило слышалъ я отъ одного очень состоятельнаго барина), — говори всегда: слушаю-съ, сударь-съ! Такъ съ господами говорить, ми-

лый ты мой, политика требуетъ. Перенимай что тебъ хорошіе люди скажутъ, а мы съ отцомъ послъднія жилы изъ себя вытянемъ, да учиться тебя отдадимъ. Ты тогда у насъ самъ бариномъ будешь.

Бѣдная! Ученье мое дѣйствительно порвало у васъ съ отцомъ послѣднія жилы, хотя я и не знаю, чему я выучился, точно также какъ не знаю того, кто теперь послѣ смерти отца будетъ пахать ту наслѣдственную полосу, которую я долженъ былъ пахать послѣ него?

Какія однакожъ странныя думы иногда забираются въ голову, какъ нежданно и повидимому непоследовательно вызывають онъ одна другую! Наслъдственная полоса! Наслъдственный садъ! Снъгъ на моей полосъ растаялъ теперь, весенній разливъ досыта напиталъ ея землю: ждетъ она теперь, чтобы теплое солнце весеннее согрѣло ее, назябшую зимними холодами, ждетъ, чтобы прівхаль пахарь хозяинь и бросиль свмена въ ея теплыя нѣдра. Говорю: ждетъ еще всего этого моя полоса, потому что въ настоящую минуту такъ же пусто, такъ же грустно и молчаливо на ней, какъ вотъ въ этой комнатъ. А садъ? Ранняя нынче весна, и надо полагать, что дорожки его просохли уже; но върно и то, что тихо и пусто теперь въ немъ, какъ тихо и пусто на полось. Какъ, я думаю, испугались и забъгали зайцы, пріютившіеся въ немъ на зиму, когда увидёли, какъ на сельской колокольнъ запылало зарево праздничнаго освъщенія! Я какъ будто слышу даже, какъ шуршатъ они въ непроходимомъ вишнякъ, стараясь укрыться въ его разръженной морозами чащъ. И думается мнъ, что

и садъ, запущенный вслёдствіе моего ученья разнымъ наукамъ, ждетъ теперь, когда кончится обёдня и взойдетъ свётлое, праздничное солице. Не пусто будетъ тогда въ немъ, потому что выбёгутъ въ него въ это время рёзвыя дёти, такія же красивыя и цвётущія какъ были, припоминаю я, красивы и цвётущи молодые вязы, что росли въ четырехъ углахъ нашего сада.

Вотъ передо мной и вязы, подъ тѣнью которыхъ я, мои братья и сестры игрывали когда-то. Такъ! это именно стоятъ теперь передо мною стройные стволы деревьевъ, которыя росли вмѣстѣ со мною; это ихъ зеленые листья, что бывало вѣчно шепчутся межъ собой и заставляютъ задумываться. А вотъ за чертой, которую дѣлали вязы, и родное село. Я живо вижу его тихую улицу. Черезъ пятнадцать лѣтъ я не забыль ни одной лачужки.

Прошлое, прошлое мое! Картины твои все тё же, какими онъ были когда-то. Гдъ же люди, которые ихъ оживляли? Въдь безъ людей онъ мертвы.

- Умерли люди, умерли! говоришь ты мнъ, старина.
- Всв умерли?
- -n-Bek. acceptate on the experience of the management
- Хорошо съ! Это очень хорошо съ! А полоса моя, а садъ мой, вязы, село, все это живо еще, все это, разсчитываю, не измѣнилось?
- Разсчитывай. Все это не измънилось, все это живо.
- Спасибо, старина, спасибо.

Рромъ кремлевскихъ пушекъ прокатился въ этотъ моментъ по московскимъ улицамъ. Но думы мои, испу-

гавшись этого грома, не вдругъ отлетѣли отъ меня. Я осмотрѣлся. Передо мной за столомъ сидѣлъ мой сосѣдъ по комнатамъ снебилью, выгнанный изъ службы, — талантливая натура. Полведерная неподкрашенная бутыль нагло возвышалась на столѣ, уменьшенная впрочемъ болѣе нежели на четверть.

Я бросился къ открытому окну. Въ глаза мив наказывающей молніей блеснула иллюминація Ивана Великаго, въ лицо пахнулъ холодный ночной вътеръ. Сотни колоколовъ таинственно говорили съ сурово-молчавшею ночью о воскресеніи Въчнаго Свъта, разгоняющемъ всякій мракъ... Въ тысячъ мъстъ тысячью громовыхъ голосовъ раздавалось громовое пушечное эхо.

— Съ прра а-здникомъ! бормоталъ мнъ полусонный и совершенно пьяный сосъдъ. — Фыпьемъ, лю-бе-е-зный дрругъ!

Я не могъ отвъчать ему, потому что языкъ мой не слушался меня. Мою душу и голову жегъ огонь сознанія, что въ эту ночь я гнусно наругался надъ святыми заповъдями отца и матери.

Стали они передъ глазами моими, эти простые, столько любившіе, столько страдавшіе люди; головы свои сёдыя склонили къ чахлымъ грудямъ и плачутъ... Молча плакали они, но мнѣ понятно было, что они хотѣли сказать мнѣ: «Обманулъ, ты насъ, Ваня! Обманувши, въ гробъ силою вколотилъ», слышалось мнѣ въ мертвенно-унылой тиши комнатъ спебилью...

R neue ito use onto antique de mone entre de la consecución de mone entre entr

THE WAR PROPERTY OF THE PROPER

ONE PROPERTY CONTRACT CONTRACTOR OF SECURIOR AND AND CONTRACTOR OF SECURIOR OF

the part of the property of the contract of th

ngaran ngap ngapan ngapan ngapangan angapangan ngapangan ngapangan

ATTERES B ARREIT DESIGNARE DE SERVE DESIGNARE DE L'ARREIT DES CONTRACTOR DE L'ARREIT DE L'

Control of Ramon Parks (1974)

московская тайна.

Paliting Transporter of Ashor Chem Internation of Them

was a fine first of I. - and a market of the

На Спасскихъ воротахъ бьетъ двѣнадцать часовъ московскаго, слѣдовательно, ранняго лѣтняго утра. Бой часовъ, впрочемъ, поглощается громомъ экипажей, криками кучеровъ и вообще шумнымъ смятеніемъ той столичной дѣятельности, отъ которой невыносимо страдаетъ голова, сама не привыкшая ежедневно толочься въ этой безустанной толчеѣ такого множества разносортныхъ, разнокалиберныхъ физіономій съ крайне интересными оттѣнками многоразличной суеты, манящей ихъ, какъ сказано Островскимъ, куда-то и зачѣмъ-то, подъ предлогомъ обдѣлыванія самыхъ безотлагательшихъ дѣлъ.

Острая, вдкая пыль облаками летаетъ въ раскаленномъ воздухв, бвлыми тучами спускается на тощія деревья московскихъ бульваровъ, воровски прокрадывается въ окна домовъ, плотно повидимому закрытыя непроницаемыми сторами, и, толстыми слоями улегшись на

каменныхъ тротуарахъ, служитъ для пѣшеходовъ какимъ-то громаднымъ полотномъ, по которому, самымъ понятнымъ для паблюдательнаго глаза образомъ, выводится безчисленное множество узорчатыхъ гіероглифовъ о людской суетѣ,—и звѣнящими саблями военныхъ, и глухо-стукающими по тротуарнымъ столбамъ палками мирныхъ гражданъ, и, хотя до невѣроятія широчайшіе кринолины дамъ болѣе или менѣе сметаютъ гіероглифы, но все таки ихъ еще остается настолько, чтобы можно было безъ особеннаго затрудненія прочитать главную тему, изображаемую ими, что дескать vanitas vanitatum et omnia vanitas!..

Въ это время всеобщихъ попыховъ, въ это время неизбъжной надобности, представляющейся каждому пъшеходу, раскрыть ротъ и бъжать сломя голову, расталкивая направо и налъво ближнихъ, взманенныхъ своей собственной суетой бъжать и смачивать влагою, въ маломъ количествъ сохранившейся еще на языкъ, изсушенныя палящимъ солнцемъ губы, — въ это, говорю, время, серьозно и неторопливо, какъ и всякому бравому служивому надлежитъ, шелъ себъ по одной изъ самыхъ шумныхъ московскихъ улицъ, заложивъ руки за спину, отставной надворный совътникъ и ордена св. Станислава третьей степени кавалеръ, Петръ Феофилактовичъ Зуйченко, вчера только пріъхавшій изъ тѣхъ благословенныхъ странъ, которыя нѣкій мой пріятель называетъ однимъ именемъ: изъ-пидъ Пилмавы.

Я не буду рисовать вамъ характера моего героя, потому что настоящій очеркъ пишется собственно съ цёлью подражанія Парижскиму Тайнаму, гдв, какъ всякому, кромъ впрочемъ нашихъ убздныхъ барышень, извъстно, разсказывается только, какъ принцъ Рудольфъ Герольштейнъ разыскивалъ по Парижу красивыхъ, но опаленных безжалостным солнцемъ камелій и возвращаль ихъ къ прежней цвътущей жизни, посредствомъ безалабернаго осыпанія німецкимъ золотомъ. Извістно всякому, какъ осыпаніе золотомъ подъйствовало, напримъръ, на мосье Шуринера и его злоехидную Сову, какъ извъстно и то, что кромъ этихъ росказней о подвигахъ принца, особенной върной рисовки характеровъ въ Парижских Тайнах не имъется, хотя увздныя барышни въ этомъ случав и разногласять со мпой. Онъ, сказать въ скобкахъ, прочитавъ сію многознаменитую сказку, непремънно начинаютъ думать, что вотъвоть въ какой нибудь Глуповъ затъшется знаменитый иностранецъ и осыплетъ бъдныхъ, но благородныхъ, приказницъ своими неистощимыми богатствами для того собственно, чтобы бъдныя, но благородныя приказницы безотлагательно могли выполнить влеченія своихъ нъжныхъ сердецъ, стремящихся къ законному вступленію въ бракъ съ гарнизонными офицерами, которые въ свою очередь — чоррртъ меня ссовсвиъ поберри! — постоянно шатаясь и тяжело вздыхая подъ окнами оныхъ приказницъ отъ законнаго брака однако весьма пугливо ретируются, ибо де имъ — каналльство! -- каррьеръ нужно сдълать: съ купчихи какой нибудь, для обезпеченія военному человъку необходимаго, тысячъ десять или даже двадцать не мъшало бы сколотить!

Но какого чорта будеть делать въ Глупове принцъ фонъ-Герольштейнъ! Еслибы даже онъ и сделалъ Глупову честь своимъ посъщениемъ, даю честное слово, онъ скоро бы увхаль оттуда въ какое нибудь другое мъсто, потому что Глуповцы, какъ мив извъстно, ничёмъ теперь не занимаются, какъ только взаимнымъ оплевываніемъ по рецепту господина Щедрина. Следовательно мое мивніе относительно того, что въ Парижских Тайнах есть разсказъ про подвиги какихъто куколь. Въ которыя съ такимъ удовольствиемъ играють наши увздныя Маріи, и неть разсказа про людей дъйствительныхъ, върно. Теперь не натурально л съ моей стороны будеть, ежели я для вящшаго и успъшнъйшаго подражанія Еженю Сю, не стану рисовать надворнаго совътника Зуйченко, какъ дъйствительнаго человъка изъ-пидъ Пилтавы, а просто разскажу о его необыкновенныхъ московскихъ подвигахъ, до того необыкновенныхъ, что въ нихъ, какъ и въ подвиги Рудольштейна, пожалуй никто не увъруетъ, кромъ увздныхъ барышень.

Итакъ изъ того благодатнаго края, гдѣ въ ожиряющемъ изобиліи растутъ пузатые кавуны и цвѣтутъ дули, груши и сливы, т. е. изъ Хохландіи, Петръ Феофилактовичъ въ первый разъ пріѣхалъ, въ первопрестольную столицу. Всѣ тѣ уличные предметы, мимо которыхъ мы съ вами, читатель, какъ истинно-цивилизованные столичные джентельмены, прошли бы, такъ сказать, не пошевеливъ даже озабоченно сдвинутыми бровями, въ высшей степени привдекаютъ любознатель

ное вниманіе господина надворнаго совътника Зуйченко. Съ завидной способностью степнаго орла, который прямо и долго смотрится въ ясное солице, Петръ Ософилактовичь впивается своими любопытными глазами въ громадный куполъ храма Спасителя, который льетъ оть себя цёлое море ослёпляющихъ золотыхъ лучей. Смотрится въ это свътлое море Петръ Ософилактовичъ до того задумчиво и сосредоточенно, что тѣ произительные крики, которыми молодые шалуны разнощики, для ради шутки, думали развлечь зазъвававшагося барина, тъ въ состоянии пострясть гору въ ея основаніяхъ озлобленные тычки, которыми дёловые, съ быстротою молніи стремящіеся куда-то люди, обыкновенно сталкивають съ своей дороги праздныхъ зъвакъ, едва-едва могли вывесть его изъ задумчиваго до столбняка созерцанія московской святыни.

Идетъ Петръ Феофилактовичъ, а широкія картины широкой столицы, переливающимися волнами, хлещутъ ему въ глаза, привыкшіе видѣть однообразный зеленый фонъстепной растительности; непрерывное гудѣнье бѣгущей, кричащей, скачущей жизни, бьетъ ему въ уши. На лицѣ его ясно написано ошеломляющее впечатлѣніе, которымъ непремѣнно поражаетъ всякаго пріѣзжаго степняка громадное столичное цѣлое. Очевидно было, что это цѣлое охватило все его существованіе до такой степени, что отдѣльныя частности его, какъ бы маленькія придорожныя птички, неуловимо-быстро мелькали передъего глазами такимъ же сбивающимъ съ толку нолетомъ, какимъ въ полѣ роятся оживленныя черныя точки предъканимъ въ полѣ роятся оживленныя черныя точки предъканимъ въ полѣ роятся оживленныя черныя точки предъ

разсвътнаго мрака; роились онъ передъ Петромъ Феофилактовичемъ и не давали ему возможности сообразить какіе именно звуки изъ этого громко хаотическаго жужжанья всего болье терзаютъ его уши, какія именно лица изъ всей толны, неутомимо снующей передъ нимъ и за нимъ, особенно поражаютъ его.

- Какъ пройти къ Иверской Божіей Матери? освъдомляется наконецъ Петръ Оеофилактовичь у съраго воина, важно стоящаго на углу улицы.
- Направо отсюда, потомъ наяво по Тверской, съ Тверской направо и прямо, отвъчаетъ сърый воинъ.
- А я-то на что, ваше превосходительство? суетливо спрашиваетъ Петра Феофилактовича близъ-стоящій извощикъ. Разбодрилъ бы я для вашего сіятельства своего жеребца: живо бы къ мъсту доставилъ; объщаетъ онъ, проворно загораживая Петру Феофилактовичу дорогу своимъ калиберомъ.

Но его сіятельство обходить калиберь и направляется направо по рецепту съраго воина.

— Экой чортъ толстый? Двугривеннаго пожалѣлъ, скупендяй эдакой! Небось вспаришься, когда дороги-то самъ не знаешь.

Петръ Феофилактовичъ, неизмѣнно привыкшій видѣть въ Хохландіи удовлетворяющее самыя пылкія ожиданія почтеніе къ его солидной фигурѣ съ эмалевой кокардой на лбу, строго наморщивается и идетъ на извощика съ цѣлью проучить грубіяна; но грубіянъ хлещетъ вожжами по костистымъ бокамъ своей клячи и, мгновенно скрываясь въ ближній переулокъ, оретъ во все горло:

- Пробъжись-ка за мной, медвъдь! промни бока-то! Извощики, стоящіе на угль, поощряють рацею своего благопріятеля до безобразія веселымь хохотомь.
- Скоты! шепчетъ покраснъвшій какъ ракъ Петръ Феофилактовичь, и скорымъ маршемъ идетъ отыскивать часовню Иверской Божіей Матери.

Неотступно преследуя Петра Ософилактовича, я имель случай видъть, какъ благоговъйно простирался онъ ницъ на каменномъ помостъ часовни, какъ становилъ мъстнымъ иконамъ толстыя свъчи, какъ обдъляль заранъе приготовленными конъйками цълую армію нищихъ, стремительно окружившую его при выходъ изъ часовни. Однимъ словомъ, по порядку и безъ поразительныхъ скачковъ Петръ Өеофилактовичь проходилъ всё тё фазы столичной жизни, которыя неминуемо долженъ пройдти всякій провинціяль, посъщающій столицу въ первый разъ. Я виделъ, какъ онъ искренно прослезился и далъ серебряный гривенникъ обыкновенному человъку Иверскихъ воротъ, когда обыкновенный чёловёкъ подкатилъ въ нему своей франтовитой военной побъжкой и, изгибаясь змжемъ, понесъ ему свою обыкновенную, тысячу разъ каждый день повторяемую, исповёдь:

— Бъдный офицеръ! Жертва злобной судьбы! Голодное семейство, больная жена, умирающія дъти! М—с—вый г—с—дарь! страждущее человъчество взываеть о помощи! Богъ за все заплатить сторицей. Мерси боку!

Видълъ я, какъ долго не сходила слеза съ лица Петра Өеофилактовича, когда онъ пристально смотрълъ вслёдъ обыкновенному человёку, который полнымъ галономъ потащилъ добытый гривенникъ въ полпивную, гдё сосредоточивались всё жизненныя надежды его, т. е. больная жена и умирающія дёти.

Наконецъ Петръ Өеофилактовичъ вытаскиваетъ серебряную луковицу—наследіе предковъ, смотрить на нее и отправляется въ ближайшій трактиръ, не столько съ цълью заморенія червячка, сколько для приблизительнаго сравненія чужеземных в ресторановь съ Горот'ами Парижами и Аршавани, благополучно процвътающими на его благословенной родинъ. И вотъ три рюмки выпиты Петромъ Өеофилактовичемъ съ обычнымъ прикрехтомъ, вылетъвшимъ такъ-сказать изъ всего живота, бифстекъ съвденъ до-тла, тарелка аккуратно-вычищена оставшимся хлібомъ, и я имію удовольствіе видіть какъ до сихъ поръ озабоченное лицо моего героя расцевчивается пріятной улыбкой, ибо Видомости Московской Городской Полиціи почтительно докладывають ему следующее: Прівхавшій изъ Риги действительный статскій сов'ятникъ Штруль, изъ Хохландіи надворный совътникъ Зуйченко», et caetera, не такъ уже занимаrighted anythoungroup and historic durтельные.

Красивый молодой человькь въ самомъ злобномъ пиджакъ, вавитой и раздушенный, въ лазурныхъ, какъ небо, перчаткахъ, султаномъ развалившись на сосъдней кушеткт, одной рукой граціозно дъйствуетъ зубочисткой, а другой не менъе граціозно шалитъ своей изящной часовой цъпочкой, конечно золотой. Ненарушая инсколько пріятнаго впечетлънія, которое непремънно долж-

ны производить на всякаго его пріятныя эволюцій, онъ въ то же время наблюдательно посматриваетъ на Петра Феофилактовича и даже, какъ-будто соображаетъ, что именно знаменуетъ его пріятная улыбка. Наконецъ онъ беретъ съ своего стола нумеръ какой-то газеты и элегантнымъ шагомъ человъка, налощившаго въ своей жизни не одинъ паркетъ, подходитъ къ углубившемуся въ чтеніе о пріъзжающихъ Петру Феофилактовичу.

— Прошу извинить! говорить ему молодой нобль самымь симпатическимь голосомь, дёлая въ высокой степени фешнебельный поклонь.—Сколько я вижу, вы изволили до конца прочитать вашу газету, не угодно ли вамь помёняться на мою?

Петръ Ософилактовичъ вскакиваетъ со стула и своимъ поклономъ и шарканьемъ старается изобразить нъчто подобное поклону и шарканью деликатнаго незнакомца.

— Покорно благодарю! лепечетъ онъ ни къ селу ни къ городу. —Сочту за честь! Извольте.

И при этомъ, когда онъ подавалъ франту Видомости, я видълъ какъ лицо его дъвственно краснъло, а руки пугливо дрожали.

- Очень вамъ благодаренъ! отвъчаетъ прекрасный незнакомецъ. Прошу о продолжении вашего интереснаго знакомства. Баронъ Гюббель къ вашимъ услугамъ, рекомендуется опъ, присаживаясь къ столу Петра Өеофилактовича.
- Государя моего надворный совътникъ и ордена св. Станислава третьей степени кавалеръ, Петръ Өеофилактовичъ, сынъ Зуйченко! важно и торжественно

называетъ въ свою очередь себя Петръ Өеофилактовичь.

- Ахъ, Боже мой! радостно восклицаетъ баронъ— такъ вы отецъ ротмистра Зуйченко, моего лучшаго друга? Я съ нимъ въ одномъ полку служилъ. Позвольте обнять васъ.
- Не имъю, государь мой, дътей мужескаго пола ни единаго даже. Было двъ дочери у меня: Митродора и Степанида, но и тъхъ, по благой Промысла волъ, въ цвътущихъ лътахъ схоронилъ.
- Ахъ, Боже мой! снова молится лучшій другь ротмистра Зуйченко,—скажите, какое несчастье!
- Истинно несчастье, государь мой, ибо на старости лѣтъ не имѣю существа, руку помощи мнѣ подать могущаго.
- Ахъ, какое несчастье! Какое несчастье! самымъ скорбящимъ, тономъ растягиваетъ чувствительный баронъ фонъ Гюббель.
- Богъ даде, Богъ и отъя! сказано въ книгъ Іова многострадательнаго. Его святая воля надъ нами! Никогда мы ея не прейдемъ, слабыми и ограниченными существами въ своемъ естествъ будучи.

Баронъ жалостно оперся локтемъ одной руки о столъ, а другою драматически взъерошивалъ свои завитые волосы.

— Истинную правду вы изрекли, Петръ Өеофилактовичъ, сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. — Слабы и смертны мы всъ.

Настала продолжительная пауза. Баронъ закрылъ лицо своими лазурными перчатками и, судя по его послъдней

фразв, раздумываль должно быть о слабости и смертности человвческой, а Петръ Өеофилактовичь, болвзнено моргая своими слезящимися глазами, и на него и на все окружавшее смотрвлъ такъ внимательно, какъ будто отыскивалъ въ трактирной толпв человвка, который бы послв ранней смерти дочерей его Митродоры и Степаниды, могъ достойнымъ образомъ подать ему на старости лвтъ руку помощи.

— Да! какъ бы съ просонья вдругъ воскликнулъ баронъ, азартно пожимая руку своего новаго друга — вы
истинный философъ! Я уважаю и должнымъ образомъ
цѣню ваши благородныя правила. Ботъ даде, Богъ и
отъя! Вотъ наше единственное утѣшенье и подпора во всѣхъ ударахъ судьбы. Прошу васъ, достойный
Петръ Өеофилактовичъ, сдѣлать мнъ честь откушать со
мной.

Петръ Феофилактовичъ выросталъ въ своихъ собственныхъ глазахъ. Первый шагъ, который онъ сдълалъ въ столицъ, привелъ его къ знакомству съ человъкомъ, фамилія котораго магически подъйствовала на него, обывателя изъ-пидъ Пилтавы. Въ его головъ зароилисъ разныя счастливыя предположенія, которыя основывались на аристократическомъ знакомствъ съ высокороднымъ барономъ. «Кто знаетъ, думаетъ про себя Петръ Феофилактовичъ, можетъ быть баронъ, по великому знакомству своему съ разными высокими сановниками, мъстечко мнъ схлопочетъ какое-нибудь?»

— Государь мой! отвъчаетъ онъ барону, парадно поднимаясь съ своихъ креселъ, — въ особенную честь и

таковое же удовольствіе разділить съ вами трапезу вміняю себі.

Высокородный фонъ Гюббель въ отвътъ на эту рацею отлилъ и свою пулю не менъе круглаго и удовлетворительнаго свойства.

— Моей неопытной юности пріятно воспользоваться мудрыми правилами такого благоразумнаго и искусившагося въ жизни мужа, какъ вы, говорилъ баронъ, совершенно по дътски выпучивъ свои глаза на мудреца изъ-пидъ Пилтавы.

Такимъ образомъ, послѣ всѣхъ этихъ фразъ, доказывающихъ отличное знакомство обоихъ собесѣдниковъ съ любезной книжицей О прикладахъ, како пишутскомплименты разные, баронъ заказалъ обѣдъ съ такими неестественными блюдами, къ которымъ Петръ Феофилактовичъ не зналъ какъ и приступить. При каждомъ появленіи новыхъ тарелокъ, онъ мучительно ломалъ голову, придумывая, что бы такое спросить у своего юнаго друга съ формально-дипломатическою цѣлью отдалить жгучую минуту прикосновенія къ блюду до тѣхъ поръ, пока благородный собесѣдникъ его собственнымъ примѣромъ не покажетъ ему, при помощи какого столоваго орудія, нужно прикасаться къ этому блюду.

Баронъ не скупился на уроки. Онъ ясно видълъ плебейскую хитрость Петра Феофилактовича и граціозно дъйствовалъ въ его назиданіе ложкой, ножомъ и вилкой. Петръ Феофилактовичъ безъ шутокъ засматривался на тъ поистинъ восхитительные пріемы, съ которыми баронъ обращался съ замысловатымъ объдомъ, такъ что, по моему крайнему разумѣнію, пріемы эти вътысячу разъ были восхитительнѣе пріемовъ, отличавшихъ нѣкогда усопшихъ предковъ барона въ то время, когда они, конные и пѣшіе, ручнымъ и дальнимъ боемъ защищали честь и имущество знаменитѣйшей, по ихъ мнѣнію, фамиліи бароновъ фонъ Гюббель, непобѣдимыхъ рыцарей безукоризненнаго герба кабаньей головы въ грязной лужѣ съ золотой подписью по латыни: Asinus asinum fricat.

Но всякому времени свое. Извъстно, что наше поколине противъ прежняго обмельло, поэтому и неудивительно, что въ старину граціозно пили и граціозно давали въ зубы, не удивительно и то, что нынъ граціозно пьють и не имъють силенки, хоть бы и безъ особенной граціи завхать въ физику; следовательно, еслибы дело шло о правильномъ опредъленіи, когда было лучше на свътъ, теперь или встарину, я бы безъ затрудненія отвътилъ, что и въ старину и теперь. Но въдь всякій, кто только прочитаетъ эти строки, безъ сомнънія на столько грамотенъ, что непремънно увидитъ, что я такъ-сказать зарапортовался, и что только та необыкновенная гибкость, съ какою я владею словомъ, помогла мий отъ старыхъ временъ, отъ гербовъ, перейти къ объду, которымъ угощалъ Петра Өеофилактовича обязательный баронъ фонъ Гюббель.

И такъ я очень радъ, что раздълался съ старинными временами и продолжаю.

Портвейнъ и лафитъ, ошеломившіе своей дикой цѣнностью Петра Өеофилактовича, развязали ему языкъ накопецъ, но крайней мърж настолько, что онъ пересталь въ разговоръ съ барономъ цитировать лучшія мъста изъ книги О прикладахъ, како пишутся ксмплименты разные и заговорилъ простою ръчью.

- Очень, очень радъ я, баронъ (позвольте узнать ваше имя и отчество), что имълъ честь познакомиться съ вами. Я прівхаль сюда по весьма для меня важному двлу.
 - Право? спрашиваетъ баронъ.
- Да, я теперь на васъ, какъ на каменную гору надъюсь. Вы мнъ, батюшка, Христа ради, помогите! Ужъ, пожалуста, будьте отцомъ, заставьте за себя въчно Бога молить.
- Не просите вы меня, умоляеть въ свою очередь баронъ—все, что могу, я радъ для васъ сдёлать безъ всякихъ просьбъ.
- Будь благод тель! фамильярничаеть съ юношей Петръ Феофилактовичь. — Эхъ! Пуншику бы выпиль теперь.
- Пуншу! командуетъ баронъ. Какое же у васъдъло въ Москвъ?
- Да что, батюшка, мъсто прівхаль искать. Знакомыхъ, можете себъ представить, во всей Москвъ на единаго человъка. И подъбхать, то-есть, чтобы попросить тамъ кого слъдуетъ, совсъмъ некого.
- Ну, еще это бъда не бъда, говоритъ баронъ— съ этимъ-то мы какъ-нибудь сладимъ. Какое же мъсто вамъ нужно!
 - Да хоть бы какое-нибудь дали, все бы въсласть

было! остритъ Петръ Өеофилактовичъ, смакуя другой стаканъ пунша.—Не до горячаго намъ, братецъ ты мой, лишь бы только ротокъ попарить.

Баронъ снисходительно слушалъ разные дружелюбные эпитеты, которыми удостоивалъ его разгулявшійся Петръ Феофилактовичъ, думающій въ это время о томъ, какой необыкновенно милый человъкъ его новый знакомый.

«Что же такое? думаетъ онъ чуть не въ слухъ. Это ничего, что онъ аристократъ. Я самъ изъ оберъ-офицерскихъ дътей. Опять же я старикъ и надворный совътникъ, а у него небось и перваго чина еще нътъ. Усенки-то у него еще не выросли.»

И ему начинаетъ казаться, что баронъ непремънно обидится на него, если онъ не станетъ обходиться съ нимъ по-родительски.

- Напрасно ты, другъ мой любезный, виномъ меня такимъ дорогимъ угощалъ. Я тебя давеча еще хотълъ побранить за это. Ты, милый, береги денежку про черный день, самымъ поучающимъ тономъ приказывалъ барону Петръ Өеофилактовичъ.
- Что дёлать, Петръ Өеофилактовичъ! Привычка. Впрочемъ очень вамъ благодаренъ, отвъчаетъ баронъ съ пріятной покорностью милаго ребенка ученика.
- Нужно бросить дурныя привычки, дружокъ! Прикажи-ка, братецъ, мнѣ еще стаканчикъ пуншику-то. А ежели ты меня для перваго знакомства угостить хотѣлъ, я тебѣ впередъ сказываю: не люблю я этихъ винъ. Я матушку россійскую люблю. Я за нее за матушку страдаю, а люблю. За нее меня изъ службы новый губер-

наторъ вонъ вытурилъ. Какъ узналъ, что я запиваю (я, братецъ ты мой, по году, по два не пью, да ужъ когда закучу, такъ чертямъ тошно! Ты не смотри, что я старикъ. Это ничего! Мнѣ въ это время удержу нѣтъ)... такъ какъ только онъ узналъ, что я запиваю, и говоритъ: «Подавайте отставку: вы пьяница». Я и вышелъ, потому я было не хотѣлъ выходить, а онъ и говоритъ мнѣ: »Ну, такъ я самъ васъ выгоню». Они, новые-то, всѣ такіе!.. Чортъ съ ними! Я пью, я и дѣло знаю. Опять же я рѣдко пью...

- Это ничего, Петръ Өеофилактовичъ, утвшаеть баронъ. У меня дядя есть князь. Онъ хоть и не служитъ теперь, но ему только слово стоитъ сказать, такъ вамъ какое угодно мъсто дадутъ. Я къ вамъ завтра пріъду и повезу васъ къ нему.
- Вотъ и отлично! Вотъ и молодецъ! въ необыкновенномъ восторгъ кричитъ Петръ Феофилактовичъ. Дай я тебя поцълую за то, что ты насъ стариковъ уважаешь. Че-ла-э-къ! Графинъ водки сюда. Выпьемъ съ тобою, другъ!
- Извините, Петръ Өеофилактовичъ, не могу: послѣ объта не пью.
- Выпей, выпей пожалуста! Я тебя поцёлую за это. Всю, всю, всю пей. Молодецъ! Эй ты, машинистъ! обращается Өеофилактовичъ къ трактирному лакею. —Будеть тебъ чертовщину-то играть. Поставь русскую!..

Трактирная зала оглашается разухабистою: Вдоль да по рычкы, вдоль по Казанкы. Петръ деофиланто-

вичъ пускается въ азартный плясъ, а баронъ поставляетъ ему деликатно на видъ, что это не хорошо.

— Молчи, молокососъ! Развѣ не видишь, что я запиль? Ты заѣзжай за мной завтра, а теперь мнѣ удержу нѣтъ.

of the chartest strike and noticed by the one bearing in

angreich das geschaften der Artherentes geschafte errollt. Arges der leicherentschaft dem der Mohre Benchmanktenen. Arges der best die nebo. Pongescheren eur abben

На другое утро Петръ Өеофилактовичъ проснулся съ больной головой. Голова решительно хотела у него лопнуть, потому что, не говоря уже про изящнаго барона фонъ Гюббеля и паровъ выпитаго вчера вина, въ ней роились густыя толпы какихъ то странныхъ призраковъ, которыхъ Петръ Өеофилактовичъ видълъ какъ-будто гдв то и когда-то, но когда и гдѣ именно, онъ припомнить ръшительно не былъ въ состоянии. Отдаленнымъ, но твиъ не менъе потрясающимъ громомъ въ больной головъ моего героя раздавался музыкальный гуль трактирной машины, играющей Вдоль да по рычкы; неясно припоминались какія-то новыя знакомства съ какими-то новым людьми, обниманія и цізлованія съ ними, увітренія этихы людей въ всегдашней и неизмѣнной дружбѣ, которую будто бы почувствовали они къ Петру Өеофилактовичу при первомъ взглядъ на него. Припомнилась ему потомъ темная, темная ночь, суровыя груды зданій, мрачно-на крытыя ею, лихая взда по какимъ-то улицамъ, кривым и длиннымъ, услужливые извощики, ярко освъщенные подъъзды какихъ то домовъ, громъ оркестровъ, какія—то воздушныя, влекущія феи, какіе-то люди разнаго званія, поющіе подъ эти оркестры, любезничающіе съ этими феями, а наконецъ, во главъ всей этой длинной шеренги воспоминаній, припоминался Петру Феофилактовичу самъ, Петръ Феофилактовичъ, буйный и кутящій до отрицанія всякаго, по его же словамъ, удержу.

— Господи! наконецъ воскликнулъ онъ. — Что же это я дълаю? старый я шутъ! Прівхалъ за дъломъ, да на первый же день и запьянствовалъ. А съ хорошимъ было человъкомъ познакомился: и мъсто бы, можетъ быть, онъ мнъ схлопоталъ. Теперь баронъ смотръть-то не станетъ на меня, на пьянаго дурака.

Но слава и честь барону! Это быль вёрный другь, добрый товарищь. По пословицё легокъ на поминё, онь, едва только Петръ Өеофилактовичь окончиль свою противъ себя филиппику, весело влетёль къ нему вътрехъ аршинный номеръ, завёдываемый нёкоторой ярославской солдаткой Мароой, стремившейся главнымъ образомъ къ той цёли, чтобы жильцы ея клётокъ величали ее не иначе, какъ мадамой, или по крайней мёрё Мароой Ивановной.

[—] Поздненько изволите вставать, Петръ Өеофилактовичь. — Васъ ужъ тамъ невъсты заждались, шутить баронъ.

 ⁰⁻охъ, батюшка! Простите вы меня, Христа ради!
 Что я тамъ набъдокурилъ, хоть убейте меня сейчасъ,

стараго дурака, ничего не припомню, умирающимъ roлосомъ отзывается Петръ Ософилактовичъ.

- Что это вы, Петръ Феофилактовичъ? Какъ вамъ не стыдно извиняться передо мной? Велика бъда покутить, когда хочется. Я вотъ молодой человъкъ, да такъ иногда накуралесишь, что самому стыдно въ зеркало на себя посмотръть. Быль молодцу не укоръ, Петръ Феофилактовичъ! А вы вотъ лучше всего поправляйтесь поскоръе. Вечеромъ нынче мы съ вами къ дядюшкъ отправимся. Я ужъ ему толковалъ объ васъ.
- 0-о, Господи! протягиваетъ Петръ Өеофилактовичъ. Чъмъ мнъ только благодарить васъ?
- Да вотъ когда нибудь мы съ вами въ трактиръ отправимся, хохочетъ баронъ, такъ вы мнѣ еще гопака вашего протанцуете. Вотъ вамъ и благодарность вся. А вы это чудесно дълаете:

«Черевикамъ що купыла, Лихо трепку задамъ».

И каблуками хлопъ, хлопъ... Чудо, что такое! Истинно по-казацки.

— Не вспоминайте ужъ лучше! стыдливо просить Петръ Феофилактовичъ, и въ тоже время, ободренный дружескимъ тономъ барона, моментально распоряжается вызовомъ изъ темныхъ предъловъ неблированныхъ комнатъ нъкоторой кривой бабы для того собственно, чтобы она мгновенно летъла въ погребъ за полштофомъ желудочной.

Совершая возложенную на нее экспедицію, кривая баба подала барону великольпный поводъ сравнить ее

сь несчастнымъ сэромъ Джономъ Франклиномъ, и хотя острота эта весьма мало подходить къ моему разсказу, твиъ не менве я никакъ не могу умолчать про нее, потому что всв кривыя бабы, прозябающія въ неблированныхъ комнатахъ, ни болве ни менве, какъ въ нвкоторомъ родъ Франклины. Смълость такого сравненія вась можетъ-быть очень удивить, но я желаю вамъ лучше удивляться смёлости, съ которою я сдёлаль это сравнение, нежели собственнымъ онытомъ испытать ть горестные факты, которые у меня, жителя неблированныхъ комнатъ, вынудили его. Мое отступленіе отъ разсказа, надъюсь, будетъ прощено мнъ, когда я скажу, чёмъ именно я руковожусь въ этомъ случав. Меня побуждаеть къ отступленію высокогуманная цёль: съ одной стороны прошумъть на всю Москву, что въ нашихъ комнатахъ снебилью процвътаетъ такое гнусное варварство, которое рано или поздно непремънно умерщвляетъ всякаго жильца, что кривыя бабы, составляющія ихъ прислугу, пропадають, какъ пропаль сэрь Джонь Франклинь, по целымь днямь, ежели вы будете имъть наивность послать ихъ куда-нибудь на четверть часа. Покусывая ихъ моимъ обличеніемъ, я, слъдовательно, съ другой стороны подвигаю кривыхъ бабъ къ болъе скорому и толковому исполненію ихъ обязанностей, чему я, какъ плебсъ, обязанный жить въ комнатахъ спебилью, главнымъ образомъ, служу съ дътства и буду служить до самой могилы...

[—] Гдъ тебя черти носили? азартно спрашиваетъ

Петръ Өеофилактовичъ кривую бабу, когда она ставить на столъ желудочную.

- Гдъ носили, тамъ таперь меня нътъ, гнъвно отвъчаетъ баба
- Ты у меня впередъ скоръе ходи, а то я тебъ, вмъсто полтинника, какой ты съ меня вчера содрала, шлыкъ на сторону сворочу.
- Посклизнешься неравно на моемъ шлыку-то, носъ разобъешь! бормочетъ баба, благоразумно впрочемъ на правляясь къ дверямъ.
- Ахъ ты, каналья эдакая! Да я тебя сейчась! Ты грубіянить еще тутъ вздумала, кричитъ Петръ Өеофилактовичъ, бросаясь вслъдъ за ней, такъ-сказать, съ жаждой крови.
- Потише кричи: халатъ лопнетъ, заканчиваетъ баба, скрываясь въ непроницаемомъ мракъ длиннаго пахучаго корридора, непремънной принадлежности всъхъ вообще комнатъ снебилью.

Петръ Ософилактовичъ послѣ трехъ рюмокъ настойки едва-едва могъ забыть оскорбленіе, нанесенное ему кривою бабой; баронъ хохоталъ во все горло, увѣряя, что на эту дрянь не стоитъ обращать вниманія, и убѣдительно предлагалъ ему исключительно заняться поправленіемъ къ вечеру своего здоровья, чтобы можно было достойнымъ образомъ, не роняя себя лицомъ въ грязь, представиться дядюшкѣ князю.

— А пу, какъ запахъ отъ этой штуки къ вечеруто не пройдетъ? боязливо спрашиваетъ Петръ Өеофидактовичъ. — Ничего! успокоиваетъ баронъ.—Онъ въдь старикашка, и не услышитъ ничего. Только вотъ, что я вамъ скажу, Петръ Өеофилактовичъ. Любитъ дядя очень въ карты играть, такъ вы, ежели онъ пригласитъ васъ, отъ игры не отказывайтесь. А въ случаъ, ежели проиграете, вотъ вамъ деньги, заплатите. Онъ это очень любитъ.

Петръ Өеоөилактовичъ въ восторгъ отъ своего юнаго друга.

- Да къ чему это вы, баронъ, мнѣ деньги даете? Мнѣ, право, совъстно. Я, ежели проиграю, могу свои заплатить.
- До этого-то я васъ не допущу, свои то проигрывать. Не за тъмъ я васъ везу къ князю. Другое дъло, ежели вы у пего что-нибудь выиграете, тогда такъ.

Послёдовала благородная борьба великодушныхъ сердець, результатомъ которой было, что баронъ всучиль таки Петру Өеофилактовичу довольно толстую пачку депозитокъ для игры съ старикашкой княземъ.

— Ну такъ смотрите же, будьте готовы, говоритъ баронъ. — Вечеромъ я за вами заъду.

Дъйствительно этимъ же вечеромъ Петръ Өеофилактовичь, предводимый милымъ барономъ, съ болъзненно-замирающимъ сердцемъ шагалъ по широкой освъщенной лъстницъ его сіятельства князи Рангоутъ-Брызгачова.

— Дядюшка, рекомендуетъ баронъ съдому величественной наружности старику Петра Өеофилактовича,— мой лучшій другъ Петръ Өсофилактовичъ Зуйченко. Поручаю его, дядюшка, вашему доброму вниманію.

— Очень радъ! говоритъ князь тономъ Юпитерамилостивца.

Затъмъ Петру Өеофилактовичу предстоитъ высокая честь усъсться въ креслахъ напротивъ высокаго сановника, которому, по словамъ барона, стоитъ сказать одно только слово и Петра Өеофилактовича пошлютъ кормиться на какое угодно мъсто.

Исполнивши процессъ возсѣданія съ тою довкостью, которая такъ привлекательна въ медвѣдяхъ и такъ смѣшна въ людяхъ, Петръ Өеофилактовичъ находится вынужденнымъ приставить свой носовой платокъ ко рту и нѣсколько покашлять самымъ впрочемъ мягкимъ, вызывающимъ на пріятную бесѣду, кашлемъ.

Князь заводить съ ними дружескій разговорь, изъ котораго Петръ Өеофилактовичь узнаеть, что предупредительный другь его баронъ насказаль о немъ своему могучему дядюшкѣ весьма много пріятныхъ вещей, успѣвшихъ заранѣе пріобрѣсть ему все расположеніе благороднаго вельможи.

— Вы миж поскорже напишите подробную записку какъ, гдж и чего вы желаете, говоритъ киязь. — Я скажу объ васъ моему кузену киязю Петру: онъ все сджлаетъ для васъ.

Петръ Өеофилактовичъ благовъйно кланяется сидящему передъ нимъ идолу, а идолъ, молчаливо принимая отъ него эти поклоненія, все въ большій и большій священный трепетъ повергаетъ душу поклонника своей торжественной, гордой осанкой.

- Вотъ это, Петръ Ософилактовичъ, говоритъ баронъ, оттащивши его отъ князя, важная особа, хотъ и не аристократъ. Съ Дибичемъ покойникомъ большіе друзья были. Онъ у главнокомандующаго всёми частными дёлами, какъ хотёлъ, управлялъ. Теперь онъ преимущественно литературой занимается. Умъ у него, скажу я вамъ, какъ у Вельзевула какого. Такъ и жжетъ. Весь аристократическій свётъ его ужасно боится.
- Какъ же его фамилія? спросилъ Петръ Өеофилактовичъ, не безъ страха посматривяя на старое, сгорбленное существо, которое въ буквальномъ смыслѣ разсыпалось передъ княземъ, заставляя его неистово хохотать.
- Вдемъ мы, князь, говоритъ старичишка, ужасающій аристократическій свётъ, по Категату. Только вдругъ откуда не возьмись крокодилъ, ширины, докладываю вамъ, по крайней мёрѣ, какъ наша Ходынка, и при этомъ такой длинный, что напримёръ, стоя у его хвоста, вы никакъ бы не могли видёть его голову. Вдругъ этотъ гигантъ беретъ нашъ пароходъ на спину и плыветъ вмёстё съ нами. Можете себё представить, что мы были ни живы, ни мертвы на спинё этого шалуна. Наконецъ къ вечеру мы освоились съ нашимъ положеніемъ на столько, что общество, по моему предложенію, сходило съ парохода гулять по крокодилу. Какъ островъ какой-нибудь, вссь онъ лёсомъ и камышами поросъ. Французъ одинъ ёхаль съ

нами, такъ тотъ нѣсколько строфокамиловъ застрѣлилъ на немъ. Ахъ, князь! Еслибъ вы только слышали, какія тутъ смѣлыя предположенія выводилъ я, откуда бы могъ взяться на Категатъ крокодилъ съ строфокамилами на спинъ!

- Вы вотъ небось думаете, старикъ дичь пореть, говоритъ баронъ Петру Феофилактовичу. Ничего не бывало! Это, изволите видъть, онъ на дняхъ воротился изъ-за границы и теперъ этою аллегоріей непремънно хочетъ выразить какое-нибудь политическое намъреніе какого-нибудь государства.
- Неужели? спрашиваетъ порабощенный Петръ Өеофилактовичъ.
 - Върно, отвъчалъ баронъ.

Вечеръ для Петра Ософилактовича кончился интереснымъ знакомствомъ съ Вельзевуломъ и проигрышемъ князю довольно круглой суммы, которую онъ съ важностью богатаго собственника сейчасъ же и выложилъ на столъ изъ пачки, данной ему предусмотръвшимъ этотъ пассажъ барономъ.

Попалъ такимъ манеромъ нашъ Петръ Ософилактовичъ въ знать и возблаженствовалъ, потому что, ежели онъ проигрывалъ князю, за него платилъ баронъ, говоря, что онъ на чужой сторонъ, что ему нужно деньги беречь, какъ заъзжему человъку; а ежели слъпал фортуна подвозила Петру Ософилактовичу, онъ клалъ денежки въ свой собственный карманъ, ибо рыцарь баронъ никакъ не соглашался не только брать ихъ всъ,

но даже и отъ половинной части постоянно отказывался.

— Ваше счастье, Петръ Ософилактовичъ, говорилъ онъ. — Старикашкъ князю этого добра дъвать некуда, а вамъ пригодится.

Петръ Феофилактовичъ благоразумно соглашался и добрымъ друзьямъ своимъ изъ-пидъ Пилтавы, спрашивавшимъ у него, каково идутъ его дъла, по почтъ отписывалъ, что дълишки его, слава Богу, очень, очень хороши, и что полученіе мъста почитай-что совсъмъ на чеку.

Но всему бываетъ конецъ.

Однимъ прекраснымъ утромъ, когда въ нѣкоторомъ смыслѣ вся природа радовалась и ликовала, баронъ фонъ-Гюббель въ необыкновенной тревогѣ врывается къ Петру Феофилактовичу, сладко мечтавшему въ это время о мѣстѣ старшаго чиновника особыхъ порученій въ одной изъ хлѣбнѣйшихъ губерній.

— Батюшка, Петръ Өеофилактовичъ, спасите! говоритъ баронъ, не то шутя, не то серьозно. — Старичишко-то мой безпутный что надълалъ вчера? Одному прівхавшему помъщику десять тысячь на честное слово до ныньшняго дня пробухалъ. Четыре-то я досталь ное-какъ (съ самаго утра какъ угорълый мечусь по знакомымъ, и какъ на гръхъ ни одного шута дома не застанешь), а шести ближе недъли нигдъ не добыть. Нъчъ ли у васъ свободныхъ, Петръ Өеофилактовичъ? Мы бы съ старика проценты какіе угодно вамъ счистили.

У Петра Феофилактовича было ровно шесть тысячь, нажитыхъ имъ на различныхъ должностяхъ, отлично ревностное исполнение которыхъ сдълало его надворнымъ совътникомъ и ордена св. Станислава третьей степени кавалеромъ.

- Помилуйте, баронъ! Какіе тутъ проценты, говоритъ Петръ Феофилактовичъ. —За честь почту. Только зажился я очень у васъ въ Москвѣ, скучно безъ дѣла мнѣ старику. Вы ужъ, пожалуста, баронъ, попросите князя-то. Конечно, я это не къ тому рѣчь веду, чтобы то-есть тово... вы извините... Я всегда съ удовольствіемъ, лепеталъ Петръ Феофилактовичъ, направлясь къ желтой пузатой шкатулкѣ, которую онъ, по своей необразованности, всегда называлъ щекатункой.
- Я ему старому отдыха теперь насчеть вашего мъста не дамъ. Я ему теперь всъ уши прожужжу, а то въдь онъ сопъть любить, горячился баронъ.

Желтая шкатулка раскрыла свои вмѣстительныя нѣдра. Петръ Феофилактовичъ, счастливый сознаніемъ, что и онъ наконецъ дѣлается полезенъ своему доброму другу, вынимаетъ улежавшіяся пачки кредитокъ и вручаетъ ихъ барону. Баронъ увѣряетъ его, что онъ черезъ недѣлю привезетъ ему деньги не иначе какъ съ процентами, и послѣ крѣпкаго лобзанія, послѣднимъ цѣлованіемъ оставляетъ Петра Феофилактовича на жертву ярославской солдатки — съемщицы неблированныхъ комнатъ, претендующей на званіе мадамы, и ея угрюмой сподручницы кривой бабы.

Сейчасъ сказалъ я «послъднимъ цълованіемъ» на

томъ основаніи, что шеститысячнымъ займомъ кончилось знакомство Петра Феофилактовича съ интереснымъ барономъ фонъ Гюббелемъ. Послѣ этой исторіи мы видимъ ихъ совершенно на разныхъ дорогахъ. Петръ Феофилактовичъ, очень долгое время озабоченной походкой человичъ, отыскивающаго потерянное, каждый день подходитъ къ великолѣпному подъѣзду князя Рангоутъ-Брызгачова, гдѣ на его смиренный звонокъ обыкновенно выскакиваетъ серьезный швейцаръ съ неизбѣжною фразою: «его сіятельство изволили выѣхать», или: его сіятельство не изволятъ принимать.»

- А баронъ дома? неръшительно спрашиваетъ Петръ Феофилактовичъ.
- Я вамъ въ прошлый разъ докладывалъ, что баронъ изволили убхать за границу, строго извъщаетъ швейцаръ и громко хлопаетъ ръзною дверью подъъзда.

Долго смотрълъ на эту исторію сосъдній дворникъ, и вотъ однажды, отпустивши Петра Өеофилактовича на нѣкоторое разстояніе отъ княжескаго дома, дворникъ подбъгаетъ къ нему и ведетъ такую ръчь:

— Напрасно, ваше благородіе, вы ходите сюда. Здісь, судырь, страшные надувалы живуть. Они себя князьями и графами величають, только все это они, мошенники, вруть. Старикъ отъ самъ, который что княземъ себя называетъ, точно что дворянинъ, а околото него такіе, самые что ни естъ сквозные мошенники. Къ нимъ такъ-то иной день человъкъ сто приходятъ звонить. Не вы одни!

Петръ Өеофилактовичъ скоро покорился своей участи,

- Богъ даде, Богъ и отъя! сказалъ онъ и смирно сталъ у Иверскихъ воротъ въ ряды обыкновенныхъ людей этихъ воротъ, и порой вы можете видъть и слышать, какъ важно подходитъ онъ къ какому-нибудь проходящему и съ сознаніемъ своего достоинства начинаетъ говоритъ:
- Государь мой! помощью своей милостивой мошенническаго и безтыднаго обмана жертву осчастливить соблаговолите.

А въ другое время, ежели вамъ это нравится, полюбуйтесь на него въ сосъдней полпивной, гдъ онъ, блистая своими мъдными пуговицами на изношенномъ вицъ мундиръ, кутитъ на собранные гроши, такъ что ни содержатель полпивной, ни его прислуга, ни даже самъ полицейскій ундеръ не могутъ безнаказанно подступиться къ надворному совътнику и ордена св. Станислава третьей степени кавалеру Петру Өеофилактовичу Зуйченко.

Баронъ фонъ Гюббель, раззнакомившись съ Петромъ Феофилактовичемъ, не раззнакомился однакоже съ нами. Мы и теперь не упускаемъ его изъ вида. По послъднимъ изъ въстіямъ изъ большаго свъта, арены его подвиговъ, слышно, что князь Ранготъ-Брызгачовъ, утомившись своей многотрудной дъятельностью, ухитрился выйти въ болье свътлое море другихъ спекуляцій, на первый взглядъ весьма честныхъ и полезныхъ, мъсто же свое—атамана мошеннической шайки—передалъ своему юному другу барону фонъ Гюббелю, который впрочемъ на самомъ дёлё есть не кто другой, какъ безпаспортный рижскій мёщанинъ Карлъ Гильзъ.

Есть надежда, что сей Карлъ или Карлушка достойнымъ образомъ замъститъ князя Рангоутъ-Брызгачова, ибо на его офиціальномъ вечеръ, который князь давалъ всей своей шайкъ по случаю передачи имъ Карлушъ своихъ атаманскихъ регалій, послъдній сказалъ слъдующій назидательный спичъ:

 Господа! По настоящему я долженъ былъ бы начать мою річь торжественной клятвой, что мой методъ веденія нашихъ общихъ діль будеть такого, такъ сказать, безпромашнаго свойства, что никогда не затемнитъ блеска этихъ регалій, которыя сдёлаль мий честь передать мой уважаемый предшественникъ князь Рангоутъ-Брызгачовъ. Но я не начну моей речи такой клятвой, потому что, смъю думать, и безъ моей клятвы всё вы единодушно увёрены, что промаховъ съ моей стороны быть никогда не должно. Поэтому я вамъ скажу только то, что скажу. Вамъ всёмъ извёстно. что я очень и очень малограмотенъ, но во всякомъ случав не на столько, чтобы отказываться отъ какой нибудь сдълки даже и по книжной торговлъ. На дняхъ я такъ и поступилъ, то-есть не отказался отъ сдълки, предложенной миж однимъ здёшнимъ книгопродавцемъ. Поясняя въ чемъ именно состояла эта сдълка, я долженъ сказать вамъ, что я просто-на-просто, по счастливому теченію судебъ, заграбасталь у него книгъ рублей на тысячу. Но сила не въ этомъ! Въ числъ книгъ, подброшенныхъ мнъ благопріятствующей судьбою, было Моск. нор. и трущ.

сотни три экземпляровъ сочиненій какого-то господина Павлова. Нѣсколько такихъ экземпляровъ, какіе побольше поизмялись, я оставилъ себѣ собственно для ради домашняго обихода. Мучимый однажды безсонницей, я схватилъ первое, до чего съ кровати могла достать рука моя, и досталъ повѣсть означеннаго Павлова, озаглавленную Милліонъ. Тамъ случайно дочитался я до такой великолѣпной мысли: «Я отдамъ На растерзаніе мое тѣло, я оскверню мою душу какимъ хотите порокомъ, я спою съ кругу весь міръ, я пожалуй пойду въ герои добродѣтели, ежели это вамъ нравится, только заплатите мнѣ.» Отнынѣ, господа, это мой девизъ. Господа! Заканчивая мою рѣчь, я спрашиваю васъ, справедливы ли послѣ того всѣ надежды, которыя вамъ угодно было возложить на меня?

Общество въ полномъ энтузіазмъ. Общество поощряетъ громкими ура слова своего юнаго патрона; князь же, какъ истинно великій человъкъ, подошедши къ Карлушъ, возлагаетъ свою руку на его голову и произноситъ:

— Другъ мой! Будь всегда такимъ. Смолоду я самъ былъ такой же. А теперь усталъ, теперь хочу отдохнуть...

запивоха.

панали дамирин итронжан и отролют о правити при

-par emetarament and anticht light capers first one avegra-

Намфреваясь сейчась, какъ можно рельефнье, выльпить для васъ такъ часто встръчающійся въ Москвъ
типъ человька, подверженнаго запою, — я для того,
чтобы освътить делжнымъ свътомъ его больную голову,
сокрушенную губительной тяжестью того вънка, который налагаетъ на нее не древній, изящный Вакхъ, а
просто-на-просто всероссійскій кабакъ; — для этого я
прежде всего изображаю гостиную Онисима Григорьевича Столешникова, временнаго московскаго купца, занимающагося устройствомъ загородныхъ пикниковъ, подрядами на свадебные, похоронные объды, и вдобавокъ
снабжающаго бъдный людъ деньжонками подъ залогъ
и за умъренные проценты, какъ назидательно разсказываютъ объ этомъ поучительныя «Въдомости Московской Городской Полиціи.»

Изображать гостиныя подобнаго рода людей намъ не привыкать стать; рисуя ихъ принадлежности, вовсе не

заботишься о тонкости и нъжности штриховъ, каким гг. Зотовымъ и ихъ последователямъ необходимо был чертить тъ благовонные будуары, гдъ въ таинственномъ и возбуждающемъ на всякую поэзію полусвёть, на удобно пригнанныхъ для этой поэзіи кушеткахъ и козеткахъ, полудежали различныя princess'ы и comtess'ы. Съ видомъ прогнанныхъ чрезъ водоочищающую машинку Марсовъ стояли въ тъхъ гостиныхъ безусые корнеты Ледины п Гремины, — стояли и говорили тъ, если можно такъ выразиться, маркизски-умныя рфчи, отъ которыхъ во время оно такъ сладко надрывались брилльянтовыя сердчишки нашихъ барышень, и которыя лично мною названы «глупыми до разврата». Писать про такія нёжности. — я не умъю. Для серебрянаго рейсфедера, которымъ непремънно малевалась сія умилительная пошлость, слишкомъ грубы ручищи Ивана Сизого.

— Что же такое? Всякій человъкъ въ своей сферт дъйствовать должонъ! сказалъ недавно въ кабакъ одинъ прогоръвшій купецъ, когда ему объяснили, что вотъ онъ теперь прогорълъ и сидитъ въ кабакъ, а компаньонъ его пріобрълъ и валяетъ теперь шампанское въ сосъднемъ трактиръ.

Должнымъ образомъ постигая глубокій смысль этого изрѣченія, я смиренно дѣйствую въ своей сферѣ и говорю, что гостиная Онисима Григорьевича была совсѣмъ въ другомъ родѣ: она, говоря грамматическими опредѣленіями г. Греча, есть ничто иное, какъ необходимая принадлежность тѣхъ каменныхъ съ деревянными антресолями домовъ, которыхъ такъ много на московскихъ

пъваственныхъ улицахъ. Я не имъю въ виду планировать вамъ передній и задній фасады самаго дома, пото му что выстроило его тщеславіе человіка, который добился наконецъ въ свою долгую, трудолюбивую жизнь того счастья, какое у французовъ опредъляется многозначительнымъ словомъ: мъщанское счастье, а у насъ не менъе многозначительной пословицей: себь при жисти, про свое доброе здоровье, опосля смерти—за упокой души, — добился, говорю, и оборудоваль себъ домъ, Господу-Богу на славу, добрымъ людямъ на удивленье и кринкую зависть!.. Слидовательно, много ихъ такихъ домовъ, пугающихъ воображение, не настроенное спеціально на достиженіе м'єщанскаго счастья, своими красными, растреснувшимися кирпичами, тусклыми окнами, завъшенными въ посторонне-наемныхъ квартирахъ грязными юбками, заставленными ситцевыми подушками, съ облъзлыми собаками у разбитыхъ, какъ бы бомбами, калитокъ и проч. и проч. Повторяю: много ихъ такихъ домовъ, красноръчивъе чъмъ Писемскій характеризуетъ нигилистовъ, говорящихъ про себя: меня выстроило мищанское счастье съ тъмъ, чтобы посредствомъ меня грабить и убивать и безъ того ограбленную и убитую столичную бъдность...

И такъ я проведу васъ мимо этой обыденной домовой физіономіи, не рекомендуя ее вашему вниманію. Въ наши глаза и безъ того ежесекундно мечется слишкомъ много и горя и пошлости, — горя, тъмъ невольнъе разнимающаго на горькій смъхъ, что оно отъ себя зависитъ, — пошлости, тъмъ безлогичнъе мирящей васъ

съ собой, чёмъ ваша логичность болёе прирождена вамъ и, чёмъ честнёе она развита въ васъ, потому что пошлость эта не отъ себя зависитъ...

Конечно, вы теперь поняли, что и гостиная Онисима Григорьича не составляетъ нити завязки моего романа и, если я иду туда и веду васъ съ собою, такъ дѣлаю это во первыхъ для того, чтобы, какъ говорится, ловчее подъёхать къ самому дѣлу, а во-вторыхъ главнымъ образомъ для того, чтобы въ этомъ купеческомъ домициліи, сравнительно съ нашей постоянно-колеблющейся и, какъ уже сказано, взбаломученной почвой, гораздо рѣже и тише обуреваемомъ, отдохнули глаза, заслѣпленные до рѣжущихъ и кровавыхъ слезъ безалаберной толкотней русскаго базара, на которомъ, по его собственной пословицѣ, все съ рукъ сходитъ, и успоконлось сердце, изнывшее отъ страшныхъ воплей многоразличныхъ жертвъ, попавшихъ какъ нибудъ, ненарокомъ, подъ тяжелыя, ухорски раскатившіяся базарныя колеса...

Тишина поразительная царствуетъ въ этой гостиной, точно также, какъ и на улицъ, на которую смотритъ она своими двумя окнами, таже тишина. Яростное чириканье двухъ большихъ, воробьиныхъ стай, на смерть разодравшихся, въроятно, за исключительное обладанье дъвственной улицей, даже какъ бы усиливаетъ всеобщую, мертвую неподвижность мъстности.

Безъ конца долго, а особенно посытиве повыши, можно сидъть на мягкомъ креслъ подъ окномъ въ столешниковской гостиной и оттуда молчаливо и неподвижно, какъ каменная статуя, смотръть на эту улицу съ деревянными домами, на бабъ, лица которыхъ пылаютъ пожаромъ двънадцатаго года, съ мокрыми въниками подъ мышками, бредущихъ по травъ, на разношерстныхъ котятъ, цълыми гнъздами обитающихъ въ этой травъ и, наконецъ, на молодаго еще, и потому нъсколько дурковатаго будочника, который, кажется, для того и жительствуетъ въ будкъ, чтобы сражаться съ кошачьими стаями и угощать нюхательнымъ таба-комъ маленькихъ дъвчонокъ и ребятишекъ.

Обнимаетъ человъка во время такого смотрънія какаято сладкая, отръшающая отъ всякихъ мірскихъ попеченій, дрема. Смотришь, смотришь такъ-то, а онъ—эти обыденныя, заученныя наизусть картины, все идуть, —идутъ такъ тихо, такъ плавно, что непремънно изъ самой глубины души созерцателя вытянутъ такія смирныя ръчи:

— Господи! да изъ чего же это люди быются-то на бѣломъ свѣтѣ? Изъ-за чего же это они другъ друга ѣдятъ? Сѣли бы вотъ такъ-то, сложили бы ручки, да и сидѣли; — поглядывали бы посмирнѣе на тишину-то господнюю. Чего бы имъ лучше этого блага!..

Но быется сердце, даже самое смирное, противъ жизненной всасывающей тины до тъхъ поръ, пока можно биться, пока есть въ немъ силы и горячая кровь! Ръдкаго разумъется не засасываетъ тина; но тъмъ не менъе, если мы согласимся съ Расплюевымъ—всякую битву называть игрою, то конечно, вмъстъ съ тъмъ должны сказать и то, что эта игра есть самая азартная изъ всъхъ игръ, какую только приходится человъку разыгрывать въ этой жизни.

Я потому собственно распространяюсь на эту тему, чтобы вы, введенные мною въ гостиную Столешникова, не испугались ея тишины и не спросили бы меня:

— Да зачёмъ же вы привели насъ сюда? Здёсь и жизни-то нётъ никакой. Что мы тамъ смотрёть будемъ?

Тутъ-то вотъ и начнется моя заслуга, какъ правоописателя, когда я разувърю васъ въ вашей ошибкъ,
разсказавъ вамъ, что въ этомъ, повидимому, окаменъломъ царствъ была игра, угомонившая человъка,—каковъ былъ этотъ человъкъ до своего угомона, какъ и
что именно угомонило его, и чъмъ наконецъ онъ живетъ теперъ, смутно предчувствуя, что вотъ-вотъ скоро
эту смирную, всегда одно и тоже показывающую улицу, поразнообразитъ погребальная процессія, съ уходомъ которой покончится все — и не будетъ тогда ни
воздыханій о своей жизни, проведенной у косящема
окна, ни печалей о томъ, что люди ъдятъ другъ друга,—печалей, какъ вы уже видъли, непремънно налетающихъ на голову, полюбившую процессъ глядънія на
однообразныя картины дъвственныхъ улицъ.

Съ этой точки зрѣнія я и отрекомендую сейчась Мароу Петровну, жену Онисима Григорьича, которая прежде всего бросается въ глаза, при входѣ въ гостиную. Эта еще достаточно свѣжая, но молчаливая и часто вздыхающая о чемъ-то старуха, хоть и рѣдко когда въ настоящее время о чемъ нибудь разговариваетъ, по

намъ, надъюсь, она, безъ особенныхъ просьбъ съ нашей стороны, распишетъ должнымъ образомъ и свою гостиную, и ту жизненную игру, какую она сыграла въ ней.

 Что этой у меня силы было, что красоты, когда я невъстой считалась, страсть! Такъ обыкновенно начинаетъ разсказъ про свою жизнь Мареа Петровна, когда человъкъ умъющій натолкнеть ее на этотъ разсказъ. Бывало, въ крещенские морозы, какія подруги къ объднъ въ шубкахъ идутъ, какія въ салопахъ, а я себъ качу въ одной ватной шимовочкъ и щоки у меня, пожалуй, что всёхъ алёй были. И возилась я въ это время неустанно отъ ранней зари до поздней ночи за какимъ нибудь дёломъ, нотому сталкивало меня что-то съ мъста, ежели случаемъ състь приходилось, — жилы во мнъ такъ и говорили всъ. Нечего ежели дълать, такъ полы мыть принималась, - какъ стеклушко у насъ были полы завсегда. И было для меня это время самое трудное, потому и на яву и во сив все это тебъ женихи представляются, все это тебя тревожитъ что-то и въ сумление вводитъ... Гръшница передъ Богомъ! Видючи такъ-то, какъ тамъ иные прочіе по сосъдству женъ-то за косы таскають, такъ я мужиковъ этихъ никогда очень-то не жаловала, а тутъ взмолилась: Господи! молъ, да пошли же Ты мнъ мужа какого нибудь, все бы мив съ нимъ, можетъ, полегче стало. Мечешься, мечешься, бывало, по постели-то, а въ спальнъ жара страшная, духота, тишь! Всю тебя эдакъ разморитъ, не приведи Царица Небесная! Такъ я теперича полагаю, что эта боль всёмъ болямъ голова!..

- Но только, что же вы думаете, милые вы мол? вскрикивала всегда старуха въ этомъ мѣстѣ. Думаете вы небойсь, по молодости по своей, что замужство лучше? И сейчасъ мнѣ умереть на семъ мѣстѣ, ничуть не лучше! Боль эта молодая, точно что унимается немното, а чтобы, т. е. насчетъ этого счастья, чтобы очи твои завсегда на милаго человѣка, какъ въ дѣвкахъ хотѣлось, глядѣли, такъ это и думать не моги... Случаемъ ты его огорчишь, случаемъ онъ тебя озлобитъ— и выходятъ отъ этого такія бѣды, что жизни не радъ, потому какъ замужъ то выдешь, спасенья-то тебѣ ни откудова и нѣтъ ужь, въ дѣвкахъ-то, хоша и болишь, хоша и скорбѣешь, а все же надѣешься на чтото... Такъ-тось!
- Не подумайте вы одначе, что я это про себя говорю, старику своему въ судъ и смѣхъ. Грѣхъ такъто и мнѣ говорить, и вамъ думать. Въ судъ-то я рѣдко, когда говаривала, да и то, когда еще молода была, зелена, не знала, какъ тяжело на людскихъ головахъ наши сплетни садятся. И безъ моихъ словъ вамъ извъстно, а безъ этого я бы и рѣчи такой не вела, какой у меня мужъ. Пьетъ онъ у меня, буянитъ пьяный, дерется, ежели подъ руку подвернешься, все это вы видите и знаете; но того вы не видѣли и не знаете, что въ тридцать-то годовъ всякихъ думъ мы съ нимъ одною согласной душой передумали, что всякихъ дѣлъ одной силой передѣлали. Про добро-то про это людямъ и говорить-то не подобаетъ, потому добро рѣдкій кто перейметъ, а перенимаютъ все больше худо одно. Истинно!

- Полагаешь ты, другь сердечный, легко мив было мужнины качества сносить, когда я не могла въ толкъто взять, раскусить то мозговъ не имвла, отчего онъ пьетъ, отчего буянитъ и зачвиъ дерется. Сосвдки бывало придутъ, такія же, какъ и я, молодыя, говорятъ: тебъ, говорятъ, безпремвнно надо, Мароа, на своего идола въ фарталъ идти жаловаться. Мы на своихъ ужъ ходили. Знатно съ нихъ тамъ по три серебра на мировую счистили. Пришли оттуда, кряхтятъ и вотъ ужь кой день отъ нихъ словечушка не слыхать... Богъ только берегъ, а то въдь чужихъ глупыхъ разговоровъ наслушамшись, въ фарталъ сбиралась съ жалобами не одинъ разъ.
- Стерпъла же вотъ ничего, безъ фарталовъ прошло кое-какъ, потому мужъ трудится, мужъ тъломъ и душой за семью болитъ. Взять хошь бы моего старика: кто знаетъ, какъ онъ тамъ столъ сдалъ? Можетъ его баринъ какой нибудь пьяный ругательски обругалъ. Можетъ онъ его этотъ самый баринъ лакеемъ выругалъ и къ щекъ подступалъ ни за что, ни про что, такъ, значитъ, таперича по ващему-то, ежели глава дома, на какой, можетъ, онъ день и ночь кровь свою проливаетъ, пришодчи въ свой домъ, и сердца ни на комъ ни должонъ отводить? Какъ же?..
- Понять это, избави Господи, сколь много время требуется,—иные всю жизнь до такихъ понятіевъ не доходятъ и умираютъ отъ этого въ жестокихъ мукахъ... А я, слава Богу, скоро съ тычками мужниными помирилась, помиримшись, стала дътей ждать.

Думаю такъ-то: погоди, молъ, маленько, станешь ты у меня пить и буянствовать, когда я тебъ ангельчика безгръшнаго принесу. При думъ такой, ей-Богу, страсть какъ сама радовалась? И онъ ничего, — недъльки на двъ послъ перваго ребенка затихъ, а потомъ опять, кажется, еще лютъе воевать пошелъ. Да оно чему тутъ удивляться, на что тутъ сердиться то? Лишняя забота прибавилась, — онъ и завоевалъ лютъе, — вотъ и все. Хорошо, что теперь-то это все постигаешь, а тогда-то куда тяжело сносить было!...

- Вынянчила дѣтей, выростила, а они выросши-то, прочь отъ матери, потому мать необразованная. Развъ она ихъ разговоры какіе ученые перейметъ? Гдѣжъ ей перенять!..
- И сёла я тогда, други сердечные, вотъ у этого окошка въ великой тоскъ, словно бы кукушка какая горемычная, и задумалась кръпко-на-кръпко. Въ чемъ же, думаю про себя, Господи, я утъху себъ теперь найду? Безъ ничего въдь, молъ, Боже Ты мой, въкъ свой я доживаю и никакъ себъ въ понятіе не возьму, зачъмъ это я, гръшница, на бъломъ свътъ жила, зачъмъ сама сокрушалась и другихъ сокрушала!
- И тогда-то вотъ, какъ я раздумывала такимъ манеромъ, невидимо кто-то въ душъ у меня и заговоритъ: что ты это такое, баба, неподобное говоришь! Достаткомъ васъ съ мужемъ Богъ наградилъ. Помогай, шепчетъ, своимъ достаткомъ бъднымъ,— и взяла я это себъ въ умъ— и стала помогать. Ну и точно, дълала я, не потаюсь съ правдой моей, великія добродътели.

Только что же? Чёмъ вы думаете за мои добродётели отплатили мнё? Извёстно, чёмъ они платять за добродётель-то? Потому я и не скажу ничего объ этомъ. Чтожъ такое? Зачёмъ мнё говорить? Люди-то—братья наши, — они по образу и подобію божьему созданы, значить про нихъ, какъ объ звёряхъ дикихъ, говорить невозможно, пытаму грёхъ»...

Цѣлые тридцать лѣтъ играла такимъ образомъ въ своей безмолвной гостиной Мареа Петровна и, какъ говорится, досыта наигравшись, молчитъ теперь, рѣдко когда раскрывая ротъ.

— Богъ съ ими совсѣмъ! почти единственною фразой встрѣчаетъ она въ нынѣшніе годы свои, всякую новость, какъ бы она ни была поразительна, и при этомъ махнетъ рукою съ тѣмъ видомъ, какой бываетъ у человѣка, говорящаго: «ну, господа! моя пѣсенка спѣта. Пойте теперь вы свои пѣсни, ежели голоса есть.»

И сидитъ теперь Мареа Петровна у окна гостиной, словно бы какой сказочный сидень Илья Муромецъ, вставая только для того, чтобы попить чайку, да пообъдать, — сидитъ и не сводитъ глазъ съ тихихъ, однообразныхъ картинъ своей улицы. Какая-то тусклая неподвижность, какъ на только что замерэшемъ прудъ, лежитъ на ея лицъ и очевидно, что глаза ея, хоть и смотрятъ на что-то, но ничего не видятъ, — склоненная на бокъ голова, хоть и напоминаетъ позу человъка во что-то вслушивающагося, но тъмъ не менъе можно подтверждать какой угодно клятвой, что купчиха не слышитъ даже тихаго шопота своихъ двухъ взрос-

лыхъ дочерей, которыя тоже сидятъ въ гостиной и шенчутъ:

- И вижу я во снъ, милая Паша, нонъшнею ночью. говоритъ старшая младшей, -быдто стою я у калитки. а они офицеры то и выважають изъ за угла на брлыхъ коняхъ, всё въ золоте, съ саблями. И принялась я сейчась этихъ офицеровъ стыдиться!... Такъ-то стыжусь, такъ-стыжусь, -- страсть! ... А они мив быдто и говорять: милая барышня, говорять, какихъ такихъ вы родителей дочь будете? Я имъ въ отвътъ: на что это, моль, знать вамъ, господа кавалеры? — Такъ, говорятъ, очень мы вами прельстились и желаемъ съ вами знакомство завесть. Въ ту-жъ минуту, видя ихъ такое нахальство, стала я имъ прездрѣніе свое показывать, а они смѣются... И только же, милая моя Паша, что тутъ вышло опосля, ужъ и въ умъ не возьму, - принялась я, быдто, по французскому разговаривать съ ними. Такъ это часто, такъ часто разговариваю, такъ и сыплю. А офицеры, послушамши такого моего по французскому разговора, говорятъ: видимъ мы теперь, барышня, всю вашу образованность, -- извините-съ! -- А сами руки всв до одного человъка подъ козырьки и саблями эдакъ фить, фить, -честь, значить мнв все равно какъ на--чальнику, отдали!... эти онцианро и дунь во на спра
- Вотъ такъ сонъ! удивлялась младшая сестра. Антиресно было бы знать, что онъ такое обозначаеть собою и какихъ намъ перемънъ надоть ждать?
- А я ужь къ Машенькъ Распушилиной бѣгала, рекомендовала сновидица, у ней сонникъ есть, такъ

я справлялась: значится тамъ, въ сонникъ, что по французскому съ господами офицерами во снъ говорить, для молодой дъвицы знаменуетъ от родителей или старших родственниковъ быть очень битой, такъ что, пожалуй, до уродства, а для почтеннаго торговца оный же сонъ великую прибыль знаменуетъ.

- Неужто такъ-таки и сказано?
- Такъ и сказано.
- Ну хорошаго-то въ этомъ мало. Жди теперь отъ тятеньки трепки, безпремънно пьяный придетъ.
- Чего кромъ ждать? А я, милая Паша, какъ было обрадовалась-то! Проснулась когда, такъ и то все радуюсь, все думаю: вотъ, молъ, до какого счастья довелось дожить, по французскому, молъ вдругъ въ одну ночь выучилась. А въ спальнъ-то, Пашенька, такая-то жуть, такая-то духота, не приведи Господи! До самаго до свъта не могла я послъ своего сна заснуть, потому что все они представлялись мнъ, какъ это они ъдутъ, ъдутъ, а въ рукахъ у нихъ сабли наголо, позади ихъ солдаты въ трубы трубятъ и въ барабаны бъютъ... Какъ есть война!...

Но ничего не слыхала старуха изъ дочерниныхъ разговоровъ объ офицерахъ, потому что въ противномъ случав сонъ, какъ говорится, въ руку бы дался, если не по отношенію къ почтенному торговцу, какъ объяснялъ сонникъ, такъ по крайней мърв, по отношенію къ молодой дввицв.

⁻ Насчетъ ежели теперича, когда дъвица до закону

про мужчинъ начнетъ разсуждать, то я этого терпъть не люблю, — обыкновенно говаривала Мареа Петровна, равнодушная ко всему остальному. И такъ бы я эдакую дъвицу сейчасъ же за косы и давай возить, потому не ея короткому разуму такія дъла ръшать.

Итакъ въ столешниковской гостиной царствоваль только одинъ едва-едва разслушанный мной разговоръ дѣвицъ, да витала невидимая дума Мароы Петровны, сидѣвшей у окна въ своей обыкновенной неподвижности.

Тишь и благодать были полныя!

Разборчивъе всъхъ живыхъ людей, бывшихъ въ гостиной, разговаривали толстобрюхіе, косорылые и косоглазые амуры, пузатыя лиры и кривые роги изоблыя, которые пущены были по потолку покоя художнической рукой хозяйскаго пріятеля — маляра Григорья Звърева. Летая по бълому фону потолка, все это порой какъ бы собирается въ тревожныя, совъщающих о чемъ-то кучки, — шепчутся о чемъ-то въ этой всевыдающей тишинъ, слышно даже, какъ шуршить паутина, которую стряхиваютъ амуры съ своихъ рыжихъ, кудрявыхъ головъ, и въ уши Мароы Петровны летитъ сверху слъдующій разговоръ:

О чемъ это? Что это она думаетъ? Въдь цёлый день она такъ-то сидитъ, — съ видомъ глубокаго недоумънія на пузатомъ лицъ спрашиваетъ у корзини съ фруктами нъкоторый крылатый мальчуганъ, съ колчаномъ за плечами, полнымъ оперенныхъ стрълъ.

Корзинка съ фруктами продолжаетъ быть задумчи-

вой, и ежели бы у ней была голова, такъ она непремънно закачала бы ею отприцательно: дескать, не могу знать, о чемъ это она такъ сильно раздумалась.

- Вишь, вишь какіе! думаєть при этомь сама Мареа Петровна. Про хозяйку начали растолковывать, и при этомь на ея лиць примъчается даже что-то въ родъ улыбки. Говорила Онисимъ Петровичу: Онисимъ, молъ Петровичь! Не росписывай, молъ, потолка, потому все это кумирскіе боги идолы, а оно такъ и вышло, воть они ужъ и заговорили.
- Эхъ вы! отзывался снизу на верхнюю рѣчь тяжелый, старомодный диванъ какимъ-то толстымъ, совершенно-медвѣжьимъ голосомъ. Давно ли вы здѣсь летаете-то, что думаете разгадать хозяйскую думу. Я вотъ ужъ который годъ здѣсь стою, да и то этой думы не знаю.
- Такъ, такъ, милый! поддакиваетъ ему хозяйка. Заступайся за меня, — я тебя сама покупала, когда еще молода была. Двадцать пять рублевъ, по тогдашнему на ассигнаціи, бълой бумажкой я за тебя заплатила. Заступись!
- Спуску не дамъ, хозяйка! Молчи только, успоконвалъ диванъ. Я ихъ—короткохвостыхъ— всёхъ до единаго распугаю.
- Мы имъ покажемъ себя, энергично вторятъ дивану, разставленныя около него массивныя шестеро креселъ, совершенно по-гусарски, подпираясь при этихъ словахъ въ бока своими изогнутыми ручками.
 - Вамъ-то себя и показывать-то! вдругъ зазвен**ѣли** моск. нор. и трущ. 24

изъ степляннаго шкафа чайныя, столовыя и дессертныя ложки, заложенныя нъкогда Онисиму Григорыччу отставнымъ штабъ-ротмистромъ Полведерно-Бубновымъ. Такой ли вашъ фасонъ, чтобы показывать себя? продолжали спрашивать ложки, видимо принимая сторону роговъ изобилія, амуровъ и проч.

- Фа-ас-ссонъ! презрительно и въ одинъ голосъ восклицаютъ диванъ и стулья. О чер-р-ти! Сами то вы очень фасонисты! Тоже старье въдь!...
- Такъ, такъ, милые! уже, такъ сказать, осязательно улыбаясь, говоритъ хозяйка. Не выдавайте, рази они моложе васъ? Рази я подъ нихъ тоже не сама деньги выдавала, двадцать годовъ тому назадъ? Такіе же и они, какъ вы.

И тутъ предъ оловянными выпученными глазами Мареы Петровны начинается ожесточенная и въ высокой степени суматошная битва между низомъ и верхомъ, т. е. между диваномъ и креслами съ одной стороны, и между амурами, лирами и рогами изобиля съ другой. Вотъ одно кресло съ легкостью птицы взлетъло на потолокъ и брыкнуло задней ногой по корзинкъ съ фруктами такъ, что нъсколько апельсиновъ скатилось на полъ. Мареа Петровна подняла одинъ, попробовала, — кисло и горько до отвращенія. Она бросила апельсинъ вверхъ и вышибла глазъ амуру, — амуръ закрылъ свою толстую рожицу пухлой ручонкой и застоналъ отъ боли. Диванъ протяжно и басовито хохоталъ надъ страданіями маленькаго, и какъ говорила Мареа Петровна, кумирскаго бога, — до тъхъ

поръ хохоталъ, пока божокъ въ свою очередь не слетьть съ потолка и съ ожесточенною яростью не вцёплася въ волоса насмёшника,

— что же это? Что же это такое? вопрошаетъ наконецъ Мароа Петровна, уже совсъмъ пробуждаясь и вставая съ кресла.

Но никто пе даль ей удовлетворительнаго отвъта. Амуры присмиръли и, какъ въ день своего рожденія, продолжали летъть куда то, распростерши крылья и плутовски улыбаясь. Диваны и кресла, его обставлявшія, угрюмо додумывали свои медвъжьи думы, а серебряныя ложки блистали изъ мрака запыленныхъ шкафныхъ оконъ безмолвною, но тъмъ не менъе свътлой надеждой, въроятно, на то, что вотъ вотъ придетъ сюда старый хозяинъ ихъ, отставной штабсъ-ротмистръ Полведерно-Бубновый, съ громкимъ смъхомъ вытащитъ изъ боковаго кармана только что выпонтированную пачку ассигнацій и выкупитъ у Столешниковой свое дворянское наслъдственное серебро...

Все, по прежнему, стояло на своихъ обыкновенныхъ, неподвижныхъ ногахъ, — тишина, видимыми, толстыми слоями носившаяся по гостиной, снова защемила сердце купчихи, взбудораженное немного той фантастической возней неодушевленныхъ предметовъ, до которой часто досиживается и додумывается человъчество, за отсутствемъ дъйствительныхъ жизненныхъ потрясеній.

— Господи! Чтоже это за тоска такая? съ долгимъ зѣвкомъ спрашиваетъ Мареа Петровна. Хошъ бы чаю напиться, — штоли?...

— Только во снъ и увидишь что нибудь хорошее, — раздавался тихій, дъвичій шопоть вмъстъ съ ни къ кому необращаемымъ разговоромъ матери. А днями такая тебя тоска ъстъ!... Хошь бы тятенька поскоръе запивалъ, — все бы, можетъ, онъ какъ въ прошлый разъ, привелъ съ собой для компаніи поручика Свистюкова. Въдь есть же на бъломъ свътъ эдакіе мужчины пріятные!

И такъ вотъ по какому нетреволненному озерку покачусь я съ вами смотръть дальнъйшее жизненное теченіе столешниковскаго дома. Смотрите же, не пугайтесь, когда это, съ перваго взгляда маленькое и тихое озерцо, превратится дальше въ бурно-ревущее и никакими плотинами не сдерживаемое море, — когда на его необъятно-разлившихся водахъ покажутся острова изъ тины и грязи, сплошь покрытые непроходимыми, дикими порослями и особенно тогда, когда изъ этого дремучаго лъса раздадутся отчаянные безпомощные крики жертвъ, которыхъ неумолимо пожираетъ тамъ гибельный порядокъ вещей...

Market Property and Commence of the Commence o

The State of the s

moder of the street, Affair, or sentential child attent

Неизвъстно, какъ долго продолжалась бы эта тишина въ купеческомъ домъ, если бы не случилось слъдующаго обстоятельства, по поводу котораго выходитъ наконецъ на сцену глава фамиліи, самъ Онисимъ Григорьичъ Столешниковъ.

Однимъ лѣтнимъ утромъ, самъ глава, напившись пораньше чаю, ушолъ куда-то изъ дому на раннюю работу. Остальное семейство, т. е. барышни и Мареа Петровна, сошедшись въ гостиной, единогласно разсказывали другъ другу, что какъ молодое, такъ и старое поколѣніе, какъ бы, заранѣе сговорившись, увидали въ прошлую ночь, что, будто, иду я, милыя мои, по улицѣ, по какой подлинно, не упомню, и набѣжала, будто, на меня чорная, расчорная собака. Набѣжамши, выпучила на меня свои бѣльмы собачьи и говоритъ человѣческимъ голосомъ, такимъ страшнымъ голосомъ; Ты, говоритъ, куда это? а? Рази эдакъ то можно женщинѣ по улицѣ шататься?— И съ этимъ словомъ,

хвать меня, проклятая, за ляжку, такъ, быдто, кровь, самая что ни есть красная, ручьемъ эдакимъ рѣзвымъ и полилась.

Не нужно было даже справляться и въ сонникъ, что означалъ сей всеобщій сонъ. Всегда онъ безоблыжно показывалъ скорое свиданіе съ ближними родственниками. Положили поставить самоваръ и дожидаться это свиданія.

- Кто же это такое будетъ у насъ? нъсколько разъозабоченно спрашивала старуха, дуя на чайное блюдечко. Ума не приложу.
- Антиресно узнать, какой такой родной къ намы припожалуеть, въ свою очередь втихомолку раздумывали дѣвицы. Ужъ не женихи ли какіе? Ахъ, какъ бы Господь посылаль поскорѣе. Лестно бы изъ эфтой тюрьмы куда нибудь хоша вырваться. Сейчасъ умереть, за любаго урода, безо всякихъ разговоровъ, пойду...

Какъ бы отгадывая тайныя, семейныя желанія, въ гостиную ввалилось нѣкоторое крестьянское существо женскаго рода, очевидно, изъ подъ Ярославля, костюмированное въ какъ бы нарочно придуманныя, синія лохмотья, съ котомкой за плечами изъ перестроеннаго на новый ладъ стараго солдатскаго ранца. Ввалившись въ комнату, существо это съ улыбкой, въ одно и тоже время изобразившей и глубокую преданность и глубокую радость, доставленную свиданіемъ съ Мароой Петровной и ся дочками, проговорило:

— А вотъ и мы къ вамъ! Небойсь, не ждали гостей-

то? Вслѣдъ затѣмъ женское существо изъ подъ Ярославля принялось освобождать себя отъ котомки и сишихъ лохмотьевъ, потомъ громко и жалобно зарыдало и, такъ сказать, сквозь рыданія пропустило такого рода объявленіе.

- А мы въдь, сестрица милая, опять погоръли! Семь однихъ лошадей сгоръло, три коровы, что теперича коробья разнаго!.. Вотъ, въ чемъ видишь, осталась, а мужики, сейчасъ околъть, безъ рубахъ по сосъедскимъ печамъ укрываются...
- Н-ну д-аа! Знаемъ мы васъ! Который годъ ужъ ходишь такъ, на погорълое съ брата дерешь, съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ подумала Мароа Петровна, лобызаясь съ гостьей.

А гость—была сестра Онисима Григорьича, дъйствительно обитавшая въ одномъ изъ селъ Ярославской губерніи. Она черезъ каждые два года путешествовала отъ родимыхъ пенатовъ въ Москву къ своему единоутробному братцу для того, чтобы выпросить у него, хоша по крайности, пятидесятную, подъ тъмъ благоприличнымъ видомъ, что, акибы, на погорълое мъсто. Извъстна она была въ семействъ единоутробнаго братца подъ немногосложнымъ именемъ сестры Татьяны, оставшейся въ крестьянствъ, которой, по этому случаю, непремънно нужно было помогать не только деньгами, но и, главнымъ образомъ, тъми отрепьями, какія скапливались въ семействъ въ два года отдыха-отъ ея визитовъ.

[—] Что же это такое, милая сестрицушка, за пожаръ

- былъ, страсть! докладывала Татьяна, присаживаясь къ самовару. И Богъ ее въдаетъ отъ чего это и какъ загорълось. Сказываютъ: все это виндерцы подпальваютъ. И кой ихъ лъшій ухитряетъ только на такія дъла!...
- Н-ну д-да! Разговаривай по субботамъ про виндерцевъ-то. Сама-то ты и есть виндерскій раззоритель, думала Мароа Петровна, слушая трагическій разсказъ Татьяны, пришествіе которой такъ удачно напророчиль сонъ прошедшей ночи.
- Ну что братецъ? Какъ онъ тутъ поживаетъ? Все ли въ добромъ здоровъи?
- Да что братецъ? Братецъ, извъстное дъло, работаетъ, рукъ не покладываетъ, потому семья. Пить ъсть надо, обуться, одъться, капиталъ заплатить, отвъчала хозяйка многознаменательной аллегоріей.
- А мы тамъ прослышали, развивала гостья разговоръ, купцы ваши проъздомъ у насъ въ избъ останавливались, такъ они сказывали, что, будто, онъ пьетъ, а то бы, говорятъ, богаче вашего брата, можетъ, во всей Москвъ не было бы, потому очень онъ къ торговлъ всякой ретивъ и способенъ.
- Что правда, то правда! подтвердила Мароа Петровна слухъ, занесенный изъ Москвы на дальнюю сторону. Одно горе у насъ: запивойство это проклятов. Столь много оно къ намъ въ домъ зла приноситъ, одному Богу извъстно.

Разговоръ, попавши сразу въ такъ глубоко прото-

ренную русскими людями колею, дёлался съ каждой минутой живъе и дружелюбнъй.

- Лѣчила бы ты его, милая сестрицушка, умиленно совътывала ярославка. Первое дѣло: молитва тутъ оченно помогаетъ, другое...
- Лѣчила ужъ всячески. Сколько капиталу на этихъ лѣкарей да лѣкарокъ потрачено, плотину, кажется, можно было бъ тѣмъ капиталомъ смостить. Нѣтъ, ужъ вѣрно терни, авось Господь за грѣхи на томъ свѣтѣ зачтетъ.
- У насъ вонъ у деревенскихъ-то такъ ведется: ежели какой мужикъ очень наляжетъ на это винище, міръ сейчасъ соберется, да своимъ судомъ его отлупцуетъ какъ слъдуетъ, ну и ничего: иные, слава Богу, скоро послъ этого въ память приходятъ и перестаютъ... У васъ въдь, небойсь, такъ-то нельзя?
- Кто же на такое лѣкарство изъ образованныхъ людей согласиться можетъ? съ большой досадой спросила у ярославской тетки старшая барышня, которую вмѣстѣ съ безчисленнымъ количествомъ разныхъ моральныхъ совершенствъ, украшало еще и то глубокое убѣжденіе, что она всякій субъектъ, одѣтый по нѣмецки, считала образованнымъ.
- → Извѣстное дѣло, ктожъ изъ господъ купцовъ, али бы теперича изъ дворянъ пойдетъ на такое дѣло. Я это такъ только къ слову сказала, какъ у насъ по селамъ дѣлается... Я вотъ въ прошломъ году отъ одной странней богомолки самое вѣрное средство слышала, такъ хотѣла про него сказать. Кто вѣдъ ее знаетъ-то?

Сдълается — и поможетъ. Богомолка сказывала: дюже, говоритъ, хорошо; я, говоритъ, на многихъ пытала.

- Что же? Какъ? любопытно освъдомлялась Мареа Петровна, готовая на всякую жертву для пріобрътенія върныхъ рецептовъ отъ запоя.
- Возьми, говоритъ, ты гвоздь двухтесный, распали его до бъла...
- А потомъ въ крещенскую воду его опустить и той водой поить больнаго девять зорь утреннихъ, девять вечернихъ, —подсказала хозяйка.
- Такъ точно! подтвердила гостья, опечаленная невозможностью услужить чёмъ нибудь благодъющему семейству.
- Это мы знаемъ, на одномъ приказномъ наша кухарка это средство пробовала. Больше трехъ зорь не выдержалъ, на четвертую такъ начесался, и такъ онъ эту самую кухарку исколотилъ, на силу отняли. А ты, говоритъ, съ гвоздя? Когда протрезвился, такъ лечиться больше не пожелалъ, потому, сказываетъ, за что же я ее бить буду кухарку-то?.. Она, говоритъ, рази въ этомъ виновата?.. Мы ужъ на Онисимъ Григорычъ п не стали пробовать, побоялись, опасно должно быть.
- Нѣтъ, сестрицушка, богомолка про это, т. е., очень чтобы про буйство-то ничего не говорила. Сказывала только, что нѣтъ, быдто, того лѣкарства лекше и пріятнѣе.
- Не знаю, а что у насъ смертоубійство изъ него вышло, такъ это върно я тебъ сказываю. Мит что же врать-то!

— Извъстно, зачъмъ врать, — переспросила ярославка, впадая въ уныніе, конечно, отъ того, въ эту минуту пришедшаго ей на память обстоятельства, что,
вотъ, дескать, знаютъ же люди издавна, что врать
незачъмъ, а все врутъ, и что она, — эта самая ярославская Татьяна, — идетъ по такому противоръчивому
пути, прытче, можетъ, всъхъ людей на свътъ.

Такого рода умственной работой Татьяниной головы, а не чёмъ либо другимъ, я объясняю и себё и вамъ, что въ это время Татьяна глубоко вздохнула и со смиреніемъ, поистинё, дёлающимъ честь ея христіанскимъ чувствамъ, проговорила:

- Ахъ, и гръшники же всъ мы великіе, братцы ион,—бъда! Какъ только еще Господь Богъ Батюшка нашимъ сквернамъ терпитъ?
- Такая грѣховность положенія, а равно какъ и неуспѣшность рецепта съ гвоздя произвели между присутствующими тяжелую и продолжительную паузу, которая была прервана Мареой Петровной, никогда очень скоро не покидавшей своей любимой темы о запойной жизни и о многоразличныхъ средствахъ, предлагаемыхъ доброжелательнымъ людомъ въ изцѣленіе отъ ней.
- Были у насъ, голубушка Татьяна, лекаря-то, не хуже вашихъ, да такъ и отошли ни съ чѣмъ. Одинъ такой приходилъ старичокъ отъ Крымскаго моста, и на человѣка-то на настоящаго не похожъ, впереди его котъ сибирскій шолъ, большущій эдакій котище съ усами такими ли страшенными. Ужь Богъ знаетъ, кто изъ добрыхъ людей лекарю этому сказалъ про наше не-

счастье, только онъ къ намъ и приди, — черный такой весь, мозглявый, глаза, какъ свъчки свътятся, и говоритъ тихимъ такимъ шопотомъ. Пришелъ и зашепталъ мнъ: «слышалъ, говоритъ, про васъ. Ежели хочешь, чтобы я вамъ помогъ, отпирай казну. Мнъ, говоритъ, казны много надо, потому помощь не отъ меня...

- А Онисимъ Григорычъ страсть какъ не любить этихъ лекарей. Я потому и сказала старику: «можешь ли ты вылъчить его не видя?» Улыбнулся онъ въ это время, красныя десна оскалимши, и зашепталъ мнъ со смъхомъ: ахъ ты, говоритъ, баба дура, а еще купчиха! Рази не видишь, что я не глядя могу все знать, потому на что же я вотъ эту штуку при себъ за всегда содержу?» Тутъ онъ показалъ мнъ на кота, а онъ у ногъ его лежитъ, и такъ-то ластится, такъ-то мурлычетъ громко, ужасъ меня тогда не малый взялъ!..
- Принялся лекарь послё такихъ своихъ словь выдёлывать съ котомъ разные фокусы. Говори, Василій, шепчетъ ему, знаешь ли ты ел хозяпна? Котъ сейчасъ разъ къ нему наплечо, приложилъ морду къ уху и замурлыкалъ. Матушка, говорю, Царица Небесная! Что же это такое у меня въ домѣ творится? Ничего, говоритъ, не смущайся. Отслужи послѣ насъ молебенъ съ водосвятіемъ... Тутъ сейчасъ онъ положилъ кота на земь и сказалъ мнѣ: «у твоего хозяина, шепчетъ, волосы бѣлые, брада рыжая, окладистая, ротъ открытый, а въ желудкѣ у него сидитъ червь, напущенъ по злобѣ чернымъ человѣкомъ, знаешь, говоритъ,

какой на каждомъ шагу скверныя слова изъ себя изрыгаетъ!..

- Тутъ я и вспомнила кухмистера Петра Петрова, онъ черный такой, аки уголь, и злобу на насъ еще съ тъхъ поръ имъетъ, какъ мы его въ крестные отцы къ нашей Аграфенъ не взяли, потому онъ изъ лакеевъ и все это, идолъ, при гостяхъ ли, такъ ли, все это онъ никакъ удержаться не можетъ, чтобы эитихъ, поганыхъ словъ не говорить...
- Ну что, спрашиваетъ лекарь, послѣ моего раздумья, — вспомнила? Домекнулась, про кого я тебѣ слово сказалъ?
 - Домекнулась, говорю.
- Ну такъ поняла теперь, что мы съ Васильемъ всякую для васъ помочь оказать можемъ.
- Поняла.
- Ну такъ бъжи же проворите въ сундукъ за казной.

Побъжала я это за казной, какъ онъ приказывалъ, и выношу ему изъ спальни четвертную — новенькая такая бумажка, такъ и шуршитъ въ рукъ. Поглядълъ онъ сперва на бумажку, потомъ на меня, улыбаючись, взглянулъ изъ подлобья, и говоритъ коту: «посмотрика, Василій, чъмъ насъ за наши благодъянія благодарятъ? Говоритъ такъ-то, а самъ бумажкой-то коту ноздри щекочетъ. Батюшки мои! Какъ этотъ котище окрысился въ это время! Сроду я такой злющей гадины не привидывала. Какъ зафыркаетъ, какъ зафыркаетъ, шерсть на немъ какъ на свинъъ встала,

а самъ такъ-то ли сурьезно головой на меня рыжей повелъ...

- Чтоже, спрашиваю я, мало что-ли?
- Да кажись, что шубы-то на такія деньги-то не сошьешь? Это мив лекарь-то въ отвътъ сказаль, а самъ все смъется, такъ что смъхъ этотъ меня за одинъ разъ и въ ознобъ и въ жаръ бросилъ.
- Побъжала я опять за казной, еще принесла четвертную и ему подала. Только тутъ онъ ужасти какъ разгнъвался: объ бумажки на полъ онъ шваркнулъ и за шапку, а самъ все шепчетъ: «имъ на цълую жисть благодъяние дълаешь, а они тебъ все равно какъ нищему»...
- Подняла я съ пола обѣ бумажки и сейчасъ же летомъ достала сто серебра и вручила ему. Повесельть и сказаль: «вижу, говоритъ, твое усердіе.» Подаль онъ мнѣ тутъ синенькій пузыречикъ съ какой то желтой водой и сталъ совѣтъ давать: «каждую пятницу, говоритъ, давай ты мужу по семи рюмокъ очищенной, въ каждую рюмку наливай по семи капель этой воды—и дѣлай это семь пятницъ. Ежели еще не очень туда запущенъ ему червь въ желудокъ то—такъ, можетъ, онъ къ вечеру первой пятницы выдетъ. Это, говоритъ, бываетъ часто, а ежели онъ крѣпко засѣлъ тамъ, такъ послѣдняя пятница окажетъ себя безпремѣнно.» Простился онъ тутъ со мной и ушолъ, котъ за нимъ побѣжалъ. Я еще ему говядины такойто большой кусокъ дала.
 - Стала я мужа этимъ самымъ снадобьемъ подчи-

вать. Тошнить его, но малость. Думаю: обмануль старый шуть. Только гляжу, на четвертую пятницу не вытерпълъ Онисимъ Григорьичъ, закричалъ: «бъжите, говорить, за батюшкой-попомъ, душа у меня съ тъломъ зачинаетъ разставаться. Прибъжала я къ нему, а червь-то и ползетъ по полу, такъ-то скоро ползетъ, зеленый весь, съ усами, - ползъ, ползъ такъ-то, да въ щель подъ полъ и юркнулъ. Слава Богу, думаю вышло. И прошло послъ этого случая такъ надо полагать, мъсяца два, - все кръпился старикъ - не пилъ. Благодарила я туть Бога много, что сто рублей даромъ не пропали. Только чтоже? Сижу я такъ-то однажды подъ окошкомъ и вижу, -- видимо-не-видимо подъбхало въ нашему крыльцу колясовъ, линеевъ, дрожевъ, а впереди съ какимъ-то офицеромъ въ каретъ самъ прівхаль. И ввалила вся эта компанія въ покои, у каждаго въ рукахъ кулекъ съ винами, и загайгакала. Это онь, милая ты моя Татьянушка, съ одной свадьбы купеческой, на какую столъ подрядился готовить, всъхъ до одного человъка — приказныхъ молодыхъ, офицеровъ, они вёдь любять на даровщинку-то попьянствовать, въ себъ притащилъ. И пошла тутъ такая пыль, такое горлодерство — бъда. Я и говорю ему:

- Опомнись, въдь у тебя дочери невъсты. Гони ты ихъ вонъ. Молчитъ, голову свъсилъ. Я къ приказнымъ:
- Говорю имъ: такъ и такъ, господа! Какъ вамъ будетъ угодно, а вы ступайте отсюда, не соблазняйте старика, потому я его вылъчила. Большія, сказываю имъ, деньги заплатила, чтобы изъ него червя запойна-

го выгнали— и сама я своими глазами видёла, какъ онъ изъ него вышелъ и подъ полъ уползъ. Дайте же, пожалуйста, все пристаю къ нимъ, —покой старику.

Смъются приказные, глядя на мои слезы.

— Тутъ мы, говорятъ, хозяйка пи въ чемъ не причинны, потому рази другой червь въ немъ завесться не могъ? А вино, говорятъ, мы свое пьемъ. Значитъ бы лучше намъ дочерей показывала, потому слышали мы, у васъ денегъ много, такъ можетъ, и жепился бы кто...

Топанье и раздъванье въ передней прервали въ этомъ мъстъ разговарившуюся Марфу Петровну. Въ гостиную вошель самъ, веселый такой, радостный.

- Что? спросилъ онъ, шутливо относясь къ Марей Петровнъ. Небойсь все про мужа судачила? Эка старая! До сихъ поръ не отвыкла еще мужа всякому человъку расхваливать...
- Ба! Сестрица милая! вдругъ воскликнулъ Столешниковъ, примътивъ наконецъ гостью. Какими судьбами ты къ намъ залетъла? Ну-ка давай, милая, поцълуемся.
- Братецъ-голубчикъ! отвътила на это братнино привътствіе стономъ и слезами Татьяна. А въдь мы опять погоръли!..
- Опять?.. Переспросиль съ ласковой и разгадавшей всю суть дъла улыбкой, Столешниковъ. — Ну, авось Богъ милостивъ! Давай-ка, старуха, объдать.

-AUTOUGE BAROL CION ALM NO

III. WELL WINES PROME

r Consta, briogonal a chieffing the rest gardial nice

Tareste desired and county desired in Special in the last to the last the last to the last the last to the last to

- Ну, что, сестра, спрашивалъ Онисимъ Григорьичъ Татьяну въ то время, когда Мароа Петровна вообще съ кухаркой накрывала на столъ, какъ тамъ у насъ въ деревнъ-то? Все ли она тъмъ же концомъ съ краю стоитъ? А? Али инымъ повернулась? Ха, ха, ха! басовито и покровительственно посмъивался разбогатъвшій братъ надъ бъдной, оставшейся, по фамильному выраженію, въ крестьянствъ, сестрой.
- Да теперича, братецъ родимый, ежели отъ вашей инлости никакого намъ бъднымъ блага не выйдетъ, такъ она, можетъ, до коихъ поръ безъ копца совсъмъ простоитъ, деревня-то потому вашему здоровью понятно, небойсь, что дворъ родительскій съ краю стоялъ, отшучивалась въ свою очередь Татьяна, и не давая въ тоже время брату забыть про ея горькую нужду.
- Ну, ну, Господь съ тобой! На вотъ возьми, пристранвай съ мужемъ конецъ къ деревнѣ, добродушно отозвался Онисимъ Григорьичъ, при чемъ онъ вынулъ моск. ног. и труш.

изъ пузатаго бумажника крупную ассигнацію и подаль Татьянъ.—Какъ пойдешь домой, еще на гостинцы ребятишкамъ дамъ, а эту зашей въ рубаху, чтобы, оберони Богъ, не выронить какъ нибудь.

Видя такую добродътель, ярославка съ громкимъ воплемъ и обильными слезами бросилась въ ноги сначала братцу, потомъ сестрицъ, а наконецъ заурядъ и и милымъ племенушкамъ.

- Кормилицы вы наши, благодътели! вопила она, тщетно желая отдавить кому нибудь изъ благодътелей хоть одну ножку своимъ низкопоклоннымъ лбомъ. Онсимъ Григорьичъ ни подъ какимъ видомъ не допускаль ее осуществить это намъреніе.
- Сестра! говорилъ онъ, поднимая ее съ пола, не гръши, не человъкамъ подобаетъ земное поклоненіе, а Господу одному.

Подали объдъ, вслъдствие чего жалобная сцена прекратилась.

- А что, старушка Божья, отнесся Онисимъ Григорьичъ къ женѣ, сидя уже за столомъ, ты бы намъ для ради свиданья съ сестрой водочки поставила бездълицу, винца бы какого тоже малость прихватила, потому и самой на радостяхъ не мѣшаетъ.
- Охъ, Онисимъ Григорьичъ! простонала Мареа Петровна, боюсь я, какъ бы ты не того...
- Оставь пустое разговаривать-то, съ прежнимъ благодушіемъ сказалъ старикъ. Что миѣ съ одной, али съ двухъ рюмокъ подѣлается? Богъ милостивъ... Вотъ, сестрица, не покидаетъ меня несчастье мое, —

слышала, небойсь, какое? Знаешь? Что ты будешь дълать! И къ лекарямъ разнымъ ходилъ, и къ Батюшкѣ Врачу небесному за Его великою помощью прибѣгалъ, не снимаетъ Господь креста. . Заслужили, должно быть, ну и терпи...

При послѣднихъ словахъ старикъ совсѣмъ измѣнилъ свой шутливый тонъ. Говоря ихъ, онъ какъ будто сильно боялся и стыдился чего-то, вслѣдствіе чего голова его печально склопилась надъ тарелкой, а правая рука, вооруженная вилкой, безсознательно чертила чтото по бѣлой скатерти, вѣроятно, о великости того песчастья, про которое сейчасъ говорили.

- Кръниться надоть, братецъ милый! посовътовала Татьяна съ тяжкимъ вздохомъ. Къ Господу-Богу взывать.
- Крѣпимся, на сколько нашихъ слабыхъ силъ хватаетъ, съ еще большею печалью въ голосѣ отозвался братъ. Семьъ обида, своему здоровью разстройка, дѣламъ убытокъ, а передъ Господомъ грѣхъ!.. И замолить того грѣха не замолишь, потому въ пьянствѣ все...
- Что и говорить, <mark>братенюшка, про этотъ гръхъ?</mark> Извъстно, нътъ его больше.
- Н-ну, будетъ про это! закончилъ Онисимъ Григорьевичъ, какъ бы убъдившись, что словами дълу не поможешь.—Выпей-ка вотъ, а потомъ я за тобой.

Какая-то пріятная теплота бросилась въ стариковскую голову послѣ первой рюмки. Горячая кровь яркимъ румянцемъ показалась на морщинистомъ лицѣ и мягкими, ласкающими волнами заходила по утомленному тёлу. Вспомнилось почему-то въ это время Онисвиу Григорьевичу его давнишнее деревенское житье-бытье: работая надъ супомъ, видитъ, посъдъвшій теперь старикъ, какъ онъ маленькимъ мальчишкой, отрепаннымъ, босымъ и голоднымъ бъжитъ съ салазками по только что выпавшему, ярко бълому снъту, — ръзкій осенній вътеръ жжетъ ему лицо, по которому текутъ какія-то горячія и соленыя слезы, лохматитъ и безъ того шартшавые волосенки...

- Слава Тебѣ, Боже нашъ, молится про себя Онисимъ Григорьичъ. Не такъ у меня дѣти воспитывались: нужи такой, какъ я, они по Твоимъ великимъ милостямъ, не узнали да и не узнаютъ, пожалуй; —вмѣстѣ съ этой безмолвной думой хозяйская рука-владыка дотянулась до графинчика съ настойкой и угостила довольную своимъ положеніемъ хозяйскую думу втором рюмкой.
- Выпей-ка и ты, сестра, по другой, лучше всть будешь. Мароа! Ты что же не подчуешь гостью-то п сама не пьешь! Скупа она у меня больно, сестра! Такая скопидомка бъда! снова зашутиль старикъ.
- То-то, милый братецъ, посмъивалась Татьяна видючи, какъ она у тебя на добро жадна, я уже и ложки на столъ не покладываю. Вишь, молъ, какая скупящая!..

Засмъялись объ женщины—и выпили. Онисимъ Григорьичъ продолжалъ шутку тъмъ, что выпилъ третью подъ тъмъ предлогомъ, что ему, хоша онъ и старикъ, а отъ бабъ ни подъ какимъ видомъ отставать не приходится.

- Да и веселье какъ-то съ бабами-то завсегда, добавиль онь, и принялся за жаркое. Тутъ опять взметнулась въ немъ тяжелая дума о прошломъ: вспомнилось ему десять льтъ въ мастерствю, десять длинныхъ, какъ сто въковъ, льтъ, во время которыхъ нъсколько разъ отъ побой и старшихъ и сверстниковъ вспухала и снова опадала проломляемая и для лучшаго поняти и такъ просто одной шутки ради, голова, неоднократно мънялось лицо, принимавшее на себя многоразличные узоры многообразныхъ товарищескихъ трепокъ и хозяйскихъ лупцовокъ и даже самая шкура, какъ у рака весной, линяла въ одну недълю какую нибудь несчастливую, раза по два, а иной разъ и по три.
- Господи, теоя воля! Вотъ каторга-то была! ръшительно можно сказать, что безъ малъйшаго удовольствія отдавался Онисимъ Григорьичъ этому воспоминанію, потому что на лицо его въ эту минуту снова легли какія-то мрачныя тъни. Дивлюсь, продолжалъ думать старикъ, — какъ это только животъ свой я сберечь ухитрился?

Новая рюмка, выпитая хозяиномъ, заставила объдающихъ боязливо переглянуться другъ съ другомъ. Мареа Петровна протянула была трецещущія руки къ графину, чтобы убрать его со стола.

— Погоди, Мароушка, — съ нъкоторой досадой вос-

противился само этому намъренію. Вотъ допьемъ, тогда уберешь, видишь, ужъ немного осталось.

Затымь встало вы умы хлопотливое, купецкое житы, грышное, обманное житые, сы вычными заботами, сы напрасной божбой...

— Охъ, дътки, дътки! покачивая головой, мыслению восклицалъ Онисимъ Григорьичъ. Много для васъ яна свою душу гръховъ взялъ!...

Графинъ былъ въ это время окончательно порвшенъ и послъднія блюда уже не существовали для хозянна. Досиживая объдъ, онъ уже ни къ чему не прикасался, ни съ къмъ не говорилъ, а только помахивалъ головой, изръдка улыбался чему-то и шепталъ что-то, извъстное и понятное ему одному.

— Началось! шепнула Мароа Петровна Татьянъ. На гръхъ тебя Богъ къ намъ принесъ...

И дъйствительно, въ это время можно было сказать, что началась самая суть той съ вида тихой жизни, какую я показывалъ вамъ вначалъ, потому что лишь только кончился объдъ, какъ Онисимъ Григорьичъ, ограничивавшійся доселъ однимъ безмолвнымъ думаньемъ, заговорилъ — и заговорилъ громко и повелительно:

— Марва! Вотъ тебъ три серебромъ, пошли взять рому ямайскаго, да самоваръ вели становить. Да смотри, чтобы ромъ не какой нибудь былъ, — за эту цъну можно хорошаго достать. Плохимъ головы вамъ вымою... За васъ хлопочи, а вы нътъ чтобы удовольствие какое доставить старшому... Эхъ вы!...

Домашніе, какъ бы заслышавъ приближеніе бури, присмиръли: разговоры, за минуту передъ тъмъ оживлявшіе молчаливую гостиную, замерли, свътлыя, или покрайней мъръ, старавшіяся быть свътлыми отъ тятенькиныхъ шутокъ лица, омрачились предчувствіемъ какой-то бъды. Все смолкло, кромъ свътлаго самовара, неистово бурлившаго на столъ, — густой паръ, валившій къ потолку изъ его широкаго, жестянаго горла, совствъ скрылъ своими сизыми тучами зеленорозовые колеры, которыми въ такомъ изобиліи покрыты были амуры, лиры и рога изобилія. Все въ комнатъ посъръло отъ клубовъ самоварнаго дыма и печально нахмурилось, а по стекламъ такъ даже потекли зигзагами крупныя слезы.

- Ахъ и народъ же у насъ въ Москвѣ подлецъ сталъ, Татьянушка! какимъ-то стонающимъ басомъ говорилъ сестрѣ Онисимъ Григорьичъ, доливая трехрублевымъ ромомъ полстакана чаю. Теперича ты вотъ глядишь на меня и, небойсь, думаешь, разбогатѣлъ братъ, счастливъ сталъ. Какъ же? Держи карманъ шире. Ежели бы, т. е. я отъ крестьянской работы не отучился, сейчасъ бы въ деревню ушолъ, все бы это заведеніе дурацкое вотъ имъ бросилъ. При этомъ старикъ грозно взглянулъ на жену и на дочерей, и какъ бы уже окончательно выходя изъ своего дома на трудовую, деревенскую жизнь, сказалъ имъ:
- Нате вотъ, разживайтесь отцовскимъ добромъ съ легкой руки. Отецъ-то его, можетъ, потомъ да кровью пріобръталъ, а вамъ даромъ достается. Разживайтесь.

Очень смѣялся. Онисимъ Григорьичъ, когда говорплъ эти слова, кланялся вставши со стула, какъ барышня молодая, съ присъстомъ, и ручкою дълалъ.

- Разживайтесь, разживайтесь! Я не пожалью, я себь съ помощью Создателя и добрыхъ людей, еще наживу, д-да! Вотъ вы то какъ безъ отцовской головы пробавитесь, увидимъ, а не увидимъ такъ услышимъ. Такъ-то.
- Что это, братецъ, заговорилъ ты все эдакое не подобное? осмълилась спросить Татьяна. Рази они могутъ безъ родителя своего жить?
- Ты еще ихъ не знаешь, Татьяна! Тебъ ихъ скоро раскусить никакъ невозможно, - съ громкимъ и злымъ смъхомъ отзывался Онисимъ Григорычь. Теперича вотъ эта самая старуха: ты не гляди, что она такая смирная. Въ ней и не сочтешь, сколько бъсовъ насажено. Видишь, видишь, какъ она на меня бъльмы-то выпучила, ровно сьъсть хочеть. Она всю жизнь добивалась заъсть меня, да нътъ! не на такого напала!.. А дочери: онъ денно и нощно о моей смерти Бога молять, потому какъ только а протяну ноги, сейчасъ онъ маршъ за офицеровъ за мужъ... И пойдутъ тогда эти офицеры добро мое къ дъвкамъ возить, да въ карты проигрывать. Нътъ, погоди, шалишь! Молоды еще, въ Саксоніи не бывали! Я вамъ дамъ офицеровъ. Н-ну, дълайте мнъ пуншъ, шельны! Сдълали? Теперь вонъ! Чтобы вашего ду-у-ху не пахло здёсь, — я одинъ буду.

— H-у, сестрица! шептала Мароа Петровна Татьянь. Запримътила я: коли вотъ онъ поначалу раскуражится

такъ-то, такъ весь запой будетъ куражный, съ буйствомъ и дракой. Берегись теперь, а то какъ разъ затрещиной пожалуетъ. Намъ не впервой, ты смотри не обидься.

Но долголътняя опытность Марфы Петровны въ дъль распознанія тъхъ примътъ, по которымъ сна опреръляла заранъе характеръ запоя своего мужа, нынъ
обманула ее. Вмъстъ съ наступленіемъ вечера, — мрачное настроеніе духа Онисима Григорьича измънилось на
тихое. Бесъдуя въ потьмахъ съ клокочущимъ самоваромъ и ромовой бутылкой, хозяинъ вдругъ принялся
скорбъть и тужить о томъ, что онъ такъ безвинно
обидълъ жену и дочерей.

— Все это ты дѣлаешь, подлая! ругалъ онъ бутылку, колотя пальцемъ по ея преступному горлышку. Все ты! — Мароуша! Поди убери ее, проклятую отъ меня, чтобы она меня не соблазняла. Дѣти! Идите сюда. Видите, вотъ сестра моя, а ваша тетка пришла къ намъ. Такъ подобаетъ намъ теперича сидѣть всѣмъ вмѣстѣ и съ веселіемъ разговаривать.

Принялся послѣ этого старикъ горько плакать, просить у всѣхъ прощенія, — обѣщалъ, что онъ уже теперь ничего хмѣльнаго въ ротъ не возьметъ и въ тоже время убѣдительно просилъ жену и дочерей, чтобы онѣ налили ему послѣднюю изъ своихъ рукъ. Выпивши изъ рукъ жены, онъ вынималъ изъ бумажника деньги, дарилъ ихъ Мароъ Петровнъ на гостинцы и съ ласкою и со слезами говорилъ: — Дура, возьми! Ты думаешь, я для тебя что нибудь пожалью, что-ли!

Тоже онъ выкидываль съ дочерьми, Татьяной и даже съ кухаркой. Дворникъ, кучеръ и нѣкоторый бѣлоголовый и растрепанный парень, обучавшійся у Столешникова оффиціантскому дѣлу,—всѣ до одного человѣка были призываемы имъ изъ кухни въ гостиную, всѣ до одного изъ устъ самаго хозяина выслушали убѣдительныя просьбы простить ему, ежели онъ ихъ чѣмъ обидѣлъ.

- Убей меня Богъ на семъ мъстъ, божился хозяинъ, кланяясь въ ноги своимъ подручнымъ, — ежели я теперича на счетъ этого вина... Ни, ни!
- Мы ваше степенство, оченно этому рады! отвъчали подручные валяющемуся въ ихъ ногахъ хозяину. Мы, можно сказать, объ этомъ денно и нощно Господа-Бога молимъ.
- Нѣтъ, ты мнѣ скажи одно: уже не шумѣлъ, а тихо такъ, какъ бы молитвенно, говорилъ хозяйскій голосъ. Нѣтъ ты мнѣ одно скажи, Лукаша! Прощаешь ты меня, или нѣтъ?
- Прошшаю! отвъчалъ великодушно Лукаща, валясь въ свою очередь въ хозяйскія ноги.
- Ну, ежели прощаешь, такъ получи на гостинцы!.. Т. е. ты я знаю: пить любишь... Пей! Теперича ничего...
- Много вашей милости благодарны. А что ежели насчотъ питья, такъ это напрасно, отрезониваль никогда не сознающійся въ своей лжи русскій человѣкъ.

Темная ночь пришла, кухонные субъекты ретировались во свояси. На стънныхъ часахъ, въ краснодеревомъ футляръ, пробило одиннадцать. — Подали ужинъ.

— Ну, милые вы мои, сказалъ Онисимъ Григорьичъ, какъ бы совсёмъ отрезвившись. Баста. Простите по христіански, что я пошутилъ съ вами немного. Вёдь, ей же ей! я не пьянъ. Я только это васъ пробовалъ: думалъ, что вы всё меня бить приметесь.

Такъ наконецъ, промахнувшійся передъ гостьей Онисимъ Григорьичъ, вздумалъ маскировать свой промахъ, не желая показать сестрѣ, что онъ когда нибудь серьезно запиваетъ.

- Ахъ и шутникъ же вы братецъ! воскликнула Татьяна, всплескивая руками, и затъмъ она, обращаясь къ Мароъ Петровнъ, сказала:
 - А я думала, что онъ заправду.
- Вотъ то то и есть, что городской теленокъ умиве деревенскаго мужика, сказалъ Онисимъ Григорьичъ, стараясь изъ своего посинълаго, подергивавшагося лица, сдълать лицо трезвое, хорошее, какое бы не конфузило его предъ сестрой, оставшейся въ крестьянствъ.

Такимъ образомъ московско-купецкія приличія были соблюдены — и сестра крестьянка, волей-неволей, подумала, что это они такъ только, что такія шутки, по великому ихъ богачеству, кажинный день у нихъ въ домъ бываютъ.

— Н-ну и кончено! съ видомъ непоколебимой ръшимости воскликнулъ Онисимъ Григорьичъ, поднимаясь изъ ужина и крестясь на блиставшія золотомъ, серебромъ и разноцвѣтными каменьями иконы. Благодарю тя, Господи, яко насытилъ мя еси земныхъ Твоихъ благъ, — молился онъ, икая, какъ слѣдуетъ, съ закрытіемъ правой ладонью грѣшныхъ устъ. Ничего, ребята, не робѣйте, — къ утру, какъ слѣдствуетъ, будемъ въ лучшемъ видѣ. Вся эта фанаберія, какъ сонъ пройдетъ...

- **Ну и слава Богу!** усердствовала Татьяна, крестясь.
- Такъ-то лучше! подтвердила Мароа Петровна. Спаси тебя Богъ и помилуй.
- Тол-ль-лько ты, Мароуша, какъ теперича я тебь по душь сказываю, снова заговорилъ Онисимъ Гриторьичъ съ добродушнъйшей улыбкой, послъднюю мнъ налей, ротъ пополоскать, потому я теперича въ тихости и скромности, какъ передъ Богомъ!
- А мы было уже спать собрались, отвъчала жена, покорно наливая требуемую, послъднюю рюмку. Пей, Онисимъ Григорьичъ, да будетъ ужъ, пора и тебъ на спокой. Ей Богу! что толку-то? самымъ убъдительнымъ и ласковымъ образомъ упрашивала Мароа Петровна, имъя въ виду расположить супруга къмирному и безбуйственному отшествію въ постелю.
- Да не буду же больше, право не буду! наставительно объщался хозяинъ. Вотъ на зло этому мерзавцу не буду больше, — прибавилъ онъ сердито, указывая на стеклянный шкафъ, въ который Мареа Петровна предусмотрительно запрятала и водку и бутылку съ непоконченнымъ ромомъ.

Дочери, въ свою очередь, подходя къ отцу и, цълуя у него ручки, говорять:

- Тятенька! мы тоже отходимъ ко сну-съ!
- Отходите, отходите, прощайте.

Мать въ это время принимается изъ за плечей мужа иногозначительно моргать дочерямъ и онъ, какъ нельзя болъе знакомыя съ этимъ морганьемъ, усаживаются на полу, чтобы какъ можно лучше изловчиться стащить сапоги.

- Только мы, тятенька, передъ сномъ разуемъ васъ, поддѣлываются дѣвушки подъ отцовскую милость, позвольте намъ, тятенька, сапожки съ васъ снять. Мы потихоньку, чтобы у васъ головка не забольта, раскачамшись.
- Охъ вы, разбойницы! ласкалъ ихъ отецъ. Ну, ну, разувайте; а потомъ, объ вы мнё одну махонькую на сонъ грядущій налейте, я изъ вашихъ рукъ выпью и сейчасъ же спать, Ей-Богу! наливайте-ка!
- Ну теперь: его же царствію не будеть конца, шепнула Мароа Петровна Татьянь въ передней. Запиль на бъду! ты не гляди на него, какъ это онъ смиренствуетъ,—это все такъ: блезиръ одинъ.
- Ты бы его, голубушка-сестрица, на спокой какъ нибудь уложила. Онъ бы, можетъ, сномъ отошелъ.

А между тъмъ Онисимъ Григорьичъ положилъ на столъ побъдную голову и задумался. Жена стояла около него, подперши ладонями щеки въ самой слезливой позъ.

- Ну что же, Онисимъ Григорьичъ! иди спать.
- Погоди, погоди, Мареуша! дай подумаю, ты

ступай себъ спи. Только, милая ты моя, какъ пойдешь спать, поднеси мнъ, пожалуйста.

Жена попробовала было возразить, но мужъ самъ перебилъ ее и сказалъ:

- Не нужно, не нужно! это я такъ пошутилъ... Ты подагаешь, Мароуша, что я съ инмъ не слажу? слажу, будь оно проклято! не хочу, не буду пить,—вотъ тебъ и все? пойдемъ-спать!
- Эхъ ты, подушка, подушка, бормоталъ Онисимъ Григорьичъ уже на постелъ. Много я съ тобой кой о чемъ въ свою жизнь передумалъ... И тутъ мечется ему въ зажмуренные глаза бывшій когда-то хозяинъ Өома Өомичъ. Стучитъ Өома Өомичъ толстымъ костылемъ о звонкій полъ, скрежещеть отъ злости зубами и кричитъ на трепещущаго ученика:
- А, мошенникъ! А, разбойникъ! Ты меня срамить вздумалъ? ты на вчерашнемъ ужинъ капитану Подтыкаеву мороженое напередъ князя Чингалищева подалъ. Вотъ тебъ за это! вотъ помни и костыль Оомы Оомича ходилъ по плечамъ и спинъ Онисима Григорыча такъ хлестко, что тъ плечи и спина такъ и трещатъ подъ нимъ.
- Экой дьяволъ какой! тьфу! до сихъ поръ никакъ забыть не могу. Какъ вспомню про него, такъ это сейчасъ и тянетъ меня къ водкъ, отплевывается отъ стариннаго хозяина Онисимъ Григорьичъ.
- Да спи ты, Онисимъ! шепчетъ Мареа Петровна. Когда тебя угомонъ возъметъ? натужься: усни!
 - И натужусь, Мареа! Ей-Богу, натужусь! воть

же сказалъ, что не хочу пить—и не пью—и не буду, потому я своему слову, ты знаешь, завсегда господинъ.

Мароа Петровна, ободренная этими словами, крѣпко заснула, а Онисимъ Григорьичъ продолжалъ молчаливо восторгаться тою мыслью, что вотъ онъ сказалъ, что не будетъ пить—и не пьетъ.

- Да нътъ! гдъ гму со мной совладать? впрочемъ не выпить ли мнъ напослъдяхъ? кръпче усну послъ. Небойсь, шутъ его подери, одной-то не задолъетъ!..
- Да нъ-ъ-тъ! не обманешь, бъсъ, не надуешь! не буду! тьфу! и тутъ въ головъ Онисима Григорьича поднялась такая кутерьма, такая белиберда, что хоть топиться, такъ въ ту же пору: стекольчатый шкафъ съ водкой, манилъ его къ себъ тусклымъ свътомъ своихъ стеколъ, — амуры налетъли на него съ потолка, трепещутъ надъ его головой своими крыльями и шепчутъ: ступай, Онисимъ Григорьичъ, пей, выпей рюмочку, последнюю, да засни. Толстый диванъ и криворукіе кресла совсёмъ осиплыми густыми басами совётують, съ худо скрываемыми, неуклюжими улыбками, тоже самое; а своя собственная воля идетъ въ разръзъ со всеми этими советами, а внезапно появившійся откуда-то Оома Оомичъ, стучитъ костылемъ, грозится и кричитъ такъ громко, что голова Онисима Григорьича въ дребезги, кажется, разлетъться готова.
- A мошенникъ! а разбойникъ! ты ужь пить выучился?..

- О Господи! шепчетъ Онисимъ Григорьичъ, отжени врага; а самъ въ это время потихоньку, чтобы не разбудить жены, всталъ съ постели на ципочкахъ, пробирается по комнатамъ къ стекольчатому шкафу, воровски отворяетъ его и затъмъ слышится во тъмъ спящаго дома какое-то бульканье, крехтанье, отплевыванье и шопотъ:
- Боже, Боже ты мой! не попусти врагу вдосталь обидъть меня... Баста! теперь больше не буду...

На другой день раннимъ утромъ Мароа Петровна и Татьяна разомъ вошли въ гостинную. Въ ней, раздътый и разутый сидълъ за круглымъ столомъ Онисимъ Григорьичъ, поникнувъ головой къ столовой доскъ. Передънимъ стоялъ штофъ водки, ромовая бутылка и стаканъ, налитый вполовину ромомъ, вполовину водкой.

- Онисимъ Григорьичъ! Онисимъ Григорьичъ! окликпула его жена.
- А т-ты ч-чоррть! только и могло слетвть съ посинвлыхъ губъ Онисима Григорыча въ отвътъ Марев Петровив.
- Братецъ милый! завопила Татьяна. Рази можно такъ-то ругаться?
- А ты ччоррртъ! былъ и ей одинаковый отвѣтъ. А? ты опять погоррѣла!.. заговорилъ братъ, сверкая п злясь воспаленными глазами. Ты опять брата обманывать пришла. Пойду вотъ сейчасъ взлѣзу на крышу, да оттуда внизъ головой и брошусь, потому рази съ вами—съ обманщиками—можно жить?..

Съ этимъ словомъ Онисимъ Григорьичъ выбъжалъ изъ гостинной, живо забрался на крышу и заоралъ во все горло: крраулъ!

Въ домъ по этому случаю поднялся крикъ, а по всей дъвственной улицъ сплошной хохотъ...

on another a threshold in the contract and the contract of the

don the set safe at the color of the set of

ГРАФЧИКЪ.

I many o dogram work. I was graved at a color of

Полдневное лётнее солнце, такъ сказать, насквозь пронизывало одну московскую биржу, необыкновеннопыльную и раскаленную. Лихачи-извощики, стоявшіе на ней, то и дёло обмахивали своихъ вспотёвшихъ рысаковъ густыми, волосяными хвостами.

- Нну, чтобъ тебя чортъ взялъ! Задурилъ опять! слышались, по временамъ, въ этой удушливой тишинъ досадливые возгласы; затъмъ раздавались то тяжелая столбуха, обрушенная извощичьимъ кулакомъ на лошадиную морду, то храпъ самой лошади, то звонкое бряцанье ея франтовской сбруи изъ накладнаго серебра.
- Алешка! Что тебя лѣшіе то, идола, обуяли? Что ты, ровно волкъ всегда на лошадей накидываешься? Гляди: прогонитъ тебя хозяинъ, потому я когда нибудь безпремѣнно на тебя разозлюсь и все ему разскажу. Помнишь, лѣшій, какъ ты зубы разбилъ въ кровь пѣгенькому жеребчику?..

- Поди къ чертямъ, да тамъ имъ и разсказывай, угрюмо отвъчаетъ Алешка.
- Ахъ! взываетъ кто-то. Хорошо бы теперича на рубь-цълковый съъздить. Сичасъ бы въ трактиръ до самой-то, что ни есть вечерней зорюшки закатился.
- А-а-ахъ, ахъ! тоскуетъ еще чей-то ротъ, смачно и широко позъвывая. Съъздишь нынъ скоро-то, чорта съ три!.. Обопръешь тутъ, на жаръ на такой стоявши, а потомъ ужь, може, и позовутъ къ кому за полтинникомъ на три часа.
- Д-дила, братцы мои! Куда только это всё деньги подёвались. Какъ есть ни у кого денежки нёть ни единой! Все-то норовять въ долгъ да на шаромыгу,— наровить тебя нонича всякъ человёкъ какъ нибудь объёхать, да объегорить.
- Ну ужь тебя-то объёдешь, тебя-то и объегорящь-то, съ горькимъ смѣхомъ выразился молодой парень, самый, должно быть, лихой изъ лихихъ всей биржи, потому что одѣтъ онъ былъ въ тонкаго сукна кафтанъ, опоясанъ широкимъ, канвовымъ поясомъ, съ серебряной серьгой въ лѣвомъ ухѣ и въ бархатной шапкѣ съ великолѣпнымъ разваломъ.

Подпершись одной рукою въ бокъ, а другою поигрывая красивымъ кнутомъ, парень обернулся къ дядъ, плакавшемуся сейчасъ на то, что, будто, всякъ наровитъ его объёхать и объегорить, и, задирательно поглядывая на него, продолжалъ:

— Кто тебя обманетъ тому и въку-то всего только что семь сутокъ останется!

- Ну ты, чертина! отвътилъ дядя. Ито ты ко мнъ привязываешься завсегда. Ай тебя, стервеца, отецъ съ матерью давно за космы не таскали, што ты все къ старымъ людямъ пристаешь?
- Не ругайся: горло прорку. Не люблю я такихъ старыхъ-то... Мошенство въ тебъ одно, да слезы... Сказалъ: не люблю, такъ ты и модчи знай, когда я тутъ... Безъ меня, што хочешь бреши...
- Ишь ты, ишь ты владыка какая нашлась, злобно, но сдержанно ворчала рыжая, но уже облысълая голова. Ужь и слова сказать при немъ не моги...
- Пог-говори у меня! закипая и синъя отъ прилива лихости на неправду, протяжно сказала бархатная шапка. Идемъ, ребята, въ харчевню чай пить. Коего тутъ шута на жаръ дълать?
- Въ самъ дѣлѣ пойдемъ, ребята! Лучше лаитьсято, штоли? Затѣмъ всею гурьбой потянулись синіе армяки въ харчевню и биржа опустѣла. Остались на ней только сѣрые столбы неистово крутящейся пыли, да благородные рысаки, потупившіе красивыя, гордыя головы въ зеленыя кололы.

На состаней колокольнт уныло пробило част. Палящія солнечныя молніи ливнемъ лились на улицу съ ярко-вызолоченныхъ крестовъ и этой колокольни и около нея стоявшихъ церквей, — лились онт такъ стремительно, какъ пламя пожара и, казалось, толковали шумной столицт, что дескать: ну-ка, выди-ка кто, попробуй! Небойсь, человтие, вдоволь попаришься...

И столица, какъ бы понимая эти ръчи, была очень

тиха въ это время. Рѣдко, рѣдко какой нибудь безпокойный, вѣроятно, потому что бѣдный, перебѣжить биржу легкимъ развальцемъ, съ зажмуренными глазами и съ раскрытымъ, задыхающимся ртомъ, который тяжело пышалъ такими пламенными словами:

— Въдь вотъ и Москва, вотъ и столица; а улицъ все-таки полить не догадаются... А деньги, братци мои, и — ихъ какія на эту самую Москву засажены— бъда!..

parameter of the control states of the control of t

cross to remove the property of the second second

The second of th

AD PRAIL : V-SATE-COBRE OF BURGER OF BURGER STREET

BUILD B ORD HAND B THE

ong Charps. Desembled a career strangulari

И вотъ въ такую-то пору, когда лихачи всего менње могли ожидать добычнаго сёдока, изъ-за угла биржи съ стекляннаго подъёзда, со строгимъ, хотя и не особенно ливрейнымъ швейцаромъ, быстро соскочилъ молодой человёкъ лётъ двадцати двухъ, небольшаго роста, но коренастый, на короткихъ, толстыхъ ногахъ, дёлавшихъ его весьма похожимъ на медвёдя. Одётый въ дорогую, отъ самаго лучшаго портнаго, но страшно смятую и вываленнную въ пуху жакетку, онъ тёмъ не менёе былъ рёшительно безъ всякой покрышки на всклокоченной головё! Скорый бёгъ и безкартузность этого человёка тёмъ болёе удивляли наталкивавшихся на него, что на его жилетъ болталась толстая, золотая цёпочка отъ часовъ.

— Вотъ, должно, купецъ какой нибудь запилъ; али, можетъ, кто отъ отцовской лупки бъжитъ... про себя предполагали прохожіе.

Но на угреватомъ лицѣ молодаго человѣка ничуть нельзя было разобрать, отъ чего, и за чѣмъ и куда онъ бѣжитъ. Освѣщенное свѣтомъ здоровенной выпивки, оно сіяло какими-то безсмысленными красновато свѣтлыми лучами и машинально стремилось куда-то, что только отчасти давало право наблюдательному человѣку предполагать, что этому лицу дѣйствительно нужно стремиться, бѣчь, уходить — и только.

— Я съ вами пог-гвор-рю опосл... тихонько бурлила жакетка, обрывая слова на послъднихъ словахъ. Др-ржать; в-зать себя, не поволл... Я чл-э-къ обр-рзвынный, а онъ кто?...

При этомъ вопросъ на безсмысленномъ лицъ бъжавшаго промедъкнуло даже что-то въ родъ улыбки, похожей на улыбку всякаго смертнаго.

— Я тр-пълъ, я долго тр-пълъ. Поди ты теперь потр-ии!..

Ватага разнаго народа, подъ предводительствомъ усастаго швейцара, вывалилась въ это время изъ стекляннаго подъйзда и стремительно погналась за жакеткой, выкрикивая на разные голоса:

— Петръ Оедосъичъ! Петръ Оедосъичъ! Воротитесь, ради Господа Бога. Мы вамъ дома всякое удовольствіе предоставимъ... Чего только ваша душа пожелаетъ...

Были въ этой ватагѣ, и, такъ называемые въ Москвѣ, хозяйскіе молодцы, въ длинныхъ до пятъ нанковыхъ сюртукахъ, въ русскихъ большихъ сапогахъ, съ серьгами въ ушахъ, —были и лакеи во фракахъ, съ часами. Неслось все это за моимъ героемъ во весь

карьеръ, такъ что стонъ заходилъ по тихой улицъ. Сзади этой, во весь опоръ проскакавшей кучки, остались даже какія-то пузатенькія старушки, въ полинялыхъ ситцевыхъ платьяхъ, въ повязкахъ. Сложили онъ на своихъ животикахъ коротенькія ручки и, видя, что уже нътъ, не догнать имъ этой стремительной бури, пронесшейся жаркой улицей, что куда же ихнимъ старымъ костямъ угоняться за этою бурей, онъ громко и съ обильными слезами вопили всъ:

- Матерь Божія! Заступи и помилуй! Что мы теперь, сироты, дълать будемъ?
- Что такое? Что такое? вскрикивали магазины и лавочки, быстро распахиваясь.
- Что тамъ такое, не пожаръ ли? чего Боже избави! расхлопывались окна домовъ, ослъпляя людскія глаза своими молнійными отблесками.
- А, ха, ха, ха! хохоталь кто-то изъ третьяго этажа. Да это опять графчикъ, Петръ Оедосъичъ Свистунщиковъ запилъ, отца изъ дома проводивши. Молодецъ! Вишь какъ улепетываетъ. Его теперь не только что домашней ордой, а семью стаями гончихъ угнать пельзя.

И точно, что никакими гончими нельзя было догнать Петра Федосфича Свистунщикова. Какъ заяцъ, напуганный легкой ранкой, несся онъ впереди своихъ преслъдователей, закинувши назадъ голову, съ громкими, молящими воплями:

— Извощикъ! Извощикъ! Подавай живъй, озолочу! Андрюшка! Чортовъ сынъ, гдъ ты? Подавай! Но уже усатый швейцаръ настигаеть его прямо съ тылу. Онь уже готовится схватить хозяина за жакетку, — другой молодецъ, красный весь отъ натуги, оленемъ летить въ переръзъ, взявши черезъ проходной дворъ...

- Гибнетъ Свистунщиковъ! хохочутъ лавочки, магазины и окна.
- Сс-пасс-си-и! дишкантами вопіють пузатенькія старушонки, подвигаясь, сообразно съ своими костями, къ самому мъсту дъйствія.
- Из-зво-ощи-икъ! Андр-рю-юшка уб-бью! во всю грудь реветь Свистунщиковъ и бацъ кулакомъ въ вдало ужаснаго швейцара. Угрюмое, сплошь заросшее мрачными, черными волосами вдало веселветь, какъ будто, отъ этого баца, потому что серьозный подбородокъ швейцара окрасился въ это время тоненькими кровяными струйками.
- Р-разъ! съ хохотомъ орутъ давочки, магазины и окна. Петръ Федосъичъ! Гляди, гляди: молодецъ-то съ боку къ вамъ подбирается, —рекомендуютъ зрители.
- Д-два! грохочетъ толпа въ тактъ, другой оплеухъ, которую закатилъ Свистунщиковъ подбиравшемусл съ боку молодцу.
- --- Ат-тлична хорошо! Бис-спадобно! поощряетъ улица.
- Молодецъ! Теперь уйдетъ безпремънно!
 - Не уйдетъ, задніе сейчасъ схватятъ...

По всей въроятности, задніе єхватили бы Свистунщикова, если бы тридцать пролетокъ, запряженныхъ отличными, застоявшимися на жар'в рысаками, не двинулось бы на пресл'вдователей съ страшнымъ громомъ, ругательствами, понуканьями, взмахами кнутовъ и проч.

— Ваше сіятельство! Ваше сіятельство! Со мной, со мной пожалуйте! бурлили извощики, загораживая купчика отъ его оравы храпящими лошадиными мордами.

Лысый дядя, жаловавшійся недавно на общее оскудініе въ родів человіческомъ денегъ и правды, уже встаскиваль было Петра Федосінча за рукавъ въ свою пролетку; но самымъ лютымъ образомъ подскакавшій въ эту минуту молодой Андрюшка хватилъ кулакомъ въ лобълысаго дядю, такъ что онъ опрокинулся навзничъ въ свой экипажъ и повезъ, вмісто лакомаго сіздока, самого себя, — живо вздернулъ Петра Федосінча къ себъ, щелкнулъ языкомъ—и завалилъ такъ, что, по общему громкогласному отзыву глазівшей улицы, всізхъ чертей стошнило отъ того, какъ онъ завалилъ.

Очень это была оживленная картина!

Одинъ съдой, сморщенный и сгорбленный монахъ стоялъ у ближней часовни, поставленный въ ней для присмотра за неугасимыми лампадами и свъчами, такъ того монаха вся Москва знаетъ ужь лътъ тридцать и и ни разу не видала, чтобы онъ когда нибудь разсмълся. Въчно, бывало, стоитъ онъ въ ярко освъщенной, ръшотчатой двери часовенки и шенчетъ помертвълыми дрожащими губами тихія, неразборчивыя молитвы; и у него, когда онъ смотрълъ на эту свалку, гововтъ, показалась, какъ бы тихонькая улыбочка, обнажившая беззубыя, стариковскія десны...

don't are stanger to great all a right of any article

THE RESERVE THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Съ каждымъ кварталомъ все пуще и пуще забирать Андрюшкинъ рысакъ, съ каждымъ шагомъ, все выше и выше задиралъ онъ граціозную голову и дѣлался чертѣе и чертѣе. Сыпались искры изъ подъ его звонкихъ копытъ – и все встрѣчное до столбняка засматривалось на эти недогоняемые, широкіе и, какъ мгновеніе, быстрые шаги сѣраго въ яблокахъ, — на Андрюшку, натянувшаго зеленыя шолковыя возжи, и по временамъ наклоняющагося, то на тотъ, то на другой бокъ, съ цѣлью во всей точности разузнать, не сбивается ли съ шагу рысистый красавецъ, и не смѣется ли улица этимъ сбоимъ, если бы таковые; на его Андрюшкинъ великій срамъ, на лицо оказались.

Но какъ буйнымъ вътромъ снялся съ мъста рысакъ, такъ и теперь песется и безъ сбоя, и безъ малъйшей потери огня, которымъ дышало его упругое, благородное тъло, такъ что давно уже промелькнули всъ эти

«будки, бабы, «Мальчишки, лавки, фонари, «Дворцы, сады, монастыри, «Бухарцы, башни, огороды. «Купцы, лачужки, казаки, «Аптеки, магазины моды, «Бълконы, львы на воротахъ «И стаи галокъ на крестахъ».

Все это, говорю, давно промелькнуло и осталось назади, а ни рысакъ, ни Андрей, ни Свиступщиковъ, ни даже на единую іоту, не осрамились Все шло своимъ чередомъ: Петръ Федосъичъ. замирая, кутилъ, а Андрей жого и заработывалъ деньгу.

Жар-рь ихъ! изръдка только покрикивалъ купецъ въ пьяномъ просоньи на Апдрея, какъ бы натравливая его на необозримыя враждебныя арміи.

- Будьте спокойны съ, серьезно отвъчалъ лихачъ, могу сказать, что ежели всю биржу на ноги поднимутъ, такъ и то на задахъ оченно далеко останутся... Эфто я вамъ, какъ передъ Богомъ съ!...
- М-лладецъ— Андрейка! Я тебя за это озолочу.., Да что же это я, въ самомъ дѣлѣ, дремаю? На ка вотъ тебѣ покамѣстъ красную бумагу...
- Много благодарны Петръ Өедосъичь! отвъчалъ лихачъ, поворачиваясь къ съдоку, для того чтобы при-^{нять} десятирублевку.

Послъдовала нъкоторая незначительная паузя, не между съдоками, а, такъ сказагь, замолкъ па нъкоторое время, дъйствительно, жгучій шагъ рысака. Жеребецъ ношелъ во время этого разговора шагомъ, жадно внюхиваясь въ загородный воздухъ.

- Ты что же остановился, расподлан ты душа! заораль Петрь Федосвичь, вкатывая оба кулака прямо вы лицо обратившемуся къ нему извощику. Ты думаешь, я счету деньгамъ не знаю? Ты бери деньги, а ко мив рожей оборачиваться не смъй. Слышишь?..
- Слушаю съ! отвъчаль Андрюшка, отлично знавшій съ къмъ онъ имъетъ дъло, — и за тъмъ онъ съ глубокимъ вздохомъ сказалъ:
- За что только карать изволите? Мы ли вамъ не слуги?
- Мл-надецъ! За это я тебя нагр-ржу. Пользай ко мнъ въ пролетку, вмъстъ поъдемъ. Я тебя за твой отвътъ, можетъ, еще пуще полюбилъ, ты развъ это можешь понимать?...

Андрюшка залъзъ въ пролетку и тутъ же они принялись съ Петромъ Федосъичемъ любезно другъ друга въ уста сахарныя цъловать и долго ли, коротко ли они такимъ образомъ ъхали, только Петръ Федосъичъ, не стерпъмши, принялся Андрюшку опять колотить и, когда тотъ, по прежнему, покорно спрашивалъ его за что, де, карать, изволите? Свистунщиковъ опятътаки по любви, положилъ ему палецъ на губы и сказалъ:

— Мал-лучи! Тссъ! Шельма! Я знаю за что. Ты меня Петромъ Өедосъичемъ вздумалъ знать? Не люблю. Зови меня графчикомъ, вашимъ сіятельствомъ теперича меня называй, потому я трпълъ! Надовло!..

- Слушаю-съ! Согласился Андрей, взлъзая на козлы. Куда теперь прикажете?
- Поъзжай въ городъ, назадъ. Въдь теперича слъдъ потеряли? А?
- А теперича, ежели по нашимъ слъдамъ меделянскихъ пустить... заговорилъ было Андрей.
- Тс-съ! Мол-лчать! Я тр-рпълъ—и ты теперича тр-пи!
- Слушаю, ваше сіяе-е-естьо?.. браво закончилъ
 Андрей, круто и франтовито поварачивая въ городъ
 уже немного вспъненнаго рысака.

THE TOTAL THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

And The section of th

antiquedoven outside an alegan de la company de

AND THE COURSE WE ARE THE TOTAL TO STORY THE STREET OF THE

and a superior of the contract of the contract

Въйхали снова въ Москву, удивляя и озлобляя своей красой проходящихъ. Петръ Оедостичь, уже нисколько не страшась, что его накроютъ по горячимъ слёдамъ, вальяжно развалился въ пролеткъ и ревълъ во все горло:

Мил-лыя гор-ры, Къ ффамъ возвратился!

Это быль его любимый мотивъ.

— Ваше сіяс ство! перебиль Андрей одну сго любимую руладу. Воть туть у меня въ кабачкъ одинъ другь есть, —не прикажете ли вы завернуть?

Говоря это, Андрей нисколько не обертывался лицомъ къ графчику, что, по условію, должно было служить къ ихъ общему согласію; но однако же два дружные кулака Петра Федосъича все-таки впились ему въ спину, приговаривая:

— Такъ ты меня, шельма, по кабакамъ возить станешь?

- А я какъ капиталъ вашъ хочу сберечь—и опять же здъсь рябиновая ежели, разлюли малина! отозвался Андрей, словно каменный, ничуть не чувствуя, что спина его трещитъ отъ могучихъ купеческихъ натисковъ.
- Подъвзжай, коли такъ! Я тебя за твою выдумку озолочу. Только я это не люблю въ кабаки заходить, заговорилъ съ большою душой Свистунщиковъ. А ты вотъ какъ, Андрюща, сдвлай: си-час-съ вы мнъ оба съ сидвльцемъ по стаканчику изъ кабака вынесите, и кэ-э-къ станите подходить къ пролеткъ, сичасъ на колъни предо мной, я вамъ за это по золотому... Я въдь, Андр-шка, тр-пълъ...
- Слушаю-съ, ваше сіяс-ство!

Вышли изъ кабака Андрей съ цёловальникомъ, — въ рукахъ у нихъ по подносу было, на подносахъ по рюмкъ стояло, — и, по купеческому наказу, оба стали они предъ пролеткой на колъни и съ поклонами Петра Федосъича подчивали.

- Пей самъ, Андрей, и садись! поподчивалъ Свистунщиковъ своего кучера, а потомъ сталъ пить рюмку сидъльца и, лишь только выхлебнулъ ее, какъ сейчасъ бросилъ ее въ лицо угощателю и заревълъ:
- Пшо-олъ. Андрей!

Андрей взвился — и слъдъ простыль, а Свистунщиковъ, сидя бормоталъ:

— А въдь тр-пълъ! Ну и вы теперь потр-пите!

CTAIN, MARKS MOTE BACKE TRADE, MOUNT, AMERICA DA.

Опять жжетъ рысакъ — и опять Андрюшка кажетъ видъ, столь знающій по своей части и столь серьезный, что встрѣчные господа дворяне съ какою-то даже злобою шепчутъ про него:

А и поль воличаля вайр хочу обереч и опить в тросполоси убрано и продения и продения и по продения и по продения и по продения в про

Holifichen begin tour! A fode as the neighby and course, folded a sic of a robar of a robar of a robar of a robar of the sour and a robar of a robar of the sour and a robar of a robar of the source of the source of the robar of the source of the robar of the source of the

— Ужь сманю же я этого мер-рзавца отъ хозяина. Ничего не пожалью, а сманю. Да ужь я же его, подлеца, и проберу тогда... Небось, каналья ты эдакая, я съ тебя сурьезы-то твои тогда посшибаю...

А Андрюшка чуть только улыбнется, когда мимо него проблеть какой нибудь древний родъ и, словно бы отгадывая думу древняго рода, дрогнетъ немного красными губами—и въ этомъ дрожании губъ разбиралось:

- Когда это тогда-то будеть? Должно быть когда чорть умреть...
 - С-стой! командуеть Петръ Оедосфичь: Пить хочу.
 - Въ трактиръ, али-бо куда? спрашиваетъ Андрей.
- Квасу! и живо, словно бы не рысакъ сталъ, а стали, какъ листъ предъ травой, предъ пролеткой па-

латка съ инжиромо съ жамками, съ оръхами, съ бутылками кислыхъ щей, съ кренделями, печеными явцами, легопькимо и печонкой. Хозяинъ этой палатки, длиннобородый такой мужикъ, снялъ шапку и освъдомлялся съ большою политикой:

- Ччиво прикажете-съ?
- Всево давай, рявкнуль Петръ Өедосъичъ, а затъмъ приказалъ Апдрюшкъ:
- Слушай... Какъ я его шарахну, сичасъ же валяй! Я его изо-всей мочи дербану, и ты изо всей мочи валяй!..
- Слушаю-съ, ваше сіяс-ство! отвъчаль благодушно Андрей, натягивая возжи и умирительно пощелкивая языкомъ бунтующему рысаку.

Опять таже исторія.

Только что поднесъ нашей пролеткъ длиннобородый хозяинъ палатки инжировъ, яицъ, огурцовъ и бутылку съ квасомъ, какъ все это полетъло ему въ бороду, въ ищо, въ голову, въ шапку, а потомъ по обыкновенію, раздался возгласъ:

— Я тр-пълъ! Потр-пика ты теперча...

Отплевываясь, утираясь и даже тихомолкомъ поругиваясь, хозяинъ медленно уходилъ къ своей палаткъ, а рысакъ, по прежнему летитъ, Андрюшка серьезничаетъ, а Петръ Федосъичъ упорно настаиваетъ на томъ, что дескать:

добрые говорать, ссть Кен их золота, стоять на прас поры в ка или перкиен стикк солока сорока

I — Тр-пите, —я трп!... при потражения в трп!...

med it ero mad now nova genount, it is not been after

- erudvojed agreft auguning, heapt buselt

ficanturou domanod as nun Las Grangaude consel

понко съ инжениом съ жамустом, дъ орбидии съ училиях висямхъ щей съ врещестия, печениям визав месомътиль и печераной Хоздинъ этой палатии, изпачоородий такой мужийъ симиъ изациу и освъдом-

Отецъ Петра Федосъича былъ родомъ изъ тъхъ странъ, куда по пословицъ Макаръ телятъ не гопялъ. Кто его родилъ, онъ теперь нисколько не помнитъ. Помнитъ онъ только, что когда онъ еще былъ Федоской и былъ не въ Москвъ, а тамъ, гдъ-то, такъ въ это время кто-то, старый, престарый, говорилъ ему:

- Ишь ты, какой горемычный, Өедоска: ни роду у тебя, ни племени нътъ. Небойсь, жаль тятьку-то съ мамкой! Небойсь, тоже плачешь объ нихъ?...
- А что но нихъ плакать-то? Еще мнѣ одному-то лучше, потому иному мальчишкѣ тятька-то съ маткой въ лѣсъ не велятъ ходить, а я сичасъ куда хошь. Въ лѣсъ такъ въ лѣсъ, а то вонъ туда побъгу, тамъ, пожалуй, цълый день просижу...
- Дурашка! сказалъ ему на это старый-престарый. Ты слушай-ка, что я тебъ разскажу: Москва, вонъ люди добрые говорятъ, есть. Вся изъ золота, стоитъ на краю моря, а въ ней церквей однихъ сорокъ сороковъ.

Говорятъ: въ ней отъ одного конца до другаго сто верстъ...

- Hy Senecks Hoomists the reserved -90-0 no-
- Такъ-то! увърилъ его старый-престарый. Туда бы намъ съ тобою махнуть? А?
- Побъжимъ, что же намъ тутъ?

Помнитъ Оедосъй Иванычъ, что старый улыбнулся чему-то въ это время, всталъ и пошолъ.

Шли, шли они, — училъ-училъ его старый дорогою рукавицы шить и потомъ пропалъ куда-то. Тутъ онъ одинъ пошолъ — и шолъ тоже долго, такъ что пухъ на верхней губъ началъ показываться, — нъжный такой...

— Били меня въ это время, въ острогъ сажали, допрашивали о чемъ-то, строго допрашивали, давали кому-то сколько-то разъ на поруки, съ порукъ опять прогоняли, Христа-ради просилъ, иные подавали, иные ругались и—опять били, дол-лга, ахъ какъ дол-лга шло это дъло!.. Одначе тутъ я, долго ли, коротко ли, пришелъ въ Москву...

Такъ самъ Осдосъй Иванычъ въ теперешнее уже время, ежели когда выпьетъ немножко, разсказываетъ про свое прошлое житье-бытье закадычнымъ друзьямъ-купцамъ.

А закадычные друзья-купцы, слушая эти разсказы, жестоко прослезялись глазами своими, ибо были выпивши, и лопотали спьяну пріятелю:

— Ахъ! Сколь много ты эфтого самаго перенесъ! Ахъ! сколь это можно сказать, съ твоей стороны очень не дурно!.. Потомъ пріятели выпучивали на него безсмысленныя бъльмы и говорили:

- Ну, Өедосъй Иванычъ, ты теперича, сичасъ околъть, другъ мнъ! Выпьемъ...
- Да не б-буду, да не хочу ужъ я больше! Я въдь это тебъ такъ только разсказывалъ, а не токма что... отвъчалъ бедосъй Иванычъ, душевно вскидывая и по природъ и по выпивкъ добрыми глазами на благопріятеля. Я въдь это такъ, чтобы ты зналъ, какъ я терпълъ и за то меня полюбилъ...
- Н-ну чортъ съ тобой, ежели не хочешь, бормотали купцы даже въ пьяномъ видъ, а потомъ, когда отрезвлялись съ добродушныхъ, ничего не жалъвшихъ для друга вечеринокъ Федосъя Иваныча, толковали про него одни такимъ образомъ:
- Хорошо тебѣ, расподлецъ ты эдакой, съ десятьюто милліонами...

А другіе друзья, когда ихъ кто нибудь спрашиваль:

- Да что же это за Оедосъй Ивановъ такой? Какими такими кочергами онъ съ неба звъзды хватаеть? отвъчали:
- Никакихъ тутъ у него кочерегъ нѣтъ, а просто заграбилъ. Можетъ, онъ даже человъка какого нибудь богатаго убилъ, чортъ его знаетъ?.. Чужая душа потемки...
- Такъ, такъ, это часто бываетъ!..
- Третьи, ежели ихъ спрашивали о Свистунщиковъ старикъ, смъшками отдълывались, разсказывали одну общую легенду про веъхъ русскихъ купцовъ:

- Видишь ли, милый. Я ужь сколь хорошо знаю этого Свистунщикова, ужъ на что лучше! Видишь ли, какъ онъ, это, пришелъ изъ своей Сибири, сичасъ же въ Соборъ—и тамъ, слушай, по секрету сказываю: съ блюда пятакъ укралъ. Жрать это ему скверному— страсть какъ хотълось!... И онъ сичасъ—шельма эдакая, аки бы что кладетъ на блюдо, сичасъ взялъ и пятакъ этотъ стянулъ... А? Каковъ?...
- Только что же ты думаещь? Пожраль онъ на эти деньги, или нътъ?
- Неужто нътъ? пугливо освъдомляется слушатель.
- Вотъ тото и есть, что не пожраль! Купиль онъ на эти деньги иголокъ— и пошоль... Иголки продаль, наперстковъ купиль, потому барышъ, чтожъ ему?.. Наперстки продалъ, за тесемки принялся... И такъ онъ торговалъ три года. Ты думаетив, я вру? Мнѣ что же врать-то! Люди ложь, и я тожъ, а сказывали кто его знаетъ, что онъ не бе-ез-зъ колдовства, потому во всѣ эти три года онъ ни капельки хлъбца на свои деньги не съълъ, а иные говорятъ, что и воды даже (на что уже вода у насъ дешева! Чив-во дешевле, ха, ха, ха!) такъ капельки не пилъ...
 - Нне-п-илъ!.. А, а, а?...
- Да вотъ такъ-то! Понимай какъ знасшь. Да еще сказочка то далече не вся!..
 - Нии-фс-сяя?..
- То-то и есть, что не вся! докладываль съ знаменательной улыбкой другъ Оедосъя Ивановича. Послъ

этихъ годовъ знаешь, сколько у него денегъ въ на-

- Милліонъ на ассигнаціи? примант тото дио аказа
- вы (оборы —и гимы, слушай, но сепроту. в-вид-Д ... сы
 - Ббо-ожже! и от атали атали анати выно

И даже въ то время, когда Оедосей Иванычъ имѣль не милліонъ, а пять на ассигнаціи, однажды сказали ему завърное, что вотъ, молъ, какъ друзья ваши, Оедосъй Ивановичъ, про васъ разговариваютъ; такъ онъ, всегда веселый и ласковый, нахмурился въ это время грозною тучей, ударилъ себя въ грудь мощными руками и громко и ропотно взмолился:

- Гос-споди! Я ли не терпълъ, я ли не любилъ?..

 И, какіе домочадцы сквозь щели дверцыя могли слышать это, такъ они такъ сказывали про хозяина:
- Походили, походили они по горницѣ, тяжкотяжко задумавшись, и головку на грудку склонили, потомъ на колѣни упали и съ горькими слезами восклизнули:
- Друзи мои и искренніи мои, отдалече мене сташа!..
 - Съ тъхъ поръ, досказывали домочадцы, они такими и стали грозными!.. Аки буря завсегда все ломаетъ, не подступайся! И на счетъ деньжонокъ тоже, въ эфто именно, а не въ какое либо другое время ихъ подлай бъсъ скупости обуялъ. Прежде просты были, и ихъ какъ просты!..

Не взлюбило купецкое сердце такого обмана отъ фрумсьево и принялось оно съ великими подходами отыскивать, разузнавать, разспрашивать людей, говорящихъ завърное: кто имъ про это разсказывалъ?— Гдъ же и когда именно рука моя гръшная на церковныя деньги пала?.. съ великой тоской спрашивало это сердце.

Потомъ принималось съ собой, — однимъ — тихо раздумывать:

— Можетъ, это такъ! Можетъ, это они такъ только, въ шутку... Все-таки они, надо полагать, любятъ меня, потому... Боже! Рази я не дълалъ имъ тово и тово?.. Рази я что нибудь жалълъ?.. Нътъ, это что же? Это неправда...

И такъ сомнъвался, такъ скорбълъ Оедосъй Иванычъ, что однажды взялъ вся своя и отослалъ потихоньку въ Соборъ, чтобы никто про это дъло не зналъ и не въдалъ. Поспокойнъе сталъ послъ этого, только, начитавшись иногда на сонъ грядущій Чети-Минеи, онъ на постели своей, сквозь сонъ, вскрикивалъ:

- Да я въдь опять торговать буду! Думаю объ этомъ завсегда! И слаще всего мнъ дума эта... Въ чернецы не пойду!.. Ннъ-ъ-тъ! Не достоинъ, не достоинъ, потому къ земному у меня очень еще много охоты...
- Өедосъй Иванычъ! Өедосъй Иванычъ! будили его прислужники, когда онъ во весь голосъ кричалъ о своемъ послъднемъ нежеланіи. Проснитесь, сударь... Вопите оченно...

Што? Што? злобно вскрикивалъ Оедосъй Иванычъ, просыпаясь. Что тебъ нужно-то, — дьяволу? Никогда хо-

зяину спокою не дадуть, а хозяинь за нихь, можеть, всею душою страдаеть... Вамъ въдь, чертямъ, пить, ъсть надо добыть...

Уходили тогда всв отъ него — и пуще онъ озлоблялся и думалъ:

— Вотъ всѣ и ушли... Небойсь, я до обману ихняго не бросаль ихъ!..

Женился Федосъй Ивановичъ на какой-то объднъвшей купеческой дочери. Приданаго за ней ничуть не было, такъ какъ взялъ онъ ее за одну красоту. И принялся онъ ей такой разговоръ разговаривать:

— Вѣдь вотъ твои родители, хоша и обѣдняли, а все же купцы. Тебѣ и во снѣ не приснится, что я перенесъ... Я вѣдь все, что худаго въ свѣтѣ есть, на своей шкурѣ вынесъ. Гляди же ты у меня, баба, ежели что...

И такъ опъ женъ часто объ этомъ разсказывалъ, что молодая, при всемъ томъ, что сначала полюбила было его побъдную голову, взяла однажды да и ушла въ недалекую прогулку съ проходившимъ мимо развеселымъ офицеромъ, — ушла и наказала кухаркъ:

— Смотри, чтобъ у меня ни слуху, ни духу ведосъю Ивановичу... Вотъ тебъ за это рубь серебра.

А Оедосъй Иванычь всегда кухаркъ по два на серебро давалъ — и воцарились въ семействъ ложь и драка смертельныя.

Въ гробъ вогнали купецкую, взятую за красоту дочь, эти ложь и драка. На буйное, самое безпардон-

ное пьянство навели они Осдосъя Иваныча — и сгубили навсегда малолътняго Петра Осдосъича.

Послѣ смерти матери, малолѣтняго Петю окружили цѣлыя толпы и своихъ и иноплеменныхъ учителей, самыхъ, что ни на есть дорогихъ и лучшихъ. Къ стеклянному подъѣзду то и дѣло подлетали въ лихихъ пролеткахъ, то какой нибудь игривый, въ пухъ и прахъ разфранченный французъ, то толстый, съ вытаращенными глазами нѣмецъ въ шляпѣ, сдвинутой на затылокъ, то сурьезный приходскій батюшка.

Затормошенный въ конецъ различными уроками, моралями, прописями, отмътками, похвалами и порицаніями, Петя часто принимался умаливать отца, чтобы онь уволилъ его хоть на денекъ, — на заводъ бы его отпустилъ, — потому садъ тамъ, на заводъ-то, и рѣка...

— Потерпи, потерпи, миленькій! Помогутайся бездёлицу, — этими словами осушаль Федосей Иванычь робкія сыновыи слезы. Вёдь это все тебё въ пользу пойдеть опосля... Ты гляди, сколько я за тебя денегъ плачу — страсть...

Иногда, дъйствительно, больно укалывало что-то сердце Федосъю Иванычу, когда взглядываль онъ на своего ребенка въ его классной комнатъ. Большой круглый столъ стоялъ въ этой комнатъ, — на немъ, словно въ лавкъ канцелярскихъ принадлежностей, ворохами лежали прописи на разныхъ языкахъ, перья и гусиныя, и стальныя, карандаши, резинка, аспидныя доски, книги, въ которыхъ самъ онъ ни единаго даже

слова разобрать не можеть. — Посмотрить на все это старый купець — и припомнится ему далекое, смутно представляемое малольтство: широкія поля, дремучіе льса, свътлыя ръки— и воля полная...

Тихо улыбался тогда Өедөски Иванычъ, глядя на смирнаго, хвораго сына и шепталъ про себя:

— Вотъ бы его теперича туда — въ нашу сторону... Какъ бы это онъ тамъ справился — любопытно?.. Въ самомъ дълъ, не бросить ли все это?.. Грамоту бы одну оставить, да письмо, да на щотахъ... Въть вотъ, я же выросъ, — человъкъ есть теперича безъ сидънія безъ эфтаго. Пра!.. Ай бросить?.. Брось-ка покамесь Пътушокъ, науку-то! Поъдемъ съ тобой въ ряды. Ты у меня лошадью править будешь...

Труть они съ сыномъ къ шумному городу — и инчуть ничего не видитъ и не слышитъ изъ всей этой суетливой, столичной жизни Оедосъй Иванычь, потому что дума о сынъ всего его обуяла собой.

— Ахъ ты отецъ, отецъ! шевелятъ губы Федосъя Иваныча неслышныя никому, кромъ его, слова. Тоже отцомъ называется, а пользы своему дътищу не можеть понять. Благо, достатокъ Господь послалъ, такъ учи, нотому что же? Рази сынъ отъ у тебя такимъ же слъпымъ долженъ быть, какъ ты? Въдь ты то про своихъ родителей и слухомъ-то не слыхалъ... Ну ка скажи тдъ у тебя родители?.. Вотъ и нътъ ихъ — да и были-ль? Право? Нътъ, нътъ, Петя, — въ слухъ уже суетилъ онъ сына, — ступай-ка, ступай ка домой скоръе — учись! Терпи, — я вотъ видишь терплю

же... У меня вонъ и родителей то не было, — такъ накъ я отъ этого терпълъ, уму непостижно!.. А у тебя, слава Богу. все готово, — учись знай. Все тебъ родитель твой предоставилъ...

Съ горькими слезами поворачивалъ мальчикъ отцовскую двуколеску назадъ къ стеклянному подъъзду, чтобы снова приняться за ученіе и терпънье, а Федосей Иванычь, обходя свои многочисленныя лавки, все думалъ:

— Нив-тъ! Ежели онъ у меня, какъ слъудетъ, науку произойдеть, я ему тогда большой ходъ дамъ. Что въ самомъ дълъ, все купецъ, да купецъ?... Я его тогда въ гусары, въ царскую гвардію отдамъ... Ей богу...

И разговаривая съ прикащиками, Федосъй Иванычъ вътакія времена до того даже доходилъ, что гдѣ, кого слѣдуетъ ругнуть бы надо, пристращать, а онъ все улыбается, потому что мерещутся ему все какія-то страшныя битвы. Гремятъ пушки, пѣхота, это, съ штыками движется, а тутъ пыль страшная поднялась, — и разбивая эту пыль золотомъ своихъ мундировъ, скачетъ на враговъ царская гвардія, — впереди же ел, всѣхъ храбрѣе, мчится онъ — Петруша — съ саблей наголо...

- За въру, царя и отечество! слышится отцовскимъ ушамъ командирскій голосъ сына.
- Вотъ такъ-то! Вполголоса говоритъ Оедосъй Иванычъ. Вотъ тебъ и купцы!...
- Чево-съ? освъдомляется, стоящій противъ хозяина главный прикащикъ.

- Ззнай ты свое дѣло! громко уже вскрикиваетъ купецъ. И што только вы ко мнѣ завсегда пристаете?
- Слушаю-съ! отвъчаетъ прикащикъ и ищетъ чтото подъ прилавкомъ, взглядываетъ на верхнія полки,
 подставляетъ даже скамеечку, какъ бы намъреваясь достать оттуда что-то ръшительно-необходимое, потомъ
 гулко встряхиваетъ гремучими косточками щетовъ и
 самъ вздрагиваетъ, потому что Федосъй Иванычъ тоже
 вздрогнулъ отъ этого неожиданнаго стука и почти съ
 плачемъ вскрикнулъ: Варваръ! Что ты со мной дълаешь? Когда ты мнъ спокой дашь? и побъжалъ вонъ
 изъ лавки.
- Что онъ, чортъ?.. спрашиваютъ другъ у друга сидъльцы въ большомъ недоумъніи.
 - Должно, запиль опять...
 - Да вѣдь не слышно запаху-то...
- Да чортъ его услышитъ! Небойсь тоже завдаетъ чъмъ. Ты, что-ль, одинъ завдаешь то?..

Но не запиль Федосъй Ивановичь. Предъ его глазами, тотчасъ же послъ битвы, въ которой такъ отличался его сынъ, пошла другая картина: чернымъ баркатомъ завъшены мрачные церковные своды. Въ церкви стоитъ пышный гробъ, около гроба высокіе, серебряные подсвъчники съ безчисленнымъ множествомъ восковыхъ свъчей. Свътъ отъ нихъ льется на бълое, навсегда угасшее лицо его сына, — играетъ на орденскихъ знакахъ, которые на бархатныхъ подушкахъ разложены около гроба. Первый московскій хоръ пъвчихъ надрываетъ души многочисленнаго сборища заупокойными стихами, — наконецъ, будтобы, вышелъ дьяконъ и могучимъ, до неба долетавшимъ голосомъ, началъ испрашивать у Господа-Бога въчную память болярину Петру, на брани убіенному...

Стали кунцы говорить про Өедосъя Иваныча:

- Что это съ старикомъ Свистунщиковымъ дълается, братцы мои? Встрътилъ я его онамедни на Тверской: идетъ, ръкой разливается—плачетъ...
- Что ты?—я его спрашиваю.
- Ахъ! Уйди, говоритъ, не до тебя мнъ теперича!.. И въдь чудакъ какой! Съ такимъ это онъ сердцемъ сказалъ, словно бы я его по головяшкъ кулакомъ ошарашилъ...

Такъ одна дума безпрестанно смѣнялась другою въ головѣ Федосѣя Ивановича во все то время, въ какое выросталъ его единственный сынъ и наслѣдникъ, и сообразно съ тѣмъ какова была дума, дурная, или хорошая, отецъ-то грозилъ сыну, а подъ часъ даже и тяжелую руку накладывалъ, то ласкалъ его всячески, увольняя отъ ученья и позволяя дѣлать все, что только входило въ ребячью голову. Такимъ образомъ случилось-то, чему неизбѣжно слѣдовало случиться: какаято унылая и почти всегдашняя покорность Петруши, вдругъ иногда, Богъ знаетъ почему, превращалась въ самую буйную удаль — и тогда, по выраженію приживальщиковъ богатаго купецкаго дома, отъ чертенка житья никому нигдѣ не было.

— Тятенька-то вонъ терпитъ!.. Ну и вы терпите, оправдывался мальчуганъ предъ униженными и оскорбленными его буйствомъ. Тятенька у насъ одинъ, онъ намъ всёмъ хлёба кусокъ добываетъ...

Минуло шестнадцать лѣтъ Петрушѣ — и тутъ онь сошелся на дворѣ съ однимъ глупенькимъ паренькомъ изъ мѣщанъ, уже взрослымъ. По сиротству его купецъ у себя въ домѣ призрѣлъ.

- Ахъ, сударь! какъ-то заговорилъ паренекъ съ молодымъ хозяиномъ. Мы въдь съ вами тезки, ейбогу.
 - Какъ тезки? от от те детировот пра с виде-
- A такъ! Васъ вотъ теперича Петромъ Өедосъичемъ величаютъ, а меня Петромъ зовутъ.
 - Ну что же?
- Да то-то! У насъ вотъ тутъ по сосъдству, у господъ, горничная живетъ, Лизой звать, такъ онъ вамъ кланяться приказали. Говоритъ: Петръ, а Петръ, поклонись своему барину молодому! Я въ него оченю влюблена... Такъ и сказала и, какъ она тутъ отъ меня бъжать принялась!..
- Это стыдно такъ разговаривать! строго, но почему-то стыдливо проговорилъ Петруша.
- А какой тутъ стыдъ? А, ей богу, ничего! завърялъ парень (бълокурый онъ такой былъ, угреватый, глаза большіе). Мнъ вотъ самому тоже говорили, стыдно, а ничего! Я теперь вино, сударь, такъ-то пью, такъ-то я его полюбилъ, бъда! Я вамъ, пожалуй, поднесу...

Жара и пустота такая-то томили въ это время широкій, вымощенными плитами купеческій дворъ. Ни одной души, кром'в ребять, ни изъ одной щели не было видно. Въ тепломъ воздух'в пахло какимъ-то тайнымъ, тайнымъ секретомъ- такъ что вздрагивалось молодому тёлу и ходили по немъ то горячія, то холодныя струйки.

- А что, въ самомъ дълъ, подумалъ Петруша: какое оно такое вино-то? И затъмъ онъ уже въ слухъ сказалъ:
- Ну давай, подноси! Только, кабы намъ пъсни съ него не заиграть? А?
- Эва! чего вы, сударь, боитесь? Это вотъ съ первака-то вамъ, будто, боязно маленечко, а то ничего, потому это все привычка...

Господи! Какъ же дралъ Өедосъй Ивановичъ будущаго болярина Петра, когда узналъ про его первую выпивку!..

— Такъ дралъ, не приведи Мать-Царица Небесная! сначала съ ужасомъ разсказывала по сосъдству купеческая прислуга; а потомъ, когда картина дранья представлялась разскащикамъ во всей своей полнотъ, такъ они хохотать даже принимались и договаривали: семь возовъ хворосту изстегалъ, семь шкуръ сразу споролъ... Вотъ какъ! ха, ха, ха!

Съ этого раза, словно бы, ополоумълъ Петръ Оедосъпчъ, даже ликъ у него, какъ наблюдатели изъ дворни увъряли, совсъмъ перемънился, — красный ликъ сдълался, какъ бы полымя какое, — свътлые и не очень чтобы большіе глаза расширились и стали словно изъ олова, — такіе стали, что вотъ пословица говоритъ: глаза по ложкъ, а не видятъ ни крошки... Все ходитъ, все шастаетъ по горницамъ, руки въ карманъ задоживши, какъ бы нъмецъ какой — и только отецъ въ давку, онъ сейчасъ же по черному крыльцу маршъ къ извощикамъ — и поминай какъ звали...

The second of th

-1//3 The animal was executed by the executed and the control of t

Municipal application and experience of the many of the con-

day's dateday Asion and an animal property of the

Transporter of the second seco

The Charles - minta - h. dent in the property of the Control of

nent of the second ovil. It were a superior of

the way have a firmer growing all little ordinary

or planeters, the above water 12 to the first of

we are sale and the file and the sale of t

Усатый ундеръ, швейцаръ въ домѣ Свистунщикова, какъ самый расторопный и слѣдовательно довѣренный изъ всѣхъ слугъ, поставилъ на ноги всѣхъ чадъ и домочадцевъ, какіе только на лицо оказались, т. е. посадилъ ихъ всѣхъ на извощиковъ и отправилъ во всякія теплыя мъста, гдѣ можно было, по его мнѣнію, отыскать Петра Федосѣича.

— Въ Крымъ теперича ежели: — это первое дѣло, — командовалъ ундеръ: въ Италію опять заверни сперначала, потому хоша тамъ и не столь пріятно, только господа тамъ тоже бываютъ. Оттуда, вы теперича туда, сюда съвздите — Срѣтенку обходите — черрти! Развѣ вамъ денегъ пе все равно балбесничать то, что дома, что тамъ? Вѣдъ запоретъ въ части хозяинъ, ежели вернется и этого самаго дъявола своего не увидитъ...

Прівдуть наряженные усатымь ундеромь въ Италію, подкличуть къ себъ милаго человъка и спрашивають:

[—] У васъ Петръ Өедосъичъ?

- Нну, ей же ей, нътъ! отвъчаетъ съ крестомъ милый человъкъ: —Вотъ глаза лопни! Разъ бы я не сказаль, штоли?
- А ты вотъ что, другъ, усовъщеваютъ наряженные: ты по божьему, вотъ тебъ рубь-цълковый, сичасъ мы въ фарталъ бы...
- А коли рубь, такъ вотъ что: толичко вотъ сичасъ увхамши, вотъ на эстоличко вы его не застали. И при этомъ милый указываетъ на самую маленькую часть своего ногтя.
 - Право? спрашиваютъ у него, —послъднее слово?
 - Однова дыхнуть! Чтожь я, врать, что-ли, стану?
- Пшолъ въ Крымъ! кричатъ извощику наряженные, справляючи свой тяжелый нарядъ.
- Вотъ, ребята, походню отыскиваемъ! разговариваютъ они промежъ собой на извощикъ:—Чортъ его сыщетъ...

А изъ Крыма съ бѣлой салфеткой на лѣвомъ плечь и въ бѣломъ фартукъ бъжитъ другой милый человѣкъ.

- Что, милый человъкъ, спрашиваютъ его купецкіе слуги: — давно у васъ былъ Петръ Өедосъичъ?
- А какъ бы тебѣ сказать не соврать: года съ три ужъ не быль! отвѣчаетъ милый человѣкъ и скрывается во тьмѣ подвала, гдѣ помѣщается мелочная лавка, куда онъ стремился за солеными огурцами.
 - Дъло дрянь! разсуждаютъ наряженные.
- Да коего чорта тутъ шататься? Поъдемъ лучше домой.
 - Што домой? Луччи ужъ ежели въ эфтоть самый

трактиръ закатиться... По крайности, хоша не даромъ Вздили...

— Ну дакъ такъ! что же намъ въ самомъ дълъ? Страдать штоли?..

Вваливалась ватага купца Свистунщикова въ яркоосвъщенный залъ, — и стровласый буфетчикъ сейчасъ же подходилъ къ нимъ и спрашивалъ ихъ такими почтительными словами:

- Вы, господа купцы, отъ Свистунщикова будете, али изъ коихъ другихъ мъстъ?
- Такъ точно, мы отъ Свистунщикова. Вамъ что угодно?..
- А вотъ вамъ отъ молодаго хозяина приказъ. Былъ онъ тутъ у меня недавно, такъ наказывалъ передать вамъ, потому какъ ихнее такое мнѣніе было, что, де, шелонаи мои меня безпремѣнно отыскивать будутъ.

«Прікасъ малатцамъ атграфа Пітра Фидосева, ежели вслучіе чиво и тятеньки кольскоро они прівхадчи такъ и сказать штобы неискалі самъ вірнусъ биспремвнно потому мне деватся некуда всв насъ знаютъ и уважаютъ толька я ихъ типера ни боюсь оттерпелси съ мене будитъ а и съ канторы штобы тыщу рублевъ мне главный канторщикъ прислалъ черезъ Петра Семенова моево друга вотъ и все а тятеньки ежели они захочютъ чего сомной ни по закону, то я теперича самъ оченна строгъ сталъ ужь и то толька добрые люди міня удерживаютъ штобы я наднімъ немилостефъ своихъ не аказываль.»

Письмо заканчивалось безобразно расчеркнутою подписью: «Графъ Фидасеичъ Свисстунщикафъ».

— Вотъ ты тутъ и ищи его! Ай-да графчикъ!.. Да ну его къ чертямъ! Пей, штоли, ребята!

Этими словами и почти всенощнымъ хожденіемъ по хересамъ и горскимъ, закончили наряженные люди всъ свои походы за пропавшимъ хозяиномъ.

or area seems as a server of the second seems and a server

average, storeaux applications from their applications are

consider of the constant on the first some strength

праздничный сонъ.

officer of a second sec

Стояда свътлая морозная ночь, такъ сказать насквозь прохватившая улицу, угрюмую и до мертвенности пустую. Она щедро обсыпала ярко-блиставшимъ на мъсяцъ инеемъ кровли домовъ, которыя въ эту минуту охотно принимались тосковавшими по жизни глазами за рядъ съдыхъ стариковъ, то сильныхъ и бодрыхъ, отъ какихъ каждую секунду ждалось, что вотъ-вотъ они внушительно и строго заговорятъ съ этой тихой ночью о негодности нынъшнихъ временъ и людей,—заговорятъ, и при этомъ сердито зашевелятъ гнъвными, длинными бровями—то совсъмъ слабыхъ, вдосталь покачнутыхъ временемъ старцевъ, безпомощно сгорбленныхъ, слезливо моргающихъ, отъ которыхъ не дождешься ни одного слова...

Гробовая тишина властительно разлилась по улицъ и ночь, сопровождаемая ею, медленно проходила, вселяя мучительно сладкій ужасъ въ сердца людей, способныхъ слышать ея каменную поступь и забывать все на свътъ, при видъ красоты этой, непостижимо-величественной...

Изъ людей никто такъ не ходитъ!..

Шла, шла она — эта ночь — и вдругъ загудѣли московскіе колокола какими-то особенными, необыкновенно густыми и сдержанными басами, какихъ лѣтними ночами ни за что не услышишь.

И еще можеть быть круги мёдныхъ звуковъ не успёли расшириться на столько, чтобы долетёть до окрестныхъ селъ и деревень и сказать имъ:вставайте! Въ Москвё къ заутренямъ звонятъ, какъ уже ночь, хотя и было еще очень темно, совсёмъ ушла, потому что въ это время по улицѣ замелькали человѣческія говорливыя тёни — и, слёдовательно, тутъ настало глупое царство человѣка...

filed to realistic of Greatures of the Assault of the Assault of

hozaj hoza, go korrendre pred 12 denderanose 160. - Adest a carroga a engantam e resuredose 6-maris.

высобутых в пременень старыстья бенопроцио жеррбчинать следине моргающих в отв которых ис., об-

The state of the s

me were the control of the control o

nin agrando a como com a liger cosa a romando hadro analido.

Морозное утро чуть забрезжилось. Плутовски и, какъ бы человъкъ—охотникъ посмълться, однимъ глазкомъ подмаргивало и подкивывало оно неслышно-летавшему, по необыкновенно жгучему вътру, что, дескать подика, загляни-ка имъ подъ носы-то. Ежели очень разчихаются, ничего, пожелай имъ добраго здоровья, потому того требуютъ и политика и христіанскій обрядъ...

Смѣшливое утро сходило съ высокаго неба, сплошь зацвѣченнаго разноцвѣтными, морозными маревами.

Упалъ смѣхъ этого утра и на дѣвственную улицу. Упалъ—и раскатился надъ ней болѣе звонко и продолжительно, чѣмъ онъ раскатывался надъ другими сосѣдними мѣстами.

- Почемъ, молъ, нынъшней зимой вы, ребята, дрова покупаете? явственно разбиралось, какъ подшучивало утро.
- Дрр-рова! Нив-в-тъ! Посиди маленько съ дровами-то! Небойсь, и такъ не умрешь—и безъ дровъ не издохнешь — обойдесси!..

Такія слова сказалъ нѣкоторый человѣкъ безъ картуза, въ опоркахъ, вмѣсто сапогъ и въ красномъ разводистомъ, хотя совершенно отрепанномъ халатѣ Онъ стоялъ на крыльцѣ единственной харчевни дѣвственной улицы и, осторожно постукивая въ ея еще запертую дверь, говорилъ:

- Отопри, Христа-ради! иззябъ весь! А то др-р-рова!..
- Я тебя, ей Богу, пущать перестану. послышалось сквозь харчевенную дверь: — что это на тебя угомону ивтъ никогда?
- Пус сти! умоляль халать: дъло такое есть: дрова воть вышель покупать, да рано еще!..
- Знаю я эти дрова! Ты бы вотъ, нескладный, праздники-то господскіе получше бы соблюдаль.
- Да что же праздники? Я и то ихъ всегда... Будетъ—пус-с сти!

Жельзный болть загремьль наконець въ харчевнь и дверь отворилась.

— А ну-ка я погляжу, какъ онъ дрова покупать станетъ? смѣялось утро, все больше и больше налегая на дѣвственную улицу и освѣщая ее. Погляжу, погляжу я на это дѣло, — повторяло утро, разцвѣчаясь съ каждымъ своимъ словомъ все яснѣе и яснѣе, какоюто необыкновенно-доброй, какъ бы сквозь слезы смотрѣвшей улыбкой.

И, полагаю, что свътъ этого утра, упадая на злыя же и праведныя, говорилъ своей улыбкой и тъмъ и другимъ такую ръчь:

— Дълайте, дълайте, люди, что можете! Не смо-

трите на мой смѣхъ надъ вами, — не глядите, что я такое смѣшливое. Всѣхъ я васъ обойду ровно, всякаго въ точности огляжу, и когда смѣнитъ меня темная ночь, я уже буду говорить въ это время Царю Небесному про дѣла ваши, — Онъ воздастъ вамъ за тѣ дѣла, сами вы знаете какъ!

- Такъ воздастъ, прибавляло утро; что возрадуется добрый и заплачетъ злой.
- Встръчайте же меня, люди, каково бы я ни было; съ грозной бурей схожу ли я къ вамъ, или при тихомъ дыханіи утреннихъ вътровъ, убранное въ золото ближнихъ къ встающему солнцу облаковъ, бужу я уснувшій міръ, встръчайте меня и радуйтесь, потому что тамъ, откуда я къ вамъ слетаю, зла нътъ и, слъдовательно, я съ собой на землю его не вожу...

ORY TE REMARKS LIVERY, MANTEUR E E LAVIENCE PLANT.

THE RULE OF THE CLUBE OF THE PARTY HAR THE THE

to the section of the section of the section of the section of the section

nement where a render to be to the confidence of the confidence of

Человъкъ въ красномъ отрепанномъ халатъ и безъ картуза, первый возмутившій тишину описанной сейчасъ ночи своимъ раннимъ стукомъ въ дверь харчевни, былъ Кузьма Сладкій — сапожный подмастерье, такая головица, про которыя говорятъ, что ихъ дъло: убить да уъхать.

Лютая головица задалась! Каблуки онъ у барскихъ сапогъ такіе вытачиваль, что франты-заказчики смотръли на нихъ и вздрагивали. За одно только это дѣло хозяева и держали его, потому что держать безъ этого умѣнья рѣшительно силъ не было.

Мрачнымъ, небритымъ и необыкновенно чернымъ сидитъ Кузьма въ хозяйскомъ подвалѣ за своими каблуками—и никому по цѣлымъ недѣлямъ слова не скажетъ и только слышно, какъ это состукиваетъ онъ вонючую кожу въ красивые кружки, намазываетъ и намасливаетъ ихъ, обдуваетъ, подноситъ къ маленькому, чумазому оконцу и пристально всматривается, какъ убогій солнечный лучъ, нищимъ забиравшійся въ это оконце, отражается и играетъ на его рукодёльи.

- Готова работа, что ли? вбѣжитъ, бывало, хозяинъ съ спросомъ про какой нибудь № 43.
- Готово, отвѣчаютъ ребята, только вонъ Кузьма каблуки отчищаетъ.
- Скорѣе, Кузя, голубчикъ, взмолится хозяинъ: прислали.

Шваркнетъ Кузьма сапоги на грязный полъ и прорычитъ: бери, да отваливай къ чорту, — снова застучитъ молоткомъ, завакситъ и угрюмо опять замолчитъ до новаго спроса, сморщивши густыя, черныя брови.

Видятъ хозяева прилежанье Кузьмы и, какъ только артели предстоитъ двинуться къ объду, ежесекундно и судорожно дожидаемому постоянно голодными желудками, — хозяйка, наученная мужемъ, сейчасъ и манитъ Сладкаго за перегородку.

- Кузьма Иванычъ? ласково говоритъ она, подь-ка суды: дъльцо у меня до тебя есть.
 - Не пойду! отвъчаетъ Кузьма по медвъжьи,
 - Чтожъ такъ?
- А такъ и не пойду! Думаешь, водки твоей не видаль, что-ли?
 - Дая не на счотъ эфтово, а вотъ, разговоръ такой...
- -- Што врешь то! Жаль теб'в всёмъ поднесть, такъ ты меня одного потихоньку зовещь... Не пойду.

И не пойдетъ Кузьма Иванычъ, — ни за что и ни-

когда нельзя было упросить его пожаловать на потайную выпивку.

 Рази я краденый, что ли? справедливо разсуждаль онъ въ такихъ разахъ.

Случалось, впрочемъ, что хозяева, избъгая конфуза предъ артелью, говорили: да что же, Кузюшка, ты такъ полагаешь? какъ быдто, мы т. е. жадны. Мы и всей артели поднесемъ. Простоту нашу ты, кажется, видишь и знаешь. Будемъ всъмъ сейчасъ подносить, нотому чтожъ: рази вы намъ не всъ любы?

У другихъ мастеровыхъ замирали сердца при такихъ хозяйскихъ ръчахъ, а Кузьма, не мъняя своего обычнаго, бычинаго вида, свое толковалъ:

— Знаю, все знаю! Только я ужь теперь пить не буду, — и при такихъ словахъ глаза его, всегда стеклянные и серьезные, загорались такимъ-то блескомъ ненависти, ръшительно непонятно, къ кому и за что обращенной.

Пробовали нъкоторые изъ хозяевъ, какіе, по новости, не знали Кузьмина нрава, въ павязъ его подчивать.

— Да выпей, Кузьма Иванычъ! приставали кънему русскія, расщедрившіяся души: — Ну и скупы ежели были, не попомни—выпей! .

Хозяинъ, ежели былъ въ эту минуту въ заложеніи, такъ обыкновенно цёловаться лёзъ, а хозяйка стояла предъ капризнымъ подмастерьемъ съ почтительной улыбкой, съ вытянутой рукою, въ которой такъ заманивающе свётлёлась эта здоровая, мастеровая рюмчища, прозванная: въ самую плипорцію.

И ежели такія приставанья длились больше того, чёмъ можетъ ихъ вынесть ретивое сердце, такъ Кузьма съ большимъ стукомъ бросалъ на столъ кленовую ложку съ недохлебнутыми щами и уходилъ вопъ изъ дома, не показываясь обратно по цёлымъ недёлямъ. Пьянствовалъ онъ въ такія времена, по разсказамъ молодцовъ, такъ, что чертямъ тошпо дёлалось.—И тутъ продёлывалъ онъ всякія шутки, чтобы только показать хозяевамъ, что, дискать, ну васъ ко всёмъ дьяволамъ и съ водкой-то вашей! Я и на свои могу обожраться до смерти.

И достовърно извъстно, что во время Кузьминыхъ запоевъ, по дъвственной улицъ могли раздаваться только однъ его, какимъ-то необыкновеннымъ горемъ и отчаяниемъ обуянныя пъсни. — Въшенные взвизги только его одной гармоники, сопровождаемой разбойничьимъ свистомъ, гайканьемъ и топаньемъ заносились въ тихіе дома захолустья, потому что ни съ къмъ не сносилъ тогда нашъ молодецъ никакой супротивной встръчи: ни въ кабакъ, ни уродии, ни на улицъ.

— Держись крѣпше! ораль Кузьма какой нибудь другой пѣснѣ, или гармоникѣ:—Расшибу, одинъ я по этой улицѣ пройтиться желаю...

Давались тутъ и Кузьмой и имъ самимъ получались самыя звърскія трепки. Сътрескомъ ломались такъ называемыя, девятыя ребра, никогда уже не появлялись на головъ вырванные съ корнемъ вонъ волосы, а оставшісся безвозвратно съдъли, — безпощадно, словно зубами голоднаго волка, растерзывались пъжные хрящи ушей,

скусывались носы, а деньжонки, или заработанныя у хозяина, или выканюченныя въ пьяномъ видѣ у хорошаго барина за хорошіе каблуки, или наконецъ даже сворованныя, уходили вмѣстѣ съ гармоникой, съ халатомъ и, пожалуй что, съ сапогами, къ будочникамъ, натолкнувшимся случайно на молодецкую сцѣпку.

Весь разбитый, ограбленный, возвращался Кузьма изъ какого нибудь квартала, послё многихъ дней разгула, къ своему сапожному сидёнью, а мимо его пынныхъ, блуждающихъ глазъ шедшія улицы, такъ то смёнлись надъ нимъ своими свётлыми стеклами, такъто разборчиво съ густыхъ вершинъ бульварныхъ деревьевъ сыпались на его побёдную голову разныя ругательныа рёчи, что, дескать: ахъ ты, Кузьма, Кузьма, сапожный ты мастеръ великій! Скороль ты, Кузьма, пить перестанешь? Когда ты, Кузьма, какъ тебѣ быть подобаетъ, хорошимъ мастеромъ жить почнешь?

Извощикъ вдетъ и кажется Кузьмв, что этотъ дъяволъ извощикъ глядитъ на него раскраснввшимися отъ только что выпитаго чаю лицомъ и улыбается, — улыбается и только одни эти слова, чтобъ его чортъ взялъ! поматывая нечесанной, рыжей головою, толкуетъ:

- А-аххъ ты, Куззь-м-ма, Кузьма!...
- Што тебѣ за дѣдо? кричитъ Кузьма, налетывая на наставника съ мощно-сжатыми кулаками.
- Но, но! кричить извощикь, постегивая лошадь: Вишь лѣшій! Што ты грабить, што-ли!...

И извощичья гитара бренчитъ уже вдали отъ сапожника — и такъ-то насмъшливо бренчитъ:

- Што чортъ? говоритъ гитара: Што дьяволъпьяница, поймалъ? Нн-ъ-тъ, шутовъ баранъ, околъешь допрежь подъ винной бочкой, а меня непоймаешь. Я тоже ръзовъ, я тоже, можетъ, который годъ уже ъзжу...
- Моли Бога, запивоха ты эдакой! покрикиваетъ извощикъ: что вотъ утро тепереча раннее, городовые теперича по харчевнямъ спятъ, а то бы я съ тобою расправился, какъ быть надоть!...

И все, что только могъ завидъть Кузьма около себя въ такую минуту, все это: и утренняя зоря, упавшая влажной росой на домы, на деревья и на него самого, и пильщики, встающіе на работу въ три часа, которые теперь сонною гурьбой идутъ мимо него, и гульливая дъвица, возвращающаяся откуда-то,—все это кажется его глазамъ пляшущимъ на зло ему, смъющимся и говорящимъ:

- Что, что взялъ? Ахъ ты ш-шу-у-това голова?.. Объими руками вцъпился тогда Кузьма въ свои длинные волосищи, рвалъ ихъ и въ бъщенствъ кричалъ на всю еще сонную улицу:
- Н-нъ-втъ! Будетъ теперь! Теперь никогда я тебя, вр-аага, въ ротъ не возъму.

А хмёльной подчасокъ, прислонившійся къ углу, слушая сквозь сонъ эти вскрикиванья, какъ-то особенно повелительно и вальяжно отвёчалъ Кузьмё:

— Шторёшь, др-а-акъ? Счасъ тебя вфарталъ велю взять. Моск. нор. и трущ. 29 Будочникъ въ это время (говорю объ этомъ въ скобкахъ) видълъ сонъ, что онъ будто бы не будочникъ уже, а квартальный надзиратель, — отъ этого то онъ такъ повелительно и разговаривалъ этимъ тихимъ, прелестнымъ утромъ, дышавшимъ сладкими ароматами на вонючую въ остальное время, столицу...

. Toponamonon' Bosine ter exchance and most

scodor leo a lab dir a la faito quantissing o un serispin i ele-

namatale, agus arrivages productives of the color of the

·· Constall rear party of the first free of the con-

The state of the s

unity in indiministration of accommon forallar.

Cropents, the n-rain? Chart good population and control

онь, простью приним променти объебатольным высом

was an account to the manner of

Тѣ зароки, которые Кузьма Иванычъ, послѣ своихъ запоевъ, клалъ на свою душу, т. е. не пить чтобы ольше, въ ротъ его не брать, были столь страныш, что и пріятели, и хозяева Кузьмы, слушая его тяжкія на себя клятвы, вздрагивали и, ужасаясь сердцами, тихимъ шопотомъ, какимъ обыкновенно говоритъ человѣкъ въ больщомъ испугѣ, разговаривали:

— Господи! Откуда только онъ такія слова беретъ? Видълись тогда окружавшему пьяницу люду, черные, волосатые дьяволы, которые радовались Кузьминымъ словамъ, — громкій смѣхъ, вмѣстѣ съ смраднымъ пламенемъ, выдеталъ нзъ ихъ широкихъ и зубастыхъ ртовъ, — безчисленной стаей вертѣлись и прыгали демоны около Кузьмы, восклицая: нашъ! и потомъ, какъ бы въ подтвержденіе той правды, что Кузьма ихъ неотъемлемо, они съ разбѣга вскакивали къ нему на широкія плечи и оттуда все христіанское подло дразнили своими длинными, красными язычищами, опять

таки повторяя: что взяли? какъ вы ни старайтесь, а онъ нашъ!

И ужасъ суевърныхъ душъ, пораженныхъ такой картиной, доходилъ до самой высшей степени, когда Кузъма, все больше и больше разгорячаясь на своего лютаго врага — винища, съ каждымъ поворотомъ языка изрыгалъ все большія и большія страсти:

— Да распростръли, да раздребезжи меня мать Царица Небесная, ежели я лишь каплю... покрикиваль онь, яростно вращая кровавыми отъ похмълья глазами: Да чтобъ мнъ отца съ матерью въ глаза не видать... Чтобы съ мъста съ этого мнъ не сойдти,—сквозь бы землю провалиться...

Но нельзя было переслушать всёхъ этихъ рёчей—и потому, при всеобщемъ ужасё и молчаніи, всё садились на свои кадушки и снова принималась шипёть дратва, крёпящая сапоги, стучали молотки и визжали ножи и шилья, оттачиваемыя на шероховатыхъ подпилкахъ.

Наконецъ раскраснъвшееся лицо постепенно бледнъло, волоса, вставшіе дыбомъ отъ злости, мало помалу укладывались и Кузьма, какъ и всъ, садился на
свое мъсто. И видно было по усмирившемуся лицу подмастерья, что онъ сълъ не какъ другіе, что то и дъло
выскакивали, то въ харчевню, то поразговориться съ
сосъдской кухаркой, вышедшей вылить помои, а какъ
бы какой двухъ-тесный гвоздь, вколоченный въ стъп
толстымъ молотчищемъ и здоровой рукой.

Сиднемъ какимъ-то, готовымъ, какъ Илья Муромець,

просидёть ровно тридцать льть и три года, ввинчивался Кузьма Иванычь въ свое мёсто и ни-ни! Въ
роть, т. е. чтобы, ни капли! И говорять тё, кто
близко зналь, что во время его молчаливаго отдёлыванья каблуковъ, каждую минуту представлялась ему
скрипучая дверь кабака, такъ широко растворяющаяся,
такъ ласково зовущая. За дверью виднёлась зеленая
посуда, такъ заманчиво разставленная, — сладкій запахъ
родного влеталъ въ раздутыя ноздри, — лихія и жалующіяся пёсни такъ и били въ уши... а Кузьма ничего, — все сидёлъ и постукивалъ и сглаживалъ и подносилъ къ окну свою работу.

Много времени такимъ образомъ проходило, такъ что мастеровые, выйдя за вороты вечернимъ празднымъ часомъ, толковали про Кузьму между собою:

- Въдь остепенится?...
- Нътъ, не остепенится, —сомнъвались другіе, потому многіе видъли своими глазами, какъ они на емъ верхомъ сидъли... Хозяинъ въ свою очередь, позднею ночью разсуждаясъ женой о дълишкахъ, тихо шепталъ ей:
- Кузьма теперича безпремѣнно къ первому числу прибавки потребуетъ, потому прилеженъ ужь очень, нельзя не прибавить. Охъ, дѣла Божьи! Ни какъ то тебѣ извернуться нельзя!..
- Небойсь, извернешься! Совътывила жена: Разочти, ежели прибавки запросить. Какой ему лъшій повърить, что онъ пить пересталь,—посуди: онъ тебъ такое ко-льно выкинеть.

- Такъ то вотъ вы, бабы, всегда нашему брату не върите, — недовольно отзывался хозяинъ на женнино замъчаніе: — Мало мы васъ лупимъ.
- Было бы за что! Есть кому върить. Пьяницы, такъ вы споконъ въка пьяницами и будете.
- Ну молчи, чортъ! Никогда уснуть, какъ надо, не дастъ.

Бесёда заканчивалась громкимъ, будившимъ ночную тишину ахомъ хозяйки, которой самъ поддалъ легонько въ бокъ на сонъ грядущій; а Кузьма все-таки не шолъ въ кабакъ, все-таки онъ удивлялъ и злилъ сво-ихъ благопріятелей, какіе въ подпитіи тащили его въ кабакъ, покрикивая:

- Ежели ты, Кузьма, не пойдешь со мной бъда! Я съ тобой на смерть раздерусь, потому я тебя угостить хочу...
- Такъ ты теперича не пьеш-шь? Хор-р-рошо! Эфто прикрасно! Такъ ты, значитъ, такъ-то съ товарищами обращаться желаешь?.. Хыр-р-рошо!

Работалъ Кузьма и молчалъ. Пить ему страшно хотълось, такъ и звало что то. Говоритъ: иди! Кампанія тамъ вся! А онъ не шолъ. Зудъли у него согнутыя въ крюкъ сапожной работою руки, чтобы исколотить всъхъ пріятелей, но онъ не дрался и молчаль.

— Подемте, ребята! Чортъ его знаетъ, что у него на умъ? Можетъ, онъ и наши души хочетъ ему продать, кто его знаетъ.

Всѣ уходили — и оставался Кузьма одинъ, хозяйскіе ребятки къ нему подбѣгутъ, говорятъ:

- Дядя! Дай-ка ты у насъ извощикомъ будешь. И затъмъ ребятишки сморщивали свои смъющіяся, розовыя личики въ сурьезныя, барскія рожи и принимались орать:
- Звощикъ! Звощикъ!

Кузьма, впадая въ роль, назначенную ему несмысленными режиссерами, уходилъ въ самую глубь хозяйской горницы и оттуда, словно бы настоящій извощикъ, отвъчалъ:

- Куда прикажете, ваше сіятельство?
- Къ маменькъ клешной, на Твелшкую...
- Въ кое мъсто, сударь? Тверская длинна!
- Ты еще лазговаривать що мной вздумаль? сердился мальчугань, разыгрывая изъ себя сердитаго барина.
- Ахъ, ваше сіятельство! Какъ же нашему брату разговаривать съ вами? Посмъю ли!.. Ну да пожалуйте три гривенничка, ужь Господь съ вами!

Но входиль кто нибудь въ оставленный наработавшимся людомъ подвалъ — и комедія кончалась. Кузьма опять сидёлъ...

Такимъ ма неромъ досидълся онъ до той самой предпраздничой ночи, конечные шаги которой были началомъ той московской правды, какую я сей часъ описываю.

Обрушилась эта ночь на Кузьмину трезвую голову большимъ горемъ. Свътлая и молчаливая спустилась она на рабочій подвалъ и весь его до конца повалила на грязный и мокрый полъ.

— Слава тебъ, Господи! и говорили во снъ, и думали всъ эти чумазыя, навакшенныя лица:—Завтра, покрайности, цълый день что хошь, то и дълай. Можно завтра въ трактиръ отсидъться чудесно...

Цълая гурьба халатниковъ растянулась на полу—п только при тускломъ свътъ лампадки, рвавшемся изъ хозяйской комнатки въ мастерскую, можно было распознать, что это живые еще, а не мертвые люди: до того были мертвенно-блъдны лица ихъ и до того, смотря на неряшливую и сердитую смуглоту этихъ лицъ, казалось справедливымъ, что это не сонъ людей, а какая-то чума, которая внезапно налетъла на весь городъ, сразу повалила его и обезобразила, и его, и живущихъ въ немъ мастеровыхъ своей смертной печатью.

Тишина въ смрадномъ подвалѣ ходила совсѣмъ слышными шагами, — полный мъсяцъ, какъ бы нежеланый гость, который, по пословицѣ, хуже татарина, врывался своими золотыми волнами въ это исключительное жилище тусклыхъ трынокъ, семитокъ и иятачковъ и, какъ бы насмъиваясь надъ нищетой подвала, говорилъ:

— Что это за бъдность такая всегдашняя? Дай-ка хошь я ее позолочу немного...

И, ежели этотъ, озолотившій собою все ночное небо мъсяцъ, охотникъ былъ разговаривать, то хорошо ему было, потому что никто въ это время не перебиваль его. Только развъ одно сонное кудахтанье трехъ кохинхинскихъ куръ, купленныхъ хозяиномъ для ради новости. Усълись они на брюхъ одного молодца, кото-

рый свалилъ побъдную голову въ уголъ мастерской къ самой двери, чтобы тотъ уголъ, насквозь прохваченный морозомъ, хоть немножко остудилъ его, тяпнувшаго бездълицу предпраздничнымъ вечеромъ, усълись, говорю, гостьи изъ Кохинхины на этомъ брюхъ и только однъ ведутъ свой сердитый разговоръ съ сердитою, хотя и свътлою ночью.

Слышитъ Кузьма этотъ куриный разговоръ и понимаетъ его во снѣ такимъ манеромъ: снится ему, будто онъ имѣетъ свой домъ въ Чушкиномъ переулкъ. Идетъ, будто, онъ — Кузьма сладкій — по тому переулку, а на немъ грязь страшная, — извощики завязли въ этой грязи и зовутъ будочниковъ на подмогу, а мальчишки, посланные любезными родителями въ лавочку, орутъ, утопая. Смѣется всему этому Кузьма такъ то ласково и смотритъ на ворота деревяннаго, съ ярко-зеленой жестяной крышею дома, а на воротахъ написано во первыхъ на золотой печати: — «Застрахованъ во 2. отъ огня обществѣ, а во вторыхъ», на желѣзной печати нѣкіимъ живописцемъ было изображено:

— «Жены сапожнаго цъха мастера Афимьи Сладкой. Сей домъ слободенъ атпастогфъ»:

Шагаетъ Кузьма къ новымъ воротамъ — и деньжищевъ этихъ у него, изъ города полученныхъ, конца края, будто бы, нътъ. Такъ и шелестятъ, такъ и разговариваютъ:

— Ахъ, въ трактиръ бы теперь, — любезное дѣло!.. И видитъ Кузьма, что на его дворъ ходятъ все куры, большія такія, голенастыя, словно бы, ненашин-

скія. Ходять тъ куры по двору въ такомъ числъ, что отъ перьевъ ихъ въ глазахъ рябило. И будто онъ то и дъло все на яйцы садятся—и въ туже минуту изъ тъхъ яицъ выводятъ не цыплятъ, а все молодцовъ—и молодцовъ по сапожному мастерству.

Одъты молодцы отъ рожденья прямо въ серпянковые халаты, въ опоркахъ, съ ременными обручиками на длинныхъ волосахъ. Весело встръчаютъ эти молодцы Сладкаго у воротъ и кричатъ ему:

— Здравствуй, хозяинъ! Дощечку мы вотъ вамъ положимъ сейчасъ, чтобы вы ножки не замарали.

А куры кудахтають:

- Ко, ко, кко-о-о! Вотъ мы тебъ, хозяинъ, сколько молодцовъ нанесли! Еще, ежели захочешь, сколько угодно представимъ; а жалованья имъ хочешь давай, хочешь нътъ: потому мы тебя любимъ.
- Это чудесно! всей душой радуется Сладкій: Артель здоровая будеть—и все даромъ. Только, что же это я своихъ ребять не бью?..

И взялъ онъ, будто бы, пришедши домой, подтягъ и принялся ребятъ стегать. А ребята, не взирая на кръпкіе удары, говорили ему:

- Хошь ты насъ, хозяинъ, стегай, хошь не стегай, а мы изъ твоей руки не выдемъ:—не согласны, потому ты нашъ хозяинъ...
- Кко-кко-о-о! хрипъли сердитыми октавами кохинхинки: Мы изъ подъ твоей руки идтить не согласны.
 - Накрывай объдать, Афимья! кричить Кузьма на

жену: Да пошли въ кабакъ за четыре копъечки мальчишечку *) взять.

Небывалой, незнаемой еще никогда радостью — быть хозяиномъ, кончался Кузьминъ сонъ. Дальше зазвонили къ заутренямъ — и настоящая хозяйка будила остепенившагося подмастерья, толкая его ногой подъбока:

— Кузьма Иванычъ! А, Кузьма Иванычъ! Проснись, ради Бога! Мужъ съ полночи, празднику обрадовавшись, въ трактиръ укатилъ. Поди-ка ты дровецъ искупи. Не на кого, кромъ те⁵я, понадъяться—пропьютъ. Получи-ка вотъ полтора серебра.

Всталъ Кузьма Сладкій подъ обаяніемъ сладкаго сна и, встряхнувши длинными волосами, сказалъ втихомолку:

— Въ руку сонъ! Ишь какъ пріятно привидѣлось насчотъ хозяйства! Пойдука я на радостяхъ трахну. Потому недаромъ эти сны видятся: значитъ скоро буду хозяиномъ.

Въ это то время онъ, первый и разогналъ ночную тишину своимъ стукомъ въ харчевенную дверь, а потомъ, когда улица сдёлалась совсёмъ свётлою, Кузьма сходилъ съ грязнаго крыльца харчевни съ мёдными деньгами въ обёихъ кулакахъ и, отчаянно поматывая кудлатою головою, бурдилъ:

- Куды мив теперича, братцы мои? Что это я ни-

^{*)} Мальчишечкой, мальчишкой и мальчикомъ въ Москвъ называютъ шкаликъ.

какъ не придумаю. Къ хозяевамъ не пойду, — ну ихъ къ чертямъ! Говорятъ: поди, Иванъ, дровъ купи. А? Каково покажется?.. С-стой! Надумалъ куда идти: схожу-ка я къ Фомъ въ полпивную: Фома мнъ другъ, Фома мнъ землякъ, — а я къ нему не схожу? Съ чикво такъ, пызвольте узнать?

Народъ валившій отъ раннихъ об'єденъ, давалъ просторную дорогу Кузьм'є и говорилъ про себя:

- Вонъ оно! Кто празднику радъ, тотъ до свъта пъянъ.
- Что, ребята, отошли объдни? громогласно освъдомлялся мастеровой у встръчныхъ.
- Отошли! неохотно отвъчали богомольцы.
- Нну, значитъ, съ пр-р-раздникомъ! поздравляла всякаго удалая голова и затъмъ она вытащила изъ запазухи старую съ облъзлой позолотой гармонику и раскатила на всю улицу:

Branchester in the summer appropriate the contract

and a second second

«Р-р-ради гостя «Рради, дру-у-гга-а! «Оххъ!

on distribute annual e agent . Lorent de presentant de compar de .

more gold annighted about nighten howers danging or.

and so sources and the contract of the last receiving the

На одной изъ московскихъ улицъ, гдъ каждую секунду въ три путающіеся ряда валять обозы съ хльбомъ, или скачутъ эти же самые обозы порожнякомъ, пущенные на Божью власть красными, бородастыми лицами, орущими во все горло не пъсни, а такъ, чортъ знаетъ что, - гдѣ на каждомъ шагу можно видѣть лихачей-извощиковъ сцёпившихся колесами, - гдё разбитыя, окровавленныя мордасы, въ видъ классическихъ статуй, украшающихъ барскіе сады, торчатъ на каждой тротуарной тумбъ, какъ нъчто отдъльно-живущее отъ своихъ владъльцевъ, гдъ наконецъ надъ всъмъ этимъ буйно-пошлымъ гуломъ царитъ кулакъ будочника, приводящій все это такъ сказать къ одинакому знаменателю, - такъ вотъ на такой-то улицъ, говорю, можно примътить уголъ, съ котораго сразу, въ обрывъ, начинается другая жизнь. Каменныя палаты, съ балконами, съ мрачными подъбздами, съ важными швейцарами, по хамски относящимися съ этихъ подъёздовъ

къ дневному теченію, вдругъ прекращались на этомъ углу и вмёсто нихъ выстраивалось кособокое царство домишекъ, принадлежавшихъ, какъ говорили наворотныя надписи, то надворной совътницъ Минодоръ Пъвцовой, то купчихъ второй гильдіи г-жев Лисафеть Марковни Сычуговой, то цъховому Гаврилъ Разудалову.

Шли тутъ вывъски, говорившія что «хоша я и сапожный мастеръ Иванъ Забубенный, одначе ты мнъ задатку впередъ не давай—пропью; потому жизнь моя къ дьяволу не годится. Грязь и ржавчина залъзли на эту вывъску, разъъли ея нъкогда бълыя буквы, заворотили уголки, прорвали середку и такимъ образомъ на всегда опакостили мастеровую репутацію Ивана Забубеннаго.

Въ окнахъ, примазанные разжованнымъ мякишемъ чернаго хлъба, пестръли ярлыки, говорившіе:

- Сдеса-тко адаеца палугла.
- Чісавой мастіръ Петра Раскудряіфъ.

А вотъ и знакомая харчевня; она ухитрилась таки съ своихъ всегдашнихъ гостей-лохмотниковъ содрать себъ денегъ на золотую вывъску. Бойко росписался на этой вывъскъ, живущій напротивъ харчевни Іконописецъ Авдей Ликсандрычь господинъ Ліксеіфъ художникъ изъ Пітенбурха. Своей мастерской кистью Авдей Ликсандрычь раскатилъ на харчевенной вывъскъ: горатъ Растофъ фхотъ взаведенья.

Пиво азартно кипъло въ двухъ кружкахъ, модный самоваръ, въ видъ помпейской вазы, щеголемъ подперъ руки въ боки; около него правильнымъ полукругомъ

стояли золотыя чайныя чашки, громадный графинъ толковалъ проходящимъ, что, де, прочтите-ка коли грамотъ знаете, что на этой картинъ написано.

А послушные проходящіе, изумляясь столичной рос-

— Эдакой скусъ! Опробуйка землячокъ!

Такъ начиналась дёвственная улица, такъ она продолжалась, потомъ почти въ самомъ концё, круто и криво обрушиваясь подъ гору, какъ бы топила въ протекавшей здёсь Москвё-рёк ёсвою безысходную нищету.

— Вотъ сейчаст въ быстру рѣку брошусь! говорила она этимъ обрывомъ: — Ни дьявола своимъ мастерствомъ въ цѣлый вѣкъ незаработаешь, а только все винище одно жрешь и все это сказываешь себѣ: завтра, молъ, безпремѣнно отстану.

Работящая голь дѣвственной улицы, въ обыкновенные будничные дни угрюмая и до полнаго безмолвія смирная, теперь, праздничным слободным дюлом, вся высыпала на морозный день — и ржанье этихъ парней въ однихъ красныхъ рубахахъ, было столь вопіюще къ небу объ отмщеніи, что всякій больной человѣкъ, ежели проходилъ тутъ, такъ непремѣнно сердце его судорожно вздрагивало и онъ вскрикивалъ:

— Горло! что ты ржошь? Когда же ты, человъческое горло, говорить станешь?

Барыня какая то-прошла — и порока-то въ ней было только всего, что на головъ ея, вмъсто шляпы огненнаго цвъта, всегдашней на дъвственыхъ улицахъ, —

шляпы съ такими же перьями, какія нікогда развіва. лись на гекторовомъ шлемъ, была надъта, како есть братиы, какт на мужикт, шапка, опущенная сфрым смушками.

И шла эта барыня, никого не трогая, тихо, хорошею поступью, черные глаза пристально смотрёли поль ноги. Очевидно было, что она понимала, что ей не слёдуетъ ломать своихъ маленькихъ ножекъ, ради этой мостовой, вошедшей въ притчу во языцёхъ-и вдругь:

— Ха, хха, хха-а! громко раскатила улица по ея слъдамъ.

Нельзя было не оглянуться на этотъ лъшачій хохотъ и барыня оглянулась; а бойкая съ большими, выпятившимися зубами бабочка, манерно разглаживая свои напомаженные, выпущенные изъ подъ платка височки, закричала ей:

— Что глядишь? Ай не знаешь?.. Вмѣстѣ ѣэживали...

«Ай, барыня, барыня, Сударыня барыня, Чив-во тибъ надомна?

Заорали на разные голоса молодцы — и закривлялись при этомъ и заломались, съ свойственной мастеровой нацев граціей. И запада предотрання

Ежели бы барыня въ мушковой шапкъ вдругъ въ это время воротилась и топнувъ ногой на хоръ, закричала бы: какъ вы смъете, расподлая эдакая мастеровщина, обращаться такъ съ благородною женщиной?

то я ув френъ, праздничная, уличная картина непремино изминилась бы. Шустрая бабочка съ висками, сь визгомъ убъжала бы въ ворота, — за ней дали бы стрекача и ея рыцари.

Но прошла мимо барыня въ шапкъ, —и чъмъ дальше отходила она, тёмъ болёе густыя слова сыпались ей въ уши.

Уличная картина, следовательно, ничуть не изменилась...

Идетъ офицеръ и, видно, что не пъхтура какая нибудь, потому что за нимъ парадно выступаетъ тысячная пара, запряженная въ широкія сани, а на тротуаръ, въ измъщенномъ безчисленнымъ множествомъ ногь сивгв, лежитъ мастеровой. Вонъ и грязь около него.

Офицеру скучно. Забрелъ онъ сюда Богъ знаетъ зачемъ. Въ голове бродило что-то въ роде смутной надежды встрътить какую нибудь эдакую, съ глазками въ видъ крупныхъ; зрълыхъ вишенъ, маленькую эдакую, канальство, при взглядь на которую, чорть возьми, сразу взмахнулись бы въ высь поднебесную ослабшія тълеса.

— Ну тамъ платье, -юбочекъ ей этихъ бъленькихъ накупить, чтобы ножка была видна, идетъ безмолвно офицерская дума, погромыхивая палашищемъ: — Посадить въ сани, надвинуть на нее шапку-боярку—и смотръть: необыкновенно въ такія времена эти плебейки забываются. Сразу уже, отъ коровника то, онъ въ амбицію

вламываются. Пріятно въ морозный день съ такимъ раздуханчикомъ загородную прогулку учинить!...

Тутъ вдругъ офицеръ почему-то проникся гуманными идеями, — сталъ онъ тогда мечтать о сближени сословій — и потому, увидя мастероваго въ снъгу, онъ съ ласковою улыбкой, имъвшей ободрить погибающаго брата, сказалъ: — Не сыро ли тебъ здъсь, любезный другъ? Петръ! Покинь лошадей: — пособи поднять человъка!

Петръ — этотъ кучеръ, получающій тридцать цёлковыхъ въ мѣсяцъ жалованья, въ бьющей по глазамъ зеленоватой шубѣ, въ бѣлыхъ замшевыхъ рукавицахъ до локтей, съ бородищей въ три сажени, только мимоходомъ взглянулъ на барина и, не улыбнувшись даже, натянулъ зеленыя возжи, съ серебренными наставками, отъ чего парадный шагъ рысаковъ сдѣлался еще параднѣе.

Ишь, чортъ, съ коихъ раннихъ поръ коньяку этого своего ломанулъ! шевельнулось въ кучерской душв на хозяйскую просьбу, а мастеровой, въ свою очередь, не поднимая головы съ холоднаго снъга, забормоталъ:

- Не ссс-ыр-ро! Не сырро, раз-з....
- A? ты ругаться сталь? крикнуль офицерь. Эй! Необыкновенно скоро прибъжаль на этоть зовъ пынный, по случаю праздника, будочникь и, сладко улыбаясь, спрашиваль у офицера:
- Бить прикажете, ваше б діе!, али прямо въ кутузку?

Ваше в—діе! завопилъ оглядываясь мастеровой:

Не погубите! Тридцать человъкъ дътей, семеро мастеровыхъ содержу... Безъ меня все погибнуть должно.

- Хха-а, хха-а! какъ за барыней въ шапкъ снова зазвенъло ребячье грохотанье и надъ этимъ пассажемъ. Что, небойсь, узналъ, какая она такая Кузъкина мать то? хохотали молодцы надъ проснувшимся при видъ густаго офицерскаго султана, пьянюгой:—Вы бы его, ваше б--діе, въ морду...
- А не будетъ ли отъ вашего б дія на часкъ чего нибудь нашей артели? Потому, ей Богу, напрасно вы надъ нимъ смиловались: грубъ-съ оченно!... докладывала барину нѣкоторая удалая голова, отдѣлив-шаяся отъ кружка.
- Ска-а-тина! прошенталъ офицеръ, бросая, какъ кость собакъ, рублевую ассигнацію удалой головъ: По-говори со мной...

Вследъ за темъ онъ бросился въ сани и сердито за-

— Пшо-о-лъ, ска-а-а-тина!

Рысаки рванулись—и взвившаяся йзъ подъ ихъ копытъ снѣжная пыль помѣшала барину разглядѣть и разузнать, какъ по улицѣ и надъ его гнѣвомъ, и надъ его милостью, за одинъ разъ загромыхало новое, праздничное:

— Xxa-a, xxx-a! Побъжимъ, ребята, теперича пиво жрать...

Кипитъ улица, гогочетъ, смѣется и плачетъ. Вмѣстѣ съ нею гогочетъ, смѣется и плачетъ и Кузьма Сладкій. Окончательно сшибенный съ ногъ безчисленнымъ множествомъ шкаликовъ и косушекъ, онъ повалился теперь въ уголокъ огороднаго забора и будки, задралъ ноги къ верху, и оретъ безъ словъ:

— Нну-у, нну! Хто смёль, наизжай....

Будочники собрались около него и со сивхомъ спрашиваютъ:

- Што, Кузя, раздръшилъ?
- Раздръшилъ! отвъчаетъ Кузя: Бери въ фарталъ! Ничего не боюсь.
- Да нну тебя къ идоламъ и съ фарталомъ-то! досадуютъ будочники: Хошь бы за полштофомъ послалъ, для ради праздника, а то—фарталъ!... Не свои рази?...
- За полштофомъ? Нич-чего! Это м-можно!.. Сыми халатъ—и валяй.... Я тебя люблю, ты мой фартальный....

А тутъ, по улицъ, совершалось какъ бы нъкое вавилонское плъненіе: шли гурьбами какіе-то народы, въ чуйкахъ, съ свиръпыми, красными лицами, шли и кричали во все горло, — вхали эти же самыя лица на извощикахъ по пятку въ каждыхъ саняхъ, тихимъ, манернымъ шагомъ — и тоже кричали! Были въ рукахъ, какъ у пъшеходовъ, такъ и у ъздоковъ, бабы въ красныхъ сарафанахъ, — пьяныя и орущія — и гармоніи въ золотыхъ бумажкахъ, тоже пьяныя и орущія...

— Фу, ты, Боже! восклицаль одинь будочникь, подчуя стаканчикомъ лежащаго Кузьму:—Откуда только

такія силы берутся? Половодье словно... кушай, Кузь-

Выкушивалъ Кузьма Иванычъ, а дъвственная улица хмурилась все пуще и пуще, — грознъе и грознъе развертывались ея праздничныя картины.

Цълое море головъ бурдило около пойманнаго вора. Разное носильное отреп е висъло у вора на лъвой рукъ, а правую, съ сжатымъ кулакомъ, онъ держалъ выше своей съдой, непокрытой головы, которая, въ свою очередь, возвышалась надъ головами всей толпы.

Воръ одътъ въ старый, истерзанный и коротенькій полушубокъ. Съдые, кольцоватые усы грозно висъли по челюстямъ, — смуглыя, впалыя щоки злобно вздрагивали повременамъ. Очевидно привыкшіе къ стрижкъ волосы встали дыбомъ— и такимъ образомъ этотъ человъкъ весьма явственно изображалъ собою самаго лютаго. безсрочнаго ундера.

- Бей, бей! вопило сумасшедшимъ манеромъ пять сотъ голосовъ.
- Трронь! тихо, но мрачно отзывался воръ, и при этихъ словахъ на лицъ его нельзя было не увидъть ни малъйшаго движенія. Онъ былъ лютъ и серьезенъ, какъ можетъ быть, онъ былъ лютъ и серьезенъ когда пущалъ въ славныхъ битвахъ батальный огонь на угорълую вражью кавалерію...
- Да въдь ты же укралъ? раздаются несмътные голоса: — Ты же въдь у ей, у модистки то эфтой, изъ сундука сдулъ?

[—] Н-ну? спрашивалъ старый усачъ.

- Да что тамъ: нну? Ббей!
- Тр-ронь!...

Сзади стоявшій молодець изъ овощной лавки, хватиль въ это время солдата кулакомъ въ спину и, проговоривши: ну вотъ и ударилъ, — что со мной сдълаешь? снова пугливо скрылся въ живую горластую стъну.

- Кто вдарилъ! какъ звърь вскрикнулъ солдать, однимъ махомъ обрушиваясь на всю толпу: У-у-бью! Сказывай!
 - Это вотъ онъ, дяденька, васъ.
- Он-нъ? Подь-ка, подди-и-ка ты суды, чортовъ сынъ!..

Парнишка завизжалъ какъ собака, когда солдатъ сталъ его бить своими длинными руками. Потомъ поглядълъ на него воръ, бросилъ и сказалъ:

— Да ну тебя къ чорту, молокососъ!

И опять посыпались изъ толпы вопросы:

- Дерется еще, словно правый! Въдь ты украль?
- Да ты вёдь поймаль, дьяволь! треснувшимь, но еще могшимъ командовать въ громъ битвы, басомъ, вскрикивалъ солдатъ: Поймалъ вёдь, чортъ! отчаянно наступалъ онъ на отливающее отъ него море: Такъ отбери отъ меня, или къ начальству веди. А самъ ты надо мной издъваться не смъй... А то, сейчасъ умереть, убью.
 - Да въдь ты укралъ?
- Да не укралъ, дъяволы! А такъ взялъ: шолъ и взялъ.

При этомъ старикъ, какъ бы съ намъреніемъ заткнуть всъ эти широкія пасти, бросилъ въ кучку краденыя отрепья и пошолъ выше лъса стоячаго, ниже облака ходячаго.

- 0го, го, го! раздалось за нимъ уличное грохотанье.
- Я такихъ солдатовъ люблю, бурлилъ совсѣмъ пьяный Кузьма: Вотъ теперь я хозяинъ. Нну разбогатъю, купцомъ буду. Сейчасъ я тогда такого старичка къ себъ на житье возьму: Будь, молъ, ты, скажу ему, у меня за мъсто отца, старичокъ.
- Ахъ, нътъ у меня отца! плакался Кузьма: Сроду я тятеньки своего не видалъ...
- -- Ну будеть, Кузя: не плачь. Христось съ нимъ съ родителемъ то! утъшалъ Кузьму одинъ изъ угостившихся на его счетъ будочниковъ: — Посылай лучше, ежели деньги есть. Говорилъ это будочникъ — и тоже слезился.

Между тъмъ, толпа, отвалившаяся отъ вора, накатила теперь на Кузьму.

— Да штоже, дру-угъ! отзывался Кузьма: — Идъже я денегъ возьму, ты спроси? Я вотъ хозяинъ, — у меня, можетъ, артели одной человъкъ сто, а денегъ все нътъ, пытаму времена нонъ, аххъ, какія времена!...

И Кузьма заплакалъ — и будочникъ тоже сквозь слезы заговорилъ:

— Не ври, дьяволъ! Какой ты хозяинъ? Сейчасъ я тебя бить примусь, потому не люблю, когда брешутъ.

- Онъ нынъ, чортъ, сонъ видълъ, ребята! бубнила толна: Бредитъ теперича.
- Хвати его въ морду то: може встанетъ.
- Сказываль въ кабакъ: куры ему счастье напророчили.
- А куръ видъть во снъ, братцы мои, это безпремънно къ куреву какому нибудь. Бунтъ, али бо изобъетъ кто кого... Чъя, значитъ, сила возъметъ. Бида какъ послъ такихъ сновъ раздираются—въ кровь и часто даже до полусмерти.
- По буднямъ ежели, такъ такъ, точно дерутся, А въ праздники ничего—завсегда, почитай, сбываются.
- До объда сбываются, голова! Послъ праздничныхъ-объдовъ не въръ.
- Такъ, значитъ, его брать надо, къ вечернямъ скоро заблаговъстятъ, а не токма объдъ... Гдъжь теперь сбыться?..
- Тащи его, милый служивый. Забирай въ контору, а то, пожалуй, околъетъ тутъ, рекомендовала толпа бесъдовавшему съ Кузьмой будочнику.
- Кузя! А Кузя, проснись, золотой! упрашиваль будочникь: — Проснись — и посылай, а то сейчась поташшу...

Но не просыпался Кузя, и только, болтая ногами, кричалъ совсёмъ въ звёриномъ образё:

— Я p-p-рази не хозяинъ? Разувай меня, клади на кровать, а то всёхъ изобью...

Тогда потащили Кузьму въ кварталъ; а одинъ изъ его пріятелей, жившихъ съ нимъ вмъстъ, толковалъ провожавшей шествіе толиъ:

- Тоже и я однажды сонъ видълъ (пьяный легъ и Богу, слъдственно, за спанье не молился): Стоитъ, быдто, лъсъ, дремучій такой, высокій, а чортъ меня по самымъ верхушкамъ того лъса дремучаго подъ руку водитъ и смъется смъется и говоритъ:
 - Ты, говорить, русскай?
 - Русскай! я ему говорю.

Ну такъ, говоритъ, — ты надъ этимъ лѣсомъ всю власть возьмешь апосля только... Ты, говоритъ, ему теперича полный хозяинъ: —руби его...

- Я сталь рубить, быдто тоть люсь и проснулся, проснулся и вижу диво: сижу въ фарталю. Говорять за буйство взять...
- Ахъ, батюшки! сокрушенно вскрикнула вдругъ какая то бабочка, которая вмъстъ съ другими провожала Кузьму на успокоение въ сибиркъ: Аххъ, батюшки! Видно мы только хозяевами то и бываемъ, что праздничными снами.
- Извъстно, что по такимъ временамъ только! отвътилъ кто-то бабочкъ, корявый и пьяный, игриво хватая ее за платье на груди:—Праздничный сонъ, сама знаешь, до объда только, а послъ объда опять уже за работу нашему брату надо садиться...

nitra averat de Alabana Annon: Annanga Annan a and the second second Age derioned compranted bonders of sees when the anticed to be the same of the ved the annual collection among a control section was extended A STATE OF THE PARTY OF THE PAR A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

НРАВЫ МОСКОВСКИХЪ ДЪВСТВЕН-НЫХЪ УЛИЦЪ.

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

Очеркъ

писано, памятуя о погибающемъ другъ.

a dear rober rouge. Main I is such approx brake

Иванъ Сизой, матушкъ Москвъ бълокаменнной, по долгомъ странствованіи внъ ея, здравія желасть,— всьмъ ея широкимъ четыремъ сторонамъ низкій поклонъ отдаетъ.

Годъ слишкомъ шатался я по разнымъ мѣстамъ; а все нигдѣ не видалъ того, что я такъ люблю въ Москвѣ,—это ея глухихъ, отдаленныхъ отъ центра города, улицъ, которыя давно какъ-то я называлъ дювственными, съ ихъ, такъ влекущей къ себѣ сердце мое, поразительной и своеобразной бѣдностью.

Конечно, этого добра, т. е. бъдности, намъ не занимать стать, и, какъ я сказалъ уже, больше года шатаясь по деревнямъ и селамъ, по городамъ и краснымъ пригородамъ, я имълъ таки не мало случаевъ видъть голодъ и холодъ въ мъщанскихъ хороминахъ, молчаливое и безустанно работающее уныніе въ мужицкихъ избахъ; но это что же за бъдность? Лица не московскія, пораженныя этой болъзнью, не живыя лица, а какъ-бы каменныя статуи, изображающія собою безпредъльное горе и я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинетъ меня своими впалыми, безъ малъйшаго признака слезъ, глазами. Плачу, говорю, и вмъстъ съ тъмъ глубоко страдаю отъ той нравственной боли, которую всегда уязвляютъ мою душу эти глаза; ибо въ нихъ мои собственные глаза имъютъ способность читать такого рода красноръчивую вещь:

— Ты, братъ, таво... не гляди лучше на меня, мнъ и безъ тебя тошно. Мало ты мнъ, другъ, утъхи своимъ глядъньемъ даешь. Ты бы тамъ иначе какъ-нибудь для меня порадълъ...

Такъ уродливо настроено въ этомъ случав мое воображеніе, изъ котораго я имвю развить свой очеркъ. Всякій своею похотью влекомъ и прельщаемъ, слвдовательно и я, какъ всякій, имвю свою похоть, т. е. болью при видъ бъдности немосковской, ибо она молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатьетъ и, хоть сколько нибудь, оживетъ. Напротивъ, бъдность московскихъ дъвственныхъ улицъ меня радуетъ даже, потому что она рычитъ и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно въ ея темныхъ и тъсныхъ берлогахъ, — въ каковыхъ движеніяхъ жизни я замъчаю несомнъные признаки того, что бъдность эта скоро поправится и разбогатьетъ, хотя можетъ быть, и не вдругъ, хотя,

богатства ея будутъ далеко не тѣ, про которыя говорятъ, что они неисчерпаемы. Ну, да ничего! Намъ и это на руку: потому что голодному рту не до горячаго—ему бы только мало-мальски чѣмъ-нибудъ тепленькимъ порасправить свое изсохшее нёбо...

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

Action comments to compensations and market

dentre de la company de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la co

the second of th

sonor margiren bar die die baster Erriche adresses

e sa la ser la ficial y esta de la company de la ser la company de la co

Въ Москвъ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, которые меня весьма терпятъ и у которыхъ, слъдовательно, я удобно могъ-бы сложить свой странническій посохъ, но, пославъ ихъ въ душь моей къ Богу въ рай, я по прибытіи въ Москву, направился прямо въ дъвственную улицу, гдъ жилъ мой старинный другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, у котораго я крестилъ троихъ дътей.

Въ дъвственной улицъ я не замътилъ никакой перемъны. Въ сравнени съ другими столичными улицами, она была тиха до мертвенности. Огни, свътлъвшеся изъ оконъ ея маленькихъ, деревянныхъ домишекъ, были похожи на гнилушки, которыя такъ уныло свътятся ночью изъ подъ печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевъя дъвственной улицы. Изъ ея тусклыхъ окошекъ, освъщенныхъ какимъ-то красноватымъ свътомъ, порой вырывались какіе-то неясные звуки, по которымъ

рышительно нельзя было опредёлить, поють ли тамъ пьсни, или плачуть. Такіе это были смёшанные звуки. И временемъ, когда какимъ нибудь гостемъ широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на своихъ заржавъвшихъ петляхъ, звуки дълались слышнъе и тогда человъкъ неопытный, случайно проходящій по дъвственной улицъ, непремъннобы остановился противъ заведенія и пугливо прислушался къ этимъ звукамъ, потому что неопытному пъшеходу въ нихъ бы заслышалось слово: караулъ, слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся изъ чьего-то горла, но остановленное на половинъ своего излета и снова, какъ-бы, впихнутое въ это горло чьимъ-то лютымъ кулачищемъ.

Но я не счелъ этого звука за такой караулъ, ради котораго слъдовало-бы остановиться около харчевни, потому что мнъ коротко извъстны обычаи дъвственной улицы. Это былъ просто крупный разговоръ, который велъ закутившій мастеробой съ своею благовърной, пришедшей съ цълью вытащить благовърнаго изъ заведения и отвести на спокой на фатеру.

— Пош-шолъ вонъ! кричитъ на жену повелительнымъ, горловымъ баритономъ, уръзавшій здоровую муху кутила: — Пош-шолъ вонъ! повторяетъ онъ еще повелительнье, забывши въ подпитіи, что, ежели хочешь прогнать откуда нибудь свою жену, чтобъ она не мъшала молодецкому разверту, такъ нужно сказать ей восе не пошелъ вонъ, а: пошла вонъ.

Затъмъ начинались плаксивые тоны жены:

- Иванъ Прокофыичъ! Что-же мы завра ъсть станемъ?
- Объ этомъ ты не горюй! Что объ этомъ горевать, объ ѣдѣ-то? Эхъ ты безстыдница! О чемъ нашла горевать? А? Гаврикъ! обращается кутила къ фамильярно улыбавшемуся половому о чемъ она, дурища, горюетъ-то? Объ ѣдѣ, ха, ха, ха! Пош-шолъ вонъ! и затѣмъ мужъ, какъ глава надъ своей женой, употребляетъ даже нѣкоторую силу и пытается пропихнуть ее въ скрипучую дверь на тихую морозную улицу.

И такъ вы видите теперь, что серьезнаго караула въ харчевит дъвственной улицы быть не можетъ; потому, что въ концъ концовъ, ежели караулъ слышится иногда изъ оконъ, веселящихъ улицу своимъ краснымъ и, примъчено мною, какъ то злобно и насмъшливо моргающимъ свътомъ, такъ вовсе нечего прислушиваться къ нему, потому что все это не болъе, не менъе, какъ свои отъ своихъ...

Исторію эту, съ цълью получить въ концѣ ея не зловредный караулъ, можно продолжать такимъ образомъ:

- Остались-ли деньги-то у тебя? Ай ужъ всё пропиль? спрашиваетъ жена, уствиись наконецъ съ супругомъ за одинъ столъ около грязнаго, загаженнаго мухами графинчика изъ толстаго стекла съ мутной водкой.
- Какія, чортъ, деньги? Пропивать-то мит нечего; а это ужь я на сертукъ вадю, вотъ добрая душа, Гаврикъ, въ двухъ серебра принядъ, а домой я и въ твоемъ платкъ какъ-нибудь дотащусь.

— Да въдь ты давича работу барину понесъ? Рази онъ тебъ не отдалъ? «Тему» давена поличения

Мастеровой слезливо начинаетъ обыкновенный разсказъ про то, какъ часто понесешь работу къ барину и, какъ идучи къ барину, разсуждаешь, что вотъ де, сейчасъ получу деньги, прямо на рынокъ, искуплю тамъ говядины, — сапожки, можетъ, али штанишки какіенибудь старенькіе не попадутся-ли, а тамъ накуплю товару и валяй опять за работу. Чудесно! знай денежки огребай. Разсуждаешь такимъ-то манеромъ, а потомъ и не увидишь какъ очутишься въ кабакъ.

- Онъ, говоритъ, баринъ-то: Иванъ Прокофьичъ! Ты съ меня деньги-то недъльки двъ пообожди. Знаешь, говоритъ, за мною не пропадетъ. Я ему говорю: знаю, что не пропадутъ, только ваше б-діе мнъ деньги оченно нужно. Сами изволите знать: жена, дътей четверо...
- У меня, говорить баринь и смѣется, у меня и можеть дѣтей штукъ съ сорокъ найдется, да вѣдь я ни къ кому не пристаю. Приходи ужъ черезъ недѣлю, что съ тобой дѣлать, а теперь мнѣ нѣкогда, прощай. Съ тѣмъ отъ него и ушелъ, добавляетъ мастеровой, возвышая голосъ, а отъ него съ великой злости прямо въ кабакъ, а изъ кабака сюда, потому, что-же я завтра безъ денегъ стану дѣлать?

Послѣ этого крикливаго вопроса и начинается, что называется, самая катавасія, потому что кромѣ сюртука, принятаго добродушнымъ Гаврилой въ двухъ рубляхъ, чета начинаетъ валить еще на три рубля, ко-

торые съ большимъ удобствомъ олицетворяетъ истасканный шерстяной салопъ супруги.

— Видишь теперь, какая у меня супруга? спрашиваль мастеровой у половаго, выставляя ему на видь, собственно то обстоятельство, что супруга, съ видимою охотою, куликнула двъ рюмки залпомъ, какъ-бы стараясь сразу сравняться съ своею главою. Сласть у меня супруга, сговорчивая. Она мит ни въ чемъ никогда не перечитъ. Что я скажу, то и баста.

Супруга между тъмъ не безъ граціи закусила двъ рюмки солониной съ солеными огурчиками, а супругъ продолжаетъ.

— Мы съ ней двънадцать годовъ душа въ душу живемъ! Гаврилъ! слушай, я тебъ разскажу, какъ я женился на ней. Она въ это время молодая была, и изъ лица не въ примъръ теперешняго красивъе; а князь, у кого она въ то время на содержаніи была, призываетъ меня и говоритъ: вотъ тебъ, Иванъ Прокофьевъ, невъста! Ты, говоритъ, съ ней не пропадешь, потому приданаго за ней даю сто рублевъ, акромя, говорить, постели и разныхъ вещей... Я ему и говорю: покорнъйше благодаримъ, ваше сіятельство! Сказаль такъ-то и женился; а она, шельма эдакая, цёлый годъ послъ законнаго брака шаталась къ нему, къ князишку-то своему. Вотъ она, Гаврилъ, какая извергъ у меня! Ты, Гаврилъ, не гляди на нее, что она такою смиренной глядить. Шельма она у меня преестественная, Гавриль! Ты думаешь, милый человъкъ, черезъ кого я теперича погибаю? Черезъ нее, черезъ анавему! Вотъ черезъ кого! У! Будь ты проклята! Возьму, вотъ, да какъ начну по мордъ-то охаживать, — такъ не бойсь! Забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти изліянія, мялся на одномъ мѣстѣ и насмѣшливо улыбался съ видомъ человѣка, который ежели-бы не стѣснялся своимъ лакейскимъ положеніемъ непремѣнно сказалъ-бы:

- Коммиссіи, право, эти женидьбы нашинскія!.. Что криво да косо, то Кузьм'в-Демьяну... Всегда ужь нашему брату мастеровому, б'йдному челов'йку—такуюто сволочь подсунуть, цілый в'йкъ казнишься да страдаешь, глядя, какъ она кровныя мужнины деньги, на офицеровъ прохожихъ любучись, на чаяхъ да на кофіяхъ проживаетъ!.. Идолы бабенки, а паче тотъ идолъ, кто ихъ тонкостямъ этимъ научивши, нашему брату на шею наваливаетъ...
- Ты вотъ что, отнеслась достаточно уже выпившая супруга къ мужу, — ты поменьше болтай, а то въдь за болтанье-то вашего брата по щекамъ лупятъ...
- Ну, ужъ ты съ этимъ дѣломъ, надо полагать, подождешь немного, по щекамъ-то. Право подождешь! сатирически предполагаетъ мужъ, выпивая приличный чину и званію столичнаго башмачника стакашекъ.
- Нътъ—не подожду, настаиваетъ супруга, выпивая тоже приличный стаканъ. Долго я тебя— пьянаго дурака—не учила.
- Врядъ-ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскоръе поучу.
- Ну ужь это не хочешь-ли, вотъ чего? освъдомляется

супруга, повертывая передъ очами возлюбленнаго послюнявленный кукишъ.

— А ты не хочешь ли вотъ чего? въ свою очередь любопытствуетъ супругъ, ухватывая супругу за жидкія космы.

Случайно отворенная въ это время дверь заведенія заскрыпівла на своихъ петляхъ и изнутри кабака вылетівло женски-визгливое — караулъ и басовитыя отрывистыя слова: вотъ тебів, шельма, вотъ тебів! Слышно было сдержанное хихиканье половаго Гаврилы, сопровождаемое протяжнымъ возгласомъ: охъ! И комедіантыже эти сапожникъ съ сапожницей! Право комедіанты! Эдакъ-то они у насъ ціпляются другъ съ дружкой каждый божій вечеръ...

Но д'выственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась къ нимъ, что даже тъни вниманія не пробудили они на ея безжизненно-молчаливомъ лицъ.

И кром'в этой, другія, болже крикливыя, сцены разыгрывались на улиців, но и онів не дівлали ея веселіве, потому что противъ русскаго обыкновенія, онів не собирали около себя толпы проходящихъ зівакъ, дружный и шумливый говоръ которыхъ увітрилъ бы человівка, въ первый разъ занесеннаго въ этотъ край, въ томъ, что край этотъ вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучимъ чародівемъ на візчный и безпробудный сонъ.

— Кар-р-раулъ! Кар-р-раулъ! оретъ какой-то молодой голосъ въ непроницаемой темнотъ уличнаго конца.

- Ты что-же это? спрашиваетъ крикуна хрипучій бась будочника. Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебъ онамедни шею за нихъ намылилъ? Ежели мало, такъ скажи, я тебъ еще прибавлю.
- Дядюшка! да вѣдь скучно! День-то деньской сидючи за работой, чего не придумаешь?.. Выбѣжишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчасъ умереть, свѣтлымъ раемъ тебѣ покажется, — ну тогда ты не вытерпишь и въ радости заорешь...
- То-то въ радости! Гляди: ты у меня инымъ голосомъ, пожалуй, вскрикнешь, какъ котъ ножнами начну тебя по мягкимъ-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-Богу, уймись!
- Не буду, дядюшка, однава дыхнуть, не буду, съ хохотомъ увъряетъ прежній голосъ, только теперича въ послъдній разъ; позволь...
- Ну, парень, придется мнѣ, должно быть, съ моего мѣста встать... Разозлилъ ты меня, паренекъ! И за тѣмъ уличную тишину нарушаетъ какое-то шуршанье, словнобы, какой одышливый и лѣнивый человѣкъ собирался въ дальнюю путь-дорогу.
 - Кар-р-рауль! снова изъ всёхъ легкихъ трубитъ паренекъ, захлебываясь отъ хохота. Послё этого слышится легкое захлопыванье калитки и шлепанье босыхъ ногъ по оттеплёвшему снёгу.
- Экой парень разбойникъ! Удралъ ужъ, говоритъ будочникъ съ прежнимъ сопъньемъ и пыхтъньемъ усаживаясь на покинутое было пригрътое мъсто. Кажинный день такъ-то онъ меня безпокоитъ...

Поравнялись со мной какія-то двѣ, еще не очень пожилыя, женщины, съ вѣниками подъ мышками, съ узелками въ рукахъ, съ лицами, прорѣзывавшими даже ночной, ничѣмъ неосвѣщаемый мракъ дѣвственной улицы алымъ румянцемъ, которымъ, какъ пожаромъ, освѣщались ихъ пухлыя щеки.

- Что-же хороша нонича фатера-то у тебя? спрашивала одна подруга другую.
- Эдакая-ли фатера, чудесная, страсть! отвъчала подруга. Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришелъ эфта, въ прошлое воскресенье мой, (у меня нынъ столяръ), солдатика — пріятеля привелъ. Пришодчи, какъ следуеть, поздравили съ новосельемъ, водки полуштофъ солдатикъ-то изъ за общлага вытащилъ, я имъ селедку съ лучкомъ оборудовала. Полштофъ выпили, другой послали, другой выпили, третій, а тамъ и за четвертымъ. И такъ-то, милая ты моя, всв мы нарезались тогда, не роди мать на свъть Божій. Словно-бы безумные толкались. Наръзамшись, мой-то и сцъпился съ солдатикомъ драться—я сейчасъ же къ своему на заступу пошла; а солдатикъ видитъ, что не совладать ему съ нами, взялъ да у столяра ухо напрочь совсвиъ съ хрущомъ и оттяпалъ. Завизжалъ столяръ такъ-то жалостно и кровища изъ него хлестала, аки-бы изъ свиньи заръзанной. И дивись, милая, съ другой фатеры, ежели не въ нашей улицъ, такъ-бы нашего брата за такую исторію знаешь-бы какъ въ шею турнули, въ три-бы шеи турнули; а нашъ хозяинъ (благородный у насъ хозяинъ-отъ!) хошь-бы словечушко вымолвилъ.

Ничего, говоритъ, Господь съ ими! На то говоритъ и праздникъ данъ человъку ..

- У насъ, мать, по всей нашей улицъ хозяева всъ страсть какъ смирны, подтвердила другая товарка. У меня тоже кажный праздникъ, почитай, и-ихъ какія кровопролитія сочиняютъ! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Азарны эти мужики.
- Съ ними поводись только! Я ужь когда они такъто сцепятся, прямо имъ сказываю: да ступайте на дворъ, лешаки, тамъ говорю, просторне. Такъ-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье ак-курать не на животъ, а на смерть, чешутся!..
- Это у нихъ истинно, что каждое воскресенье творится не упустительно, сказалъ мнѣ, вдругъ вышедшій изъ за угла мой старикъ—кумъ, къ которому и шелъ. Я тоже, признаться, поджидалъ его, потому что самъ онъ, тоже неупустительно, возвращался въ это самое время изъ кабака, въ которомъ обыкновенно онъ проводилъ лѣтніе и зимніе вечерки.
- Издали еще разглядёль я тебя, продолжаль старикь, обнимая меня, смотрю этта, и думаю: а вёдь это купъ идеть! По вечерамъ, т. е. огорошивъ въ кабакъ полуштофъ и туго набивши носъ забористымъ зелечакомъ, старикъ пріобрёлъ способность выговаривать буквы и и и какъ и и б, и потому въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно звалъ меня купъ, а ежели въ дальнёйшемъ разговорё надобилось употреблять слово небо, онъ просто на просто избъгая грёха сказать

небо, указывалъ рукою въ потолокъ — и всѣ это понимали, какъ нельзя болѣе хорошо.

- Откуда тебя Богъ принесъ? спрашивалъ меня старина, видимо обрадованный. Давно-ли?
- Прямо съ дороги и прямо къ тебъ
 тебъ
 тетилъ я.
- Вотъ за это люблю, что не забылъ друга.
 - Ну что туть, какъ у васъ? любопытствоваль я. Новенькаго чего нътъ-ли?
 - Чему у насъ новенькому быть? Спросиль въ свою очередь кумъ, какъ-бы съ нъкоторымъ уныніемъ. Все у насъ, другъ милый, по старому. Есть, что ли деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь изъ одежи-бы на угощенье спустилъ...

есть, — утъшиль я старину, — и на счеть одежи ты не безпокойся.

то-то, ты гляди у меня: финтифлюшекъ то, внаешь небойсь? не очень-то я люблю, — и потомъ, прихвативши въ попутномъ кабакъ нъкоторый штофъ и въ попутной лавочкъ два десятка соленыхъ огурцовъ, мы съ кумомъ благополучно спустились въ его плачевный подвалъ.

мий в значуд и двука падгова, виза домино апада об сельности об сельн

distract evapora congress of the rose sections of there evapore

STANDARD STANDARDS. OF STANDARD STANDARDS SELECTION OF THE PARTY OF TH

definition as the conservation of the conserva

Кумовъ подвалъ былъ разительно схожъ съ самимъ кумомъ. Оба они представлялись наблюдающему глазу немытыми и нечищенными отъ самаго ихъ сотворенія.

И дъйствительно: кума погладили одинъ только разъ во всю его семидесятилътнюю жизнь и именно: погладили въ службъ, и при всемъ томъ, что это глаженіе уже извъстно какое бывало встарину, при всемъ томъ, что оно продолжалось не менъе какъ тридцать годовъ, кумъ всетаки остался ничъмъ болье, какъ саратовскимъ мужикомъ, который хотя въ волю насмотрълся разныхъ людскихъ хитростей, но изъ которыхъ тъмъ не менъе самъ онъ ни одной настолько не поинтересовался, чтобы изучить ее и въ свою очередь повеселить ею добрыхъ людей. Онъ даже не усвоилъ себъ той кавалерской выправки, которая отличаетъ всякаго отставнаго солдата и, ежели у него и были длинные и густые, чернобурые усищи, такъ это были вовсе не тъ бравые, на-

фабренные, такъ называемые, разусы, которые такъ ухорски закорючены на смъющейся щекъ разухабистаго военнаго дътины, а усы дугою, строгіе, молчаливые, хохлацкіе, такъ сказать, усы.

Чуть-ли еще не въ годъ кумовой отставки пришли въ Москву изъ глубины Дмитровскихъ дебрей толстые бревна, изъ которыхъ на живую руку былъ сметанъ домъ дѣвственной улицы съ своимъ подваломъ, пріютившимъ старика солдата. И такъ какъ всякому извѣстно, что каждый россіянинъ изъ самаго отличнаго матерьяла дѣлаетъ самыя скверныя вещи, то хозяинъ, сгубивъ столѣтнюю лѣсную красоту на построеніе своей безобразной домовины, глубоко задумался собственно надъ тою мыслью, что въ подвалъ-то, пожалуй, пи одного жильца не заманишь. Такъ поражены были даже невзыскательные глаза московскаго домохозяина, неуклюжестью подвала и какимъ-то гнѣвнымъ уныніемъ, воцарившимся въ немъ съ первыхъ дней его постройки!...

Опечалился хозяинъ при взглядѣ на дѣло рукъ своихъ до того даже, что сталъ служить молебены объ изгнаніи изъ хоромины нѣкоего, какъ онъ говорилъ, унывнаго духа, нагонявшаго на него оторопь; но, несмотря ни на что, духъ, вѣроятно въ видахъ покаранія хозяйскаго безобразія, испортившаго столько прекрасныхъ деревьевъ, изъ хоромины не выходилъ. Слышали даже сосѣдскія кухарки и разсказывали объ этомъ подъ секретомъ, что по ночамъ словно-бы плачетъ кто въ томъ подвалѣ, шепчетъ что-то неразборчивое и временами, рѣдко впрочемъ, хохочетъ чему-то...

Во время такого порядка вещей, когда хозяинъ окончательно уже отчаялся въ возможности заманить въ полвалъ какого нибудь жильца, къ нему пришелъ отставной солдать, старый такой молчаливый и даже какъ будто сердитый. Посмотрвлъ на этого солдата хозяинъ и тутъ-же тихомолкомъ подумалъ: а! это онъ пришелъ ко мнъ подвалъ нанимать! Лучше быть нельзя; а солдать, какъ только взглянуль на подваль, сейчасъ же подумаль: воть чудесная хата! Лучше требовать не возможно; а самъ подваль, какъ только его обозръли, угрюмо и почти неслышно прошепталь: мало въ мои ствны веселья этотъ солдатъ принесетъ! А мнъ то и на руку, потому не охотникъ я музыкантить-то!... Такого жильца я долго жду! — и при этомъ, говорятъ, въ первый и последній разъ улыбнулись съ радости тогда еще новыя ствны подвала, точно также какъ и у солдата очень что-то шевелились въ это время усищи, какъ-бы стараясь стрясти съ себя чужую, случайно налетъвшую на нихъ и запутавшуюся въ ихъ непроходимой чащи улыбку!

Въ этомъ-то такъ сказать печально говорящемъ подваль цёлые двадцать лётъ тянулась печальная жизнь солдата. Въ пять лётъ моего съ этими интересными субъектами знакомства я не могъ подмётить ни вътомъ, ни въ другомъ ни малёйшій перемёны, и какъ за годъ передъ настоящимъ моимъ посёщеніемъ я оставиль ихъ, уныло-серьезныхъ и гнёвно-молчаливыхъ, точно такими-же нашелъ ихъ и теперь Даже горемыки-жильцы подваловъ въ дёвственныхъ улицахъ, навали-

вавшіеся на простого старика, какъ наваливаются осенніи листы на терпъливую землю, были все тъже, за исключениемъ развъ только одного отставнаго капитана, тъмъ впрочемъ только и замъчательнаго, что онъ наняль себъ помъщение на огромной кумовой печи, куда онъ втащилъ нѣчто въ родъ кушетки, служившей ему постелью и вивств съ темъ сундукомъ: Капитанъ этотъ нисколько не характеризоваль бы собою московскихъ дъвственныхъ улицъ, если бы про него не разказывали съ божбой, что онъ никогда ничего не встъ и не пьетъ, ибо никто ни разу не видалъ, чтобы онъ когда-нибудь удовлетворяль этимъ простымъ требованіемъ человіческаго организма. Кромъ этого, заслуживавшаго вниманія обстоятельства, капитанъ бросался въ любопытные глаза тъмъ еще, что не любилъ платить за квартиру, и, говоря настоящее дъло, не любилъ даже и того, когда ему напоминали объ этомъ. Старый, разслабленный и поросшій весь, какъ бы какою щетиной, онъ по цалымъ днямъ молчаливо перевзжалъ съ печи на кушетку и обратно, ничъмъ не безпокоясь и никого не безпокоя; но какъ только кумъ заикался ему что, дескать, ваше вышебородіе, нельзя-ли, дескать. насчеть недоимочки за фатеру, — капитанъ сначало призводилъ на печи какойто необыкновенный шумъ, смѣшанный съ визгомъ и рычаньемъ, потомъ показывалъ съ печи свое обрамленное съдо-бурыми волосами лицо, оскаливъ зубы, и начиналъ воевать, т. е. бросалъ съ печи въ пріютившаго его человъка чъмъ ни попало.

— Зар-р-ряжай ружье! ораль онъ старческимъ, но

азартнымъ голосомъ, Кладсь! Пали! Я васъ, черти! Р-р-рота, за мной! Д-дъ ти, скорымъ шагомъ маршъ! Съ Богомъ!

- Ну, пошла писать, военная кость! съ хохотомъ толковали многочисленные кумовы жильцы, сбирая съ печи, изъ подъ капитанской храброй руки, различныя тряпки и горшки, мохотки и полъшки.
- Будетъ, будетъ, ваше вышебородіе! Перестаньте только, Христа-ради! умолялъ кумъ жильца о прекращеніи батальнаго огня.
- Урра! Наша взяла! окончательно вскрикиваль старый вояка, снова ныряя на неопредёленное время въ запечное пространство.
- Оченно тронулись! такими словами рекомендовальмий кумъ своего новаго жильца. Что будешь дёлать съ бёдностью? Иной разъ сунешь ему на печку-то щець, хлёбца, не токма, что свои деньги... Выручишь ихъ, свои-то деньги, съ моими жильцами. Надобраетъ временемъ только, ужасти какъ! Раздразнять его башмашниковы ребятенки, такъ онъ цёлый день, лежа на печи, ртомъ-то все такъ-то выдёлываетъ: пу! пу! ппу! Артиллеріей, значитъ, по нимъ на дальнихъ разстояніяхъ дёйствуетъ. Вотъ докуда спятилъ: по маленькимъ-то ребятишкамъ изъ пушекъ палитъ!...
- Ну, а изъ прежнихъ жильцовъ никто не съвхалъ отъ тебя? спросилъ я.
- Изъ прежнихъ? Нътъ, никто. Здъсь ужъ все такъ-то: какъ укоренится кто на какомъ мъстъ, такъ

ужъ, или съ этого мъста прямъ въ гробъ идетъ, или, ежели онъ подхалюза какая, такъ фарталомъ прогоняютъ на другую фатеру. Кресты есть изъ такихъ то для нашего брата съемщика и ихъ какіе тяжелые! потому нашъ братъ долженъ имъ потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться-бы только не ходили, потому они къ этому дълу все равно, какъ къ кашъ съ масломъ, привыкли...

И дъйствительно: всъ кумовы жильцы, которыхъ я зналъ у него прежде, жили у него и теперь, какъ-бы сговорившись умереть въ его темномъ подваль. По прежнему надъ всёмъ гвалтомъ крикливой подвальной жизни властительно царилъ назойливый голосище старой свахи Акулины, трехъаршинной бабы въ ужасающихъ всякую душу лохмотьяхъ и съ рыжею, жидковатою бородой. По прежнему эта ямщикъ-баба расшевеливаетъ во мнъ уснувшую было глубокую антипатію къ ней темъ, что къ каждому слову, съ которымъ она обращается ко мнъ, прибавляетъ самымъ сладкимъ голоскомъ «ваше благородіе» и «сударь-баринъ», расчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать съ меня полуштофъ сладкой водки, особенно ею цѣнимой. А вотъ и эта старая дѣвушка, неотходно сидящая въ кухнъ на своемъ громадномъ, окованномъ жельзными полосами сундукъ. Какъ назадъ тому много лътъ застало ее на этомъ сундукъ извъстіе, что человъкъ, любившій ее, ужхаль на родину жениться и увезъ ея кровныхъ сто двадцать рублей, такъ она

безъ малъйшаго слова раскачнула тогда еще молодой головою, да такъ и теперь ею постоянно раскачиваетъ, — только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая съдая, сморщенная, некрасивая.

- Здравствуй, Фаламъй Ильичъ! говорю я старому пріятелю моему башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпъть не могъ, когда кто-нибудь называль его настоящимъ именемъ Варфоломея.
- Здравствуйте, сударь, Иванъ Петровичъ! радостно привътствовалъ меня Фаламъй, вставая съ кадушечки, на которой онъ тачалъ башмаки, и лобызаясь со мной. Давно мы, сударь съ вами компаніи не водили. Вы что тутъ ерзаете, мазурики? обратился онъ къ своимъ многочисленнымъ ребятенкамъ, быстро откалупывая у нихъ на головахъ масла маслакомъ своего собственнаго большаго пальца правой руки.

Толпа ребятишекъ, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, какъ и все подвальное, была въ свою очередь такою-же, какою я оставилъ ее, котя примѣтилъ, что теперь она стала гораздо гуще, а слѣдовательно и неугомоннѣе, но и это обстоятельство нисколько не измѣняло кумова апартамента, потому что башмачникъ Фаламѣй не задѣлялъ никого изъ дѣвченокъ и мальчишекъ, составлявшихъ молодое поколѣніе подвала, когда задавалъ имъ трепанца, и колупалъ масло, отчего молодое поколѣніе носило на своихъ головенкахъ одинаково чесавшіяся больнушки, отъ которыхъ слѣдственно ревѣло точно также и въ настоя-

щемъ случав, какъ реввло за годъ передъ этимъ, ни на полтона даже не новышая и не понижая своихъ голосовъ.

Да, все обстояло въ подвалѣ по прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой нибудь другой ладъ по той простой причинѣ, что подо всѣмъ этимъ прекраснымъ небомъ нельзя найдти лада, который быль бы сколько нибудь хуже этого. И Господи! до того шло тамъ все по старому, что самъ я, какъ и прежде, обманулъ ожиданія ребячьей стаи, облѣпившей меня, потому что быль внѣ всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолѣтней, вѣчно голодающей братіи.

Уныло и молчаливо отошла отъ меня, какъ говорять поэты, розовая юность, а я, какъ и всегда, что особенно люблю, сталъ прислушиваться къ стънамъ подвала, которыя на сей разъ говорили миъ такъ:

— Ну что, Иванъ Петровичъ? Что кумъ ты мой золотой? Куда ходилъ? Что выходилъ? Э-эхъ ты, вѣтеръ степной, Иванъ Петровичъ! Право, вѣтеръ! Вотъ тебѣ отъ насъ первый привѣтъ. Думали мы, что ты гуляючи по хорошему Божьему свѣту, хоть чуточку поумнѣешь, хоть немножко посократишься, а онъ все такой-же... Что задумался-то? Глаза-то, что на насъ пристально выпучилъ? Нечего на насъ пучить глазъ, потому узоры на насъ все тѣже...

Шептали мнѣ черныя стѣны эти слова съ какою-то особенно выразительною насмѣшкой, словно бы насмѣшкой этой они меня хотѣли образумить и наставить на истинный путь.

Такъ я помию въ старину, когда я былъ еще совсъмъ малымъ ребенкомъ, старая бабка моя, смотря на разныя мои, какъ она говоряла, дурацкія, выходки, укоризненно и насмѣшливо покачивала своею съдою головою и говорила:

— Эхъ, дитя, дитя! не будеть въ тебъ пути...

До слезъ, бывало, пронимали меня эти многозначительныя бабкины слова. Открывши въ шопотъ стънъ кумова подвала нъчто схожее съ ними, я-бы тоже, въроятно, заплакалъ и теперь, ежели-бы давно уже разлишаяся по тълу моему элобная желчь не вытъснила изъ меня всъ безъ остатка мои горячія, искреннія слезы.

The state of the s

STREET, AND STREET, ST

THE LEGISLAND TO SERVICE

TO THE PARTY OF TH

THE SHOWN THAT THE TREET OF HE VECTOR - 2 CHR.

tud ka mang tao kungang palamang bergan maging meter Malamang manggang palamang panggang mengangang

- Вотъ за это и теби, купъ, страсть какъ не люблю! этимъ восклицаніемъ вывелъ мени изъ моей задумчивости старикъ кумъ. (Назовемъ его давнишнимъ именемъ, пріобрътеннымъ имъ въ полку, гдѣ его прозвали Обгорълый). Такъ вотъ за это и теби не долюбливаю, —повторилъ Обгорълый, —выньешь ты, дружокъ, малость какую-нибудь и сейчасъ же задумаещься, лицо у теби въ синіи питна ударитъ и словно-би ты въ такіи времена разорвать кого на мелкіи части надумываешь: Право! Это мнѣ очень не по нраву. Выпейка, авось, можетъ, поотпуститъ теби злоба-то твоя.
- Что-же это я все у тебя оглядёль, увидаль, что все на прежнихъ мёстахъ стоитъ, сказалъ я, а про Катю не спрошу: гдё она у тебя?
- Помалчивай до поры до времени, съ какою-10 илутоватою улыбкой, отвётилъ мнё кумъ. Мы туть такую-то кругую кашу завариваемъ и какъ есть, бра-

тець ты мой, къ самой кашъ ты подосиълъ. Вотъ счастливый какой; а еще все судьбой свой недоволенъ.

А Катя, про которую я сейчасъ освъдомлялся у солдата, была существомъ такого рода: во всъхъ вообще дъвственныхъ улицахъ существуетъ обыкновеніе раслускать про всякаго человъка, вновь основавшаго свой притонъ въ ихъ тишинъ, молву, что будто у этого человъка страсть сколько деньжищевъ и добрища всякаго врядъ-ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, повидимому, странному обыкновенію, удивляться много не слъдуетъ, потому что страсть поврать про чужія деньжищи и добрище свойственно всей гольтяпъ вообще. Поэтому случаю, лишь только переъхалъ солдать въ свой подвалъ, какъ сейчасъ-же про него вся улица, какъ въ трубу затрубила:

- Однихъ шинелей у него три, по секрету перешоптывались между собою сосъдскія бабенки, — сапоговь четыре пары, голенищевъ старыхъ видимо не видимо навалено. Кому копитъ? А? Скажи, пожалуста, кому копитъ, старый идолъ? даже съ нъкоторымъ негодованіемъ вопрошала одна изъ бабенокъ. Околъетъ въдь, старый шутъ; глазъ некому будетъ закрыть.
- Ты про шинели-то, да про голенищи не толкуй лучше — вступалась другая — а ты вотъ что послушай: видъли у него бумажекъ денежныхъ вона сколько, и при этомъ бабенка, припрыгнувши, что-бы быть порослъе, взмахнула рукой надъ своей головою, желая означить тъмъ, сколько именно у идола солдатища было денежныхъ бумажекъ. Теперича, продолжала

она, видёли у него также цёлый сундукъ съ образами и всё-то они — багюшки мои — въ серебрянныхъ ризахъ у него разодёты, всё-то въ серебрянныхъ...

На основаніи этихъ разсказовъ, одна согрѣшившая дѣвочка нѣкоторою темною ночью взяла и подкинула свою новорожденною дочку къ богачу-солдату.

- Она у него счастлива будеть! разсуждала молодая мать. А то, поди-ка, изъ воспитательнаго дома кому еще на руки попадется...
- Вона сокровище какое Господь мий, старому шуту, послаль! сказаль кумъ, вывертывая ребенка изъразныхъ лохмотьевъ. То тридцать лйтъ съ ружьемъ нянчился, а теперь вотъ съ чужой дитей придется понянчиться, а тамъ ужь вйрно судьба за прялку меня усадитъ. Поворчалъ, поворчалъ Обгорфлый такимъ образомъ, а все таки послушною нянькой усъся наконецъ за дйтскую колыбель и своими пфснями, ийтыми хотя и на волчиный манеръ, выбаюкалъ себътакую прелестную дйвочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что объ ней все равно, какъ объ наревий какой, ни въ сказкъ нельзя сказать, ни перомъ написать.

Я совершенно не знаю, какимъ образомъ и для чего именно на тощей и такъ гибельно воняющей почвъ нодваловъ родятся существа съ головками, улыбающимися и цвътущими, какъ улыбаются и цвътутъ на колстъ прелестныя созданія великихъ художниковъ,— не понимаю для чего даются этимъ существамъ бълокурые волосы,—кого въ томъ подвалъ хотъла природа

удоблеторить, творя этотъ гибкій, какъ наша стройная отечественная сосна, станъ; но знаю и сказываю о томъ обстоятельствъ, что ундер-офицерскій подкидышъ, прозванный подвальнымъ горемъ царевной, про которую нельзя ни въ сказкъ сказать, ни перомъ написать, —былъ, есть и будетъ царевной моего одинокаго сердца.

Повинуясь могучимъ стремленіямъ нашего времени, я долгое время шатался въ кумовъ подвалъ, внося на сколько могъ, въ мерзость его запуствнія понятія о иномъ, внёподвальномъ свётв. Я много разъ примвчалъ, какъ цвётущая, бёлокурая головка, улыбалась, радуясь такому свёту; но улыбка эта, дававшая мнё столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо въ то время, когда въ ней зараждалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы — бородатой свахи Акулины, самъ подваль въ этотъ моментъ, мнё казалось, начиналъ покачиваться, словно-бы жалёя о чемъ, и, какъ-то сокрушительно улыбаясь, шепталъ мнё:

— Ахъ, Иванъ Петровичъ! Голова ты этакая бользная! Ну на что это намъ? Ну что мы съ этимъ добромъ подълаемъ? Помни ты мое върное слово, Иванъ Петровичъ! Будетъ у насъ съ тъмъ добромъ не въ примъръ больше слезъ, больше и воздыханій.

И такъ кръпко донялъ меня подвалъ такими словами, что я однажды сказалъ подвальному цвътку:

— Прощай, Катя. Ухожу изъ Москвы на родину,

хочу посмотръть, попрежнему-ли наша матушка—степь своей красотою сіяетъ.

Говорю такъ и смъюсь, и она смъется.

— Ой, отвътила она, не ходите, Иванъ Петровичь! Люди, Иванъ Петровичъ, перемъннъе степи всегда бываютъ, — объ этомъ во всякой книжкъ говорится, какую мы только съ вами читали.

Я даже хотълъ-было остаться, смотря на ту улыбку, съ которую Катя говорила о томъ, что люди измънчивъе степи. Такъ много объщала эта веселая, добрая улыбка! Но къ счастію, или къ несчастію, подваль опять зашепталъ мнъ:

— Ты что-же это, Иванъ Петровичъ, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя $mo\imath\partial a$ своими старыми стѣнами въ прахъ раздавлю...

Унося мою больную голову отъ гибели въ этихъ такъ мрачно глядѣвшихъ стѣнахъ подвала, я пошолъ. Пошолъ я куда глядѣли мои глаза и, когда, возвратившись назадъ, спросилъ у кума, гдѣ Катя? онъ только отвѣтилъ мнѣ, что я счастливецъ, подосиѣвшій къ весьма крутой кашѣ. Отвѣтъ, какъ видите, весьма замысловатыхъ и таинственныхъ свойствъ; но я, изучившій нравы дѣвственныхъ улицъ, сразу понялъ, по какому именно поводу и изъ какихъ крупъ заварилась эта крутая каша, — понялъ до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло отъ той страшной боли, которою подарило его это ясное понятіе о предстоявшей кашѣ.

— Да, куманекъ! снова повторилъ кумъ, задумчиво

разглаживая свои усищи. Признаться сказать: заварили хлёбово! Не знаю только какъ иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому старъ я, значитъ, хлебывалъ въ волю... Вотъ какъ хлебывалъ — до крови!... Ну, а молодымъ какъ покажется не знаю и, ежели т. е. не Божья воля, такъ лучше-бы мнъ скрозъ земъ провалиться, чъмъ голубчику моему—дитъ моей кровной — то кушанье изъ своихъ рукъ подносить...

- А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша извъстно отъ кого происходить... вмъшался въ нашу бесъду молодой, еще неизвъстный мнъ парень, въ синей чуйкъ, въ смазныхъ сапогахъ и ситцевой красной рубахъ, видимо мастеровой. Онъ былъ еще очень молодъ и потому сдълалъ старому солдату свое юное замъчание весьма сконфуженнымъ тономъ и какъто неуклюже переминаясь на деревянномъ, выкрашенномъ черною краскою, стулъ.
- Молчи ужъ ты. голова! сердито отозвался кумъ на замъчание молодца. Мы у судьбы то въ лапахъ отъ люльки и по сю пору находимся, такъ мы ее лучше тебя не въ примъръ понимаемъ, какая она до нашего брата милостивая. Кумъ! выпьемъ съ тобой, да не по рюмочкъ, а по стаканчику, потому скорбитъ мое сердце. Охъ, какая лютая казнь одолъля его у меня! Тебъ, кумъ, объ этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!...

Но я давно уже поняль лютую кумову казнь и по-

тому съ яростію истаго плебея, пріученнаго и, слѣдовательно, привыкшаго топить горе въ стаканѣ, выжраль стаканище, предложенный мнѣ солдатомъ, опустиль мою голову, послушно склоняющуюся предъ всякимъ несчастьемъ и сталъ, по обыкновенію, прислушиваться къ тайному подвальному шопоту, а подвальный шопотъ на этотъ разъ былъ таковъ:

— Иванъ Петровичъ! глухо и печально шептали стѣны. Знаешь небойсь, ты нашу жизнь-то собачью? Вѣдь Катька-то у насъ задурила .. Вѣдь въ степь-то тебя чортъ понапрасну таскалъ... Можетъ она, Иванъ Петровичъ, эта самая Катька-то, такой бы женой была вѣрной, да доброй, да умной?...

А солдать въ то-же время съ тщетно сдерживаемымъ рыданіемъ говорилъ молодому парню — нашему собесъднику:

- Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебъ паренекъ надо часъ свой великій въ полной аммуниціи встрътить!...
- А я, дяденька, какъ вы сами изволите знать,— заикнулся было молодой парень,—насчетъ хмельнаго нини, т. е. чтобы т. е. одну каплю когда—ни подъкакимъ видомъ...
- Будетъ, будетъ, женихъ, раздобары раздобарывать! грозно прикрикнулъ на него кумъ... Сами женихами бывали, знаемъ, поэтому, какъ это ни каплито ни подъ какимъ видомъ... Пей, говорю. И ты, кумъ, выпей! Повторимъ мы съ тобой, голова, потому

мы постарше и знать свое дёло завсегда мы должны во всей полнотъ.

И дъйствительно: я давно уже зналъ свое горькое, всегдашнее дъло — плакать и пить, и потому я съ еще большимъ азартомъ новторилъ громадный стаканище.

- Такъ-то вотъ лучше! проговорилъ кумъ, когда вся наша компанія хватила по стакану. Теперь, словнобы, отлегло маленько, полегче, будто-бы, стало...
- Это точно, что будто полегче бездёлицу! вступился молодой парень. Только, дяденька, вы теперь безпремённо меня поддержать должны, потому, какъ это она въ любви съ имъ находится и какъ я долженъ съ ней отъ него подъ честный вёнецъ идти, и мнё это теперича вотъ въ какой ясности приставляется, страсть! сердце у меня отъ эвтого приставленья во какъ зажгло!...
- Пей, парень, ежели приставляется, командовалъ солдатъ. Когда маленечко ополоумъешь, всегда лекше становится.
- Ну! прибавилъ старичина, внезапно озлобляясь, ежели бы оиг мнъ попался когда, искрошилъ бы я его въ мелкія дребезги. Хоронится завсегда, словно знаетъ, что я бы его зубами изгрызъ.
- Нътъ вотъ мнъ-бы Господь когда нибудь подаль его въ руки въ ночь какую-нибудь темную, я бы тово... прямо скажу: можетъ съ живаго врядъ либы и слъзъ, продолжалъ мастеровой солдатскую ръчь.

- А кто это опо-то? спросиль я, чувствуя, какъ горячая кровь обливала сердце мое и душила меня,— чувствуя, что и я, даже не въ темную ночь, если-бы встрътился съ иимъ. такъ съ живаго тоже врядъ-ли бы слъзъ съ него.
- Онъ-то кто? переспросилъ меня парень. Афицерь одинъ... богатый—а я допрежь ее зналъ, какъ на родную мать издали глядълъ на нее и глазами своими ее любовалъ, можетъ, ужь года съ три той моей великой любви прошло.

Въ это время за окнами послышался глухой стукъ московской пролетки, той шикарной, налощенной пролетки, съ фордекомъ, на которыхъ, такъ называемые московскіе извощики-лихачи катаютъ барынь, по народному говору, вольнаго обращенія, и вслѣдъ за этимъ стукомъ въ подвалъ вошла Катя, шурша толстымъ платьемъ изъ чернаго глассе, сіяя дорогой цвѣтистой шляпой и золотыми браслетами на ослѣпительно бѣлыхъ и маленькихъ ручкахъ.

- Банжуръ, дяденька! сказала она старому солдату какъ-то особенно разухабисто и фамильярно. Ахъ! Иванъ Петровичъ! обратилась она ко мнѣ какими судьбами?
- Дитя мое, дитя мое! что ты съ нами съ горемычными сдълала? отвътилъ я съ громкимъ плачемъ пъянаго и, слъдовательно, необыкновенно тонко чувствовавшаго сердца.

Потомъ я ужъ ничего не помню о той крутой кашъ, которая варилась въ это время въ подвалъ.

- Акулина! Акулина! кричалъ, какъ миъ помнится, мой кумъ. Бъжи скоръе за причтомъ, я ужь всъмъ имъ говорилъ, какая у насъ исторія. А вы держите кръпче, а то вывернется, ускачетъ.
- Ты опять тутъ, ты опять пришелъ! кричала Катя, очевидно было и для меня пьянаго, на молодаго мастероваго. Я въдь сказала тебъ, что не пойду за тебя.
- Рази лучше скверной дъвкой-то быть? кричалъ въ свою очередь мастеровой. Опомнись, Катя, опомнись! въдь они надъ нашимъ братомъ потъшаются только—господа-то...
- Иванъ Петровичъ! громко кричала мнѣ Катя, заступись за меня,—не давайте меня благословлять, сироту, поневолѣ... Будьте свидѣтелемъ: не хочу я за него идти...

Но я уже не могъ быть свидѣтелемъ для Кати вътомъ, что ее благословляютъ поневолѣ за немилаго замужъ, по многимъ причинамъ, изъ которыхъ самыя главныя были слѣдующія:

- Ну, ты теперь ея женихъ, угрюмо бубниль солдатъ, слъдовательно все равно мужъ, прибей ее, шельму, чтобы она отъ закона не отказывалась.
- Какъ-же? истерически всхлипывала Катя. Погляжу я, какъ вы меня прибъете?
- А ты думаешь не прибьемъ? оралъ мастеровой. Ты думаешь, сердце мое не болитъ? Вотъ тебъ, будь ты проклята! Я, можетъ, жизнь свою загублю, въ

церковь Вожію съ тобой идучи, а ты въ такое-то время по злодът моемъ сокрушаещься.

Послышался звукъ пощечинъ и отчаянный крикъ женщины.

Молодецъ, Абрамъ! говорилъ солдатъ. Такъ ее и слъдуетъ. Опосля слюбится...

- Но, повторяю, я ничему не могъ быть свидътелемъ въ это время, потому что сидълъ совершенно разбитый этою сценой, сидълъ я, а Катя кричала мнъ:
- Подлецъ, подлецъ! что же ты не заступишься? Зачъмъ-же ты иное-то всегда мнъ говорилъ?.. Зачъмъ-же въ книжкахъ твоихъ про заступу всегда слабому говорилось?

Сидълъ я, говорю, нъмъя отъ этихъ оскорбленій, а подвалъ мнъ кромъ всего этого свою ръчь вель:

- Видишь, Иванъ Петровичъ! Всегда и тебѣ толковалъ: уйди ты отъ насъ, потому будетъ у насъ отъ твоихъ словъ большое горе...
- Господи! взмолился старый подваль, какъ-бы подвижникъ какой святой, когда только эти слова бу-дуть идти не мимо насъ?...
- Охъ, горе! Охъ, горе! сокрушенно взываль мой старый кумъ. Но, можетъ, къ хорошему, можетъ, остепенится, въ настоящій законъ и послушаніе Богомъ данному мужу войдетъ. Н-ну только, ежели опъ попадается мнъ когда въ темномъ мъстъ...
- Съ Бог-г-гомъ, pp-pe-e-бята! командовалъ съ нечи старый сумасшедшій капитанъ. К-л-ладсъ, п-л-ли! Въ ш-ш тыки на вр-ppara! Ура!...

Такъ смертельно раздразнили его Фаламъевы ре-

Затъмъ вся компанія безъ исключенія, вслъдствіе выпивки, потеряла сознаніе и я уже ничего больше не помню...

angermonia filipa de la como de la composição de la compo The second control of the second control of the A PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P AND AND PERSONAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH

AND THE THE THE PERSON OF THE PERSON OF

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ.

I.

Раститеся, множитеся и наполняйте землю.

Книг. Бытія, гл. І.

Вечеръ. Съ неба, тихими, граціозно-волнующимися пушинками, падаетъ первый снѣгъ. Сквозь массу этихъ пушинокъ, какъ красавица изъ подъ вуали, свѣтлый мѣсяцъ любопытно посматриваетъ на далекую отъ него землю. Тишина и ласка, самыя успокоивающія, лежатъ въ это первозимнее время на душѣ человѣка, шатающагося по улицамъ.

Хорошее время, такое хорошее, что ради него я теперь и самъ пойду къ хорошимъ людямъ, и васъ поведу туда же, хотя дорога до нихъ, какъ ко всякому добру, очень далекая.

Путь намъ лежитъ сначала по тротуарамъ главныхъ

московскихъ улицъ. На тротуарахъ этихъ, съ какимъ то глухимъ, сердитымъ грохотомъ, обыкновенно характеризующимъ всякую ночную человъческую дъятель. -ность, работаютъ лопаты, скребки и метлы дворниковъ. Въ ихъ группахъ часто слышатся злые возгласы на необходимость разметать, даже и ночью, улицу, которую завтра же замететъ новый снъгъ, - слышатся откровенныя шутки съ запоздавшими женщинами, пересыпанныя раскатистымъ смѣхомъ, -- дружескія, но тоже страшно-грохотливыя заигрыванія съ пріятелями извощиками, стоящими около тротуарных в тумбъ. Тутъ же происходять постукиванія пальцемь по берестовой табакеркъ, сладкія понюшки забористаго зеленчака и таинственные сговоры, что какъ бы, дескать, это на счетъ тово... раздавить на сонъ грядущій полштофишку, другую.

Характеръ этихъ улицъ, по которымъ идемъ мы къ счастливымъ людямъ, чисто игъмецкій, особенно нелюбимый коренными жителями, въ длинныхъ чуйкахъ, въ суконныхъ барашковыхъ тулупахъ, съ длинными, серьезными бородами.

Изящныя, керасиновыя лампы освъщаютъ большія зеркальныя окна магазиновъ, сплошь покрывшихъ своими зологыми французскими вывъсками дома этихъ улицъ, — верхи громадныхъ магазинныхъ рамъ, какъ бы крыльями какой нибудь невиданной птицы, драпированы изнутри граціозными, бълыми занавъсками, — у ресторановъ съ княжескими подъъздами, стоятъ ръшительно неньяные извощики-франты, прозванные Мо-

сквой лихачами, — и одѣты эти лихачи въ армяки изъ синяго сукна и подпоясаны канвовыми кушаками, а на головахъ у нихъ надѣты бобровыя щапки, съ заломистымъ верхомъ, затѣйливо разрисованнымъ золотымъ позументомъ.

Гурьбами стоятъ эти франты въ стеклянныхъ подъвздахъ ресторановъ и меблированныхъ комнатъ, ведутъ они съ швейцарами солидные разговоры, покуривая изъ бумажныхъ крючочковъ, такъ крѣпко пахнущіе махорку и нѣжинскіе корешки,—тихо все и солидно на этихъ улицахъ и кажется бы, что истому москвичу, сочинившему пословицу, что, гдѣ, дескать, тишь да гладь, тамъ Божья благодать, должна бы вся эта обстановка придтись какъ нельзя болѣе по душѣ, однако на дѣлѣ выходитъ совершенно иначе.

И выходило именно вотъ какъ:

Идетъ кровный москвичъ, дѣловой, въ барашковой шапкѣ, съ бѣлокурой, тридцатилѣтней бородкой, — идетъ онъ тѣми поспѣшными, не терпящими ни малѣйшаго отлагательства шагами, которые обязываютъ бравую въ спокойномъ положени фигуру русскаго человѣка къ согнутію спины въ три погибели, къ одышкѣ, къ потной краскѣ на здоровомъ лицѣ и, главное, — къ какому то шопотливому, отрывочному разговору съ самимъ собой, въ родѣ:

— Ах-хъ, Боже Ты мой милосердый! Фу Ты, Господи! Да куда же это я? Д-да зачъмъ?

И вотъ такой-то согнутой иноходью посившаетъ куда-то москвичъ вмъстъ съ нами, пы-сваму дъльцу-съ, па бли-

зости, такъ на минутую-съ, — и глубоко предался онъ этому быстрому, какъ бы на заказъ, отмъриванью шаговъ, сопровождая свое шаганье неразговорчивымъ шопотомъ; какъ вдругъ, на всю улицу раздается звонкое ржанье стройнаго, бълаго рысака, стоящаго у подъбада,— затъмъ послышалось нетерпъливое топанье звонкой подковы о булыжную мостовую.

— Тише, дьяв-валь! хладнокровно говорить угрюмая и, такъ сказать, игольчатая октава съ желёзнорёшетчатаго крыльца ресторана.

Чего бы. казалось, проще такого обыкновеннаго вечерняго пассажа? Нѣтъ! Мимошедшій москвичъ вдругъ, почему-то останавливаетъ свою проворную поступь, снимаетъ шанку, отираетъ потъ съ лица краснымъ, ситцевымъ платкомъ и пристальнымъ мелькомъ оглянувши и рысака, бѣлая спина котораго такъ гордо рисовалась на вечернемъ уличномъ фонѣ, и ярко освѣщенный подъѣздъ, и саженныя стекла магазиновъ съ ихъ бѣло-крылыми драпри, снова обращается въ свое торопливое бѣгство и, не то съ досадой, не то съ злобою шепчетъ:

— Вотъ черти-то! И куд-ды же это я, братцы мон? Заччъмъ? А? Вотъ дьявола, такъ дьявола!..

Бъжитъ дальше москвичъ, говоря своей походкой, что его никтоже гонитъ, сами ся гоняху, и вдругъ:

— Миласливый государь! какъ листъ передъ травой выросла предъ нимъ какая-то бурая, въ дугу согнутая личность. Миласливый гасударь! Изъ бальницы... Седьмой день... Ни фкушаю, — въръте слову благороднаго

человъка!.. Находимшись при разныхъ должностявъ... Многіе инаралы и даже, можно сказать, графы...

- Да под-ди же ты! съ тоскою восклицаеть москвичъ, стремясь дальше и дальше. О, Б боже!
- Мусью! возникаетъ предъ несчастнымъ другой образъ съ хриплымъ женскимъ голосомъ. А, мусью, пазвольте-съ на пару словъ...
- Гос-споди! Да што-же это я? Гдъ? А?

Съ горки, на которую, по узкому тротуару, поднимается москвичъ, съ звонкимъ смѣхомъ, сопровождаемымъ нѣмецкими, ребячьими фразами, самымъ полоумнымъ манеромъ, скатываются съ глухимъ свистомъ желѣзныя салазки съ цѣлой кучей ребятишекъ, — и бацъ! Москвичъ падаетъ со всѣхъ ногъ на холодный камень плитъ и, приподнимаясь, крехчетъ:

— Ишь, дьяволята нъмецкіе, разыгрались!

Съ быстро ускользавшихъ въ туманную даль желёзныхъ санокъ, услышали между тёмъ враждебную рёчь, вслёдствіе чего солидная улица немного побаловалась, отвётивши за оскорбленныхъ ребятишекъ звонкимъ смёхомъ и нёмецкимъ словомъ:

— 0, рюссишь швейнъ!

Пойдемте же, и даже, въ случав надобности, побъжимъ за москвичомъ. Намъ съ нимъ по дорогв. Онъ, очевидно, бъжитъ тоже къ счастливымъ людямъ, о чемъ я, какъ человвкъ, достаточно знакомый съ Москвой, заключаю по направленію его стремительнаго курса.

Пошли улицы потемнъе. Фонари, освъщавшіе ихъ,

стояли другъ отъ друга на такомъ разстояніи, про которое говорятъ: колосъ отъ колоса, не слыхать человъческаго голоса. Очевидно, они были поставлены для близиру—и они сами, какъ видно, очень хорошо понимали свою призрачную роль, потому что такъ плутовски подмаргивали и другъ другу и проходящему народу, что возбуждали въ наблюдателъ цълый рой сомнъній на счетъ того обстоятельства, что едвали это фонари и что чуть ли это не какіе нибудь кривые, плутоватые люди, подкивывающіе и подмаргивающіе, съ условленною цълью объегорить какого нибудь любезнаго благопріятеля.

Подославши къ воротной верев соломки и закутавшись въ здоровый бараній тулупъ, въ самой нѣжной позѣ покоящейся одалиски, лежитъ около одного, по московски — орнаментнаго, дома, молодой дворникъ и дремлетъ сладкою дремой подъ эту тихую музыку пушисто летающаго снѣга. То откроетъ глаза дворникъ, то снова закроетъ ихъ, то вытянетъ ноги, то снова спрячется подъ теплый тулупъ и свернется калачикомъ. По временамъ, онъ споетъ что-то безсловное, напоминающее собой пѣсню сытаго кота, — иногда протяжно и сладко зевнетъ, перекреститъ уста и проговоритъ:

- 0, Б-боже Ты мой Господи Милосердый! 0, Господи Боже!..
- 0, Б-боже Ты мой, милостивый! съ тоскою шепчеть въ свою очередь бъгущій впереди насъ коренной москвичъ. Куды? Зачъмъ? 0, Б-боже!
 - Ха, ха, ха! раскатывается дворникъ съ своего

уютнаго сидѣнья. Вотъ, теперича, другъ любезный, тебѣ только девять разъ осталось шарахнуться. Не тужи. Эва! Сколько дровъ наломалъ, да еще съ обѣ-ихъ сторонъ фонари... Ха, ха, ха!

— Да не будь ихъ чертей — фонарей эфтихъ слъпыхъ, — я бы совсъмъ не шарахнулся. Только тънь
одна отъ нихъ. У насъ вонъ, въ нашей улицъ, ни
одного ихъ нътъ—и чудесно! Идешь такъ-то, — любезное дъло! Ни разу не оступишься...

Говоритъ москвичъ такія слова и ожесточенно отряхаетъ шапкой снѣжную пыль съ своего тулупа; а фонари на едва-едва примѣтный моментъ ярко мелькнули своимъ колеблющимся свѣтомъ — и вдругъ опять померкли и серьезно сморщили лица, съ настойчивостью, основанною на твердомъ убѣжденіи въ своей невинности, показывая и улицѣ, и дворнику, и мимоѣдущимъ извощикамъ, что это: «не мы, не мы, — ей Богу-съ! Мы вотъ свѣтимъ, а дальше мы—ни, ни! Напрасно вы такъ про насъ полагаете. Это онъ, можетъсъ пьяну шарахнулся, — д-дасъ!

И этой серьезной рожей фонарей были обмануты и улица и дворникъ, и москвичъ, и извощики,

Однако, шутка шуткой; но только, Боже мой, какъ нъжно этотъ славный вечеръ, своимъ серебристымъ снъгомъ, своей гармонической тишиною, будитъ и оживляетъ иныя, видимо начинавшія засыпать, человъческія души.

Пойдемте тише, пользуясь этой, такъ внезапио налетъвшей, мирной минутой. Будемъ благодарны ей и станемъ смотръть на фонарь, какъ на фонаръ, а не какъ на одноглазаго плута, котораго за его насмъшки, безъ этой минуты, непремънно выругалъ бы и послалъ ко всъмъ чертямъ...

Очень темны были улицы этой второй категоріи. Высились на нихъ гордие, барские дома, выстроенные про себя. Ихъ большія, такъ надменно смотравшія окна, завъшены шторами, сквозь которыя чуть чуть пробивался тотъ таинственный полусвъть, при которомъ, по стариннымъ романамъ, княгиня Мери, пользуясь отсутствіемъ мужа, даетъ уланскому корнету Г. понятіе о высокомъ умѣ, необыкновенно-тонкомъ анализирующемъ самую глубь любви. Зло смотрить на такіе дома человікь голода и холода, проходя мимо ихъ большихъ, такъ крѣпко запертыхъ, лакированныхъ дверей; а я, напротивъ, даже люблю ходить мимо ихъ потому, что всегда въ позднее аристократическое послъ - объда, передъ самымъ, такъ называемымъ, аванъ суаре, оттуда слышатся могучіе звуки дорогихъ піанино — и говорять мий эти звуки о томъ, что разнообразныя страданія, сокрушающія родъ человіческій, протискиваются и въ надменныя окна, защищенныя плотными шторами, и въ лакированныя двери, стрегомыя лакеями во фракахъ и въ голландскомъ бъльъ...

Таинственный полусвъть льющійся изъ оконь, даеть мнѣ возможность видъть прелестные цвъты, уголокъ громадиаго зеркала съ половиной портрета серьезнаго, тенеральскаго, такъ сказать, лица, отражающа гося въ немъ, — и вотъ я остановился на тротуа ръ и слушаю.

Слушаю, а изъ дома несутся ко мив рыданія какого то необыкновенно великаго горя и все существо мое, прислушиваясь къ нимъ, д ожитъ нервической, страстно-сочувствующею дрожью...

Какъ прикованный стою я — и вотъ, по дивной воль артиста, въ головъ моей крайне-спутаннымъ строемъ проходятъ многоразличныя людскія недоразумьнія, — проклатые, отъ въка, безотвътные вопросы, — мысли, обязывающія человъка на всегдашнее отметаніе отъ прекрасныхъ благъ земныхъ, — мысли, фатально влекущія въ могилу по такой дорогъ, отъ хаотической пустоты которой леденъетъ сердце и встаютъ суровымъ лъсомъ молодыя кудри, — молодыя кудри, какихъ еще, можетъ быть, ни разу не лелъяли нъжныя женскія руки...

Вследствие этих представлений, сокрушительная истома по чужому горю зажгла душу мою своимъ необыкновенно жгучимъ огнемъ: эта головка, что плачетъ теперь надъ дорогимъ піанино, является въ моемъ воображеніи несравненно прелестне всёхъ этихъ цвётовъ, стоящихъ на окне, — я принимаюсь отгадывать настоящую причину грусти этой, видимо, назначенной для всякаго счастія птички. Быстро сменялись мои думы, нагоняемыя па меня звучавшими, какъ волны, октавами инструмента и ничего не могъ уяснить я себе до тёхъ самыхъ поръ, пока настоящее лицо интересовавшее меня, не удостоило показаться мне и товарке моей — темной ночи, на минуту вырисовавшись въ окне. Было оно интересно-блёдно, аристократически-

сдержано, черные волосы обольстительно обрамляли его и проч. и проч.

Совсѣмъ не то разсчитывалъ я увидѣть, и обманутое ожиданіе сразу поселило во мнѣ какую-то странную увѣренность, что барыня эта играла такъ хорошо потому только, что была голодна. Я громко засмѣялся глупой мысли и пошелъ дальше, разсуждая на тэму, чортъ знаетъ откуда на меня налетѣвшую, что любого человѣка ко всему пріучить можно, даже крайняго идіота можно выучить быть умнымъ. Тутъ же подвернулось и доказательство этой истины.

— Медвъдей выучиваютъ же илясать. — думалъ я и хохоталъ все громче и громче, такъ что одинъ бутарь вынужденнымъ нашолся объяснить мнъ, что это довольно даже не хорошо для благороднаго господина, идти по улицъ и грохотать по лошадиному.

Выслушавъ нотацію съ прирожденнымъ мнѣ смиренствомъ, я пустился въ самую глубь тѣхъ улицъ, граничащихъ съ заставами, на которыхъ совсѣмъ смолкаетъ крикливая, столичная жизнь. Ворота во всѣхъ домахъ плотно приперты толстыми засовами, окна закрыты ставнями и лишь изрѣдка около освѣщенныхъ кабачковъ, можно примѣтить какихъ нибудь двухъ, или трехъ друзей, въ ватныхъ халатахъ, тихо и задумчиво разсуждающихъ послѣ выпивки о необыкновенной тягости нынѣшнихъ временъ и о неизбѣжной надобности хватить еще малую толику, ради этого горестнаго обстоятельства.

Изъ будки, иногда начинающей, иногда замыкающей

собой подобныя улицы, льется на дорогу маленькій дрожащій огонекъ, который ежели и горитъ еще, такъ потому только, что въ будкъ ночнымъ временемъ безъ огня быть, ни подъ какимъ видомъ, нельзя.

— Квартальный, пожалуй, вздумаеть съ дозоромъ пойдти, — объяснительно покивываеть огонечекъ улицъ, какъ бы оправдываясь передъ нею въ томъ, что онъ освътилъ собой ея естественные виды, очевидно отвергавшіе всякое освъщеніе.

Коренной москвичъ, руководящій насъ по дорогѣ късчастливымъ людямъ, лишь только вступилъ въ эту тихую улицу, всю залитую луннымъ сіяніемъ, всю завленную блещущими, снѣжными сугробами, какъ сейчасъ же измѣнилъ свою порывистую суетливую побѣжку на шагъ человѣка, который, видимо, дѣйствуетъ въ своей сферѣ. Вотъ онъ шутитъ дружескую шутку съ будочникомъ, сладко прикорнувшимъ на рѣзномъ балкончикѣ своего солдатскаго жилища: подкравшись къ стражу своей улицы на ципочкахъ, москвичъ сдергиваетъ съ него кэпю и изо всей силы швыряетъ ее въ далскія небеса. Кэпя, вѣроятно, не считая себя на столько заслуженною, чтобы навсегда застрять и успокоиться на одномъ какомъ нибудь изъ этихъ летающихъ по небу облачковъ, снова; черною гаъ ъй, спусвается на землю.

Съ громкимъ хохотомъ оба друга стремятся захватить шапку въ свои руки. Искусно подбрасываемая москвичемъ, она перелетаетъ черезъ снъжные бугры, черезъ низенькія лачужки, останавливается на деревьяхъ,

сучья которыхъ любопытно смотрятъ на эту игру — и, спугнутая съ нихъ ловко швырнутою палкой, снова летитъ по сугробамъ, иногда останавливаясь на нихъ и, слѣдовательно, вызывая тѣмъ самымъ разыгравшихся пріятелей къ новымъ, еще болѣе поразительнымъ состязаніямъ въ самомъ, такъ сказать, центрѣ снѣжнаго царства, т. е., другими словами, по уши въ снѣгу, разлетавшемся отъ этой борьбы милліонами серебрянныхъ искръ.

Перебросивши наконецъ вражескую голову черезъ заборъ пустыннаго огорода, москвичъ издали кричитъ своему спорнику:

— Гдѣ тебѣ со мной, полицерія ты эдакая, несчастная? Хоть бы на счеть куроцанства то умѣлъ обходиться, какъ слѣдствуеть, а то эва! вздумалъ меня обороть. Ха, ха, ха!

Будочникъ, слушая эти разговоры, энергически царанался на высокій заборъ огорода, куда улетъла его разнесчастная, солдатская голова.

- Ишь ты, вѣдь, куда угораздило его запустить, безъ тѣни даже досады толкуетъ будочникъ. Чортъ вѣдь это его расхватываетъ, должно быть, на игру-то. Спалъ бы я теперь, да с алъ безъ него.
- Илю-ю-ша! раздается черезъ минуту голосъ чуть чуть уже видижющагося москвича. Находи поскорве фуражку-то свою, да приволакивайся ужинать поживъе, водочки поднесу, потому у меня сынишка мениникъ.

Да какъ же я съ чисовъ-то, Миронъ Петровичъ?

кричитъ въ свою очередь будочникъ. Нельзя вѣдь съ чисовъ. Пожалуй, взыску какого бы не было...

— Вз-зыску? отзывается москвичь. Эвося! махенькій, штоль? Вз-зыскъ! Приходи — знай...

Исполинскія собаки, разбуженныя этимъ дружескимъ переговоромъ, отвътили на него крикливымъ лаемъ и неистовой бъготней по слъдамъ москвича; но москвичъ, съ опытностію американскаго морехода, лъпился подъзаборами, твердою ногою ступая по едва примътнымъ тропинкамъ, — храбро выходилъ по временамъ на самую средину улицы, отыскивая перенесенныя туда другимъ предшествовавшимъ ему храбрецомъ, едва примътные слъдочки, — и только посвистывалъ, только посвистывалъ.

Такъ онъ былъ безбоязненъ среди этого безлюдья, среди этихъ сугробовъ, — такъ былъ увъренъ въ томъ, что, ежели собачье чутье обманется и не узнаетъ въ немъ сосъда — Мирона Петровича, — такъ непремънно самъ онъ — Миронъ Петровичъ — узнаетъ всякую собаку своего околодка и, судя по обстоятельствамъ, можетъ во всякую секунду, или приласкать ее, или взбутетенить, что одинаково обезопаситъ его, ни для какого смертнаго, кромъ истаго москвича, не осуществимое путешествіе.

— Орелка! Косматка! Што вы, льшіе, аль своихъ узнавать перестали? покрикиваеть нашъ руководитель, мощною рукой стуча въ тесовыя ворота. Собаки сознаются въ своей ошибкъ радостнымъ визгомъ и фамильярными скачками на грудь и спину Мирона Петровича,

что составляетъ такую добрую, житейскую картину, что, пробиравшійся въ сосъдній домишко на ночлегь, забулдыга извощикъ, никакъ не можетъ ей не позавидовать и говоритъ:

- Ахъ, хозяинъ! Какъ это васъ собачки здѣшнія любятъ, Ей Богу! Все равно, ваша милость, по всей по улицѣ здѣшней для всякаго человѣка вы замѣсто отца родного, —сичасъ умереть!
- Разговаривай, разговаривай по субботамъ, Митька! отвъчаетъ москвичъ голосомъ, въ которомъ явственно слышатся недовольныя ноты. Ты бы вотъ мнё долгъ поскоръе приносилъ, чъмъ чаи-то по харчевнямъ расхлебывать. Такъ-то, другъ! Зубоскалить-то нечего. Насъ не удивишь, потому сами въ старину зубоскаливали...
- Ишь ты, хитрый какой! говорить тихомолкомъ извощикъ, благоразумно заглушая воротнымъ скрипомъ хитрое, хозяйское слово. Сейчасъ въдь узнаетъ, къ чему какой разговоръ человъкъ подводитъ... А я, было, завтрашняго числа думалъ къ нему еще подкатиться на счетъ займу. Теперь не дастъ, —ни въ жисть не дастъ, хоть и не ходи! Ахм-ма!

Съ глухимъ гуломъ упала наконецъ воротная задвижка, отдернутая съдымъ дъдомъ-дворникомъ, который, несмотря на зиму, былъ босъ и въ одной только ситцевой, полинялой рубахъ, да въ пестрядинныхъ штанахъ. Зоркимъ, серьезнымъ взглядомъ оглядъвши хозяина, онъ спросилъ его:

— Пошто полуночничаешь? У насъ тутъ душа не

на мъстъ, — все про тебя думаемъ: какъ бы, моль, головушка-то наша разудалая опять въ трактиръ не качнула?

- А ты, дёдушка, не думай, пошутиль москвичь, потому, думають то, знаешь кто? Индёйскіе пётухи... Такь-то!
- Ну, ну, проходи! сердито перебилъ дѣдъ и затѣмъ, помолившись на крестъ сосѣдней церкви, ушелъ во дворъ неторопливою, важною поступью, и въ то время, когда москвичъ уже изъ самаго нутра своего дома продолжалъ звать будочника—Илюшу на сынишкины аменины, дѣдъ глухо и неразборчиво ворчалъ:
- Банкетчики—черти! Эхъ! плачетъ матушка-палка по эфтому по народу! Съ какой радости?..
- Счасъ, счасъ, Миронъ Петровичъ! Сею сикундой сберусь, —въ послъдній разъ откликнулся будочникъ, и послъ этого отклика мы, о читатель, остались съ тобой въ этой пустынной улицъ, залитой луннымъ сіяніемъ, заваленной снъжными сугробами, ръшительно одинокими и безпомощными, потому что, несмотря на нашу съ тобой охоту знать счастливыхъ людей и вести съ ними пріятное знакомство, мы, на дорогъ въ такое желанное царство, луннымъ свътомъ залюбуемся, передъ снъжными горами остановимся, собакъ лютыхъ испугаемся...

CONTRACTOR HARM THE THE THE OTHER SET THEFTENDS HE

and any a remainded to a maseine area? Hughthesia in treating ...

Когда я, читатель, одинъ иду къ хорошимъ людямъ, я дохожу до нихъ также легко, какъ пришелъ сейчасъ истый москвичъ въ свой собственный домъ. Я и съ будочникомъ побалуюсь, я и собакъ поласкаю, ежели онъ смирны; а ежели злы, то даже и побью ихъ, не смотря на то, что отъ гуманства этого, которое во мнъ понасыпано, я бы въ пропасть всей головой моею готовъ во всякое время шарахнуться безъ малъйшаго разговора. Снъжные сугробы, или даже грязь по колъно, меня тоже нисколько не останавливаютъ на моей дорогъ, потому что я такую пъсню знаю, которая говоритъ, что

«Черезъ черную грязь перепелицей».

Но ты, читатель, всегда былъ, есть и будешь для меня тяжелой обузой, потому что ты ежегодно тратишь шестнадцать съ полтиной на какую нибудь газету, или журналь, выписка котораго обязываетъ всёхъ твоихъ

прузей твердо в фровать въ то, что ты челов вкъ цивилизаціи, другъ прогресса и т. д Друзья съ благоговъніемъ просять у тебя почитать журнальчика, или газетки, - ты снисходительно даешь имъ оные и тутъ же сообщаешь имъ, что Гарибальди.. что земная кора... штанье опять... соціальность... терпимость и...и чорть тебя знаеть, о чемъ ты, съ чужаго голоса, нагородилъ въ разныя минуты своей жизни, чего совсвиъ не городять въ техъ улицахъ, где мы находимся съ тобой въ данную минуту и куда, по настоящему, ходить тебъ рашительно не за чамъ; но ты въ посладние дни твоего существованія очень приналегь на всв эти Петербургскія, Московскія, Варшавскія et caetera Трущобы, и такъ какъ роли политика, натуралиста, соціалиста и, наконецъ, порицателя, или поощрителя различныхъ внутреннихъ мфропріятій тебф демонски опротивфли, то ты, вспомнивши золотое время твоего невозвратио минувшаго дътства, захотълъ, на старости лътъ, еще разъ порисоваться въ роли знаменитъйшаго принца Герольштейнскаго и пошелъ ты по этому случаю вмѣств съ авторами различныхъ трущобъ по столичнымъ кабавамъ для ради изученія падшей братіи. Авторы-то кое какъ выкарабкались изъ кабаковъ, конечно не всъ, и правда, что съ достаточнымъ угарцемъ, потому что быть въ огнъ и необжечься-нельзя, но тебя то-непривычнаго человъка — тамъ либо исколотили на смерть, либо самъ ты запился въ нихъ, не могши сладить съ своимъ ретивымъ, которое до конца изомлело и сокрушилось отъ того кръпкаго буйства, какому предавались кабачные, погибающіе люди на порогахъ своихъ видимыхъ могилъ...

Вотъ почему ты для меня обуза, читатель, на этой улицъ. Воротись лучше назадъ отъ дъйствительности, которой ты брезгаешь до отвращенія, или боишься до смерти. Вернись, говорю. Слышишь, какъ будочникъ Илюша, только что сейчасъ по ребячьи игравшій съ москвичомъ, пристально всматривается въ насъ съ тобой и, совсъмъ, какъ настоящій часовой, грозно вскриживаетъ:

— Кто йдеть?

А эти собаки? Обличаемыя каждымъ номеромъ московскаго «Развлеченія», онъ тъмъ не менъе не перестаютъ пробирать незнакомыхъ пъшеходовъ, безпокоящихъ ихъ мирную жизнь въ тихой улицъ.

Видишь, какимъ бъщеннымъ стадомъ и съ какимъ неистовымъ лаемъ мчатся онъ на насъ. Бъжи!

Бъжи и не связывайся съ этимъ извощикомъ, который вдругъ, ни съ того, ни съ сего, строго и бранчиво принимается уличать тебя въ полунощничествъ и въ шарамыжничествъ; легкимъ подсвистываньемъ натравливая собакъ на то, чтобы онъ согнали тебя съ ихней улицы.

- Часовой! кричишь ты, справедливо полагая, что будочникъ Илюша сейчасъ прольетъ за тебя всю кровь и сразится съ собаками не на животъ, а на смерть. Бъдный! Иы сильно ошибаешься.
- Проваливай, проваливай! отвъчаетъ на твой крикъ Илюша и, за тъмъ, суетливо начинаетъ соваться въ

разныя стороны, разговаривая промежь себя, что «ахъты, братцы мои, — куд-ды это ддубину я туть подожиль? Аххъ! Хорошо бы это вдоль ногъ ему запустить...

- Здравствуй, Илюша! привътствую лично я стража тихой улицы. Какъ живешь-можешь?
- А здорово, баринъ? Кто это съ тобой приходилъ сейчасъ?
 - Да это такъ, Илюша! Это читатель.
- Читатель? Какой такой? Нонъ самъ знаешь какъ стр-рог-га!
- Ну тебя къ лъшимъ! Ты на именины, что-ль, къ Мирону Петрову собрался? Я въдь слышалъ, какъ ты съ нимъ переговаривался. Я самъ тоже къ нему.
 - Къ самому?
- Нътъ! Я къ прачкъ къ Петру Александрову. Дома скучно стало. Дай, молъ, схожу поболтать.
- Такъ, такъ! совсёмъ уже ласково подтверждаетъ Плюша. Вмъстъ, значитъ, пойдемъ. Я тебя черезъ заборъ подсажу, а то у нихъ экую рань ворота всегда запираютъ; такъ чтобы не стучать, не безпокоить, потому дъдъ у нихъ — дворникъ — и сердитый какой на счетъ безпокойства... Такъ-то облаетъ...
- Зачёмъ безпокоить? И такъ, какъ нибудь, нерескочимъ, — нынъ снъгъ, мягко; авось, не разшибемся.
- Извъстно, не хрустальные. Только што же это тебя въ нашихъ краяхъ давно не видать? Я думалъ— ты пропился, али бы околълъ; а у насъ тутъ безъ тебя какія исторіи пошли, бъ-дда!

TZ- Hy?

- То есть, просто смѣхъ! На комедію не ходи. Миронъ Петровъ-то, слышь? Любовницу полюбиль, а жена за нимъ, съ мастеровыми (она ихъ виномъ за себя заступаться подкупаетъ), кажинную ночь по улиць съ дубьемъ, словно вѣдьма, бѣгаетъ. Нагонитъ такъто его, тр-рахъ этимъ самымъ дубьемъ по спинѣ, а онъ ей говоритъ: здравія желаю, ваше высокоблагородіе! Словно солдатъ на смотру, вотъ, шутъ-то! А самъ такъ и раскатывается: ха, ха, ха! Я это тоже сижу здѣсь и смѣюсь. Заб-бава!
 - Да, точно, смѣшно! согласился я.
- А того смѣшнѣе, какъ эта самая женщина,— снова заговорилъ и залился звонкимъ, добродушнымъ смѣхомъ Илюша,—какъ она заразъ мужа и со слезами умаливаетъ, чтобы онъ хоша не грохоталъ-то надъ ней, а сама все его дубьемъ, дубьемъ... Дай ты, умаливаетъ, сердцу моему, хошь въ этомъ разъ, облегченье какое нибудь, т. е. это выходитъ, чтобы грохотать-то онъ пересталъ.
 - Что же это, они часто у васъ такъ-то?
- Говорю: каждую ночь полоскаются. И теперь воть, того и гляди, сбъсятся. Да въдь это что? У насъ чего другаго нъть, а побоищевъ этихъ—сколько угодно. Ты вотъ зналъ, можетъ, востроносую дъвицу, какая жила у прачки Петрухи, съ учителемъ-то? Да ты и учителя-то знаешь, я васъ съ нимъ часто въ прошломъ году въ кабакахъ выдывалъ.

- У ихъ тоже исторія—и смѣху въ этой исторіи малость. Ахъ, жаль парня,—ни за грошъ пропадаетъ, а парень добрый.
- Да въ чемъ дъло-то? Я обоихъ ихъ зналъ, люди оба хорошіе, жили дружно.
- Дружно! съ какой-то унылой ироніей воскликнулъ Илюша. Было, можетъ статься, когда, да сплыло; а теперича, бабъ этихъ самъ шутъ не разберетъ, въ какую она погибель его шарахнула. Видишь, ему этоучителю-то, — слышь? мъсто какое-то на городъ вышло. На жельзку я его провожаль, чемоданчикь это, подушки, сакъ-вояжъ съ книжками, - все это въ пролетку я ему выносиль-и она туть же-востроносаято — провожать его ъдеть, — и, т. е. я тебъ говорю: плачеть, ръкой разливается и, словно бы даже, какъ въ помрачении ума, металась и вскрикивала. Слышу, толкуетъ она ему: ты это, говоритъ, нарочно къ мъсту вдешь, — отвязаться отъ меня, какъ ни на есть, захотъль; потому ей это въ привычку было, — не въ первый разъ. Самъ знаешь, когда ежели къ примъру, гысспада офицера по полкамъ своимъ разбираются, такъ бросають ихъ-дъвокъ то-безъ всякихъ эфтихъ церемоніевъ, — ну, ей это, значить, и въ привычку. А онъ ей свое толкуетъ: я, говоритъ, не прапорщикъ. И точно что это онъ правду сказаль, потому онъ совсёмъ штатскій... Сколько разъ говориль я тебъ, сказываеть онъ ей, — за тъмъ и ъду, чтобы и тебъ, и себъ спокой доставить какой нибудь, чтобы не мыкаться намъ больше съ тобой по бёлу свёту. Утё-

шаеть онь ее такъ-то, а мнв пятіалтынный въ руки. потому душа человъкъ. Укатили. Смотрю, посмотрю: къ вечерку эдакъ возвращается моя барышня. Спрашиваю: проводили? Проводила, говорить, и смъется; а изъ за угла — о чтобъ тебя черти забрали! — ужъ и выглядываеть хахаль какой-то, - рукой, эдакъ, поманиваетъ, - поскоръе, значитъ, не замъшкайся! На что меня смёхъ разбираетъ, такъ вёдь истинно по тому случаю, что въ тотъ же день... Это послъ сдезъ-то, такъ-то вы, барышня? спрашиваю. Послъ шести-то годовъ вы эдакъ-то? Смотритъ на меня и хохочетъ, аки безумная какая! Моя, говорить, теперь воля. Куда хочу, туда и пойду. Одна, говоритъ, осталась; ха, ха, ха! И то года съ три я видалъ: гулять, бывало, пойдетъ съ самимъ, или одна по надобности куда нибудь, -всегда это такъ тихо, степенно, -всегда, бывало, ласково такъ поклонится; а тутъ, примъчай куда пошло! Какъ почнетъ приплясывать моя барышня, какъ загорланитъ на всю улицу пъсню:

«Съ къ-виъ хочу, съ темъ и гулню!!.»

Ну, ей Богу же, баринъ, — продолжалъ Илюша, — и перекрестился глядя на нее, потому-вижу, дъвка-то выпивши. Хотълъ было ее тутъ же въ фарталъ отправить, да думаю: ежели, молъ, умный человъкъ съ нею не сладилъ, я тутъ при чемъ? Ай, правду должно пословица-то говоритъ: не сдълаешь пана изъ хама!..

— Иные дълаютъ... замътилъ было я, но Илюша заговорилъ съ большою живостью, какъ бы пригото-

вляясь жестоко спорить со мною, и поэтому я за-

- Нътъ вить, какая тварь-то! Воротившись ко мнь, сейчасъ четвертакъ подаетъ; говоритъ получи, да смотри, не очень болтай, потому учитель забери его душу самъ дьяволъ жениться на мнъ похотълъ. А впрочемъ, посмъивается, ежели и проболтаешься сдуру, такъ онъ не повъритъ... Какъ, говоритъ, знаешь!.. Такая тварюха бъдовая, и опять заплясала и опять загорланила. Плюнулъ да ушелъ въ будку. Такъ это даже злость меня на эту мразь проняла...
- Ну будетъ, Илюша. Твоихъ исторій всъхъ не переслушаешь. Снимайся съ часовъ поскоръе, да и пойдемъ.
- Да что съ нихъ сниматься—съ часовъ-то! Взялъ, да и пошелъ. Вотъ-те и вся не долга! А на счетъ исторієвъ, точно что... Въ волю всего насмотришься, потому слышь, прошло-ль еще двв недвли, учитель-то и примахнулъ сюда, да все это по ночамъ около дома и шастаетъ. Узналъ я его, и прямо ему съ бацу: такъ и такъ, молъ! Малый хорошій, думаю, отчего ему всей правды не сказать-пущай, моль, развяжется съ тварью необузданной. Знаю, говорить, — мнъ сердце про все разсказало... Пойдемъ-умоляетъ-Илюша, въ кабакъ. У меня во всю жизнь только и добраго было, что она. Пропьемъ же все, говоритъ, вдосталь, чтобы за одно ужъ, чтобы и помину ни о чемъ не оставалось. И вотъ уже, сударь мой, съ мъсяцъ, какъ этотъ самый учитель по соевдскимъ кабакамъ шастаетъ безустанно. Пьеть, спаси его Богь, до идольской смерти... Докла-

дывалъ квартальному... Тотъ сказалъ: поприсмотри, Илюша, попристальнъе, потому тутъ дъло не безъ опаски... Запахнетъ, пожалуй, чъмъ нибудь не хорошимъ. А ей—востроносой-то—велълъ сказатъ, чтобы она подальше куда нибудь отъ Мирона Петрова, на другую фатеру перебиралась; только она на этотъ счетъ внъ силъ, — видно не очень шарамыжничествомъ-то люди разживаются. Д-дасъ! Жаль, жаль, учителя-то, — ей Богу! потому гибнетъ хорошій человъкъ замъсто мухи, самой паскудной! И дъяяв-в-алъ, штоли, какой, ее взбунтовалъ, шутъ ее, прости Господи, знаетъ! Ахъ, бабы! Ах-хъ, б-ба-абы! Н-ну!

- Это точно, Илюша; бываетъ иногда, что ты сказалъ сейчасъ на счетъ дъяволовъ. Соблазняютъ...
- Какой тамъ иногда, судырь! Такъ надо полагать, что они завсегда такими манерами бабенокъ этихъ разжигаютъ, потому самъ я... Вотъ разскажу, благо къ слову пришлось: родимшись, это, я, въ Нижегородской губерніи, женился: Женимшись, вдругъ отъ пріятелевъ отъ своихъ докладъ получаю: ты, спрашиваютъ, что знаешь, Илья? А что, говорю? А самого такъ въ сердце что-то и шаркнуло. Должно, учитель-то правду сказалъ: мнѣ, говоритъ, сердце обо всемъ разсказало. Да-да! Пріятели-то мнѣ и говорятъ: а знаешь ли ты, милый человъкъ, Фому краснорядца? А сами: гро-о-о, гра-а-а—такъ и раскатываются. Раскусимши это, домой я сейчасъ же побегъ. Бъгу, земля подо мною гормя горитъ. Прибъгши: кэ-эккъ развернусь, ддэ-эккъ х хваччу... Такъ-то-сь!...

- Ну и чтожъ?
- Да ничево! На другой день въ губерню махнулъ, всю ночь тайно въ овинъ проплакамши; а въ губерніи себя въ охотники объявилъ, прямо, значитъ, въ царскую службу... Гыс-спада инералы сказали мнъ: молодецъ, говорятъ! Гуляй! Ну, и вотъ и гуляю... Побъжимъ, баринъ, одначе; поздновато, быдто, становится, пожалуй, именинъ не застанемъ...

Тутъ Илюша заперъ на замокъ будочную дверь и ключъ припряталъ въ потаенное мъсто, извъстное только ему и товарищу.

— Товарищъ-то у меня, шутъ его побери, несуразенъ больно. Ужо, къ полюбовницъ пошодчи, сказалъ: до завтрева не жди. Только раньше знаю: безпремънно раздерутся, какъ черти, и сюда спать прибъгутъ. Для того и ключъ оставляю. Н-ну, жизнь!..

TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

HER SHEET HAT BE SEEDERS STORED THE PROPERTY OF THE

И вотъ мы съ Илюшей, наконецъ, въ самомъ царствъ этой, какъ онъ выразился про нее, «н-ну жизни», — въ домъ Мирона Петрова, очевидн онедавно выстроенномъ, потому что домъ такъ привлекательно бълълъ на ночномъ фонъ своими гладко выструганными бревнами, а жестяная ярко-зеленая крыша такъ гостепріимно звала къ себъ. Изъ всъхъ оконъ мелькали тъ дрожащіе, какъ будто постоянно переносимые съ мъста на мъсто, тусклые огоньки, какіе бываютъ отъ сальныхъ свъчей.

— Мы всё здёсь! вскрикнуль въ темныхъ сёняхъ надъ самымъ моимъ ухомъ голосъ, принадлежавшій прачкъ — Петру Александрову — цёли моего далекаго путешествія. Насъ всёхъ со всего дома вообче сбилъ хозяинъ на имянины къ своему сыну. Онъ у него надъ всёмъ имуществомъ законный наслёдникъ. Пойдемъ, Иванъ Петровичъ, и ты къ нему. Гуляй! И затёмъ, прачка, сдёлавши нёсколько пьяныхъ варіацій изъ че-

го-то, отъ роду моего не слыханнаго мною, схватилъ меня подъ мышки и потащилъ куда-то по кромѣшно-темной лѣстницѣ съ такой быстротой и таинственностью, съ какими злой духъ увлекаетъ въ адъ грѣшныя души.

- Тро-тро-то-та! благодушнъйшимъ, но безсмысленнымъ старческимъ голосомъ выводилъ онъ свою арію, блаженно хихикая и ласково тиская меня такъ, что даже временами я ощущалъ на моей лъвой щекъ прикосновеніе его небритыхъ устъ, обдававшихъ меня жаркимъ спиртуознымъ паромъ.
- Порядочно, должно быть, нынъ заложилъ? спрашивалъ я у старика, просто, ради дружескаго разговора; но избъгая, впрочемъ, мъстоимъній, потому что старикъ по такимъ временамъ дълался необыкновенно обидчивъ. На знакомаго, который ему начиналъ говорить ты, онъ, въ качествъ стариннаго камердинера какого-то знатнаго московскаго барина, страшно принимался кричать въ томъ родъ, что какъ-де ты сивешь тыкать меня музланъ необузданный? А? Гдв ты такой политикъ научился, мерзавецъ? у-у-у! Принималъ онь въ это время гордую позу своего бывшаго повелителя, опрокидываль назадъ съдую, гладко выстриженную головенку, а руки, по барски, закладываль въ изорванные штанишки, запущенные въ голенищи, что, все въ сложности, очень шло къ его добренькому личику и къ бёлому жилету, въ который онъ неуклонно облекается, вотъ уже, какъ я его знаю, четыре года. Но съ другой стороны, трудно было ръшиться въ эти

минуты почествовать его и политичнымъ—вы, — потому что онъ тогда залился бы горючими, стариковскими слезами и, благородно негодуя на васъ, сказаль бы вамъ: ты мнѣ больше не другъ! Сколько-лѣтъ мы были съ тобой на ты, а? сколько? И тутъ случалось, что онъ, хотя и въ безсильномъ азартѣ, но все же бросался на своего обидчика съ поднятыми кулачишками, съ раскраснѣвшимся личикомъ и съ глазами полными слезъ.

- Тро-три-трэ-э-трру-у! снова восклицаль онь, отыскивая дверь, ведущую въ нутро той бездны, въ которую мы сошли съ нимъ. А изъ бездны уже явственно доносился до насъ глухой, смѣшанный гулъ одной изъ тѣхъ демонскихъ пирушекъ, которыя вдругъ, нечаянно какъ-то, какъ бы сами собой, устроиваются въ различныхъ сферахъ трудящагося, но все таки бѣднаго, міра, заставляя этотъ, бѣдный и финансами и головой, міръ, своими результатами думать, что злые духи устроиваютъ эти безалаберныя оргіи на погибель ему—рабочему человѣку,—на погибель отца его съ матерью, дѣтямъ—и наконецъ, на погибель его мастерства, только что начинавшаго было разрастаться и радовать хозяйское, изстрадавшееся, сердце...
- Ну-ка я оттворю, Павелъ Александрычъ, сказалъ я, тоже избъгая мъстоимъній.
- Погодди-и! Тро-рро-ро-ру-у! снова заоралъ онъ и, наконецъ-то, изъ бездны, сопровождаемый хохотомъ пирующихъ, послышался такой же отзывъ:
- Тр-ру-у, та, та! Вслъдъ затъмъ дверь отворилась

прямо на насъ съ такою силой и быстротою, какъ будто говоря намъ:

— Вы к-кудда?

Мы не испугались этого окрика—и на насъ пахнула волнистая туча сёдыхъ паровъ, какъ бы какой послёдній, но самый заколдованный сторожъ, не пускающій храбрыхъ въ наши сказочныя царства,—и мы вошли. Ярче всего блестъло, какъ бы золотое, брюхо мёднаго самовара на бёлой, какъ снъгъ, салфеткъ, покрыбавшей столъ. Потомъ дружелюбно закивала и заморгала намъ съ прачкой—пара сальныхъ свъчей въ мёдныхъ подсвъчникахъ, — потомъ засвътлълись чайныя чашки своимъ уродливымъ золоченьемъ, — наконецъ въ уши наши ударилъ тотъ стозъвный, русскокутящій говоръ, называемый гомономъ или галдой,—и въ заключеніе, надъ всъмъ этимъ, какъ шумъ прорвавшейся плотины, царило металлически-свиръпое шипънье громаднаго самовара.

- Добро пожаловать! вскрикнуль хозяинъ, Миронъ Петровичъ, позируя передъ нами новенькой ситцевой рубашкой, изукрашенной по бълому полю черными мушками, плисовыми штанами, заткнутыми въ козловые сапоги, а главное—длиннымъ, сукопнымъ жилетомъ, по которому тонкою змъйкой, вилась длинная часовая цъпочка изъ такъ называемаго новаго золота.
- Гляди, хозяинъ, закричалъ прачка, какого я тебъ дорогаго гостя привелъ! Тро ро-о-трээ!
- А-а? протянулъ, въ несказанной радости, Миронъ Петровичъ. Сколько дътъ, сколько зимъ..

- Мирону Петровичу!.. попривътствовалъ въ свою очередь я владыку дома, подавая ему руку—и владыка дома сейчасъ же закричалъ:
- Жена! Иванъ Петровичъ пришодчи... Пожаловали... Въ кои-то въки...

Какъ бы по щучьему велёнью, послё этихъ хозяйскихъ словъ, стала предо мной супруга Мирона Петровича съ подносомъ въ рукахъ и, ласково улыбаясь и кланяясь, подчивала меня:

- Извольте-ко! Съ дорожки-то, выкушайте...
- Ну-ко, ну-ко-сь! торопливо упрашиваль хозяинь. Въ самъ дёлё, съ дорожки-то... Теперича если съ морозцу-то... Ну-ко-съ!

Я выпилъ.

Подносъ плавно обернулся ко мнѣ своимъ другимъ угломъ.

- Ну-ко-сь! Ну-ко! Вторительную... хе, хе, хе!
- Миронъ Петровичъ! Подождите, голубчикъ! Закусить нужно.
- Послѣ эфтой ужъ закусите,
 мягкимъ тономъ упрашивала хозяйка. Безъ того и къ столу не пущу.
- Вотъ это такъ! Вотъ это по нашему. Такъ и не пускай, потому ты здёсь, одно слово, хозяйка...
- А то кто же! Ты безъ меня-то пропалъ бы совсъмъ... Кушайте-ка!

Я вступиль во вторительную.

— Бъжи-ка, Миронъ Петровичъ, за пирогомъ попоскоръе, — приказала супруга. Они вотъ выкушаютъ у меня еще третью, да ужъ тогда и закусятъ.

- Ха, ха, ха! радуясь изобрътательности своей половины, раскатился Миронъ Петровичъ и, стремглавъ, бросился за пирогомъ, съ которымъ черезъ секунду и сталъ передо мной, какъ листъ передъ травой.
- Ну-ко-сь! Всю, всю, всю! подталкивала мою руку гостепріимная хозяйка и, такимъ образомъ, помогла ей опрокинуть въ горло третью рюмку. Всю, всю, всю! Нечего на кудри-то оставлять. Вы и такъ у насъ кудрявы. Ну вотъ, такъ-то лучше! Теперь и въ компанію милости просимъ, гостекъ дорогой!
- Такъ-то лучше! подсмъивался тоже и Миронъ Петровъ. А то захотълъ домъ безъ троицы строить?...

Та ласка, съ которою ввалили въ меня сразу три громадныхъ рюмки померанцевой водки, принудила мой организмъ съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ смотрѣть на все окружавшее меня. Теплота и комнаты, и влитаго въ меня спирта, разлилась по всему моему тѣлу, и, расположивши глаза мои къ самому розовому созерцанію, поминутно вызывала на мои губы нѣжнѣйшія улыбки. Сознавая, такъ сказать, милую неуклюжесть этихъ улыбокъ, я въ одно и то же время и старался спугивать ихъ съ моихъ губъ, и сердился на себя—зачѣмъ спугиваю, конечно, съ отличною основательностью разсуждая при этомъ на слѣдующій глубокомысленный манеръ:

— Къ чему тутъ сдерживаться? Это міръ не такой!.. Все здъсь такъ беззлобно, такъ просто... Веселятся люди эти ръдко, да за то отъ души...

Улыбка, нъжнъйшая, паче только что согнанной мною,

снова, алымъ розаномъ разцвътала на губахъ; а хозяйка, какъ бы отгадывая мои молчаливыя думы, уже стояда передо мною съ своимъ фатальнымъ подносомъ, на которомъ, вмъстъ съ дымящимся чаемъ, блестъла и новаа рюмка.

У насъ просто, — отвъчала въ ладъ мит угостительница. Кушайте ка, — и когда я протянулъ было руку къ тому углу подноса, на которомъ стоялъ чайный стаканъ, она граціозно новернула подносомъ и рука моя, вмъсто чая, схватилась за рюмку.

- Передъ чайкомъ-то! Прошу покорно.
- Ну-ко-сь, ну-ко-сь! по своему обыкновенію, торопливо подсказывалъ хозяинъ. Ну-ко, ну-ко! Вотъ и я съ вами для компаніи...
- Тебъ-то не довольно ли будетъ? спрашивала хозяйка, повертывая передъ сожителемъ своимъ подносомъ такимъ манеромъ, что рюмка, какъ молнія, мелькала только передъ носомъ сожителя, а въ руки ему, какъ привидъніе, не давалась.

Эти супружескія эволюціи производили въ гостяхъ наипріятнъйшаго качества дружественный хохотъ.

- Ха, ха, ха! Хи, хи, хэ, э, э! раздавалось въ разныхъ углахъ комнаты сдержанное грохотанье, по-крываемое нъсколько насмъшливыми трубными возгласами прачки Петра, выкрикивавшаго свое обыкновенное: тру-ру-ро ри-дри!
- Ну, будетъ ужъ тебъ! ласково упрашивалъ хозяинъ. Совсъмъ ты меня нонъ, дъвка, измучила.
 - Ну бери, да смотри ты у меня! это послъдняя.

- Дъло! плутовски подмигнулъ хозяинъ. Послъдняя у попа жена. Такъ ли я говорю, Иванъ Петровичъ?
- Такъ! согласился я, стоя съ рюмкою въ рукахъ. Хозяинъ чокнулся со мною — и мы выпили; а прачка Петруха, точно какъ бы нарочно для сей цёли нанятой трубачъ, оттрубилъ это выраженіе нашей дружбы сугубо-варьированнымъ маршемъ.

Пошло круговое подчиванье, сопровождаемое супружескими понуканьями въ обыкновенномъ родъ, что: ну-ко, ну-ко-ся, по всей, по всей!

- Да, милые, вырывался чей нибудь утружденный голось, въдь я ужъ пятую. Сейчасъ умереть, не въ моготу!
- Вона! вскрикнулъ хозяинъ. Сичасъ уже и считать принялся. Безъ пяти просвиръ объдня-то рази служится? А? хе, хе!
- Ахъ, забавники! Ахъ, потъшники! согласно гудълъ хоръ гостей въ похвалу этихъ присловій и поднесеній.
- Мы потъщники! многозначительно хмыкаль хозинь, соглашаясь съ комплиментомъ гостей свеей способности потъщать ихъ.
- Кого же намъ и забавлять-то, какъ не дорогихъ гостей, —добавляла хозяйка. Рази они у насъ часты гостьбы-то?... Нътъ, по нонишнимъ временамъ частото не разгостишься...
- Гдѣ разгоститься! Нѣтъ, нонѣ времена то... съ нѣкоторою жесткостью въ мягкомъ голосѣ продолжилъ

будочникъ Илюша хозяйкинъ протестъ противъ нынъшнихъ временъ.

Трое рослыхъ, съ громадными, мозолистыми руками столяровъ, жившихъ въ работъ у Мирона Петровича, и которые, какъ гости не главные, давно уже безъ ръчей, сидъли вмъстъ съ Илюшей въ дальнемъ углу комнаты теперь, при словъ — нынъшнія времена, тоже заявили свое присутствіе, съ какою-то скорбною отчетливостью заговоривши въ одинъ голосъ:

- Нонишнія времена-то, ежели, къ примъру, правду-то матушку говорить... Нъ-ътъ! Въ ихъ не зарадуешься... Не съ чего...
- Кушо-кось! берись, дядя Трофимъ! дядя Микить! Качни-ка во славу Божію! подскочила и къ этой полузабытой группъ угостительная хозяйка, какъ бы утъшая ее въ ея прискорбіи по случаю негодности разнесчастнаго нынъшняго свъта.
- Ахъ, ваше степенство! Мать ты наша! Бизъ тебя што бы наша за жисть? какими-то тягучими, такъ сказать, рабскими басками взывали столяры, вливая въ себя, въ нъкоторомъ родъ, предлагаемое.

Хозяинъ, между тъмъ, на разные манеры прыгалъ предо мной съ своимъ, еще несмысленнымъ наслъдникомъ, поднималъ его на рукахъ къ самому потолку, агукалъ, заставлялъ плясать русскую, —при чемъ и родитель, и я, и сидъвшая съ нами какая-то старушка-купчиха, очевидно самая почетная гостья, изображали изъ себя тилиликающихъ губами разныя варьяціи музыкантовъ; а ребенокъ, повинуясь отцовскимъ рукамъ,

семенилъ ножками и блаженно улыбался. Я, — трудно мнъ въ этомъ признаваться печатно, — улыбался еще блажениъе...

- Наслъдникъ-съ, Иванъ Петровичъ! взывалъ Миронъ Петровъ, лаская ребенка. Какъ есть — законный наслъдникъ! Все для него... А-аххъ, милый баринъ! Одна только утъха и есть!.. Он нъ!
- Ну тоже эфти наследники... вступилась въ нашъ разговоръ почетная старушка. Тоже ими, Миронъ Петровичь, я тебъ прямо скажу, подождать надо-ть хвастаться-то... Я вотъ вамъ разскажу про наследника-то про одного, - пообъщалась старушка, обращая свою ръчь ко всей компаніи. Была я, голуби мои, вотъ тоже по нонишней осени въ гостяхъ у одной — у богатой. И вижу я: входить въ залу баринъ какой-то, молодой еще, съ черной съ эвдакой козлиной бородкой, въ золотыхъ очкахъ. Поддевка, этта, на емъ, ангелы вы мой, такая короткохвостая, что какъ только-онъ, этта, спиной обернется, такъ всъ со смъху и покатываются. Я и спрашиваю: чей это, моль, баринь такой? Какъ его по прозвищу величають? А мив и говорять: да развъ ты не узнала? Въдь это не батинъ, а Петька Кольнкинъ, у какого, говорятъ, въ городъ двъ лавки. Я и вспомнила, какъ это при матери его еще — при покойницъ (дружье мы съ ней были — водой не разольешь!) я его за вихры дирывала. Вспомнила я это и говорю ему: что же это ты, Петька, - расканальинъ сынъ-заспъсивился? Поди-ка ты, молъ, сюда, -я тебъ, по старой памяти, волосья-то твои напомаженные своею Моск. нор. итруш. 35

рукою завью. А онъ — разбойникъ — (силы небесныя! тому ли, какъ вспомнишь, злодъя эдакого отецъ съ матерью учивали?), а онъ — разбойникъ — подошелъ и смъется. А? Надъ старымъ-то чековъкомъ — вертитъ, вертитъ вотъ эдакъ, золотые мои, хвостомъ-то своимъ — и смъется. Я ему и говорю: что же это ты, Петрушка, или забылъ, какъ съ вашимъ братомъ старые люди за такія дъла расправляются? И все нътъ тебъ отъ него — отъ паскудника — почтенья! А все это смъхъ одинъ, все смъшки, — такъ это на губахъ бъгаютъ одни смъшки, милые мои; а нътъ тебъ ни единаго слова. Вотъ они какъ эти наслъдники-то!

- Ай, ай, ай! удивились гости Мирона Петровича великой обидъ старушкиной.
- Вотъ такъ-то, продолжала старушка. Ну, признаться, и ужъ тутъ и не вытеривла: бросилась такъто на него, вцвиллась одной рукою въ кудрясы-то, а другой по щекв да по щекв... и что же, голуби вы мои? Бросились, этто, растаскивать насъ, тащутъ такъ-то меня отъ него, говорятъ: будетъ вамъ, тетенька, будетъ, Марья Петровна! А и то не пускаю, потому и замерла-то и учить-то, безъ родителевъ, чувствую, надо; а онъ тоже шумитъ, какъ не въ терпежь-то ему пришлось: возьмите ее, старую дуру! Вырвался—отошелъ и опять въдь его—Искаріота—опять таки въ прежній смъхъ вдарило. Стоитъ и смъется, смъется и говоритъ: какихъ звърей не видаль, эдакихъ не пришлось посмотръть. Вотъ тебъ и наслъдникъ, какъ бы пропъла старушка, преимущественно

обращаясь къ Мирону Петровичу, — и за тъмъ заговорила съ новымъ одушевленіемъ:

- Послъ того нашлись добрые люди, шепнули мнъ: что вы, Марья Петровна, съ эфтимъ олухомъ царя небеснаго связываетесь? Въдь на него всъ давно рукой махнули, потому онъ все книжки читаетъ-и фанаберіи этой ученой, словно бы чорть, набрался. Скоромное жретъ... Матерь Божія! вскрикнула я, услышамши это-и опять на него. Что же это ты, моль, Петька, дълаешь? И тутъ въдь не допустиль, - такой клятой! Уперъ ручищами въ это самое мъсто, - прямо таки въ грудку наставилъ — и говоритъ: будетъ, будетъ, старъ человъкъ, а то въдь въ судъ потащу... Какъ услышала я это, терпъла, терпъла все отъ него, а туть ужь и заговорила: будь же ты оть меня, оть нынъ и до въка, анафема проклятъ! Родители, если бы твои видъли теперича, они бы тоже съ тоб й-съ разбойникомъ-сдълали. Воть это дъло! онъ мнъ въ отвътъ послалъ — и опять засмъялся... И въдь, ангелы вы мои, что пуще всего душу-то воротить во мнъ? Въдь сердца-то этого въ немъ (когда бъешь вотъ кого нибудь, такъ видишь, что злится на тебя человъкъ), въдь этого въ немъ, вотъ бы въ камиъ ровно, ни чуточки нътъ. Такой то проклятый! Въ кого уродился только?..
- Ну-съ, такъ вотъ тебѣ и наслѣдникъ! закончила наконецъ словоохотливая старушка свой длинный разсказъ, снова обращаясь къ Мирону Петровичу.
- Д-да! задумчиво произнесъ хозяинъ, осоловълы-

ми глазами пристально вглядываясь въ головку, сидъвшаго у него на колъняхъ, сына, какъ бы стараясь навърное отгадать, наберется ли впослъдствии его наслъдникъ такой же фанаберіи, какой набрался распроклятый Петька Колънкинъ.

Какая-то тяжелая пауза царила въ комнатъ, — одна изъ тъхъ паузъ, когда люди, ажитированные разговоромъ о какомъ либо особенно-интересномъ предметъ, вдругъ почувствуютъ, что тэма исчерпана до конца.— и долго сидятъ они тогда, молча, съ взволнованными лицами, — до тъхъ поръ сидятъ, пока кто нибудь изъ общества поумнъе снова не зажжетъ еще болъе одушевленнаго спора какой вибудь новою мыслью, хватающей предметъ съ болъе широкой стороны.

Тоже было и съ нашей паузой. Ее прервалъ хозяйскій выкрикъ, обращенный къ женъ:

— Ну-ко-сь! Ну-ко-сь, Матренушка! И магическій подносъ снова пошелъ въ кругокомнатное путешествіе.

И какъ послѣ поэтическаго молчанія, производимаго въ благородныхъ обществахъ до конца исчерпанною мыслью, вновь закипаетъ оживленный, блещущій о строумными искрами споръ, такъ и у насъ, послѣ хозяйскаго ну-ко-сь, ну-те-ко! закипѣли разговоры, если и не особенно поражавшіе глубокомысленностію опредѣленій такой вещи, какова, примѣрно, любовь и т. п., за то, человѣкъ, всегда и на все смотрящій строгими, задумчивыми глазами, — этотъ человѣкъ съ высокимъ лбомъ и горячимъ сердцемъ, спрятаннымъ въ тихую, сдержанную, но всегда истинную рѣчь, могъ бы найтя

въ нашихъ разговорахъ стремленіе униженнаго человъчества къ далекому отъ него небу. Могъ бы найти, говорю, ибо я имълъ случай видъть, какъ у такихъ людей, отъ подобныхъ нашему разговоровъ, разглаживались широкія и угрюмыя морщины, бороздившія ихъ высокіе лбы, — видалъ, какъ ихъ строгіе глаза зажигались страстнымъ огнемъ любви ко всему живому, и потомъ я слышалъ, какъ сердца ихъ горячъе бились, вслъдствіе чего развязывались ихъ тихія, сдержанныя ръчи.

— Нуте-кось! Ну-кось! покрикиваль хозяинъ. Теперь, слава Господу! Дълишки мои поправляются. Вотъ онъ, законный-то наслъдникъ!... Матренушка! Поднеси памъ съ хозяиномъ-то—съ молодымъ!

Матренушка съ улыбкой, не допускавшей съ ея стороны даже и тъни прекословія, поднесла обоимъ хозяевамъ.

— Иванъ Петровичъ! Сударь! крикнулъ ко мнъ хозяннъ. Давай выпьемъ вмъстъ за наслъдника. Что осовъль-то скоро? Рази это по барски?..

Столяры, сидя въ темномъ углу, давно уже порывались хлестануть по свойски какую нибудь эдакую «калинушку съ малинушкой», если бы ихъ не останавливаль прачка Петръ Александровъ, который, переставши трубить, вдругъ принялся говорить по божественному.

— Микитушка! приставали два столяра къ третьему, вали! — и Микитушка валилъ какимъ то горло-

вымъ, какъ бы недоумъвающимъ, что онъ именно дълаетъ, теноромъ:

«Калинушку-у съ малинушкой.»

И лишь только двое подпъвалъ зажмурили было глаза, чтобы такими же горловыми и недоумъвающими унисонами пустить, что

«Ва-ад-да п-па-анялла,»—

какъ ихъ въ тужъ минуту прервалъ громовымъ, но безалаберно-пьянымъ голосомъ прачка Петруха.

- Не подобаетъ! заревълъ онъ на пъвуновъ, принимая свою горделивую позу, съ заложеніемъ рукъ въ штанишки. Нынъ время какое? Кто насъ угощаетъ? Тру-тра-тре-дри-дра!.. Вы, милые, знайте политику... Безъ ней какъ же возможно?
- Пьемъ, штоли, баринушка? говорилъ миѣ Миронъ Петровъ. Матреша! Поднеси! Илюша! Иди сюда. Ты насъ, въ случаѣ чего, не лови... Пей!
- Зачъмъ ловить, Господи? Ай мы какіе, конфузился Илюша. Мы рази тоже не понимаемъ?
- И не смъй ловить! вдругъ подскочилъ прачка, изображая при помощи своихъ, заложенныхъ въ карманы брюкъ, ручонокъ, индъйскаго пътуха. Неподобаетъ! Рабъ неключимый!.. Какъ ты смъешь, мерзавецъ? Гдъ ты такой па-алитикъ научился?
- Ахъ, Петръ Александрычъ! Петръ Александрычъ! добродушно улыбаясь, потрепалъ его Илюша по плечу-Ч-чуденъ ты, Господь съ тобой!

— Я-то? Я чуденъ, Илья! Ты со мной не шути! походкой Цезарей отошелъ величественный прачка отъ шутки будочника.

«Ва-ад-да па-ан-нялла...»

смѣлѣе и смѣлѣе раздавалось въ темномъ углу столяровъ.

- Пра-ас-сти жена ты эфту мою глупость, т. е. къ примъру, ежели на счотъ любовницевъ, растягиваль хозяинъ, ты мнъ ее прости, сейчасъ умереть, потому у насъ съ тобой все за едино!...
- Ды я тебъ... ды я тебъ... вскрикнула необыкновенно-весело и необыкновенно игриво Матренушка, взмахиваясь на мужа кулакомъ; ды я тебъ все...
- Нѣтъ, стой! стой! неожиданно вошелъ въ общую рѣчь заклятый врагъ Петьки Колѣнкина Марья Петровна. Мужъ! Мироша! Поцѣлуйся съ женой... Ей Богу, смерть люблю!...
- Мож-жна! И что только мнѣ лѣшему въ умъ взошло? Какую мнѣ такую еще барыню нужно? спрашивалъ Миронъ Петровъ, любовно со свѣчей осматривая лице жены и цѣлуя его. Баринъ! А? Гляди-ка: биреж-жливая!.. Я за ней въ приданое деньгами одними четыреста рублевъ получилъ... Ей Богу!

Съ страшнымъ любопытствомъ, какъ будто бы въ первый разъ смотрълъ на какой нибудь невиданный предметъ, я взглянулъ на лице Матренушки — и увидалъ въ немъ сразу и рано-умершую мать, и ранопогибшую сестру — и напрасно страдающаго брата...

Лице отца встало тоже въ этотъ моментъ предо мною. — испитое такое лице, болъзненное... Простонало оно чтото и быстро исчезло, такъ что я не успълъ поцъловать дорогаго образа. Страшно кружилась въ это время голова моя, но я потеръ себъ лобъ рукою и вспомнилъ, что Матренушка необыкновенно походитъ на гравюру, изображавшую святую великомученицу Варвару, приложенную къ житію ея, по которому я когда-то учился грамотъ. Такое кроткое, покорное лице изображено было на этой гравюръ, — тихое и печальное. Въ книжкъ святая увънчана была вънцомъ, блиставшимъ яркими лучами, а въ рукъ она съ тъмъ величіемъ, съ какимъ цари носятъ свои скипетры, держала виноградную лозу.

Я хотель было вскрикнуть:

— Мученица!

Но мой пафосъ былъ разбитъ съ каждой минутой все больше и больше расширявшейся пъсней столяровъ:

«На ту пору ме еня ма-ать родила...»

Будочникъ-Илюша, пригорюнивши лѣвою рукою свою раскраснѣвшуюся щеку, пустилъ верха поразительнозвонкою фистулою:

«Ах-хъ на тту-у пор ру разнесча-астна-е...»

Какой-то молоденькій мастеровой, красивый брюнеть, съ необыкновенно-угрожающимъ лицемъ, до настоящаго времени совсѣмъ непримѣтный, теперь всталъ и покрылъ «Илюшины верха» могучей, словно бы изъ груди медвѣдя вылетѣвшей, октавой.

Взволновалась эта октава, почуявши, что тутъ ея

власть, туть ея сила, какъ волны широкой ръки въ половодье, когда, противъ всякихъ музыкальныхъ правилъ, сочла себя обязанною затянуть слъдующую строфу пъсни:

«Р-рр-аз-знис-частну-о...»

— Аххъ! Мма-атть ррадила!» подхватилъ своей фистулой Илюша, фистулой, которая очевидно, веселясь и играя, вела за собой тенорные, горловые унисоны трехъ столяровъ...

Звонкій дисканть, въ красномъ фартукъ, — немного, кромъ фартука, видно было еще выпуклое плечо, — перебилъ могущество октавы, и самовольно захватилъ себъ роль запъвалы.

«Разнисч-ча-а-стно-е...»

прозвенёль этоть дисканть, какъ полевая даль звенить въ іюльскую жарынь, —и замерь, залитый моремь тёхъ варьяцій, которыя дёлалъ Илюша, поглощенный тенорами столяровъ и октавой мальчика съ черными волосами и угрожающимъ личикомъ.

Старушка Марья Петровна тихо всхлинывала, утирая пестрымъ илаткомъ свои маленькіе глазки; а прачка-Петруха старался изъ всёхъ силъ попасть въ стройное согласіе хора уже не своимъ умёньемъ трубить, а болёе или менёе плавнымъ движеніемъ рукъ.

— Под-днесси! крачалъ хозяинъ Матренушкъ; но лице Матренушки горъло, какъ раскаленный уголь, —

по немъ ручьями текли какія-то, если можно такъ назвать ихъ, нъжно улыбавшіяся слезы.

Сидя на стулѣ и согнувъ голову на правое плечо, она, въ свою очередь, отзывалась мужу:

- Ним-магу! Ним-маггу! Ха, ха, ха! Подноси самъ. Я васъ всёхъ люблю...
- Иванъ Петровичъ! Ну-ко-сь! подмигивалъ мнѣ Миронъ Петровъ на ведерную бутыль, стоявшую въ углу. Подлей-ка, милый человѣкъ, видишь, баба-то захмѣлѣла. Да и самъ-то я, признаться, не такъ чтобъ... Другому кому этой радости повѣрить никакъ невозможна!...

Въ столяровскомъ углу невъдомо откуда появилась отдъльная свъча. Оттуда уже раздавались удалецкіе «ахи и охи», характеризующіе «камаринскаго». Виднълся оттуда быстро кружащійся красный фартукъ съ выпуклымъ плечемъ, да ясный и грубо-грозный лобъ, съ котораго, то и дъло, сбрасывалась черная, какъ вороново крыло, прядь волосъ...

Старушка Марья Петровна все плакала,—и очевидно было, что слезы доставляли ей большое наслажденіе. Матренушка, голову которой въ это время обнималь мужъ, шептала:

— Да Господь съ тобой!.. Мнъ что?... Нъ ътъ! Ты меня прости! Многимъ я тебъ досаждаю...

Басовитый шепотъ хозяина слышался затъмъ, — тихій такой шепотъ, изъ котораго ничего нельзя было разобрать...

Нътъ, какъ передъ Господомъ, — какъ будто

рыдала вслёдъ за этимъ шепотомъ жена, — мнё все равно!.. По мнё — какъ Господь тебё на душу пошлетъ...

Я, дрожавшими руками, наливалъ водку изъ ведерной бутыли въ большой графинъ и мнв, въ это время, казалось, что звонкое бульканье переливаемой жидкости есть ничто иное, какъ стекляыя клавиши, которыя, какъ всякому извъстно, устроиваются въ садахъ волшебниковъ подъ фонтанами... Фонтанъ, капля за каилей, бросаетъ на стеклянныя клавиши свои свътлыя слезы — и клавиши поють отъ этихъ слезъ; а тутъ дремлють въковыя рощи, въ клумбахъ смъются благоукающія розы, очевидно, невиданныя; волшебныя птицы съ разноцвътными крыльями поютъ въ освъщенномъ солнцемъ саду, — и вотъ, на парѣ бѣлыхъ какъ снѣгъ лебедей, запряженныхъ въ раковину, слетъла къ фонтану, у котораго, будто бы, я сидълъ, задумчиво жалуясь на мою печальную жизнь, волшебница Добрада и сказала мнь: Смертный! Ты свободень!..

- Што, Миронъ Петровичъ, Илюша здѣсь? разогналъ мои мечтанія торопливый голосъ нѣкоторой усатой личности, облеченной въ пальто полицейскаго солдата.
- А, миленькій, здравствуй! отозвался начинавшій было засыпать Миронъ Петровичъ. Ну-ко-сь!..
- Ты чого? Што тамъ такое? съ неменьшею торопливостью освъдомлялся Илюша,
 - Да што, братецъ ты мой, въдь избила меня моя-

то! Какъ ты говорилъ, такъ и случилось: слово за слово, рюмка за рюмкой...

- Ну, это не важно суть, отвъчалъ Илюша, снова становясь передъ столярами въ позицію хороваго заправлялы.
- Ну-ко-сь! Ну-ко, Митя! Кушо-ко! приставаль хозяинь къ усастой личности. Кушо-ко-сь, Митя! Да въслучать чего ежели мы съ супругой что, мо-о-три!..
 - Будьте спокойны!
- Ра-аб-бъ! Сма-атр-ри! приставалъ къ Дмитрію и прачка-Петруха; но на него никто не обращалъ ни малъйшаго вниманія.
- Какое тамъ ловить? уминая за обѣ щеки пирогъ, спрашивалъ Митрій. Меня-то самого какъ бы... Ей Богу! Насилу убегъ... Вотъ какъ припугнула! Слышь, Илюха: бѣгу я такъ-то отъ моей, а тутъ, на уголкуто, знаешь, около огороду-то? снѣжокъ этими самыми золотарями ссыпанъ, такъ въ снѣгу-то, учитель—пріятель-то твой—съ своей тоже сидитъ и тутъ у нихъ разговоры... Тутъ разговоры... Я ихъ сюды притащилъ,—надо въ часть, потому, должно полагать, кончинъ балъ!.. Совсѣмъ, должно быть, на счотъ ежели головы закружились...
- Дьяволъ! закричалъ Илюша, моментально отрезвившись. Ты зачъмъ же ихъ сюда-то тащилъ? Рази не знаешь, какой былъ наказъ на счотъ ихъ?.. Изб-бави Б-боже! Чтобы какъ можно тише... ну ежели, избави Господи!.. И Илюша стремглавъ бросился къ двери.

Вновь пришедшій солдать стояль выпучивши глаза. Компанство было нарушено.

- Да иди же, иди, умоляль Илюша кого-то за дверями. Ид-ди!
 - Ни с-мъю. Тамъ гас-спада!
- Нич-чево! взывалъ Илюша. Не взыщутъ. Што это только ты затъваешь всегда съ этимъ Митькой, все бы тебъ; дьяволу, палкой, а?
 - Ни м-магу! Прасти!
- Ид-ди! И въ слъдъ за тъмъ въ комнату вдетъла еще молодая, но въ несказанных отрепьяхъ женщина и закричала:
- Это меня, Илюха... Я ни с-сама...
- Мил-лая! Ну-ко-сь! Мы объ васъ довольно даже наслышаны... Давно! подчивалъ ее хозяинъ водкой изъ громаднаго стакана. Нас-слъ-ъдникъ!...
- Поздравляю! тянула женщина и свою рѣчь и хозяйскую водку изъ стакана. Ее облѣпили—и красный фартукъ, съ выпуклымъ плечомъ, которое теперь почему-то было еще выпуклѣе, и грозный лобъ молодаго мастероваго, и много много другихъ личностей, которыхъ настоящія физіономіи до сихъ поръ скрывались въ непроглядной тьмѣ комнатныхъ тумановъ. Изъ суетливой толпы этихъ лицъ слышался шопотъ: да что это, Митюхина, штоль? Митюха! Твоя, штоли?
- М.мая! пугливо отвъчалъ Митюха. Такая бъдовая! Сказываю: насилу убегъ...
 - Напрасна! Напрасна! Это ты, милая, такъ-то

поступаешь нихрашо, — раздавались укоризненные голоса.

Молодая женщина стояла, какъ пойманный звърь, съ безцъльно-выпученными глазами и какъ то особенно безсильно опустивъ внизъ свои драчливыя руки... Прачка Петруха, выразительно-молча, тоже рисовался передъ ней въ своей горделивой позъ, запрокинувши къ потолку свою головенку и заложивши руки въ штанишки...

Ждалось, что вотъ-вотъ, вмѣсто разудалой пѣсни, Содомомъ и Гоморрой загудитъ сей часъ по всей горницѣ разудалая, смертельная драка...

— Отъ—ттоп-пота ккоп-пыт-тъ—ппыль—ппо пполю инес-сется! пробарабанило новое существо, входя въ комнату тъмъ пьяно-церемоніальнымъ маршемъ, которымъ входятъ на сцену многообразные «Любимы Торцовы», подготавливая этимъ маршемъ эффектное: «Быть, или не быть» Островскаго: «Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать».

Вошедшая такимъ манеромъ личность была остаткомъ добраго, стараго университетскаго времени. Не было вещи, которой бы этотъ человъкъ не зналъ: говорилъ онъ чуть ли не на десяти языкахъ, былъ тонкій знатокъ классической музыки, а главное, онъ былъ народникъ, самый экстатическій; и все это въ себъ онъ понималъ какъ нельзя болъе хорошо, и все это онъ, съ страшнымъ цинизмомъ, на какихъ-то, для самыхъ близкихъ ему людей, неуловимыхъ основаніяхъ, топталъ въ грязь, заходя, примърно, послъ изящныхъ

объдовъ въ кабаки, съ цълью выпить на пятачекъ вод-

Когда его спрашивали: отъ чего ты, Алексъй, ничего не дълаешь? онъ обыкновенно, балуясь, отвъчалъ:

«Дввка да чарка сгубили...»

Проговорилъ онъ свою входную фразу съ добродушной улыбкой, которая ясно сказала всъмъ: ну, ребята, нахлестался я здорово, — взыскивать съ меня теперя нечего...

Изъ за плеча этого человъка выглядывалъ сладкоулыбавшійся Илюша, за которымъ, въ свою очередь, виднълась красивая, съ вздернутымъ, вострымъ носикомъ, женщина, не смотря на зиму, безъ платка на головъ и въ какой-то ваточной, обтерханной кацавейкъ.

Илюша съ какою-то таинственною радостью подмигивалъ и подмаргивалъ на вошедшаго гостя всей компаніи, какъ будто давая знать ей, что вотъ, дескать, человъкъ-то, братцы мои! Вотъ, его-то намъ только и непоставало...

- Илюша! вдругъ обратился новый персонажъ къ будочнику. Ты гдъ насъ нынъшнюю ночь пріютишь— безпріютныхъ? А? Вотъ этотъ болванъ-то хотълъ въ часть отправлять. Ты этого не дълай, потому мы помирились...
- За ч-чёмъ намъ дёлать эфти пустяки, Ликсёй Иванычъ? запёлъ Илюша. Переночуете въ будкё нонича-то; а завтра, Богъ дастъ, насчетъ фатерки похионочимъ, какъ нибудь... общими силами...

- Такъ, такъ! согласился учитель. Ахъ ты, душачеловъкъ! говорилъ онъ, обнимая и цълуя Илью. Это мы завтрашняго числа съ тобой оборудуемъ въ тонкости.
- Обид-дълъ! Обиж-жаютъ! Люди добрые! Обижаютъ меня, вдругъ завопилъ прачка-Петруха, поникая на столъ оскорбленною головою. Ты что же, Ликсъй Иванычъ? Ты со мной такъ-то поступаешь? Ты сколько годовъ у меня прожилъ, перечти? Ну ко-съ? спрашивалъ Петруха, огненно подвигаясь къ нему и принимая свою картинную позу.
- Ахъ, милый! обрадовался учитель. Да я тебя и не примътилъ. Почеломкаемся, и они обнялись. Прачка при этомъ почему-то грустно зарыдалъ.
- Комната эта сам-мая... рыдалъ прачка... твоято... не заннята еще... Пустая стоитъ...
- Ликсъй Иванычъ! А, Ликсъй Иванычъ! вдругъ явился хозяинъ съ подносомъ. Ну-те-ко, другъ!
- Вотъ это добре! похвалилъ Алексъй Иванычъ, взявши рюмку съ подноса и пристально въ нее всматриваясь. Это дъло!
- Ликсъю Иванычу! Аххъ, Ликсъй Иванычъ! обступили учителя и трое столяровъ, и красный фартукъ, и молоденькій мастеровой съ вихрами на грозномъ лбу и многія другія лица, трудно примъчаемыя въ сърой мглъ комнатныхъ тумановъ.
- Гдѣ Матренушка? громыхнулъ учитель, все еще всматриваясь въ рюмку. Матренушка, гдѣ ты? Иди, выпьемъ съ тобой!

Матренушка, при звукахъ этого голоса, живо покинула свою полуспящую позу и тоже бросилась къ учителю, говоря:

- А, золотой! Гдъ пропадалъ?
- Выпьемъ, другъ сердечный! меланхолически отозвался учитель, одной рукой отставляя въ сторону рюмку, а другой кръпко обнимая хозяйку и цълуя ее, отъ чего смъщались слезы, текшія по ихъ заплаканнымъ лицамъ.
- Вотъ это по нашему, похваливалъ хозяинъ. Вотъ это я люблю. Не говоря дурнаго слова, сейчасъ, хлопъ, чужую жену за шиворотъ, и ужъ цълуетъ. Вотъ такъ-то!..
- Молчи, рабъ неключимый!.. вдругъ воскликнулъ Прачка. Ты не пан-нимаешь... Онъ у меня нонъ ночуптъ...

Хозяйка и Алексъй Иванычъ сояли въ это время другъ передъ другомъ съ рюмками въ рукахъ.

- Пей! какъ бы приказывалъ учитель. Я ничего не говорю, онъ сдълалъ при этомъ полуоборотъ къ Илюшъ, за которымъ скрывалась востроносенькая дъвица, съ блъднымъ лицемъ, безъ платка на головъ и въ ваточной кацавейкъ. Такъ и ты пей—и не толкуй! Понимаешь?
- Ды, Ликсъй Иванычъ! заговорила съ плачемъ хозяйка. Ды ужъ, кажется, я ему... Кажется, что ни въ чемъ...
- П-пей!.. Илюня! Пропусти-ка Грушу-то къ намъ.
 Иди, —погръйся ступай.

Груша, какъ бы простръденная глазами всей компаніи, шатаясь и опустивши голову, подошла къ хозяйкъ, которая съ громкимъ плачемъ принялась цъловать ее и приговаривать что-то такое о горькихъ участихъ, о погибшихъ головушкахъ..... дизапий

- Ну-те-кось! подскочиль къ Грушъ хозяинъ съ своимъ подносомъ. Ну-те-ко! Плакать-то подождите. Еще паплачетесь примя пр
- Наплакаться всегда можно! согласнымъ хоромъ Ноть, это по нашему, нохванивыть игроги испорта

Происходило что-то странное въ этомъ, недавно еще такъ дико бушевавшемъ обществъ. На столько деликатно, на сколько можно было, всъ эти люди старались не смотрёть въ опущенные глаза Груши, и только одна хозяйка крыпко прижала ее лице къ своей грудии плакала. Тихій, всепрощающій ангелъ, очевидно, распростерся надъ этими двумя головами. Было тихое, тихое молчаніе, сквозь которос израдка пробивался чей нибудь шопотъ, не только что не нарушавшій этого молчанія, а какъ бы еще болье увеличивавшій его...

Учитель, между тъмъ, увидалъ меня и подошелъ вид, съ бабрицит лицемъ, безъ платия на г. Анмьож

- Ты тоже здёсь? спрашиваль онъ меня.
 - Какъ видишь? Ты гдъ пропадалъ?
- . . . Какъ гдъ пропадалъ? Будто незнаешь? съ унылымъ сарказмомъ спрашивалъ онъ. Хотълъ было въ пріятномъ мість, не трое, а хоть бы одни сти выстроить г. үшүү Там итэүпөд Напалы ... нэйг Н ---

Hgu. - horptalen erynan ...

[—] Ну и выстроилъ?

выстроиль... Ты что думаець обо всей этой исторіи?

— Да ничего не думаю. Въдь ты помирился... Опять, не буду же я тебъ въ пятисотый разъ, да къ тому же и здъсь, развивать мои теоріи относительно свободной воли и т. д. и т. д.

— Дуракъ ты, мой милый — почествовалъ меня учитель.

Это я и безъ тебя знаю.

Намъ съ нимъ не о чемъ было больше растолковывать. Онъ мнъ, и я ему давно уже были уяснены до конца концовъ.

— Ну-те-ка-сь! перебилъ нашу бесъду хозяйнъ. Бу-

деть раздобары-то раздобарывать, имон эколо од

— Аххъ, Мироша! заговорилъ учитель, выпивши рюмку. Гдъ бы это гитару намъ теперь раздобыть? А?

— Гитару? Господи! Да, въ одинъ секунтъ... Дядя Микитъ! Бъжи на верхъ къ приказному. Въ гости отъ меня проси. Скажи, чтобы, молъ, безпремънно съ гитарой.

Скоро пришла гитара вмъстъ съ приказнымъ, одътымъ въ истертый халатъ. Вручивши гитару учителю и выпивши сразу по третьей, приказный и прачка Петруха принялись другъ друга учить политикъ и щеголять горделивыми позами.

Скоро мастерскія, а главное, близкія всёмъ гостямъ, рулады учителя оковали вниманіе общества. Онъ, то подъ непостижимо-бойкій и умный переборъ барыни, громкимъ, какъ бы командующимъ голосомъ, вызывалъ

плясать красный фартукъ съ молодымъ мастеровымъ; то вмъсть съ красный фартукомъ, или, лучше сказать, со звонкимъ дискантомъ краснаго фартука, соединялъ горловой теноръ дяди Микиты.

Старушка, Марья Петровна, оказавшаяся старовъркой, вспомнила съ учителемъ свою далекую молодость, спъвши съ нимъ и съ его гитарой: «Я птичкой быть желаю» и «Незабудочка цвъточикъ».

Съ раскраснъвшимися маленькими щечками, старушка лезла къ учителю цъловаться и тономъ трагической актрисы кричала ему:

- Прости, прости! Слышь ты, голубь, прости! Понимаешь?
- До слова понимаю, Марья Петровна!... экстатическимъ крикомъ отзывался учитель, не переставая импровизировать на гитаръ. До слова понимаю, другъ ты мой великій...
- Ну, а коль понимаешь, кричала старуха, чего же не дёлаешь? Сынъ! Сыночекъ мой! Милый! Чего же не сдёлаешь? Сынокъ мой! Сдёлай! Я тебё за это сейчасъ ручки поцёлую, въ ножки тебё, сынокъ, поклонюсь. Сдёлай! Видишь стыдится...

Старуха упала въ ноги учителю, и, дъйствительно, принялась цъловать его руки.

— Спасибо тебъ, старый человъкъ! тоже плача обнималь ее учитель. Надоумила ты меня, —будь же ты благословенна изъ всъхъ тъхъ женъ, какихъ только я знаю...

Бойкой такой, маленькой, пружинкой вскочила вдругь

съ пола старушка, Марья Петровна, бросилась къ Грушт и къ хозяйкт, которыя все еще продолжали сидтъть обнятнись, схватила ихъ евоими костлявыми рученками, подтащила къ учителю,—и тогда вст эти четыре головы обнялись кртико и горько заплакали...

Тишина стояла въ комнатѣ поражающая. Приказный съ прачкой-Петрухой, продолжая свой споръ, кинули было нѣсколько словъ; но ихъ сейчасъ же остановили дружные, хотя и тихіе голоса.

— Тише вы, черти!

Оба спорщика, въ ладъ всей комнатъ, замолчали и только одинъ несмысль-наслъдникъ, на самой срединъ горницы, заливался радостнымъ дътскимъ смъ хомъ и безуспъшно старался подняться на невыносливыя ножки.

Что до меня, я, лежа на сундукъ, съ разымающими слезами, завидовалъ и этимъ взрослымъ людямъ, такъ искренно простившимъ другъ друга, и этому ребенку, такъ искренно радовавшемуся,—завидовалъ и, въ тоже время, желалъ имъ всякаго счастія...

- Раститеся, множитеся и наполияйте землю, невольно шевелилось на моихъ губахъ; а сердце такъ и подталкивало меня сбросить съ себя гулупъ, подбъжать къ плакавшей группъ, обняться съ ней вмъстъ и плакать; но я чувствовалъ, что въ головъ моей сидъль кто-то, съ гордымъ, одутло-насмъшливымъ лицомъ, и говорилъ мнъ:
- Ты куда? Зачёмъ тебё къ нимъ? Ты ни любить

такъ неумъешь какъ они, ни прощать... Лежи, тебъ и плакать-то стыдно!..

Я еще кръпче завернулъ въ тулунъ голову, потому что, дъйствительно, стыдился моихъ слезъ, которыя совсъмъ было задушили меня...

— Ну, ежели такъ, такъ Господь съ вами, счастливые люди! пробормоталъ я—и уснулъ въ какой-то отчаянной тоскъ по комъ-то и по чемъ-то...

Всю ночь снилось мий облицанное царство благодати, тихое царство, безъ слезъ и скорбей, разрушающихъ жизнь. Я былъ бы совершенно счастливъ,
еслибы мой проклятый мозгъ не имълъ обыкновенія,
даже и во сий, выпрядать какія-то, отвратительно шероховатыя нити, отъ щупанья которыхъ все существо
мое нервно вздрагивало, и, противъ воли, озлобляясь,
говорило:

я накрыть, — слыдовательно, все это я вижу во снъ.

Это слыдовательно губить и сны и дъйствительность...

Сърое утро било въ окна, когда я, почему-то, необыкновенно-испуганно, выглянулъ однимъ глазомъ изъ подъ тулупа, покрывавшаго меня. За стъной шипъла пила.

Удары тяжелаго молота обо что-то желъзное невыносимо больно терзали мой слухъ, топилась маленькая желъзная печь, наполнявшая комнату удушливымъ жаромъ. Красные уголья, которые виднълись въ ней,

явственно изображали до нельзя насмъщливыя надъ

Освоиваясь постепенно съ предметами, обстанавлисавшими меня, я увидалъ, наконецъ, наслъдника, который, какъ и вчера, ползалъ по грязному полу, сиясь приподняться на тонкій ножки, весело посмъиваясь и агукая большую, черную кошку, пріютившуюся съ своимъ задумчивымъ мурлыканьемъ около печки.

- Да потише ты, слышался тихій, упрашивающій шопоть Мирона Петрова, потише. Ну, что хорошаго? Воть, Иванъ Петровичь проснется, въ кои то въки забрель, ни хр-рашо!...
- Да! Мало шаромыгъ-то по улицамъ шляется, запальчиво отвъчала Матренушка. Ты ихъ всъхъ собери-поди. Все веселъй будетъ... Тебъ съ женой-то, ровно бы съ бъсомъ, противно сидътъ... Такъ ты собери ихъ побольше, да и цълуйся съ ними.
- Ни храшо!... усовъщевалъ Миронъ Петровичъ.
- Да чего хорошаго? больше и больше впадала во вкусь злая жена. Я тебъ не запрещаю. Я прямо говорю: поди и цълуйся. А мнъ сокращать себя не изъ за чего... Довольно, кажется, отъ меня всего получено: и деньги мои, и забота моя...
- Ахъ, Царь мой Небесный! сокрушенно прошенталъ хозяинъ!

Наслъдникъ, я видълъ, подползъ въ это время къ хозяину и забормоталъ ему на своемъ таинственномъ языкъ что-то невыразимо-ласковое и смъщливое.

— Да нну тебя! Отвяжись, Христа ради! Дядющ

ка-Микитъ! закричалъ Миронъ за стѣну. Подь-ко! Ну-ко-ся!..

- Такъ, такъ! заговорила жена съ злою улыбкою. Эфто я давно знада. Еще можетъ третьеводни знала...
- Ну, знай! огрызнулся Миронъ Петровъ, отсчитывая дядъ Микитъ деньги и снабжая его зеленымъ полуштофомъ.

Съ какою-то конфузливой, но старавшейся быть бойкою юркостью, подскочиль ко мнѣ Миронъ Петровъ и шутливо заговорилъ:

- Вставайте-ка, Иванъ Петровичъ! Бабы насъ пивкомъ угостятъ, пирожка испекутъ...
- Да, какъ же! шептала Матренушка. Теперь всего для васъ припасли...

Марья Цетровна, дуя въ чайное блюдечко, сдержанно хихикала при этихъ словахъ хозяйки.

Дядя Микитъ, живымъ манеромъ, оборудовавшій полуштофъ, теперь съ неменьшимъ хозяйскаго конфузомъ, мядся въ дверяхъ, потому что хозяйка, непримътно ни для кого, кромъ меня, однимъ глазомъ выглядывавшаго изъ подъ тулупа, злобно погрозила ему маленькимъ кулачишкомъ.

- Што мнешься-то, ровно бъсъ передъ заутреней? закричалъ на него хозяинъ, очевидно, понимавшій въчемъ тутъ штука. Иди! Кого ты долженъ слушаться здъсь: меня, аль кого другаго?
- Ну да, какъ же! Извѣстно тебя.. шепчетъ Матренушка. Дядя Микитъ послушно звякнулъ полуштофомъ объ столъ.

- Ну-ко сь Микитушка, спроворь тамъ что нибудь, по малости, на закуску, приказывалъ хозяинъ, сустливо откупоривая посудину.
- Ну да въдь каже? хихикаютъ Матренушка и Марья Петровна. Тамъ ефтой закуски въ волю...

Дядя Микитъ, пошаривши въ кухнъ нъкоторое непродолжительное время, возвратился оттуда съ твердымъ убъжденіемъ, что закуски тамъ не только нътъ въ настоящее время, но даже, какъ будто, никогда не бывало и никогда не будетъ.

Хихипанье часпійцъ раздалося еще громче; а Миронъ Петровъ, недослушавъ его конца, накинулъ на себя тулупъ и стремглавъ побъжалъ въ неизвъстное мъсго, изъ котораго скоро вернулся съ двухфунтовою колбасою въ рукахъ, радостный и торжествующій.

- Иванъ Петровичъ! Ну-те-ко-сь! Теперича это ничево... На похмълье-то... подчивалъ онъ меня, огорошивши передъ этимъ самъ большой стаканъ водки.
- Вотъ такъ-то! привътствовало эту выпиванцію, вмъсто вчерашней прачкиной трубы, злое шептанье Матренушки. Я такъ и знала.

И знай, — отвътилъ хозяннъ. Иванъ Петровичъ! Нуте-ко-сь! Поднимайтесь. На нихъ глядъть-то, върно, не чего...

Я поднялся и выпиль.

— Ну-ка чайку намъ — приказалъ кому-то уже съ сурьезомъ Миронъ Петровъ; но кто то, сидъвшій около по змѣиному шипъвшаго самовара, тоже съ сурьезомъ отвътилъ ему шепотомъ:

- Руки-то, поди, не отсохли еще? Самъ нальешь...
- Ну-ну, пробасиль хозяинь, разговаривай по субботамь!

Послѣ этого, какъ говорятъ историки, достопамят наго изрѣченія, предъ нами очутился вчерашній фатальный подносъ съ двумя стаканами чая.

- Такъ-то лучше! пробормоталъ Миронъ Петровъ; съ какою-то хитрой улыбкой, свое хозяйское слово. У меня въдь такъ, такъ въдь... знаешь какъ?
- Знаю, злод-дъй! завопила Матренушка. Муч-читель, з-знаю!
- Нну и молчи, выходить дело... Значить, теперича и помалкивай. Это я тебъ, какъ передъ Господомъ, говорю; потому, за-прасно нелайся. Я тебя не трогалъ.

Прачка Петруха выбъжаль къ намъ въ это время; необыкновенно испуганный, и закричаль:

- Иванъ Петровичъ! Поднимись къ памъ, сударь, ради Христа. У меня тамъ какъ есть Пугачъ поднался... Бунтъ одно слово!... И што это у пихъ только за политика такая?...
 - Ну-ко-сь, Петруша! Ну-ка!
- Да ужъ мив не до эфтого!... почти плакалъ прачка. Меня всево, можетъ, сестры, какъ собаки какія бъщенныя, изгрызли.
- 0! Ну ихъ къ Богу вь рай, толковалъ хозяинъ. Нука, Пътушокъ! Кушако-сь!

Мы поднялись на верхъ на прачкину квартиру, и тамъ сразу осадилъ насъ частый бабій гомонъ, словно бы торговала и кипъла тамъ какая нибудь десятитысячная увздная ярмарка, съ своими многочисленными горланящими кабаками, кричащими паяцами, ревущими коровами, гулко громыхающими телъгами и т. д. и т. д.

— Варваръ! Варваръ! неистовымъ голосомъ взывала вчерашняя востроносая дъвица. Въдь ты жисть мою загубилъ! Что же ты молчишь-то, Иродъ? Аспидъ! Ты что же молчишь-то?

Намъ еще не видать было говорящаго лица, но тъмъ не менъе, слишкомъ замътно было, что слова эти вмъстъ съ кулаками такъ и стремились къ лицу того субъекта, къ которому были обращены.

Прежде всего, на верху насъ встрѣтила сестра Петруши, высокая, грудастая прачка, съ носорожьимъ лицомъ и коровьимъ голосомъ, по ремеслу которой мой политичный компаньонъ и назывался, по общему голосу всей дѣвственной улицы, прачкой-Петрухой.

- Гони! Сичасъ ты у меня ихъ въ три жилы гони! Слышь? въ буквальномъ смыслъ заревъла она на брата.
- Ни хр-рошо! Добрыхъ людей постыдись! отвъчаль брать; но сестрица была вовсе не такого сорта, который могъ бы, въ нъкоторомъ смыслъ, полинять отъ взоровъ добрыхъ людей.
- Извольте, сударь Цванъ Петровичь, обратилась она ко мив, вашего товарища совсёмъ и съ

паскудницей его взять отъ насъ куда вамъ угодно. Довольно даже мы отъ нихъ натериълись...

- Напотёлась ты отъ ихъ чаевъ съ вареньями, а не натериёлась вдругъ воскликнулъ Петруха, съ блистательной вальяжностью закидывая въ штанишки ручонки и запрокидывая голову къ грязному потолку.
- Ах-хъ т-ты паршивый! удивилась сестра этой оппозицій, никакъ не подозрѣвая, по случаю ранняго времени, что Петруша успѣлъ уже садануть у Мирона Петрова стакашекъ, вызывавшій обыкновенно съ его стороны подобные протесты. Да ты что же это выдумалъ, паскуда ты эдакая? А?
- Молчать! загремёль прачка. Мер-рзавецъ! Молчать! Гдё ты такой палитикё научился? А!
- Погоди, паршивецъ! какъ сбъсившаяся кошка, металась изъ стороны въ сторону сестрица, наиприлежнъйшимъ манеромъ отыскивая что нибудь по своей могучей рукъ, чъмъ бы можно было, какъ можно изящнъе, ошарашить по головъ дорогаго братца. Погоди! Погоди! Я тебъ вотъ покажу палитику!..
- Мол-лч-ча-ать, тварь необузданная! азарничаль Петруша, вельможно притопывая дырявыми сапожонками. Тв-а-аррь! Не смёть выгонять учителя, — потому что я здёсь хозяинъ. Прач-чка т-ты под-длая! Ты кто? Ты прачка; а я, по крайности, образованный человёкъ... Ма-ал-лчать!..
- Погоди, па-аг-гади! шептала сестрица. Я вотъ тебъ покажу, какой ты такой есть хозяинъ...

Но я, недождавшись этихъ показовъ, благополучно проюркнулъ въ комнату, занятую учителемъ.

Здёсь на первомъ планё, опершись локтями объ столъ, сидёлъ самъ учитель, передъ нимъ, чахоточно задыхаясь, стояла, сжатыми кулаками, востроносая дёвица и орала:

— А, подлецъ! Заступаться за себя привелъ? Заступаться? Хыр-рошо! Не трогъ заступаются...

Говоря это, дъвица смъялась какимъ-то глупо-мошенническимъ смъхомъ.

Я не ждалъ отъ нея такой прыти.

- Послушайте, Груша! Что же это вы дълаете? заговорилъ, было, я...
- Ударь! Ударь! перебила она мою рѣчь. Нѣтъ, нынѣ вашего брата за это... знаешь куда? Къ козѣ на пчельникъ... ха, ха, ха!..

Учитель какъ то особенно-тяжело приподняль со стола голову, взглянулъ на меня, уныло и апатически улыбансь, и, будто сквозь сопъ, проговорилъ:

— Видишь? Пойдемъ!..

Мы пошли—и цёлый адъ закипёль въ домё, гладко-выструганныя стёны котораго вчера еще такъ славно блестёли на морозномъ полуночномъ фонё, смягчая его угрюмую, сёрую безжизненность своей ярко зеленою крышей и пугливо, но отрадно мелькавшими изъ оконъ огоньками.

Схвативши подъ руку совсёмъ ошалёлаго учителя, я торопливо побёжалъ по дёвственной улицё. На ней, во вчерашнемъ сугробё, въ томъ самомъ, въ которомъ такъ благодушно прошлою ночью играли Миронъ Петровичъ съ будочникомъ Илюшей, теперь раздаватись какіе то непередаваемые крики, подымались и опускались толстыя палки, показывались — то дюжій кулакъ дяди Микиты, то избитое лицо Мирона Петрова, то съденькая головенка прачки-Петрухи, то вдруг краснълся, взвиваемый вътромъ, красный фартукъ, то грозный лобъ съ черною прядью волосъ, нетерпъливо отбрасываемой въ сторону сильной рукою...

Батюшки! Кр-раулъ! Кр-раулъ!... разносило по улицъ двадцать голосовъ. Неистово скача около бъсновавшейся группы и гремя звонкими цъпями, вторили этимъ голосамъ громадныя собаки, собранныя кутерьмой въ одну кучу изовсъхъ домовъ.

— Что теперь станешь съ ними дёлать? въ тяжеломъ раздумьи спрашивали другъ у друга оба будочника, стоя надъ кучей. Брать бы, по настоящему, надо, да жаль—люди то хорошіе больно...

Квартальный поручикъ, объёзжая свой участо вакричалъ было стражамъ роковое «взять»; но стражи, подбёжавши къ нему, съ почтительными улыбками, донесли ему:

- Никакъ невозмож-жно, ваше благородіе! Боль^ию люди-то милые! Все здёшніе обыватели...
- О ч-чор-ртъ!... проборметалъ поручикъ и мэхнулъ рукою. Лихая пара бойко подхватила его щегольскія санки — и только и видно было, какъ засеребрился.

 «Морозной пылью

«Морозной пылью Его бобровый воротникъ.» Весь этотъ день мы крутились съ учителемъ по разнымъ развлекающимъ заведеніямъ. Мрачно уставя глаза въ стаканъ, онъ часто спрашивалъ меня:

- Такъ ты говоришь, все это вздоръ! А?

 Я молчалъ.
- Ну скажи же что нибудь? Ты думаешь: я пьянъ! Нъ ътъ? Я въдь все помню. Ты сказалъ именно: неотразимый вздоръ... Такъ въдь, а?
 - Ну и сказалъ! Отвяжись. атено и атено дтено
- Во что же я върилъ? Боже мой! Во что же я върилъ? Въдь это именно такое слово тутъ должно стоять: неотразимый вздоръ... Чортъ знаетъ, какъ это я не догадался прежде? Во что я върилъ? Ну-ка, налей!..

Я наливаль—онъ пилъ и скрежеталь зубами, обращая тъмъ на себя общее вниманіе кабацкаго человъчества; а между тъмъ на дворъ стояла тихая, первозимняя ночь. Съ неба, граціозно волновавшимися пушинками, летълъмировъть; а мъсяцъ, словно красавица изъ подъвуали, такъ привътливо всматривался въ далекую отъ него землю...

Всю душу измучила мий сложенная мною въ эту ночь какая-то, рймительно новая, нигдй не слышанняя и нечитанная мною молитва, съ которою я обращался къ небу этого вечера. Зажигала она сердце мое несказаннымъ жаромъ любви къ природй и людямъ; но, тймъ не менйе, когда я мысленно произносилъ ее, это прекрасное, всегда утйшающее меня небо, принимало въ моихъ глазахъ какой-то холодный, исполнен-

ный неумолимой, но прекрасно-величавой, мудрости, образъ, который, будто бы, отвернувшись отъ меня, на отръзъ говорилъ миж:

— О чемъ ты просишь? Молчи—и иди!...

И я шелъ... я шелъ; но съ каждымъ шагомъ становилось бремя мое тяжелъе и тяжелъе— и всю человъческую, такъ долго и страстно горъвшую и страдавшую кровь мою, охватило непреодолимое желаніе спать, спать и спать...

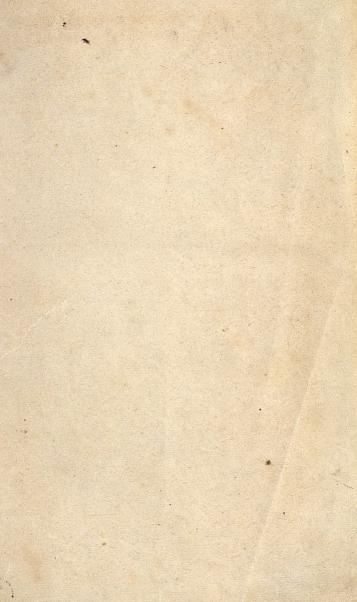
grade us garafanca new medec.

In cost of the cost of

aus no cobe obeier remarké robantar d'apprendant

почи водан во ранительно пован, пирук по свинцай; по починания в порараз в починания, паров может Важинала ода с рего мос
возвания в порочь в почина в прирада и почина, по почина, по може в почина, почина в почина, почина в п

ато прекраснос, всегла утънционее мона поле прини. вклюдите монку такой такой то колодиний, неполнен-





2.5 OEB 1948

